

ПИСАТЕЛИ О ПИСАТЕЛЯХ

ГЕРХАРД В. МЕНЦЕЛЬ

**ГОДЫ
В ВОЛЬФЕНБЮТТЕЛЕ
ГЮНТЕР ДЕ БРОЙН
ЖИЗНЬ
ЖАН-ПОЛЯ
ФРИДРИХА РИХТЕРА**



Annotation

Два известных современных писателя Германии — Герхард Вальтер Менцель (1922–1980) и Гюнтер де Бройн (род. 1926 г.) — обращаются в своих книгах к жизни и творчеству немецких писателей прошедших, следовавших одна за другой, исторических эпох. В книге рассказывается о Готхольде Эфраиме Лессинге (1729–1781) — крупнейшем представителе второго этапа Просвещения в Германии и Жан-Поле (Иоганне Пауле) Фридрихе Рихтере (1763–1825) — знаменитом писателе, педагоге, теоретике искусства.

- [Годы в Вольфенбюттеле](#)
 - [ПЕРЕКЛИЧКА ЧЕРЕЗ СТОЛЕТИЯ](#)
 - [ГЕРХАРД В. МЕНЦЕЛЬ](#)
 - [ГЮНТЕР ДЕ БРОЙН](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)
 - [12](#)
 - [13](#)
 - [14](#)
 - [15](#)
 - [16](#)
 - [17](#)
 - [18](#)
 - [19](#)
 - [20](#)
 - [21](#)

- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)

- [notes](#)

- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)

- [16](#)
 - [17](#)
 - [18](#)
 - [19](#)
 - [20](#)
 - [21](#)
 - [22](#)
 - [23](#)
 - [24](#)
 - [25](#)
 - [26](#)
 - [27](#)
 - [28](#)
 - [29](#)
 - [30](#)
 - [31](#)
 - [32](#)
-

Годы в Вольфенбюттеле

Жизнь Жан-Поля Фридриха Рихтера

ПЕРЕКЛИЧКА ЧЕРЕЗ СТОЛЕТИЯ

Вступительная статья

Как рассказать в небольшом предисловии сразу о четырех писателях? Как передать своеобразие их творчества, охарактеризовать их неповторимую индивидуальность? Очевидно, здесь не обойтись и без каких-либо логических комбинаций, помогающих найти объяснение, почему и на каком основании эти четыре писателя оказались вдруг под одной обложкой. Прежде всего, напомним, что все четыре писателя — немцы. Два известных современных писателя ГДР — Герхард Вальтер Менцель (1922–1980) и Гюнтер де Бройн (род. в 1926 г.) — обращаются в своих книгах к жизни и творчеству немецких писателей прошедших, следовавших одна за другой, исторических эпох.

Готхольд Эфраим Лессинг (1729–1781) — крупнейший представитель второго этапа Просвещения в Германии (ученые различают раннее, зрелое и позднее Просвещение), деятель поистине европейского масштаба. Спустя 75 лет после его смерти крупнейший русский просветитель Н. Г. Чернышевский, отмечая заслуги Лессинга перед немецкой культурой, скажет, что «в великой битве, целью которой было возрождение немецкого народа, не только план битвы принадлежал ему, но и победа была одержана им»^[1]. Сказано, конечно, сильно, может быть, даже чересчур сильно, потому что именно в Германии — в силу ее политической раздробленности и социально-экономической отсталости — «великая битва» за «возрождение немецкого народа» приняла особенно сложный и затяжной характер — она продолжалась и в XIX веке, — и еще более остро — в XX веке. Но не подлежит сомнению то, что в этой «великой битве» за «возрождение немецкого народа» родилась великая немецкая культура, порою мужественно и непримиримо, а временами с оглядкой и с компромиссами отстаивавшая демократические и свободололюбивые идеи в самых различных сферах теории и практики. В Германии XVIII века компромиссов и оглядок было особенно много, и можно буквально по пальцам пересчитать тех деятелей культуры, которые готовы были ради отстаивания свободололюбивых идей терпеть материальные

лишения и житейские невзгоды. К этим немногим деятелям, безусловно, принадлежал и Лессинг, отказавшийся от нескольких материально выгодных должностей ради сохранения внутренней духовной свободы. В этом смысле очень показательна оценка умного Гёте, который, внутренне терзаясь и переживая, все-таки не решился расстаться с должностью веймарского министра, неизбежно связанной со многими и почти ежедневными компромиссами: «Такой человек, как Лессинг, нужен нам, потому что он велик именно благодаря своему характеру, благодаря своей твердости. Столь же умных и образованных людей много, но где найти подобный характер!»^[2].

Этот негибкий характер Лессинга, его темперамент борца за демократическую свободу мысли хорошо изображен на страницах повести Герхарда Менцеля. С точки зрения внешнего движения сюжета писатель избирает, пожалуй, не самые выигрышные годы в жизни Лессинга — гораздо эффектнее было бы, наверное, изобразить его смелый поиск на писательском и критическом поприще в Берлине в 1750-е годы, или бурные события Семилетней войны, в которой Лессинг участвовал в 1760–65 годах в качестве секретаря прусского генерала Тауэнцина, или чрезвычайно важные для всей немецкой культуры годы в Гамбурге, где Лессинг в 1767–68 годах вместе с группой передовых театральных деятелей попытался основать первый немецкий национальный театр, который мог бы стать оплотом всей немецкой национальной демократической культуры. Лессинг был гениальным теоретиком и литературным критиком Гамбургского театра. Его «Гамбургская драматургия» (1767–1769) завершила борьбу с эстетикой классицизма и Готшедом, успешно начатую в «Письмах о новейшей немецкой литературе» (1759–1765), заложила краеугольные камни теории немецкого национального реалистического театра и драмы. Но Лессинг был не только ведущим теоретиком драмы и театральным критиком эпохи Просвещения в Германии, он был и крупнейшим драматургом немецкого Просвещения — вплоть до Шиллера — «Мисс Сара Сампсон» (1755) стала первой немецкой «мещанской трагедией», которая сразу же завоевала сцены немецких театров; комедия «Минна фон Барнхельм» (1767), написанная по горячим следам драматических событий Семилетней войны, только в Берлине в 1768 году ставилась 10 раз подряд по требованию публики; трагедия «Эмилия Галотти» (1772) предварила антифеодальные взрывы

драматургии «Бури и натиска»; «Натан Мудрый» (1779) явил собою образец философской драмы, направленной против духовной реакции, в защиту гуманности, равенства и братства народов, — не случайно именно «Натан Мудрый» стал первой премьерой восстановленного после второй мировой войны Немецкого театра в Берлине.

Герхард Менцель — опытный биограф, и, может быть, в силу этого он не стремился к внешним эффектам, которых, — конечно же, в связи с Лессингом мог бы отыскать немало. Ему гораздо важнее раскрыть внутренний механизм личности Лессинга, обнажить перед читателем суть и смысл его жизнедеятельности. Эту суть Г. Менцель находит в безграничной и негибкой вере Лессинга в возможности Просвещения и в его приверженности идее *активного гуманизма*, не только умеющего защититься от окружающего мракобесия, но и перейти в активное наступление. Принципы активного гуманизма Лессинг не только проповедовал в теории, он неоднократно демонстрировал их и в сфере общественной практики — например, в публичной полемике с реакционным пастором Гёце, полемике, которая велась отнюдь не на равных, ибо правители Германии были на стороне Гёце, и Лессингу было запрещено даже защищаться...

Необходимо сказать несколько слов и о том, какое место заняла небольшая повесть о Лессинге в творчестве рано умершего прозаика ГДР Герхарда Менцеля. Сын рабочего-антифашиста, пострадавшего от нацистов, Г. Менцель не смог закончить даже полную среднюю школу. От тюрьмы или гитлеровского вермахта его «спасло» заболевание туберкулезом. В годы затянувшегося лечения единственной отрадой были книги, и юноша жадно наверстывал самообразованием то, чего ему не дала и не могла дать школа. К годам болезни (и войны) относятся и первые писательские опыты. В 1948 году Г. Менцель становится радиодраматургом на Лейпцигском радио; через несколько лет — в связи с ухудшением состояния здоровья — оставляет штатную работу, но тем упорнее стремится к осуществлению своего писательского призвания. Молодая Германская Демократическая Республика бурно набирала темпы социалистического строительства, и начинающий писатель Г. Менцель — между тем уже автор 25 радиопьес — усиленно искал свой литературный жанр. В 1958 году был опубликован историко-биографический роман «Последние капли вермута» о поездке Гейне в 1843 году по Германии, предшествовавшей

созданию поэмы «Германия», — и жанр был наконец найден прочно и навсегда. За этой книгой последовали романы о молодом Шиллере (1962), о Питере Брейгеле (1969), о Мольере (1975), повести о Кристиане Ройтере (1965) и Лессинге (1980). В последние годы жизни Г. Менцель задумал создать цикл повестей, отражающих становление гражданского самосознания в, Германии, такого типа личности, которая сама себя начала осознавать в качестве фактора исторического прогресса. Этот процесс становления «совершеннолетней» личности, проходивший в XVI–XVIII веках в Германии в особенно трудных условиях, требовал, по мнению писателя, величайшего личного энтузиазма и самопожертвования. В этой связи Г. Менцеля в первую очередь заинтересовали такие исторические личности, как Кристиан Ройтер (он успел завершить новый вариант повести об этом интереснейшем немецком писателе рубежа XVII–XVIII вв.), Лессинг, Гердер, Новалис и Георг Форстер. Особое место в этом цикле должны были занять повести о Гердере и Форстере — как непосредственных продолжателях дела Лессинга. В сохранившихся черновых заметках Г. Менцеля возникает вполне определенное противопоставление позиций Гёте и Гердера (оба жили в Веймаре, и постепенно между ними возникло взаимное охлаждение, если не отчуждение). Согласно наброскам Г. Менцеля, именно «Гердер следует по пути Просвещения, указанному Лессингом»^[3]. Еще более последовательно претворяет мысль Лессинга в дело, в жизненную практику Георг Форстер — выдающийся немецкий революционный демократ, один из немногих немецких просветителей, сумевших преодолеть характерный для немецкой классической литературы и философии разрыв между мыслью и делом... Повесть о Форстере, к сожалению, тоже осталась незавершенной. Однако информация обо всем большом замысле Г. Менцеля поможет советскому читателю глубже понять своеобразие повести о Лессинге — тем более, что это первое произведение Г. Менцеля, публикуемое на русском языке.

Совсем иное дело в этом плане Гюнтер де Бройн, которого советский читатель уже давно знает и любит. Первые рассказы Г. де Бройна на русском языке были опубликованы в начале шестидесятых годов, роман «Буриданов осел» — в 1970 году, роман «Присуждение премии» — в 1975 году, «Жизнь Жан-Поля Фридриха Рихтера» — в 1978 году, повесть «Бранденбургские изыскания» — в 1981 году. Вряд

ли нужно особо пояснять советскому читателю специфику художественной манеры этого крупного писателя ГДР, одного из самых известных как внутри самой страны, так и за ее пределами. А вот объяснить причины и характер обращения к прошлому этого остросовременного и остро-ироничного писателя, пожалуй, все-таки стоит. С одной лишь оговоркой, что время может внести существенные дополнения и поправки в даваемые сегодня объяснения, — ведь Г. де Бройн продолжает активно работать, и его очередные произведения (например, роман «Новая благодать», недавно опубликованный в ГДР), как всегда, вызывают не только активный читательский интерес, но и полемику...

Гюнтер де Бройн написал несколько произведений о немецких писателях прошлого: «Жизнь Жан-Поля Фридриха Рихтера» (1975), «Бранденбургский Дон Кихот» (1980), «Жертва разума» (1982). Бросается в глаза, прежде всего, то, что все названные произведения посвящены писателям, в свое время очень известным и даже чрезвычайно популярным, но сейчас забытым или почти забытым. Особенно это касается двух последних, Фридриха де ла Мотт Фуке (1777–1843), который советскому читателю известен сейчас лишь благодаря В. А. Жуковскому, в 1836 году переведшему прекрасными гекзаметрами прозаическую сказку «Ундина», и Кристофа Фридриха Николаи (1733–1811), в свое время известного писателя, критика и берлинского книготорговца, даже друга Лессинга (о нем, кстати, речь идет и в повести Г. Менцеля). Имена Фуке и Николаи стали в немецкой литературе одиозными: оба олицетворяют тип таких деятелей культуры, которые, не успевая расти вместе с новыми потребностями общества и эпохи, с удивительным упорством продолжают отстаивать отжившие, отброшенные самой историей идеи и представления. У Фуке это — приверженность идее возрождения средневекового феодального рыцарства, сыгравшей свою роль в период патристических-антинаполеоновских настроений, но по-детски нелепой в эпоху буржуазных революций, сотрясавших Европу. У Николаи же — отстаивание идеи умеренного, «разумного», остеререгающегося революционных и вообще всяческих крайностей просветительства, и все это в бурную эпоху «Бури и натиска» и романтизма, когда само дальнейшее движение общественной мысли и искусства требовало антитез, не могло совершаться лишь на базе разумной

преемственности. И не удивительно, что Николаи, пародировавший «Страдания юного Вертера» Гёте и «Люцинду» Ф. Шлегеля, нападавший на Шиллера, Канта, Шеллинга и Фихте, сам становится объектом едких пародий и сатир. Даже Гёте и Шиллер, объединившись вместе, написали в 1797 году против Николаи 39 эпиграмм!

Г. де Бройна эти «казусы» интересуют не сами по себе — хотя в истории человечества и казусы могут быть весьма поучительны. На материале вышеназванных жизнеописаний и тесно примыкающей к ним (особенно к книге о Жан-Поле) повести «Бранденбургские изыскания» (1978) писатель размышляет над целым комплексом серьезных, общечеловеческих проблем, на осмысление которых, по существу, направлено и все его творчество. Эти проблемы во многом родственны для современных литератур социалистических стран. Просто каждый крупный писатель выбирает свой ракурс, свою точку отсчета и свой жизненный материал. Для Г. де Бройна, например, особую актуальность приобрела проблема неповторимости каждой человеческой индивидуальности и каждой человеческой жизни. Уже в романе «Буриданов осел» (1968), ставшем по-своему этапным для всей литературы ГДР, писатель полностью переключает свое внимание в область исследования морально-нравственного состояния социалистического общества на его обыденном, среднем, так сказать, негероическом уровне. Герои романа — рядовые библиотечные работники — показаны в сфере бытовых и семейных отношений, их конфликты носят сугубо моральный и этический характер. Успех этой книги у читателей (в том числе и у советских) показал ее своевременность, ибо обнаружилось, что внутренние моральные коллизии социалистического общества на срезе рядового индивидуального сознания еще очень мало исследованы, именно на этой ниве литература семидесятых и восьмидесятых годов собрала весьма обильный урожай. Полемика вокруг «Буриданова осла» и определенный консерватизм литературной критики ГДР, в шестидесятые годы несколько отставшей от потребностей литературы и самой жизни, побудили Г. де Бройна написать роман «Присуждение премии», в основе которого лежит конфликт литературно-общественный. Сугубо «цеховой» рассказ о том, как премия молодому писателю была присуждена с «опозданием» всего лишь... на десять лет (когда его роман, по существу, потерял свой острозлободневный

характер), приобрел у Г. де Бройна широкое общественное звучание. Это хорошо понятно сегодня, когда социалистическое общество активно ищет новые резервы для быстрее движения вперед и когда всякие задержки прогрессивного общественного развития совершенно недопустимы и неизбежно влекут за собой негативные последствия также и в сфере общественной морали и нравственности, о которой так радеет Г. де Бройн.

Однако и конкретный вопрос о повышении уровня литературоведения и критики ГДР волновал не только Г. де Бройна. На VII съезде писателей ГДР в 1973 году на эту тему специально выступал с большим докладом Франц Фюман, много внимания уделял этой проблеме и Герман Кант. И крупнейшие писатели ГДР словно договорились «помочь» литературоведам избавиться от схематического и вульгарно-социологического подхода к отдельным писателям и литературным явлениям прошедших эпох. Помимо Г. де Бройна, прежде всего, А. Зегерс, С. Хермлин, Ф. Фюман и Криста Вольф создали немало ярких литературных эссе и статей, посвященных крупным (а нередко спорным или полузабытым) немецким писателям прошлого^[4]. «Жизнь Жан-Поля Фридриха Рихтера» Г. де Бройна, которую и сами литературоведы называют лучшей книгой об этом писателе, воспринимается гораздо полнее в широком контексте развития современной литературы ГДР.

Но это вовсе не значит, что читатель, просто берущий в руки книгу Г. де Бройна о Жан-Поле, чего-то «недополучает», если он не знает вышеупомянутый литературный контекст. Как всякое подлинно художественное произведение, «Жизнь Жан-Поля Фридриха Рихтера» содержит все необходимые объяснения в самом себе — нужно лишь внимательно читать его. Однако в русском издании отсутствует «Библиографическое послесловие» Г. де Бройна к своей книге, раскрывающее его личное отношение к Жан-Полу и метод его работы, а также последующие высказывания и интервью писателя, помогающие установить взаимосвязи этой книги Г. де Бройна со всем его творчеством. Об этом и хочется рассказать чуть подробнее. Но еще прежде несколько слов о самом Жан-Поле.

«Адвокат бедных»^[5], из-под пера которого выходили «мирообъемлющие созерцания исполинской фантазии»^[6], Иоганн Пауль Фридрих Рихтер (1763–1825), публиковавший свои произведения

под псевдонимом Жан-Поль, испытал довольно широкую прижизненную и сравнительно недолгую посмертную славу. Во второй половине XIX века его уже почти не читали. Активное возрождение глубокого интереса к его жизни и творчеству, начавшееся в XX веке, пока не затронуло еще широкие круги массового читателя. Как пишет Г. де Бройн в своем «послесловии», «за 150 лет (уже 160 — А. Г.), прошедших со дня его смерти, Жан-Поль из любимца публики превратился в специальную тему для литературоведов-германистов». Г. де Бройн этот спад читательского интереса считает несправедливым. Ему лично Жан-Поль нравится. Живой интерес к его творчеству побудил Г. де Бройна внимательно присмотреться и к его жизни — не один год ушел на изучение разнообразных источников. Г. де Бройн долго искал жанр этой книги — ни научная монография, ни роман его не удовлетворяли. Больше всего писательское воображение захватила сама жизнь Жан-Поля, ее неповторимая насыщенность, уникальный колорит и своеобразие его жизнедеятельности и мирозерцания. Романную форму пришлось отбросить, потому что, как показалось Г. де Бройну, «всякий вымысел скорее разжижал, чем уплотнял жизненные перипетии этого писателя». И еще одно очень важное замечание Г. де Бройна: «Несмотря на повествовательный тон, который временами господствует в книге, я придерживался исключительно документальных источников, естественно, надеясь, что читателю передастся очарование, которое я сам испытывал, знакомясь с материалом. Я не стремился при этом утаивать мои личные мнения и суждения. В мои намерения не входили иллюстрирование дидактических положений или защита литературоведческих тезисов. Я хотел из наличного материала реконструировать жизнь, которая заключала в себе нечто характерное. Не только каждое время открывает заново своих писателей, но эти открытия совершает и каждый из нас в отдельности. Возможно, мне следовало бы это жизнеописание назвать „Мой Жан-Поль“».

Последние слова исключительно точно передают эмоциональную атмосферу этой очень объективной и взвешенной и в то же время очень личной, глубоко пережитой книги Г. де Бройна. Будущим исследователям стиля этого писателя еще придется поломать голову, определяя, как и в чем конкретно проявилось воздействие произведений Жан-Поля на своего далекого и ироничного (в духе

самого Жан-Поля!) потомка. В частности, бросается в глаза, что «маленькие люди» (например, деревенский учитель Пётч в повести «Бранденбургские изыскания» и отдельные герои в романе «Новая благодать») Г. де Бройна в определенных моментах изображаются в духе традиций «адвоката бедных» Жан-Поля.

Что же касается определения места Жан-Поля в историко-литературном процессе в Германии конца XVIII — начала XIX века, то задача эта весьма сложная, и она еще долго будет разрешаться литературоведами. Все дело в том, что сложность самого творчества Жан-Поля — если абсолютизировать какие-то из его крайних полюсов — позволяет довольно легко обосновывать ту или иную одностороннюю трактовку. Жан-Поль (как, впрочем, Гёльдерлин или Клейст) с трудом вписывается в пока еще существующую литературоведческую схему смены литературных периодов в Германии: Просвещение, «Буря и натиск», «веймарский классицизм», «романтизм», «критический реализм». В эту схему не умещаются писатели, по-разному синтезировавшие в своем творчестве опыт различных (порой не только в чисто немецкой окраске) направлений и методов. Творчество Жан-Поля, например, у истоков своих связано с сатирической струей зрелого немецкого Просвещения. Вступив на литературное поприще в год смерти Лессинга, Жан-Поль во многом и до конца не изменял плебейским и революционно-демократическим идеалам Просвещения — отсюда идет высокая оценка его Гейне, и особенно Бёрне, и фактически всеми деятелями «Молодой Германии». Но на развитие *стиля* Жан-Поля решающее воздействие оказал опыт сентиментализма и «Бури и натиска» — многие серьезные исследователи относят его творчество к вершинным достижениям европейского сентиментализма. Стремление к жизненной правде и реализму резко отличает Жан-Поля от романтиков, а юмор, необычайная увлеченность современностью и, исключая роман «Титан», барочно-причудливая форма — от «веймарского классицизма» Гёте и Шиллера. В полемике с обоими направлениями Жан-Поль утверждал плебейски-демократические идеалы своего творчества, но в то же время вместе с ними выступал против эпигонского просветительства, филистерства и посредственности. Вступив в литературу почти одновременно с Шиллером, Жан-Поль не остался глух ни к одному из современных ему литературных движений, в том

числе и к романтизму, с которым у него также возникало достаточно много соприкосновений. Глубоко понять Жан-Поля — значит до тонкостей и нюансов овладеть диалектикой литературного развития Германии на рубеже XVIII–XIX веков, одного из интереснейших периодов не только в истории немецкой, но, может быть, и в истории всей мировой литературы...

«Скованность и искренность, широта и узость, шутка и серьезность, избыток чувств и трезвость тесно соприкасаются друг с другом» — в такой простой и емкой формулировке объединяет Г. де Бройн некоторые противоречия и особенности жизни и творчества Жан-Поля. Эта лаконичная формулировка наполняется в книге Г. де Бройна живой плотью и полнокровной жизнью — читатель видит перед собой человека талантливого и заблуждающегося, теряющего нить истины и снова страстно и темпераментно ищущего ее, короче говоря — живого человека, не образец для подражания, но, безусловно, заслуживающего уважения и благодарности потомков.

Таким образом, в представляемой книге дополняют друг друга и перекликаются между собой не только два писателя прошлых эпох, но и два современных писателя ГДР. Выбором героев для своих книг и способом их изображения Г. Менцель и Г. де Бройн демонстрируют свои симпатии в сфере культурного наследия, подчеркивая те стороны гражданских и человеческих качеств Лессинга и Жан-Поля, которые представляются особенно важными для современности. При такой «двойной» перекличке самый большой выигрыш выпадает на долю читателя: он узнает четырех очень разных писателей, получит богатую пищу для собственных размышлений и — хочется выразить уверенность — не только с удовлетворением поставит прочитанную книгу на полку, но заинтересуется и другими произведениями этих писателей.

А. Гугнин

ГЕРХАРД В. МЕНЦЕЛЬ

ГОДЫ В ВОЛЬФЕНБЮТТЕЛЕ

Перевод с немецкого В. Фрадкин

«Я стоял на торжище праздно, и никто не хотел меня нанимать... потому, что никто не умел воспользоваться мною...»

«Гамбургская драматургия»



I

Он миновал вестибюль и неожиданно оказался под высоким сводом. Запрокинув голову, оглядел большие полукруглые окна на самом верху, как бы на пятом этаже этой гигантской залы. Их было не менее двадцати, а может и две дюжины, этих попарно расположенных окон, и весь свет, заливающий помещение, проникал сквозь них. Затем его взгляд скользнул вниз, отметив чрезмерно подчеркнутые вертикальные линии. Ощущение дисгармонии создавали слишком

тесно расположенные несущие колонны. Устремленные снизу через все этажи к самому своду, они размещались перед опоясывающими стены многоярусными галереями, отчего те были погружены в полумрак. Наконец, его взгляд охватил и овальную, почти круглую форму всей сводчатой залы...

«Клетка», — подумал он. Мысль была неприятна, но воображение непроизвольно возвращалось к образу круглой птичьей клетки, какие ему еще недавно доводилось видеть в Гамбурге. Их плели из ивовых прутьев или толстой проволоки, и стареющие, списанные на берег моряки держали в них больших, пестрых, говорящих попугаев, привезенных ими на родину из последних плаваний.

А может быть, и сам он — такая же пойманная и заточенная в неволю чудо-птица?

Монастырский советник сделал пять шагов вперед, остановился в ожидании и обернулся. Его черное церковное облачение было, видимо, сшито из какой-то особой ткани, которая переливалась, как шелк, в падающих сверху лучах солнечного света.

Убедившись, что Лессинг следует за ним, он пересек залу и подошел к мужчине средних лет, стоявшему у колонны возле книжной витрины. Мужчина самодовольно улыбнулся. На нем был сероватого цвета парик того новейшего фасона, который предполагал над каждым ухом всего по одной туго завитой булке, но зато столь далеко оттопыренной, что улыбающееся лицо неизбежно приобретало комическое выражение.

«Ему следовало бы сперва отрепетировать эту церемонию перед зеркалом», — подумал Лессинг, словно он все еще был литературным сотрудником потерпевшего крах немецкого национального театра.

— Ваша честь! — донеслись до него слова мужчины. — Я чрезвычайно опечален вашим уходом!

То была скверная история, о которой ему намеками поведал Эберт. Монастырский советник Хуго был вынужден отказаться от руководства библиотекой, чтобы освободить это место для Лессинга, и ходили слухи, что наследный принц хочет украсить свое окружение его, Лессинга, именем точно так же, как ранее воспользовался именем Вольтера далекий дядя принца, тот, что с костылем. И все же отставка оказалась для монастырского советника, видимо, чрезвычайно удачной,

ибо поговаривали, что теперь его назначат в Брауншвейге старшим камергером.

— Я хотел бы познакомить вас. — Преподобный советник указал на Лессинга тремя пальцами правой руки, завершив жест замысловатым движением. — Господин Лессинг, новый библиотекарь, которому наследный принц Карл Вильгельм Фердинанд с соизволения нашего все милостивейшего князя доверил руководство герцогской библиотекой.

Затем он обернулся к другому собеседнику и произнес:

— Господин секретарь фон Цихин, второй библиотекарь.

— Фон Цихин? — переспросил Лессинг, словно не поверив. И, поскольку возражений не последовало, заметил, — ну что ж, посмотрим.

— Вам не обойтись без моих советов, — парировал второй библиотекарь и снова улыбнулся.

С этим будет нелегко, подумал Лессинг. Дать ему в подчинение дворянина, разочарованного утратой церковной должности?! А кроме того... Разве монастырский советник не назвал его, Лессинга, имя первым, словно бы он представлял не нового хранителя знаменитой герцогской библиотеки в Вольфенбюттеле, а просто человека бюргерского сословия господину дворянского происхождения?

Лессинг заложил палец правой руки между пуговиц своего сероголубого сюртука. Он тоже улыбнулся и твердо произнес:

— Сначала я хотел бы осмотреть пергаментные манускрипты и инкунабулы.

Никто не возражал. Его повели вдоль длинных стеллажей и многочисленных витрин и проводили на верхнюю галерею, где в отдельной, надежно запертой камере хранились так называемые вейсенбургские манускрипты эпохи Каролингов, сокровища бывшего монастырского собрания. Лессинг извлек ключ, отпер дверь, переступил порог и увидел в лучах света, проникавших сквозь маленькие зарешеченные оконца, сделанные в толстых стенах, слой пыли. Он провел пальцем по фолианту в переплете свиной кожи. Пыль! И повсюду пыль, пыль, пыль!

Он понял, что к этим старинным томам прикасались нечасто. Лейбниц, работавший здесь еще до того, как сто шесть вейсенбургских манускриптов были куплены для библиотеки в Вольфенбюттеле и

приобщены к ее и без того богатейшему собранию, знал все древние рукописи и инкунабулы наперечет. Он сам осматривал эти тома, ин-кварто и ин-фолио. С немалым тщанием изучал он книжные сокровища и поведал о них в своих письмах и статьях.

Лессинг поинтересовался полной описью вейсенбургских манускриптов, но услышал лишь, что в канцелярии господина фон Цихина можно отыскать старые каталоги.

— Их составили монахи, — пояснил секретарь.

— Монахи времен Каролингов? — спросил Лессинг.

— Весьма возможно, — ответил секретарь, радуясь, как мальчишка.

— Семьсот лет назад? — продолжал допытываться Лессинг.

— При аббате Фольмаре. Это имя указано в одном из каталогов, — пояснил секретарь.

— Кто же не знает аббата Фольмара! — усмехнулся Лессинг.

— У Шанната имеется хронологический список аббатов Вейсенбургского монастыря. Аббат Фольмарий скончался в 1043 году, — заметил монастырский советник тихо, но в тоне его прозвучала подчеркнутая снисходительность. — Однако некоторые из этих томов были, несомненно, приобретены Вейсенбургским монастырем уже после смерти Фольмария. На основании кое-каких позднейших вставок в каталогах можно определенно утверждать, что монахи не все писали сами. Наиболее ценные из вейсенбургских манускриптов вы найдете в этих железных сундуках. — Монастырский советник Хуго протянул Лессингу ключ.

— Мы уберем от грязи наши воротнички, если откроем сперва сундуки. Не может быть, чтобы и в эти железные ящики проникло столько же пыли...

— Поддержание книг и полок в чистоте вменено в обязанность служителю библиотеки Хельму, — резко ответил секретарь фон Цихин.

— Пусть явится ко мне!

Секретарь переглянулся с монастырским советником, и после паузы священник произнес:

— Так пошлите же за ним!

Секретарь в растерянности удалился и надолго пропал — словом, больше его не видели.

Лессинг попытался открыть стоявшие посреди комнаты железные лари. Но ключи не подходили к замочным скважинам, видневшимся в крышках обоих сундуков.

— Что дальше? — спросил он, заложив руки за спину.

Монастырский советник Хуго слегка приподнял указательный палец левой руки. Он улыбнулся, не разжимая губ, его глазки блеснули:

— Наши предки, как видно, тоже были изрядными шутниками! Помимо этих, имеются еще потайные, искусно замаскированные замочные скважины. Те, что в крышках, сделаны лишь для того, чтобы запутать воров.

Священник провел пальцами по передней стенке первого сундука, ощупывая широкую кованую обшивку в виде перекрещивающихся полос. Наконец, с изрядным усилием он сдвинул одно из украшений в форме лилии, обнажив скрытую под ним замочную скважину.

Сундуки были заполнены добротной переплетенными древними рукописями, разложенными, видимо, по формату — там ин-фолио, тут ин-кварто. Лессинг вынимал один за другим небольшие псалтыри и молитвенники, попадались и внушительные хроники. Он дал себе клятву со временем основательно исследовать каждую книгу.

А это что? Написанная обычной латынью на пергаменте книга ин-кварто, объемом не менее ста страниц, косо торчала из переплета. Уяснить причину не составляло труда. Кто-то вырвал титульный лист, а заодно не пощадил и начало этой древней рукописи. У нижнего обреза первой из оставшихся страниц тонким почерком, словно писавший старался не привлечь лишнего внимания, было начертано новое заглавие, которое, однако, не полностью совпадало с выцветшим названием, видневшимся на корешке переплета. К тому же ни там, ни тут не было обозначено имя сочинителя.

Несоответствия всегда побуждают искать истину. На первый взгляд оба названия указывали на то, что в трактате идет речь о святом причастии и, прежде всего, о приобщении святых тайн. Однако часто встречающиеся в тексте «Inquis tu» и «Inquio ego» эти «ты говоришь», «я говорю», свидетельствовали о том, что сей трактат являлся скорее полемическим сочинением.

Даже тот, кто почти не знаком с историей церкви, безусловно, слышал про ожесточенный спор между Лютером и Цвингли о таинстве святого причастия. Но и в более ранние века вопрос о превращении

хлеба и вина в тело и кровь Христа вызывал острые споры, в которых никто не стеснялся в средствах, ибо отступления от чистой веры испокон века считались ересью.

— Как вы оцениваете возраст этой рукописи? — спросил Лессинг у монастырского советника.

— Она относится к вейсенбургским манускриптам и была написана, видимо, в одиннадцатом столетии.

— Кто ее автор?

— Очевидно, аноним.

— А его имя установить не пытались?

Монастырский советник пожал плечами.

Лессинг запер сундуки и хранилище рукописей. Необычную книгу он взял с собой. Он велел провести себя по библиотеке, осмотрел ее от крыши до подвала, затем распрощался с монастырским советником, зашел в канцелярию, где отчитал секретаря за то, что его распоряжениями пренебрегли, — и все это время держал книгу в руке.

Когда Лессинг уже покидал здание, дорогу ему преградил прихрамывающий солдат. Его мундир был изрядно поношен, но на выгоревшей голубой треуголке виднелись капральские нашивки. Он отдал честь и, ослабившись, представился:

— Служитель библиотеки Хельм к услугам Вашей чести!

— Я не «Ваша честь»! Чтобы я этого больше не слышал!

Хельм снова отдал честь:

— Слушаюсь, Ваша милость, господин магистр!

Пусть так, магистр — это еще куда ни шло... Но все же он произнес, с улыбкой придержав отставного капрала за верхнюю пуговицу его потертого мундира, на лацканах которого вдобавок отсутствовали галуны:

— Если мы — вы и я — хотим найти общий язык, то запомните: меня зовут «господин Лессинг», а я называю вас «господин Хельм»... И без титулов, без этих фокусов!

— Слушаюсь, господин Лессинг!

— Сколько вы прослужили?

— Двенадцать лет, верой и правдой. А потом, после ранения, меня уволили. Колено никуда не годится. В походах мы часто пели песню: «Эй, старина, бери суму — и ты ведь был солдат!» Теперь песня стала правдой...

В бытность свою секретарем генерала Тауэнцина в оккупированной Силезии Лессинг хорошо узнал солдатскую жизнь. Этим людям вряд ли кто мог позавидовать. Старый Фриц — извечный прусский кумир — нередко увольнял инвалидов со службы и отправлял их по домам без вознаграждения, оставляя слабую надежду на некое неопределенное «потом».

— А почему вас нигде не могли найти, когда я послал за вами, господин Хельм?

Служитель простодушно взглянул на Лессинга:

— Почему? Действительно, почему? Да потому, что секретарь отправил меня к булочнику за хлебом. Иду я себе обратно и думаю: давай-ка поспешай, надо поскорее представиться господину Лессингу — а вдруг он захочет тебе что-нибудь сказать или поручить...

Лессинг расхохотался.

— Ну-ну, ври да не завирайся! Так торопиться — да не успеть? Мы не под Кунерсдорфом, где решался вопрос жизни и смерти! Я хочу, чтобы завтра утром, едва пробьет семь, вы зашли ко мне. Мы обсудим наши планы на ближайшие дни, нам есть чем заняться.

Тут он заметил, что служитель все еще стоит по стойке «смирно».

— Вольно, можете идти! — проворчал Лессинг, резким движением протянул руку и распрощался.

Покинув библиотеку, он пересек широкую площадь и вступил в замок. На лестницах и в темных коридорах стоял неистребимый затхлый запах. Шестнадцать лет назад герцог со всем своим имуществом перебрался из этого вольфенбюттельского замка в Брауншвейг. С тех пор гигантское здание с едва ли не тремя сотнями комнат пустовало.

Теперь единственным обитателем замка был Готхольд Эфраим Лессинг. Наследный принц распорядился обставить для него старой мебелью две комнаты наверху, под самой крышей. Но он чувствовал себя все еще неуютно. Впрочем, что же тут удивительного?

Первым делом он съел лепешку с копченым салом. Ему было так одиноко. Лишь воробьи чирикали на крышах. Сало он привез с собой еще из Гамбурга.

Им завладела тоска, разум был не в силах справиться с унынием: слишком много дорогих воспоминаний связывало его с Гамбургом. Он

подошел к окну и с высокой мансарды окинул взглядом площадь перед замком. Когда-то она явно предназначалась для парадов. Теперь по ней с лаем гонялись одичавшие собаки, грызлись из-за голубиноного крыла. «Свора хищников», — подумал он.

Вдруг он вспомнил о древнем манускрипте. В комнате уже стемнело. Он зажег свечу и принялся листать книгу. На одной из страниц он заметил стертое имя. Видимо, стремясь его уничтожить, кто-то соскреб это имя с пергамента острым ножом. Но крупная заглавная буква «С» осталась.

Насколько это важно, он осознал тотчас же, обнаружив и дальше на некоторых страницах древней книги умышленно подчищенные места. Очевидно, кто-то настойчиво соскабливал одно и то же имя, оставляя лишь заглавную букву «С». Однако то тут, то там, несмотря на подчистки, все же угадывались отдельные буквы старой рукописи, и Лессингу постепенно удалось составить имя «Скот».

Апатию как рукой сняло. Коль в споре о таинстве святого причастия упоминалось это имя, значит, речь шла не о пустяках. Ирландец Иоанн Скот в IX столетии попытался соединить догмы христианства с античной философией Платона, мистицизм веры с рассудочностью древнего язычника. Церковь отвергла подобное смешение. Но кто же этот аноним из более позднего, XI века, цитирующий Иоанна Скота?

Чем внимательнее он вчитывался в рукопись, тем яснее осознавал, что за находка попала к нему в руки в первый же день его пребывания в должности вольфенбюттельского библиотекаря. Конечно, именно находка, а не открытие — он ведь ничего специально не искал. Впрочем, ценность сего ин-квартио от этого меньше не стала.

Перед ним лежал полемический трактат, позволяющий заглянуть в те давно прошедшие века, когда шла ожесточенная борьба с физическим и духовным голодом. Борьба средствами теологии и в пределах теологии. Да, эти «Inquis tu» и «Inquis ego» всегда звучали, как крик! Одновременно «Inquis tu» старой рукописи доказывало, что спор длился уже давно, и в тоне слышалось некоторое ожесточение. Создатель книги, по сути дела, утверждал, что хлеб и вино в таинстве причащения — это скорее все же хлеб и вино, нежели тело и кровь Христовы, и признавал тем самым лишь их символическую связь. Это было почти по Лютеру — в XI столетии!

Однако всю смелость сего сочинения мог в полной мере оценить лишь тот, кто был способен мыслить исторически. Лессинг знал, с кем он хотел бы поговорить об этом. В двух часах пути отсюда, в Брауншвейге, в высшей школе — недавно основанном Collegium Carolinum — вместе с Цахариэ и Эбертом преподавал Конрад Арнольд Шмид. Этот профессор теологии и истории недавно опубликовал в журнале славного Николаи найденное в Вольфенбюттеле письмо Адельмана к Беренгарию, которого до того мало кто знал, — опубликовал без комментариев, за что Лессинг был на него в обиде: хотя бы уж год рождения или смерти одного или другого он мог бы указать!

Знал бы этот добрый человек, сколько всего еще можно отыскать в Вольфенбюттеле!

Лессинг взял лист почтовой бумаги, обмакнул перо и написал Эберту письмо, в котором просил как можно скорее доставить ему удовольствие повторной встречи и беседы с любезнейшим Шмидом. Он не хотел бы просить его, прибыть в Вольфенбюттель, но еще более далек он от мысли посетить Брауншвейг — между строк явственно читалось «держись подальше от власти имущих», — а посему он предлагает встретиться на полпути, в трактире под названием «Дом у дороги».

«Дом у дороги», расположенный на проезжем тракте между Вольфенбюттелем и Брауншвейгом, походил на типичный загородный дом того времени, с белыми деревянными ставнями на высоких узких окнах, сдвоенными колоннами справа и слева от входа и сдвоенными же стеклами в форме веера над тяжелой входной дверью и над дверью, ведущей на балкон второго этажа. Даже молодые липы перед домом были посажены по бокам от входа таким образом, что полностью вписывались в фасад, нигде его не заслоняя.

Из трубы в голубое безоблачное небо подымался дым.

В дверях стоял хозяин. При виде Лессинга он снял с головы колпак.

Лессинг поздоровался и, не тратя времени на разговоры о погоде, спросил:

— Профессор уже прибыл?

— Какой профессор?

— Профессор из Брауншвейга.

— Какой профессор из Брауншвейга?

В обшитом панелями помещении на первом этаже за большим столом сидели три профессора и с улыбкой смотрели на входящего Лессинга. Здесь был внешне суровый, но на редкость обаятельный Эберт, которому Лессинг был в конечном счете обязан своим назначением в Вольфенбюттель, ибо тот неоднократно ходатайствовал за него перед наследным принцем. Здесь был дородный, изрядно располневший Цахариэ с двойным подбородком, выпиравшим из белоснежного воротничка. И, наконец, здесь был сам Шмид, приведший с собой своего зятя Эшенбурга.

Собственно говоря, Лессинг был уже знаком с этим узколицым молодым человеком, который так внимательно его разглядывал. Когда Эберт однажды мимоходом заметил, что Эшенбург вообще-то является знатоком английской литературы, и в первую очередь творений великого Шекспира, Лессинг со смехом ответил:

— А я-то полагал, что полностью разделался с театром!

Прежде, чем были наполнены бокалы, Лессинг задал мучившие его вопросы.

— Как известно, в XI веке шел долгий спор вокруг учения о приобщении святых тайн, — сказал он, обращаясь к профессору Шмиду, — и в нем участвовал Беренгар Турский. Так вот, что известно об этом человеке?

— Беренгарий был признан еретиком.

— Бывают эпохи, когда ярлык еретика может считаться лучшей рекомендацией для ученого, — возразил Лессинг. — Если некто слыл еретиком, то очень часто это указывало лишь на то, что этот некто — прав он или не прав — хотел иметь собственный взгляд на вещи.

Лессинг упомянул Галилея и Коперника, но сразу же вернулся к своему вопросу. Ему очень хотелось бы знать, что известно об отречении Беренгария.

— Дайте-ка мне подумать. Беренгар был основателем Турской школы. Следует ли понимать слово «школа» лишь буквально или также и в переносном смысле — это сегодня вряд ли кто-нибудь сможет решить однозначно, владеет он даже в совершенстве искусством чтения древних рукописей.

— А известен ли год его смерти?

— О, да! Его жизненный путь завершился, если не ошибаюсь, в году 1088-м от Рождества Христова, — провозгласил профессор.

— Но как же быть с отречением? — продолжал Лессинг. — Когда вероотступное учение Беренгара о святом причастии получило огласку, его, насколько мне известно, призвали в Рим и на церковном соборе — кажется, при папе Николае II — вынудили предать анафеме свое прежнее мировоззрение. Это событие вошло в папские декреталии как «отречение Беренгария». Но голос Беренгара не умолк. Разве не так? — Лессинг слишком долго жил среди актеров, чтобы не знать, что именно в этом месте он мог позволить себе многозначительную паузу.

Он неторопливо подпер голову кулаками и внимательно оглядел своих собеседников, а затем добавил:

— Едва вырвавшись из лап своих врагов, он снова отрекся от всего, чем он — хоть и под страхом смерти — устно или письменно погрешил против правды!

— Все верно! — подтвердил профессор Шмид. — Вернувшись в Тур, Беренгар написал сочинение, в котором вновь выступил в защиту своего старого учения о святом причастии, объявленного в Риме еретическим. Но Ланфранк, более известный под именем архиепископа Кентерберийского, опроверг точку зрения Беренгария в своем прославленном сочинении, которое позднее — после изобретения книгопечатания — часто издавалось и переиздавалось — то отдельно, то вместе с другими подобными трудами Ланфранка, в «Библиотеке отцов церкви» или других сборниках того же рода.

— Разгромное произведение, полное убедительнейших доводов! — вскричал Лессинг, — кто же его не знает!

— На это опровержение Ланфранка Беренгар уже больше ничего не возразил, — заявил профессор, — он смолчал! Так что можно полагать, что провидение воспользовалось этим сочинением архиепископа, чтобы тронуть сердце Беренгара. Короче говоря, считается, что Беренгар Турский, дважды впадавший в ересь, был окончательно и бесповоротно обращен Ланфранком в истинную веру, — профессор улыбнулся.

Но Лессинг, словно игрок, вытянувший из колоды козырного туза, выложил свои сведения, выделяя каждое слово:

— А что вы скажете, если я докажу вам, что одно сочинение Беренгария — обстоятельное, детальное сочинение, — судя по всему,

самое значительное — сочинение, которое нигде никогда не упоминалось, о существовании которого не подозревает ни один человек, — сочинение, о котором даже столь осведомленный ученый как наш милейший профессор Шмид утверждает, что его нет вообще, — а из-за полного неведения об этом сочинении выстроены целые вавилонские башни предположений, — так вот, что вы скажете, если я смогу вам доказать, что такое сочинение все же существует и находится у нас, среди неопубликованных вейсенбургских рукописей?

Лессинг извлек из портфеля лишенный титульного листа и начала, изуродованный подчистками и позднейшими вставками манускрипт, с которым он не расставался все последние дни. Бережно протянув профессору Шмиду вываливающийся из переплета том, он решительно произнес:

— Я хотел бы предложить вам, дорогой Шмид, совместно опубликовать этот до сегодняшнего дня никому не известный ответ Беренгария Ланфранку и тем самым раз и навсегда спасти пошатнувшуюся — можно даже сказать, загубленную, — репутацию этого отважного ученого!

Шмид протестующе воздел руки:

— Опубликовать произведение архиеретика? Он ведь сам загубил свою репутацию.

— Если однажды он и проявил слабость, то разве это значит, что он был неправ во всем? Он достоин жалости, а не презрения, — возразил Лессинг, — ведь он отрекся исключительно под страхом смерти.

Но Эберт с сомнением покачал головой и заявил:

— Должен признаться, дорогой мой Лессинг, я тоже не понимаю, кому пойдет на пользу такая публикация.

— Истине!

Цахариэ уткнулся жирным подбородком в воротник, он не желал расставаться с репутацией сатирика, принесшей ему некогда известность. И когда он заговорил, скрытая ирония явственно чувствовалась в его то слишком громком, то неестественно тихом голосе:

— Истина — какое великое, многозначительное слово! — произнес он с издевкой. — Истина! Но мы ведь учим и воспитываем не для того, чтобы снискать славу правдоискателей!

Он помолчал и продолжал уже серьезно:

— Так вот, я не спрашиваю, подобно нашему милейшему Эберту, кому это пойдет на пользу, я спрашиваю, кому это повредит, если кое-что так и сгинет в неизвестности, сокрытое плащом Клио?

Лессингу претили подобные разговоры. Ведь известно: истина никогда не прокладывает себе дорогу сама. Желая положить конец спору, он холодно произнес:

— Не знаю, должны ли мы жертвовать счастьем и жизнью ради истины; и уж во всяком случае, мужество и решительность, необходимые для этого, суть качества, которые у нас либо есть, либо их нет. Но одно я знаю твердо: если хочешь служить истине, то твой долг делать это до конца или не делать совсем, а если делать, то ясно и недвусмысленно, без недомолвок, без сомнений в ее силе и полезности!

Тем самым вопрос для него был исчерпан. Книгу он спрятал в портфель. Он уже понял, что и в Вольфенбюттеле ему суждено вершить свою миссию в одиночку, без чьей-либо помощи и поддержки.

День завершился за вином и картами, и все, даже Цахариэ, сошлись во мнении, что Лессинг — один из самых остроумных и компанейских людей из всех, с кем им доводилось встречаться.

Всякий раз, когда выдавалось свободное от работы в библиотеке время — а там потребовалось немало изменений и нововведений, многое приходилось совершенствовать, Переиначивать, вносить в картотеки и каталоги, — Лессинг уединялся в тиши своего кабинета и трудился над трактатом о неугомонном Беренгаре Турском. Прежде всего, ему удалось пролить немало света на мрачные времена ранних теологических споров. А затем он подробно исследовал все «за» и «против» неведомой до того времени апологии Беренгария.

Беззастенчивое замалчивание и поношение правдоискателя сами по себе уже стоили того, чтобы отдать делу все силы. Им овладел восторг первооткрывателя.

Как-то раз библиотечный служитель Хельм принес ему в уединенный замок с почтовой станции корзину, аккуратно завернутую в белую тряпку и крепко зашитую с краю. Каким знакомым ароматом наполнилась сразу его комната! Ева Кёниг, добрая подруга, прислала ему в Вольфенбюттель из Гамбурга копченое мясо и спаржу...

Итак, он отложил свою работу и принялся размышлять о своем незавидном положении. Конечно, он тысячу раз поблагодарил в ответном письме «милую госпожу», однако дал ей понять, что не только копченым мясом и спаржей жив человек, но и в гораздо большей степени дружеской беседой, будь то беседа личная или посредством писем.

Его чрезвычайно угнетало одиночество в огромном замке, ибо день за днем он мучительно ощущал, как не хватает ему живого общения с художниками и купцами Гамбурга, актерами и книгоиздателями города, молодым Бахом и молчаливым Маттиасом Клаудиусом и, конечно, Гердером, который напоследок посетил его; да и со своими новыми друзьями, профессорами из Брауншвейга, он виделся редко.

А то общество, которое было ему здесь доступно, не привлекало его. Однажды библиотеку посетил надворный советник судебной палаты, другой раз — ректор Хойзингер, а еще как-то раз — генерал-суперинтендант Книттель — тот самый, что обнаружил в Вольфенбюттеле фрагмент сочинения Вульфилы. Лессинг принимал их, давал пояснения и отправлял восвояси. И при этом томился от тоски по нормальному человеческому общению.

Он сообщил отцу в Каменц об изменениях в положении его сыновей, о переменах внешних обстоятельств к лучшему — он полагал, что славный старик весьма нуждается в подобном утешении. Долгие десятилетия он не мог без тревоги думать о судьбе своих сыновей! И потому Лессинг писал, что он, Готхольд Эфраим, теперь уже не тот первый и единственный в Германии «вольный» сочинитель, а хорошо обеспеченный библиотекарь, имеющий 600 талеров годового жалования, квартиру в замке и небольшой воз бесплатных дров на зиму.

Но ему пришлось начать письмо заново, слишком уж легкомысленным показался ему самому тон его отчета. Он решил отказаться от удачной игры слов: «свободен как птица — то есть на птичьих правах», чтобы избавить склонного к долгим раздумьям старика от лишних волнений из-за трудностей, уже оставшихся в прошлом. Кроме того, явно не следовало слишком откровенно разоблачать двусмысленность понятия «хорошо обеспеченный». Ирония была здесь неуместна. Хотя поводов для нее хватало: здание знаменитой библиотеки было задумано некогда как конный манеж для

давно позабытого герцога. Об этом и сейчас напоминал причудливый овальный фундамент. Опооясывающие галереи, плотно заставленные теперь книгами и стеллажами, служили в прошлом трибунами для публичных турниров.

«В прошлом»... «некогда»... — а какое, собственно, ему до этого дело? Библиотека была столь знаменита, что о происхождении главного ее здания можно было уже и не вспоминать.

Младший из сыновей старого пастора Лессинга, брат Карл, которого Готхольд Эфраим долгие годы поддерживал, во многом отказывая себе, почти в это же время получил должность ассистента в правлении Берлинского монетного двора. Эта новость, несомненно, обрадует и матушку, — добавил Лессинг в письме к отцу.

Однако о своих долгах Лессинг написал ровно столько, сколько отец, видимо, и без того знал от Карла. То, что его прекрасная библиотека частью в Берлине, частью в Гамбурге пошла с молотка, а кредиторы остались далеко не удовлетворены, — кому он мог на это пожаловаться? Он был вынужден делать долги — ну да, именно вынужден! — ибо его гамбургские начинания, немецкий национальный театр и книгоиздательство авторов, несмотря на все усилия, в конечном итоге потерпели крах.

Вину за все неудачи он возлагал на неподходящие времена, и, разумеется, на этот город торгашей и лавочников, и, если посмотреть глубже, на скороспелую мысль об объединении, когда в Германии все, и духовная жизнь тоже, непременно делилось на баварское, вюртембергское, саксонское и т. д. и коснелось в этой разобщенности. Всеми виной были обстоятельства — а расплачиваться приходилось ему!

Внезапно ему пригрезилась Ева. Бросив взгляд вверх свечи, он явственно представил себе ее сидящей в кресле, увидел такое знакомое лицо, умные глаза, милую улыбку, в которой в счастливые часы проскальзывало столько лукавства, что Гердер однажды не преминул отметить, будто фрау Ева даже в такие минуты оказывается точной, только женской копией Готхольда Эфраима Лессинга. Ах, милая моя подруга, что-то еще с нами будет, — подумал он, а может, как бывает со стариками, он произнес эти слова вслух? Проклятое одиночество!

Лессинг подошел к окну. Перегнувшись, он разглядел по левую руку в сумеречном свете уходящего дня купол библиотеки. Что и на что он поменял? Людей на фолианты, живые мысли и связи на мертвые буквы. Он скучал по Еве и ее детям. Как часто с наступлением сумерек его охватывало желание, чтобы вот сейчас Ева открыла дверь и предстала перед ним...

Однажды ему доставили записку. На сей раз Ева действительно приехала. Он поспешил в Брауншвейг. Она остановилась в «Розе», и, встретившись, они долго, долго держали друг друга за руки. Вместе с Евой в Брауншвейг прибыл ее брат, ученый из Утрехта. Они вместе были в Пирмонте, где пили лечебные минеральные воды, ибо после известия о смерти мужа, поехавшего по делам в Венецию и там скончавшегося, Ева чувствовала себя слабой и больной, а ведь ей приходилось точно и расчетливо выполнять множество обязанностей. Она осталась с четырьмя детьми на руках. Правда, перед тем, как отправиться в далекое путешествие, Энгельберт Кёниг поручил детей, «случись, не дай бог, — беда», заботам своего друга Лессинга, но того собственное неустройство погнало в Вольфенбюттель. К тому же у Энгельберта Кёнига были шелковая лавка в Гамбурге и две фабрики в Вене — одна по производству шелка, другая — драпировок, — но и тут, и там положение было не из лучших.

— Мой дорогой друг, почему вы не дали себя уговорить, будто вам очень полезно и крайне необходимо лечение минеральными водами? Неужели вы хотели лишить меня удовольствия общения с вами? — спросила Ева с улыбкой.

— Кто причислен к придворной челяди герцога, тот вынужден испрашивать позволения на отпуск, — возразил Лессинг и испытующе посмотрел на нее. Ее лицо снова обрело прежнюю округлость. Как выразителен этот изящный рот... и эти ясные глаза... да, она казалась ему такой близкой, такой родной.

— А может быть, это труппа Аккермана удержала вас в Вольфенбюттеле?

— Мне нет до нее никакого дела. Я уж подумываю, не дьявольские ли это козни — комедия преследует меня буквально по пятам.

— Мне просто не верится, что вы так раздосадованы прибытием театральной труппы Аккермана... Разве вы не замечаете, к чему я клоню?

— С вашего позволения, я ничего не замечаю! — ответил он со смехом.

— Но ведь в труппе всегда найдется юная лирическая героиня...

— У старика Аккермана все роли инженеру играет его собственная дочь — курносая Дортхен. Что мне до нее?

— Но не хотите же вы меня уверить, будто госпожа Шух покинула эту труппу...

— Я и впрямь не знаю.

— А в Гамбурге, — сказала она, — недавно побывали итальянцы. Они привезли несколько опер. В особенности молодой тенор с приятным голосом был вскоре признан общим любимцем. Его считали самым милым... Вы ведь не станете ревновать?

Однако Лессинг лишь рассмеялся.

— Как поживают в Гамбурге мои маленькие друзья? Что делает крошка Мальхен, чем занимается Фриц, мой крестник?

— Я была вынуждена поручить заботу о детях госпоже Молинэ. На нее вполне можно положиться.

— А что нового слышно о Гамбургской лотерее?

— Следуя вашему пожеланию, я играла за нас обоих, — заявила Ева Кёниг, — одна из цифр совпала, и поэтому мне вернули почти все, что я поставила.

Лессинг, смеясь, обнял Еву за плечи и произнес со значением:

— С вами, милая госпожа, решительно невозможно остаться в проигрыше!

Брат Евы с изрядным изумлением наблюдал за этим бесконечным взаимным подтруниванием. Вскоре он перевел разговор на «ученые темы» и не преминул сообщить, что в ближайшее время должен получить кафедру в Гейдельберге. Не следует ли ему потом, когда это назначение состоится, как-нибудь и где-нибудь похлопотать и за Готхольда Эфраима...

Но тот отказался.

— Давайте лучше оставим этот разговор, мой милый друг! Я пока совершенно не гожусь в святоши-проповедники. Мне претит поучать свысока, а сократовский метод совместных рассуждений у нас в стране не принят. Нам обоим это слишком хорошо известно.

Затем Лессинг повел друзей на прогулку по Брауншвейгу. Их тепло приняли у Эберта. Такая же встреча ожидала их у Цахариэ. То были для

всех чудесные дни.

Но тоска по детям очень скоро вынудила Еву Кёниг продолжить путь в Гамбург.

На устное прошение позволить ему сопровождать в почтовой карете до Гамбурга нуждавшуюся в его опеке госпожу Кёниг Лессинг получил при дворе отказ. Осознав, что он раб своей службы, Лессинг с горечью вернулся к вольфенбюттельским обязанностям.

Однако в первой половине августа Ева снова приехала в Брауншвейг и опять остановилась в «Розе», но пробыла лишь два дня, ибо направлялась в Вену, чтобы спасти для детей то, что там еще можно было спасти.

Обе мануфактуры, и по производству шелка, и по производству драпировок, свели баланс с дефицитом. Слишком много продукции было изготовлено и слишком мало продано. Она объяснила ему, что денег уже вложено много, но выручки пока нет, а кредит в имперской столице недешев.

А потому Ева Кёниг была полна опасений и сомнений, удастся ли ей очистить полки складов, обратить товары в деньги и расплатиться с немалыми долгами. При таких неблагоприятных обстоятельствах она и думать не могла о продаже фабрик, ибо хотела долго, постоянно, всю жизнь жить с детьми на этот доход.

То было странное свидание. Лессинг знал, что он не в силах оказать Еве никакой реальной помощи, что он не может предложить ей ничего, кроме утешения.

— А я так хотел бы вам помочь, так хотел бы...

Для продолжения путешествия она выбрала путь через Вольфенбюттель. Это позволило им провести вместе еще некоторое время.

— Итак, нам опять остается лишь писать друг другу письма, — печально произнес Лессинг, пока карета с грохотом проезжала вольфенбюттельские ворота, и крепко, словно прощаясь навсегда, сжал руку Евы.

— На днях вы говорили, будто я блестяще пишу письма — надеюсь, вы не смеялись надо мной, — заметила Ева. Разлука была уже близка.

— Ну что вы, разве я бы посмел, моя милая подруга! — Лессинг решительно отмел подобное подозрение. — Каждое ваше письмо — это свидетельство доверия.

— Теперь вы впали в чуждый вам комплиментарный тон. Он вам не к лицу, и я прошу вас: воздержимся от него. Давайте не будем лишать себя возможности всегда и без всяких комплиментов говорить друг другу правду.

— Правду, правду всегда и во всем, — пылко подтвердил Лессинг и в неожиданном страстном порыве крепко прижал Еву к себе.

Она взглянула на него с веселым изумлением.

Потом, когда кучер уже остановил было карету, Лессинг заметил, что его всегда разумная, рассудительная подруга, несмотря на утреннюю прохладу, не взяла с собой никакой теплой накидки — а ведь осень и зима были не за горами, — и ему удалось уговорить человека на козлах проехать еще немного до старого замка. Там он поспешно вынес свою теплую, мягкую шубу и дал ее Еве с собой в дальнюю дорогу.

Чуть позже посыльный принес ему траурное письмо. Брат Теофил сообщал о кончине отца. Ему стало вдвойне тяжело на душе, и он едва смог взять себя в руки и возобновить работу.

Понимая, что мать нуждается в помощи, он пообещал оплатить все расходы и все ее долги. «Иначе и быть не может, — писал он брату Теофилу, — долги наверняка есть. Я все их беру на себя и собираюсь их честно оплатить; но мне для этого нужно время. Напиши, какие гарантии от меня требуются... Главное, чтобы мать могла обрести полный покой».

Лессинг получил за целый квартал вперед свое библиотечарское жалованье, или «вознаграждение», как его было принято по-благородному именовать, — ведь все же он был высокообразованным рабом, — так что теперь ему нечего было ждать от герцогской казны. Зато из книгоиздательства в пользу сирот в Брауншвейге пришло подтверждение, что там готовы напечатать его научное исследование «Berengarius Turonensis»^[7], как только оно будет завершено. А это означало — работать! О поездке в Каменц, а тем более в Вену, нечего было и думать. Никогда еще необходимость писать, и писать ради денег, не казалась ему столь мучительной.

«Работа, приводящая меня в отчаяние» — так писал Лессинг Еве Кёниг.



В довершение всего в эти же дни в библиотеке объявился некий молодой человек, он пытался втянуть Лессинга в нескончаемые философские беседы и упрашивал высказать мнение о сочинениях, которые он написал и хотел посвятить Лессингу. Он занимал должность ассессора Вольфенбюттельской судебной палаты, а к тому же — и это, разумеется, особенно тревожило Лессинга — был сыном аббата

Иерузалема, который считался своим человеком при дворе и слыл воспитателем правящего наследного принца. Потому-то Лессинг поначалу не стремился к откровенным разговорам.

Ибо слишком легко, но порой не к месту и не вовремя воздаются нам хвалы.

Однако воля к познанию, чистые устремления разума, коими были проникнуты эти сочинения, тронули Лессинга. Сколь редко можно встретить дух трезвого размышления у чрезмерно восторженных современных юношей!

Ассессор Иерузалем, подобно Гердеру, принял участие в получившем к тому времени широкую известность конкурсе Берлинской академии на тему «О происхождении языка», представив сочинение, в котором пылко выступил против общепринятого богословского воззрения, будто язык первым людям дал господь, явив чудо. Такой подход не мог не понравиться Лессингу, и постепенно разговоры с молодым человеком превратились для него в любимое и желанное занятие.

II

В октябре, когда многоцветье бесчисленных фахверковых домов в Вольфенбюттеле совершенно затмилось многоцветьем бесчисленных кустов и деревьев на площадях и насыпях, возле замка и у библиотеки, в это чудесное время урожая, когда настает пора пожинать плоды своего усердия, не только появился из печати изящно изданный «Беренгарий», но, что немало удивило Лессинга, в библиотеке по поручению двора появился также камергер Иоганн Готтфрид Иозеф фон Кунтч. Лессинг получил приглашение пожаловать в назначенный день на обед к наследному принцу.

— Приглашение или приказание? — изумился он.

Камергер многозначительно усмехнулся, уклонившись таким образом от ответа. Гораздо охотнее он говорил о театре, еще охотнее — о труппе Аккермана и уж совсем охотно обсуждал ее молоденьких актрис:

— Разве не в том высшее назначение искусства, чтобы дать нам насладиться красивой фигурой, хорошеньким личиком, очаровательной

походкой, приятным голосом? Безусловно, это так! Даже знаменитейший критик наших дней — а ведь вас величают именно так — не может со мной в этом не согласиться!

Лицо Лессинга озарилось лукавой улыбкой, и морщинки разбежались лучиками вокруг глаз. О пламя, кто твой жар остудит! — подумал он. Всему городу было известно, что господин фон Кунтч с первого взгляда безнадежно влюбился в курносую Дортхен. Старик, несчастный Аккерман, уже трезвонил повсюду о своем знатном зяте и мечтал о новом расцвете своей труппы.

— И тот, кто слишком много обещает, и тот, кто слишком много ждет, сами себе вредят, — ответил Лессинг, стараясь не задеть самолюбие господина фон Кунтча.

Едва К. фон К. — Лессингу нравилось именовать камергера на такой укороченный манер — удалился, как тут очень кстати подвернулся ассессор Вильгельм Иерузалем, коему пришлось выслушать громкие упрёки в свой адрес. Уж не ему ли он обязан этой медвежьей услугой, — возмущался Лессинг.

Но молодой человек испуганно все отрицал. Он ни о чем не знал и не чувствует за собой никакой вины.

Злоумышленник обнаружился сам на следующий день. Это был старейший и самый преданный друг Лессинга — Мозес Мендельсон из Берлина.

Господин Мозес — таким образом Лессинг и его называл сокращенно — прибыл по приглашению наследного принца. Тот однажды уже принимал его, когда гостил у своего дяди в Сан-Суси, вступил с ним в беседу и уговорил в конце концов посетить Брауншвейг.

— Ах, хоть он и принц, но не принадлежит к этому типу людей, — мягко произнес коротышка Мозес, глядя на Лессинга большими темными глазами. Его скулы выступали еще сильнее, чем раньше. Господин Мозес был неизменно добродушным, всепонимающим и всепрощающим. Будучи одного возраста с Лессингом, даже того же года рождения, он всегда относился к нему по-отечески и умел остудить горячую голову разумным и точным советом или утешением.

— Это мы еще посмотрим, — сказал Лессинг, — к какому типу людей принадлежит на поверку наследный принц!

— Вам надо с ним поближе познакомиться, мой милый старый друг, — таким образом, было несложно догадаться, кому был обязан Лессинг приглашением на обед к принцу, — поговорите с ним, поправьте ваши запутанные дела — ведь так, кажется, вы писали вашему брату Карлу в Берлин.

— Наследный принц мне уже больше не станет помогать. Я на него не возлагаю никаких надежд, — скептически отозвался Лессинг. — Может, я не прав?

Коль скоро ему предстояло впредь добывать себе пропитание сочинительством, он весьма охотно избавился бы от непрошенного соавторства тайных советников, подвергавших придирчивой цензуре любое предназначенное для печати произведение. Взяв за образец получившие признание «Новые Бременские материалы», издаваемые его друзьями Эбертом и Цахариэ, а также Геллертом, Рабенером и Гертнером, Шлегелем-старшим и другими, он намеревался затеять издание так называемых «вольфенбюттельских материалов из сокровищ библиотеки». Тем самым он хотел осуществить объявленное, но давно забытое намерение «Бременских материалов»: незаметно, но настойчиво поучать и тем самым изменять окружающий мир.

Кроме того, у него имелись «Фрагменты безымянного» — так бы он их озаглавил — отрывки трактата в защиту рационалистического деизма, сочинения неслыханной взрывной силы, переданные ему в Гамбурге несколько лет назад дочерью покойного автора для опубликования при условии, что имя ее отца навсегда сохранится в тайне.

А что если с помощью принца удалось бы избавиться от обычной цензуры, не слишком при этом посвящая его самого в свои планы?...

Друзей принимали не в Брауншвейге, а в загородном дворце Вехельде, в часе езды от города, где в это время наследный принц держал свой двор. Присутствовал и Эберт.

Различие между жилым и заброшенным замком легко определить по запаху. В Вольфенбюттеле резко пахло гнилью и плесенью, как в тюремных подвалах. В Вехельде нежно благоухало амброй и амброзией, как в райских кущах.

Принц, которому его отец передоверил множество связанных с управлением обязанностей, занимал просторные светлые комнаты со

стенами различных, но неизменно пастельных тонов. Комнаты были украшены богатым золотым орнаментом, обрамлявшим высокие овальные зеркала, овальными панно с изображением трогательных или забавных галантных сцен, многократно отражающимися в зеркалах. Даже мебель, пастельных тонов и украшенная золотом, выглядела игриво.

Хрустальная люстра, словно сверкающая виноградная гроздь из бесчисленных, мастерски отполированных подвесок, свисала с потолка, подрагивая и позвякивая от каждого шага. Еле слышно тикали большие каминные часы, и Лессингу почудилось, будто они — в том же размеренном ритме — стуком выражают слащавость своего высокородного владельца: «...так-чудно, так-чудно, так-чудно...»

Появился принц. На нем была широкая лента и обрамленная золотым лучезарным венцом большая орденская звезда, пожалованная ему его дядей Фрицем. Словно бы он собирался позировать для портрета...

Но парик, хоть и новейшего фасона, с далеко оттопыренными буклями над ушами, так же плохо сочетался с вытянутым угловатым лицом князя, как и с на редкость тощим ликом секретаря фон Цихина.

Поначалу разговор касался малозначительных вещей. Затем все направились к столу. На первое был подан суп из ласточкиных гнезд, считающийся, как известно, деликатесом. Суп из ласточкиных гнезд? Затем слуги в ливреях внесли на серебряном подносе жареную индейку. Или фазана? А может, глухаря? Лессинг не слишком присматривался, потому что мысли его все еще занимал суп из ласточкиных гнезд.

И французское название красного вина тоже сразу вылетело у него из головы.

Что же осталось? Воспоминание о разговоре, который, как и многие благие начинания в этом герцогстве, возымел действие лишь годы спустя.

Наследный принц чрезвычайно благосклонно — он умел быть столь подчеркнуто обходительным, что Гёте впоследствии назвал его капканщиком, — осведомился о новой деятельности Лессинга. Вольфенбюттельский библиотекарь тут же протянул принцу свежееотпечатанный экземпляр своего исследования «Беренгарий Турский», а еще одну книгу передал для его отца, герцога Карла.

При этом он сказал, что его привлекла уникальность старой рукописи, а не собственно обсуждаемый предмет, ибо его излюбленные темы — все же литература и искусство и еще театр. Правда, чтобы написать этот научный трактат, ему пришлось пожертвовать целым летом и призвать на помощь все свое усердие. Но его вдохновляла мысль о том, что необычайно редкий — а возможно, даже единственный в мире — древний манускрипт принесет новую славу вверенной ему библиотеке. Теперь ученый мир узнал о разносторонности нового библиотекаря и смог оценить, что он блюдет не только и не столько свои интересы. А следовательно, к его познаниям будут относиться с должным доверием.

— Ради этого стоило стараться! — гордо провозгласил наследный принц, — конечно, мы всем покажем, чем богато наше герцогство! — Он поднял бокал и выпил за здоровье Лессинга.

Как хотелось Лессингу возразить! Не богатство князей занимало его. Он хотел нести людям знание, и посему он скороговоркой произнес, что осмеливается обратиться с предложением...

— Жалобы? — резко спросил наследный принц и повторил уже тише, но тем безразличным тоном, который выдавал привычную обыденность происходящего, — что, снова жалобы?

— Речь идет о некоем начинании, способном вызвать глубокое почтение к знаменитой библиотеке, — пояснил Лессинг и обрисовал возможность издавать время от времени вольфенбюттельские материалы — скажем, под названием «Источники по истории и литературе, из сокровищ герцогской библиотеки».

— Но? Ведь наверняка есть и какое-то но? — подозрительно произнес принц.

Лессинг без обиняков заявил, что он достаточно хорошо известей во всех немецких землях и там знают: он легко и охотно может обойтись без соавторства тайных советников.

— Вам что же, не нужны ничьи советы?

— Избавьте меня от ненужной опеки — это непереносимое условие успеха всего предприятия, — продолжал Лессинг; — ибо тот, кто не занимается изо дня в день вопросами, волнующими ученый мир, и кто не в состоянии постичь истинную ценность сокровищ библиотеки, тот своими советами и возражениями может лишь повредить делу. В этом со мной каждый согласится...

— А имеются ли в нашей библиотеке все еще неизвестные ценности, которые стоило бы открывать? — спросил принц.

— Да, — сказал Лессинг, а может, следовало ответить «нет»! Поди угадай, что лучше! К этому вопросу он был совершенно не готов.

— Примеры! — прервал его размышления голос принца, приведите примеры!

— Я отыскал в библиотеке до сих пор еще не опубликованное сочинение Лейбница об адских карах. Эта дискуссионная, служащая делу просвещения тема...

— Еще! — потребовал принц, ибо упоминание о вечных карах ему не понравилось, — еще! Что еще? — повторил он так, словно очень спешил.

— В Вольфенбюттеле имеются некие «Фрагменты» анонимного автора, остроумные рассуждения высокообразованного человека об истории книг Ветхого и Нового завета.

— А каково происхождение этих сочинений?

— В каждом из уже упомянутых случаев речь идет о библиотечных находках...

— И каковы ваши предположения относительно автора «Фрагментов»?

— Тут многие приходят на ум, Ваша светлость...

— Но ведь вы предполагаете, что речь идет о некоем совершенно конкретном человеке. Том или ином. Так кто же это?

— Я не могу сказать ничего определенного: все написано очень давно, бумага выгорела, чернила выцвели...

— Так кто все-таки? допытывался наследный принц.

— Строить здесь догадки — все равно что лгать! Но я не могу не учитывать, что, как я выяснил, двадцать лет назад в Вольфенбюттеле скончался автор вертгеймского комментария к Библии... Может принц клюнет на эту приманку, — подумал Лессинг.

— Я желаю прочитать «Фрагменты»! — За все лето принц ни единого разу не прибегнул к услугам своей библиотеки, а посему подобное требование насторожило бы и самого доверчивого простака. Лессинг тотчас догадался, что наследный принц пожелал заполучить «Фрагменты», чтобы передать их своим советникам. — Да, я хотел бы прочитать эти столь превозносимые вами «Фрагменты». Тогда я лучше смогу судить о деле.

Почти безотчетно Лессинг воспользовался учтивостью сиятельного хозяина замка. Бросив многозначительный взгляд на господина Мозеса, он вскричал с деланным испугом:

— Ах, я прямо-таки в полнейшем замешательстве! Я уже пообещал, рассчитывая заручиться на то соизволением Вашей светлости, дать «Фрагменты» для прочтения гостю Вашей светлости, нашему досточтимому другу Мендельсону, и теперь просто не знаю, как мне быть...

— Да, я в высшей мере в этом Заинтересован, — быстро проговорил господин Мозес.

— Правда, можно — мне сейчас это пришло в голову — разделить — опять же с соизволения Вашей светлости — «Фрагменты безымянного» на части... — предложил Лессинг.

Наследный принц энергично кивнул.

— Соломоново решение, — произнес Эберт с задумчивым видом.

— Сократово... — возразил Лессинг, и лукавая улыбка озарила его лицо, вокруг глаз лучиками разбежались морщинки.

Когда пришло время, он передал принцу безобидное предисловие, а господину Мозесу «Фрагменты» — и покончил с этим.

Позже, в ненавистном замке, Лессинг пришел к выводу, что ему, дабы не впасть в отчаяние, следует с большим юмором воспринимать все, что его здесь угнетало: неусыпную опеку, материальную нужду, одиночество, утрату поэтического вдохновения. Эту утрату он ощутил, перелистывая написанное ранее. Брат его Карл и берлинский книгоиздатель Фосс, которые благодаря предстоящей женитьбе Карла вскоре должны были породниться, настаивали, чтобы Лессинг собрал свои разрозненные работы лейпцигского, виттенбергского, берлинского, бреславльского, гамбургского периодов и издал у Фосса в виде «Разных сочинений», дабы несколько облегчить бремя своих долгов. Разбирая свои бумаги, он наткнулся на целую гору старых эпиграмм. Сколько остроумия, находчивости и глубокомыслия обнаружил он в этих миниатюрах! Сердце его наполнилось радостью.

Клопштока всяк горазд хвалить,
Читают же его едва ли!
Чем нас безмерно возносить,

Пусть бы прилежнее читали!

Неужели же он так и не научится хоть иногда относиться с юмором к своим здешним неурядицам?

Он решил проверить это на деле и написал рифмованный диалог между Хинцем и Кунцем:

Хинц: Что только у господ ни подают!
Аж птичьи гнезда, штука — целый капитал.
Кунц: Что? Гнезда? Тьфу! Ну а вот я слышал,
Иные, глядь, людей и земли жрут.
Хинц: Ах, кум, я верю — все бывает!
Ведь с гнезд они лишь начинают.

Затем Лессинг отправился в библиотеку — он был любитель рано вставать — и встретил там другого такого же жаворонка, молодого асессора Иерузалема. Тот захватил с собой свое новейшее исследование «О свободе воли». Лессинг стал читать, но иронический тон, который скрасил ему некогда холодное ноябрьское утро, показался теперь совершенно неуместным.

Вильгельм — так его теперь звал Лессинг — выждал, пока библиотекарь поднял голову, а затем спросил:

— Каково же ваше мнение?

— Несколькими словами тут не отделаешься, — возразил Лессинг. — Прежде всего: у вас есть определенная система. Ее можно выразить следующей тезой: «Я благодарю творца за то, что я *должен*, и должен творить *добро*».

— Подобно Лейбницу, я отвергаю произвольность поступков и верю в доброе предназначение человечества. Но я не называю в своей работе имени Лейбница, ибо выводы его философской системы подвергались столь резкой хуле.

— Я бы хотел, — тихо произнес Лессинг, — чтобы вы обратились и к другому, не менее ошельмованному голландскому философу, чье имя так ненавистно ортодоксам. Он учит: «Счастье не есть награда за добродетель, оно есть сама добродетель». Отсюда следует и ряд других выводов.

— С вашего позволения, — возразил Иерузалем, — я считаю систему Лейбница этически исчерпывающей и в смысле морали совершенно достаточной.

— Вполне, вполне, любезный друг Вильгельм. Мораль была бы удовлетворена. Но разве у вдумчивого читателя не найдется других возражений?

— Я ничего не понимаю. Какие возражения? Какие? Назовите же мне хоть один пример из жизни. Для обоснования любого спорного положения я всегда ищу последний довод среди обыденных явлений повседневной жизни.

— Будь по-вашему! Вот пример из обыденной жизни повседневного Вольфенбюттеля, — сказал Лессинг и скрестил руки на груди. Лицо его при этом оставалось бесстрастным. Познавший истину открыто высказывает ее не ради похвалы, награды или повышения по службе — но из потребности сказать правду.

Однажды утром крыши и ветви деревьев оказались укрыты снегом. Чирикание воробьев стихло, и лишь хриплое карканье больших черных ворон оглашало раскинувшуюся под окнами дворцовую площадь.

Близились зима, а Ева Кёниг все еще не вернулась из своего путешествия. Вильгельм, молодой ассессор, покинул Вольфенбюттель, чтобы сразу же, как он выразился, начать новую деятельность при имперском верховном суде в Ветцларе. Рукописи пяти его сочинений остались у Лессинга — больше ничего.

Так оборвалась и последняя беседа, которая еще заслуживала этого названия. Но Лессинг не был рожден для затворничества!

У него стал портиться характер. Он нуждался в постороннем ободрении и пытался в опустевшем доме найти живительные впечатления. Порой нам так не хватает этих внешних впечатлений, ибо самое драгоценное, самое человеческое хиреет в пещере отшельника.

Но тут он прослышал, будто в предместье живет некий метельщик, большой весельчак. Лессинг захотел нанести ему визит, а решительный человек быстро находит подходящий предлог. В большой безлюдной библиотеке, где прежде чем сесть читать, приходилось сметать пыль, всегда ощущалась нужда в разных вениках и метлах.

Итак, он отправился в предместье, и свежий снег, изменивший все привычное вокруг до неузнаваемости, отвлек путника от мрачных дум.

Может ли зрение обогнать мысль? Может ли ладья все же поставить мат королю? Лессинг вспомнил: наконец-то ему снова удалось поиграть в шахматы с господином Мозесом...

Деревянные ставни небольшого дома, который ему указали, даже среди бела дня были закрыты, ворота заперты на двойной засов.

Лессинг громко постучал. Вскоре он услышал шаги, и чей-то голос спросил:

— Кто там, человек или дух?

— Естественно, человек, — отозвался он.

— Это как раз совершенно неестественно, — произнес голос, и было слышно, как отодвигаются засовы на воротах.

Наружу выбрался невысокого роста бородатый мужчина в зеленом рабочем фартуке. Засученные рукава обнажали жилистые руки, испещренные многочисленными рубцами и шрамами.

— Неестественно? — переспросил Лессинг.

Мужчина завернул за угол своего дома, протянув руку, указал вдаль и произнес:

— Там, прямо на юг, расположен Блоксберг!

Лессинг увидел едва различимую в подернутой дымкой дали остроконечную вершину Брокена, которая то проступала отчетливее, то, казалось, совсем растворялась в тумане.

— Холодными ночами оттуда спускаются ведьмы и крадут мои метлы.

— Да вы же наверняка сами в это не верите!

— Что ж, мне хватает, что эту историю на разные лады обсуждают вольфенбюттельцы. Байка свидетельствует о ценности моих метел. Разве не так? Ведь что никуда не годится, того и красть никто не станет.

— И в подтверждение этой хитрой байки вы запираете ворота?

— Сразу видно нездешнего! Местные все знают, что мы испокон века входим в дом через огороженную заднюю дверь. Зимой там не так сильно сквозит и, даже если открыты ворота и дверь, ветер не задувает огонь.

Когда Лессинг сообщил, что прибыл из библиотеки, метельщик спросил, уж не является ли его гость известным поэтом.

— У нас тоже есть свои песни, у нас — метельщиков, — добавил он не без гордости.

Лессинг вошел в бедно обставленную комнату, служившую одновременно и мастерской. Сидевшие там женщина и девочка брали охапки хвороста и с помощью ивовых прутьев вязали из них метлы. Однако мужчина, видимо, был не совсем доволен их работой, поскольку сам все время что-то поправлял.

— А известно ли, — спросил он с вызовом, — как увяз в долгах наш хозяин, старый герцог?

Лессинг был озадачен и стал возражать. Он считал это пустой болтовней, ибо иначе ему бы об этом обязательно рассказал Эберт.

— Старый герцог Карл обожает придворную роскошь и ослепительные праздники, да и азартные игры тоже. Поговаривают, что ростовщикам и чужим князьям не уплачено долгов на пять миллионов талеров. Теперь наследный принц наведет порядок.

Лессинг почувствовал себя обманутым.

Этот человек ничуть не походил на весельчака. Может быть, ему для его шуток требовались подходящие партнеры?

Он уже решил было, что весь свой путь проделал впустую, но тут ему пришло в голову поинтересоваться песнями метельщиков. Некоторые из его друзей — вроде Николаи, Глейма или Рамлера и особенно Гердера — собирали старые песни.

Метельщик не стал ломаться. Хриплым неумелым голосом он спел одну печальную и одну шуточную песню в обычной манере метельщиков. Последнюю песню, лихую, отчаянную, грубовато-озорную, Лессинг записал к себе в книжицу, ибо счел, что она одна куда лучше, чем вся новая поэзия с ее анакреонтическим жеманством.

Когда в кармане денег нет и не на что поддать,
За прутьями иду я в лес, чтоб веники вязать,
Потом по улицам брожу, стараясь их продать,
«Купите веники! — кричу, — и не забудьте дать
Побольше денег мне, чтоб я скорее мог поддать!»

Позднее он вспомнил об этой песне и отослал ее с письмом своему старинному другу Николаи в Берлин, ибо его друзья жили повсюду, только не в Вольфенбюттеле.

«Чего стоят все новые застольные песни рядом с этой старой?» — написал он Николаи и наставительно, добавил, что если у народа много

таких песен, то об их сбережении необходимо позаботиться.

Последнее замечание было направлено против насмешек Николаи, ибо этот простодушный человек, к сожалению, все еще путал народ с чернью. Судя по всему, берлинские друзья никак не могли разобраться с противоречием: почему они живут под самым жестоким гнетом в Европе и имеют при этом так называемого «просвещенного» монарха. Это обстоятельство не позволяло им, и милейшему господину Мозесу в том числе, стать боевыми союзниками. Тот, с костылем, всех их водил за нос!

Берлинским просветителям не хватало последовательности. Они так и не смогли найти архимедову точку опоры...

— Что за омерзительная погода сегодня здесь, в окрестностях Блоксберга! — воскликнул Лессинг однажды утром.

Он понял, что суровая зима с туманами, морозами и сильными ветрами сделает его затворническую жизнь в замке совершенно невыносимой. Его шуба находилась все еще в Вене. Предложение Евы, чтобы он обзавелся новой за ее счет, было не только неприемлемым, но и невыполнимым, ибо с пустым кошельком решительно ничего не купишь.

И все же раздражение, испытанное им при виде грозовых облаков над Блоксбергом, было лишь проявлением общего недовольства. Если он сидел в библиотеке, то даже книжная пыль начинала постепенно действовать ему на нервы. Если он получал письмо из Вены и ощущал в каждой строчке подавленность любимой подруги, узнавал, что, стоило с ней кому-нибудь хотя бы заговорить, как на глаза у нее наворачивались слезы, что она упала в обморок, что у нее была горячка и про прочие подобные проявления ее душевного состояния, то вся эта жизнь начинала казаться ему такой невыносимо тоскливой...

А хуже всего была та похвала, которой удостоился «Беренгарий». Даже друзья приняли за чистую монету выдвинутое Лессингом в целях самозащиты утверждение, будто Беренгарово учение о святом причастии сходно с таковым Лютера. И ортодоксальные теологи, так называемые ученые мужи, коим уже воистину следовало бы в этом досконально разбираться, одним жульническим приемом умудрились скрыть временное расхождение в пятьсот лет и выдавали его «реабилитацию» Беренгара за «апологию» лютеранства. Одним

росчерком пера отважного еретика и бунтаря XI века превратили в реформатора-буквоеда, словно Беренгар призван был послужить доводом против Цвингли в пользу Лютера. Sancta simplicitas!^[8] А сам он в качестве автора «реабилитации» удостоился теперь за брошенный им вызов оскорбительных поздравлений.

Но самое неприятное случилось напоследок. Старый герцог Карл, которому тем временем тоже передали сочинение, похвалил усердие «своего» библиотекаря и тотчас возложил на него с полдюжины поручений. То Лессингу надлежало составить каталоги на имеющиеся в библиотеке ценные дубликаты, то отобрать из княжеского собрания гравюр рисунки именитых мастеров, пока в конце концов от него не потребовалось даже удостоверить подлинность «римского светильника» — бронзовой фигурки сатира со светильником в руке, — который герцог Карл распорядился купить в Гамбурге и на котором, несмотря на его предположительный возраст, не было и следа патины.

Тут Лессинг не смог удержаться от легкой иронии. Прежде всего он назвал некоторые научные труды с описанием античных изделий из бронзы, но старик вряд ли стал бы их читать. Затем он высказался уже более определенно, заявив, что сей старый предмет «вряд ли может быть очень древнего происхождения», и наконец дал понять, что, если ищешь патину, то, безусловно, не следует покупать римский светильник в Гамбурге. Герцогу предоставлялась возможность думать, что прежний владелец светильника жил в городе, «где все скребут и чистят: от любой деревяшки во дворе до предметов старины в кабинете».

Поразмыслив о своих делах, Лессинг почувствовал себя обманутым. Ведь поначалу предполагалось, что в Вольфенбюттеле ему будет уютно и он сможет использовать библиотеку «как ученый». В действительности же использовали его самого, и даже отпуск ему приходилось испрашивать...

— Уж лучше было идти просить милостыню, чем позволить так с собой обращаться! — вскричал он в гневе.

Но гордость его не была сломлена, и он, наперекор всему, решил писать трагедию против тирании. Он долго раздумывал и мысленно довел противоречие между господином и слугой до самой последней непримиримой черты: с одной стороны — тиран, с другой — бесправные рабы. Его героем был Спартак!

Лессинг поспешно набросал несколько сцен своей драмы о Спартаке, выразив, пафос трагедии в следующей сентенции: «Разве не должен человек стыдиться такой свободы, которая требует, чтобы другие люди были его рабами?»

Но вскоре он почувствовал, что в этом холоде и одиночестве ему не достанет сил, чтобы создать большую трагедию. Поначалу все кажется легко. Но об источниках приходится только мечтать. Да ведь и водный поток иссякает, если время от времени то тут, то там его не питают бесчисленные притоки.

Спустя несколько дней Лессинг отложил работу. Он мерил комнату шагами, смеялся так мрачно, что каждый, знавший его в прежние счастливые дни, ужаснулся бы этой перемене, и думал насмешливо и презрительно: «Ну, герцог, берегись! Вот какое действие оказывают „римские светильники“ на человека, который не привык давать себя в обиду. Как бы между нами не возник разлад куда более серьезный!»

Едва наступил январь, он тут же взял свое вознаграждение за новый квартал и послал двадцать пять талеров матери в Каменц, ибо кредиторы покойного отца донимали старую женщину самым недостойным образом.

III

В последующие дни этого лютого января ветер со свистом проносился по коридорам пустого замка, но установить, где он проникал, так и не удалось. Ночной порой, в той крошечной тьме, что окружала Лессинга, это завывание особенно надрывало душу, а мороз свирепствовал так, что невозможно было подойти к окну.

От господина Мозеса из Берлина пришло письмо, в котором он предостерегал от публикации «Фрагментов безымянного». «Кое в чем, — так выразился Мендельсон с присущей ему осторожностью, — господин автор, „безымянный“, не совсем прав». Старая песня милейшего господина Мозеса! Осмотрительность, осмотрительность! — Лессингу она была хорошо знакома...

И вот теперь ночами он подолгу лежал без сна в полнейшей нерешительности — такого с ним никогда раньше не бывало. «Я здесь живу так, — написал он Еве Кёниг, — что люди удивляются больше

тому, как это я еще не умер от скуки и отвращения, чем удивились бы, узнай они, что я действительно умер». Но тут же, спохватившись, что эти слова напугают ее, он поспешил добавить к горькой правде каплю сладкой лжи: «Разумеется, это особое искусство — уговорить себя самого в том, что ты счастлив; но и какое счастье есть нечто большее, чем наше самовнушение?» Когда же, наконец, человек — да и все человечество — обретут способность внимать правде, не нуждаясь в утешении?

Когда стоял снег, когда первая весенняя зелень украсила березы, возвратилась из Вены Ева, и Лессинг, вне себя от счастья, встретил ее как самую любимую, близкую, единственную подругу. Они чудесно провели вдвоем несколько дней.

Наконец-то он смог ей все сказать, наконец-то он смог ее обо всем расспросить, а прощаясь — дети и обязанности призывали ее в Гамбург, и снова он не имел права ее сопровождать — он задержал ее руки в своих и напоследок еще раз повторил, что он любит ее больше всего на свете, ценит ее превыше всего и что для него не будет больше счастья в жизни, если он не сможет разделить его с ней, с Евой...

Он ждал, но она странно медлила с ответом. Слишком многое еще не решено, да и ведь им предстоит теперь уже совсем скоро, этим же летом, встретиться в Гамбурге.

Тут он вспылал, но сразу же раскаялся, ибо умудрился сгоряча заявить, чтобы она, если надумает ему написать, дала ответ только на один вопрос.

— Только на один?

Почталион протрубил в рожок, крикнул: «Но! Пошла!», — и громоподобное колес по мощеной дороге у заставы, щелканье кнута, увеличивающееся расстояние лишали смысла любой ответ. Да и кому придет в голову кричать о своей любви вдогонку удаляющемуся экипажу?

Четыре недели Лессинг ходил молчаливый и подавленный. Потом силы совсем оставили его.

То была необычная, абсолютно необъяснимая болезнь: он чувствовал себя совершенно не в состоянии написать хотя бы строчку. Едва он брался за перо, как на лбу проступал холодный пот. Он вставал, шел неверными шагами к окну, распахивал его и жадно глотал воздух. Становилось чуть полегче. Но писать он не мог. Какая ужасная мука

для человека пера! Ему казалось, будто он лишился всех своих мыслей. Так продолжалось добрых шесть недель...

Врач приписал эту болезнь его изменившемуся, слишком вялому образу жизни: ведь тот Лессинг, которого в немецких землях прекрасно знал (или думал, что знает) каждый читатель, это же был совсем другой, энергичный, деятельный человек. Когда доктор прослышал о предполагавшейся поездке в Гамбург, он счел это путешествие единственным верным лекарством.

В конце июля после длившегося не одну неделю мучительного молчания, Лессингу удалось написать Еве девять фраз. На это ушли полчаса, показавшиеся ему бесконечными. Затем ему сразу же пришлось встать и подойти к окну, чтобы отдышаться.

Потребовались часы и дни, прежде чем он нашел в себе силы дать подруге отчет о своем необычном заболевании. Все время приходилось делать долгие перерывы. «Было бы неудивительно, если бы я и вовсе потерял терпение».

Письмо было отправлено через пять дней.

Что только ни мешало Лессингу в это лето испросить себе отпуск и уехать в Гамбург! Сперва пришлось выполнить поручение двора и провести по вольфенбюттельской библиотеке герцогиню Анну Амалию Веймарскую. Вопросы, которые она задавала, впрочем, приятно отличались от тех, на которые ему обычно приходилось отвечать в подобных обстоятельствах.

Затем он был вынужден дожидаться начала лета 1771 года, чтобы лично получить свое вознаграждение, ибо он хотел тотчас послать пятьдесят талеров в Каменц матери, не знавшей, как противостоять грубости кредиторов.

После этого старый герцог Карл удостоил его, наконец, аудиенции.

Сей герцог во всех отношениях был, выражаясь библиотечарским языком, «более ранним изданием» наследного принца и посему несколько больше выцвел и несколько хуже сохранился. Самую характерную, подлинную его суть, по-видимому, составляла отвратительная, жабя ухмылка, издевка, которую он пускал в ход при каждом удобном случае и которая наводила ужас на его придворных.

И здесь он сразу же попытался повернуть дело так, словно речь шла о разных женщинах — Лессинговой «Еве» и Лессинговой «Кёниг»:

— «Глядите-ка, он высоко метит: королева!»^[9] — стал ему выговаривать за то, что он, совершенно очевидно, собирается в Гамбург ради того, чтобы повидать двух девок, назвал его бабником и пристыдил за подобные слабости. — Этого ему только не хватало! Во время аудиенции Лессинг явственно ощутил, какое действие оказал на других его разговор с герцогиней Веймарской: ибо с благосклоннейшей снисходительностью Карл Брауншвейгский сообщил ему, что Ее Королевское Высочество, его супруга — герцогиня королевской крови приходилась сестрой прусскому королю — очень удивлена, почему это Лессинг до сих пор не нашел времени, чтобы написать новую трагедию и для здешнего — точно подмечено: здешнего! — придворного театра.

Этого еще недоставало! — подумал Лессинг и сказал, что даже желая верноподданнейше прислушаться к этому совету, он не может не принимать во внимание, что писать настоящие трагедии — занятие, безусловно, не для всякого, и автор должен быть готов к неприятностям.

— Только не у нас, не в Брауншвейге! Тут вы заблуждаетесь, дорогой мой господин Лессинг!

В конце концов отпуск ему был предоставлен. Но едва он откланялся и дошел до порога, как был вынужден снова вернуться, и старик принялся ему настоятельно внушать, что он у герцогства в долгу и не смеет оставаться в Гамбурге...

Секретарь фон Цихин стал этим летом все чаще появляться у Лессинга и горько жаловаться на строптивного библиотечного служителя Хельма. Когда он заявил, будто Хельм стащил у него булку и «сожрал» ее на его глазах, Лессинг к этому еще отнесся с юмором. Но когда на следующий день фон Цихин, кипя от возмущения, сообщил, что Хельм оскорбил его, крикнув вслед: «Эй, черноризец!», Лессинг понял, в чем дело. Это ведь касалось и его самого: шаткость положения, длящаяся всю жизнь призрачная надежда на то, что книги его прокормят, порождали чрезмерную ранимость.

Фон Цихин был, по всей видимости, незаконнорожденным отпрыском некоего важного вельможи, ибо он, подобно сироте, воспитывался в монастыре. Для него уже то было счастьем, что ему дозволили в конце концов сбросить рясу и что ему удалось устроиться в вольфенбюттельскую библиотеку.

Но Лессинг, помятуя о строптивости, выказанной поначалу секретарем, до сих пор слишком явно ограничивал его права, так что библиотечный служитель Хельм во время одной из ссор осмелился заявить, будто только «его господин Лессинг» может ему указывать, где следует сметать пыль. — Этак, пожалуй, он застанет в библиотеке по своем возвращении из Гамбурга хорошенькие порядки!

Он счел за благо немедленно внести в дело ясность и решительно поговорил с Хельмом. Затем он возложил на секретаря фон Цихина все полномочия и всю ответственность не только на время своего отсутствия, но и на будущее.

Лессинг давно уже хотел сбросить с плеч изрядную часть каждодневной библиотечной рутины, чтобы высвободить больше времени для собственной научной и прочей работы.

Так что и этот вопрос был своевременно улажен.

В радужном настроении он поехал в резиденцию, чтобы оттуда на следующий день в новой почтовой карете отправиться через Ганновер в Целле и Гамбург. Но его перехватил Эберт.

Он сообщил, что наследный принц пожелал лицезреть Лессинга в своем загородном замке Вехельде.

— Так я в отпуске или нет?

— Приходится подчиняться, дорогой друг!

— Будь я тем отчаянным молодым человеком, каким был когда-то, я бы разорвал эти путы раз и навсегда...

Эберт вызвался поехать в Вехельде вместе с Лессингом. По-видимому, он опасался несдержанности своего друга.

Они собирались уже переступить порог замка, но их опередил какой-то жизнерадостный придворный вельможа. Острый взгляд Лессинга успел заметить и улыбку, и даже болтающийся на ленте орден, хотя мужчина в отливающем серебром камзоле обернулся к нему лишь на мгновение. На придворном была богато украшенная треуголка, которую он носил с таким вызывающим высокомерием, что трудно было удержаться от улыбки. Один угол он надвинул на левую бровь.

Когда он поднимался по лестнице, у него слегка подогнулись колени, но он остановился и удержал равновесие, не касаясь перил.

— В этакую рань — и уже навеселе!

— Так или иначе, он может себе это позволить, — прошептал Эберт. — Синьор Никколини. Он ведает в герцогстве придворными увеселениями. К тому же он именует себя — это вас должно заинтересовать — «директором театра», хотя в Брауншвейге и нет постоянной труппы. Но, в действительности же это главный сводник при дворе.

— Как мой Маринелли, — заметил Лессинг.

Эберт его не понял.

— Главный сводник моего принца, — пояснил Лессинг.

Но Эберт как будто не заметил, что речь идет о литературе.

— Герцог, — заявил он, — выплачивает Никколини ежегодное вознаграждение в тридцать тысяч талеров.

— Тридцать тысяч! — Они уже опять говорили о том же человеке.

— Тридцать тысяч из года в год! — снова повторил Лессинг. Чтобы получить от герцога такую сумму, — пронеслось у него в голове, — ему бы пришлось проторчать Среди древних фолиантов пятьдесят лет. — Абсурд! — раздраженно произнес он.

Наследный принц принял обоих в своем просторном кабинете. Сначала он побеседовал с Эбертом, затем возвратил Лессингу предисловие к «Фрагментам безымянного», произнеся при этом несколько ничего не значащих фраз, но все это было лишь предлогом, чтобы заявить ему, что библиотека находится на его, принца, попечении и что, следовательно, отпуск следовало испрашивать у него.

Но и Лессингу нашлось, что ответить принцу. Он сообщил, что получает из Лейпцига, Берлина и других мест предложения издать его сочинения без «обычной цензуры». Единственное: он хотел бы, чтобы эта заслуга принадлежала в первую очередь тому герцогству, в котором он живет и работает...

Принц принялся обсуждать этот вопрос и возразил, ему-де нужна полная гарантия того, что библиотекарь не напечатает ничего, порочащего религию и добрые нравы. Ну да ладно, ну хорошо, он подумает! Ему, Лессингу, следует тогда подать свое, верноподданнейшее прошение герцогу Карлу в Брауншвейг.

Затем библиотекаря Лессинга пожелал видеть старый герцог Фердинанд — дядя наследного принца, — которому, собственно, принадлежало Вехельде. По дороге из покоев одного монарха в покои

другого Эберту пришлось выслушать от Лессинга немало горьких слов...

Когда они наконец покинули замок, Лессинг произнес:

— Ну как тут не задуматься над древней мудростью: никто не может служить двум господам!

Но Эберт считал более уместным задуматься над тем, что может больше опорочить религию и добрые нравы: слово или дело. Перед замком стояла коляска графини Бранкони. Лессинг уже хорошо знал все эти истории: наследный принц привез графиню Бранкони несколько лет назад из поездки по Италии. Теперь — таково было общее мнение — он был бы весьма не прочь втихомолку отделаться от этой метрессы, обходившейся ему ежегодно в шестьдесят тысяч талеров. Ибо, помимо различных «актрис», поставляемых «директором театра», была еще фрейлина фон Хартенфельс, к которой он благоволил... И, кроме того, наследный принц Карл Вильгельм Фердинанд был женат на английской принцессе...

Почти незаметно начал накрапывать мелкий дождь и зарядил на несколько дней. Вот так случилось, что Лессинг выбрал кратчайший путь — старый тракт через Целле на Гамбург — и ехал по обширной равнине вяло и совершенно безучастно. С берез стекали потоки воды, и над широкой степью висела туманно-серая пелена дождя.

Ева встретила его в окружении детей, и потому была сдержаннее, чем обычно. Энгельберт и Фриц, казалось, совсем не помнили его, да и не удивительно: Энгельберту было всего шесть лет, а Фрицу не исполнилось и трех. Зато Амалия, Мальхен, даже побледнела от радости и возбуждения.

Церемонно поздоровавшись, девчушка — ей было лет десять, а может и одиннадцать, — тотчас вышла из этой роли и спросила:

— А можно, я сварю вам завтра чечевицу?

Этот вопрос растрогал Лессинга, ибо он всегда называл чечевицу своим любимым блюдом.

— Я думаю, Мальхен, мы сварим ее вместе, — ласково ответил он, и эта «возня» вокруг чечевицы стала для всех на следующий день чудесной забавой.

— Сперва ты должна чечевицу помыть, — напомнил он.

— Так тянет отведасть — не знаю, как быть, — со смехом ответила Мальхен.

— Как? Ты рифмуешь? — поразился он.

Когда она положила чечевицу в кастрюлю и добавила туда воды и приправ, он поднял палец на манер школьного учителя:

— Чечевица должна долго вариться!

— Недель пять или десять — годится? — опять в рифму ответила малышка.

Тут Лессинг понял, что не приготовление похлебки, а сочинение рифм было самым привлекательным в этом совместном занятии, и с радостью подхватил игру:

— Ну-ка, луку настрогаем!

Слезы льются, мы страдаем!

Стоит ли говорить, что каждый из детей захотел резать лук до тех пор, пока из глаз не потекли слезы.

Наконец Ева спросила:

— А соль вы не забыли в суп добавить?

— Пора уже на стол тарелки ставить! — бодро отозвалась Мальхен.

Но хозяйка заставила нетерпеливых рифмоплетов еще некоторое время подождать. Сначала следовало поджарить на масле ломтики белого хлеба, потом надо было приготовить ржаную «подболтку», потом то, потом это... В конце концов лишь у Мальхен хватило терпения дожидаться, пока накроют на стол.

Когда вечером в доверительной беседе Лессинг заговорил о счастливой семье, одаренных, столь очаровательно непосредственных детях, Ева стала вдруг робкой и нерешительной. Она сказала, что никак не может забыть одно переживание, связанное с ее путешествием, и что эта картина людских страданий ее страшит.

— Дело было в Баварии между Мюнхеном и Аугсбургом, на сельской почтовой станции, — рассказывала Ева. — Кучер переменял лошадей. Я тем временем выбралась из кареты, чтобы немного размять ноги. Неожиданно меня обступили нищие — человек восемьдесят, а то и больше. Все произошло очень быстро. Эти оборванцы взяли меня в кольцо и с угрожающим видом стали требовать «милосердного подаяния». Я тут же сообразила, что слишком большое число нуждающихся делало любую милостыню бессмысленной. Наконец,

почталион обратил на меня внимание, подбежал и со злобным выражением лица принялся угрожающе размахивать кнутом. Только тогда эти несчастные горемыки отстали от меня. Вся дрожа, я добралась до кареты, и кучер поспешно поехал прочь, словно спасаясь от погони. — Это произошло в убогой деревушке, — добавила Ева, — можете себе представить, как обстоит дело в городах. В Мюнхене целые семьи преследуют приезжих по пятам и громко жалуются на свою судьбу, крича при этом, что нельзя же их вот так оставлять подыхать с голоду.

С тех пор меня охватывает страх, когда я думаю о своих детях. Что с ними будет? — продолжала Ева. — Вести из Вены неутешительны. В письмах оттуда сообщается, что иноверцам собираются запретить держать мануфактуры и магазины.

Ева сообщила, что истово религиозная императрица Мария Терезия повсеместно вербует новообращенных и уже предложила ей сменить веру. Если ущемление прав «иноверцев» станет законом, ей придется отдать свои венские мануфактуры ни за грош и остаться с детьми без средств к существованию, как те нищие у дороги.

— Я не могу побороть свой страх. Как мне выбраться из этого лабиринта? Я готова жить в самом жалком захолустье на хлебе и воде, лишь бы только спастись от этих бед.

Никогда еще он не видел ее такой растерянной. Тогда он взял ее за руку и успокаивающе произнес:

— Вы сделали все необходимое и дальше будете вести дела столь же разумно. Пусть вам послужит утешением, что во всех этих несчастьях нет вашей вины. Будьте веселы, будьте здоровы. Сохраните для ваших детей то, что удастся сохранить, уступите без отчаяния то, что придется уступить, а все остальное спокойно предоставьте времени. Я со своей стороны буду стараться укрепить мое материальное положение — в моем усердии можете не сомневаться — и тогда, любовь моя, вы дадите мне слово и не станете отговорками лишать меня надежды. Коль вы готовы скорее жить в самом глухом захолустье на хлебе и воде, чем пребывать в вашем теперешнем смятении, то Вольфенбюттель — именно такое захолустье, а воды и хлеба, да, глядишь, и с маслом, нам уж как-нибудь хватит...

В тот же вечер в полном одиночестве при свечах они отметили бокалом вина свою помолвку.

— Как я была бы счастлива, если бы оказалась уже в вашем Вольфенбюттеле. И если бы я смогла, наконец, постоянно, изо дня в день, быть с вами!

Не желая, чтобы ему напоминали о его потерпевших крах начинаниях на благо «просвещенной» нации, Лессинг наносил в Гамбурге мало визитов. Он также хорошо помнил те горькие строки, которые посвятил гамбуржцам, своим гамбуржцам, от которых он — при том, что они жили в вольном ганзейском городе — ожидал по меньшей мере бюргерской добродетели; ибо чего стоят бюргерские честь и достоинство в немецких королевствах, графствах, герцогствах — это он знал достаточно хорошо.

Но если сам Лессинг избегал посещать знакомых, то его все чаще отыскивали в доме Евы. Весть о его пребывании распространилась чрезвычайно быстро, особенно среди приятельниц Евы. Чаше других приходили монетчик Кнорре и его жена. Этого гамбургского монетчика в кругу друзей Евы издавна именовали кузенком, хотя точнее было бы звать его кумом; ибо так же, как Лессинг над Фрицем, Кнорре взял опеку над Энгельбертом, не будучи в кровном родстве с семьей.

Кузен был человек противоречивый: смешливый, но обидчивый; всех высмеивающий, однако пекущийся о собственном достоинстве: скуповатый — и при этом азартно участвующий во всех лотереях; часто злопамятный, еще чаще эгоистичный — и тем не менее способный на неожиданное примирение и даже великодушную помощь. У него часто менялись привязанности и антипатии. Только Ева и Лессинг умели поддерживать с ним ровные отношения.

Когда Лессинг объявил, что теперь он хотел бы еще разок послушать, как бушует его «достопочтенный Гёце», — ибо они были знакомы и относились друг к другу с уважением, — а Ева возразила, она-де очень этим удивлена, поскольку Гёце столь неблагоприятно обошелся со своим собратом, «достопочтенным Альберти», и когда Лессинг, в свою очередь, ответил, что эти петухи из собора Святой Катарины вечно так верещат и дерутся, что только перья летят, — Кнорре тут же взял шляпу и заявил:

— Я иду с вами! — И с хитрым видом добавил: — С тех пор, как у нас в Гамбурге нет больше театра, я редко отказываю себе в удовольствии послушать, как мечет громы и молнии этот гамбургский

Абрахам à Санта Клара. И посмотреть тоже — это, скажу я вам, зрелище. Каждый день — напоминания о чистилище, каждый день — проклятия и призывы к покаянию. Как, наверное, должно злить такого человека, что он не может предать проклятию весь мир, что магистрат нашего города Гамбурга, живущего мировой торговлей, запретил ему деление на козлиц и агнцев, этих «Спаси народ Твой...» — с одной стороны, и «Пролей гнев Твой на народы, которые не знают Тебя, и на царства, которые имени Твоего не призывают» — с другой... Меня лишь удивляет, что такой начитанный человек, как Гёце, никак не хочет понять, что он, со своими злобными речами и своими яростными, нередко доморощенными псалмами, опоздал, по крайней мере, на несколько столетий...

— Таков удел всех эпигонов, дорогой кузен!

Перед входом в собор Святой Катарины босоногие и не слишком умытые мальчишки-нищие продавали различные полемические сочинения обер-пастора Гёце. Этот миляга, собственно говоря, никогда не отличался разборчивостью в средствах, но здесь — что было особенно забавно — все торговцы брошюрами старались переорать друг друга, и притом каждый делал это во славу его, Гёце, имени.

— Трактат против дворцов и театра! — выкрикнул один из мальчишек явно заученный текст и, стараясь привлечь к себе внимание, принялся энергично размахивать своей листовкой. Но Лессинг прошел мимо. Пасквиль был не нов. Он уже читал его, и ему там тоже, как любили выражаться в его родной Саксонии, достался «жирный кус», но он не чувствовал себя уязвленным. Обер-пастор считал сцену «кафедрой дьявола». Что можно было на это возразить? Кто, как не «старейшина» всех гамбургских священников — в том, что он им больше уже не являлся, ему следовало винить не Альберти, а себя самого, — так вот, кто другой, как не почтенный обер-пастор Гёце, мог знать, имеет ли дьявол в Гамбурге кафедру, кто ему ее предоставил и как он ее использовал...

— Самый новый, только что из типографии, трактат о 6-м стихе 79-го псалма покаяния! Сочинения обер-пастора Гёце против пастора собора Святой Катарины Альберти! — проорал в самое ухо Лессингу здоровенный парень, стоявший по правую руку от входа, и сунул памфлет ему под нос.

«Истинное толкование текстов Асафа» — гласило название. Лессинг протянул затребовавший шиллинг и, уже держа в руках несброшюрованные оттиски, рассмеялся:

— Что же ты продал мне в придачу к этому пасквилю еще и отпечаток своего большого пальца!

Конечно, они опоздали. Гёце объявил, что собирается произнести проповедь на текст: «Горе тому человеку, через которого соблазн приходит!» Ожидалось, что он станет перемывать грязное белье, и посему в соборе Святой Катарины не было ни одного свободного места.

Лессинг сидел за колонной, откуда ему была видна лишь половина кафедры. Однако когда Гёце начал свое воскресное наставление, но заговорил не об ожесточенном споре с пастором Альберти, как все того ожидали, а помянул пятнадцатую годовщину того дня, когда Лиссабон «был стерт с лица земли и уничтожен самым ужасным землетрясением, какое только помнило человечество», Лессинг вытянул шею.

Гёце стоял, словно отлитый из бронзы. Его облачение ниспадало тяжелыми вертикальными складками. На нем был старомодный, туго завитой парик, спускавшийся на плечи, а шею стягивал смахивающий на мельничный жернов, традиционный, в бесчисленных складках плоеный воротник, какие, вероятно, носили лет сто назад. Суровая архаичная фигура, лицо без тени улыбки — вот что было в нем самым примечательным. Обращаясь к своим прихожанам, Гёце не воздевал руки, как другие священники, а потрясал сжатыми кулаками. Средневековый проповедник покаяния!

Впрочем, прошло совсем немного времени, и порочный Лиссабон сменился таким же Гамбургом. Тут Гёце прорвало, тут он заговорил каленым языком, и слова его были подобны огню и мечу, они жгли каждое сердце, пронзали каждую душу, и если кто из сидящих под этими высокими гулками сводами был малость боязлив, того такая мощь красноречия пробирала до печенок.

— О Гамбург! — выкрикивал Гёце, — и для тебя у Господа найдутся плети, вражеские полчища и геенна огненная, землетрясения, наводнения и тысяча других средств, дабы покарать тебя! Дабы погубить тебя! Дабы уничтожить тебя, превратить в Адму и Цевоим...

Затем он запел сам и заставил прихожан петь покаянный псалом — конечно же, из той пресловутой древней гамбургской книги псалмов, которая вызывала столько негодования и возмущения, но которой он,

несмотря ни на что, иступленно придерживался. «Будь ад тебе награда!» — затянул он.

Будь ад тебе награда
За жизнь средь лжи и смрада!
Спознавшись с сатаной,
Ты, извиваясь в корчах,
Захлебываясь желчью,
Жрать будешь кал и пить мочу и гной!

Тут уж все почувствовали крайнее омерзение: одни — к греху, неизбежно ведущему в преисподнюю, другие к стихам, которые все еще продолжали звучать.

Когда же всех наконец охватили должны смятение и ужас, Гёце воздел к небу обе руки и выкрикнул напоследок свое «Аминь! Аминь! Аминь!», энергично взмахнув при этом сжатыми кулаками. Помощник органиста нажал на педали. Кантор включил нижний регистр своего органа, так что басовые раскаты, как осязаемое воплощение ужаса, сопровождали прихожан до самого выхода из собора, а кое-кого преследовали потом и во сне.

Лессинг чувствовал себя задетым за живое, но по-другому, не так, как его спутник, который смеялся, иронизировал и все не мог забыть «смрад» и «корчи» псалма. Он поспешно распрощался с Кнорре и пошел прочь, широкими шагами миновал несколько переулков, поворачивая всякий раз за угол, когда переулок кончался, огибая защитные тумбы, установленные здесь перед каждым выступом стены, он шагал без усталости все дальше, размышляя, непрерывно размышляя, подошел к кирпичным стенам какого-то внушительного здания и вдруг обнаружил, что вновь стоит перед собором Святой Катарины. Круг замкнулся. Он бродил по Гамбургу, словно в поисках чего-то, да он и был в поиске, больше чем когда-либо.

Да, Гёце был прав, хоть это и может показаться странным, — решил Лессинг. Ведь он и сам некогда по-своему читал нравоучения этим бездуховным гамбуржцам, до него то же делала госпожа Нойбер, да и другие. Но средства, которыми пользовался Гёце, были неверными

и не достигали цели. Своими воплями Гёце норовил повернуть вспять, к средневековью.

И все же удручающее положение дел в Германии настоятельно требовало улучшения, вернее — изменения! «Но если соль потеряет силу...»

Кто мог бы справиться с произволом князей, отчаянием горожан, высокомерием и безнравственностью богачей и бесправием нищих крестьян, кто мог бы положить конец засилью иностранцев, преодолеть раздробленность на триста государств и такую же пестроту взглядов и воззрений? Театру это не удалось, теология не продвинулась в своем развитии дальше Лютера, профессора вели, как водится, на латыни, ученые споры о том, что первично — яйцо или курица, студенты дрались и пьянствовали, искусство пело и плясало на итальянский манер, а философия болтала по-французски...

Итак, оставался — как и прежде! — лишь разум — будь то с союзниками или без них...

Разум как искусство, разум как философия должен был пробить брешь. Разум должен был перейти в наступление.

Но когда? Но где? Но как? И с чьей помощью?

Лессинг решил из Гамбурга отправиться в Берлин, чтобы заручиться поддержкой друзей: Мозеса, Рамлера, Николаи, Фосса и своего брата Карла. Затем, — рассудил он, — следовало бы сперва издать пьесу, над которой он теперь работал, да, сперва «Эмилию Галотти», а потом «Фрагменты безымянного» со сдержанными пояснительными комментариями. Его оружием должна быть рапира, а не дубинка или кистень.

Он ведь не обладал опытом ландскнехта, а те, кого он собирался атаковать, чтобы сдвинуть их с места, заставить хоть немного перемениться, прекрасно владели искусством фехтования!

Внезапно ему пришло в голову, что следовало бы непременно побеседовать с Элизой Реймарус...

Элиза проживала в доме своего покойного отца, писателя и теолога Германа Сэмюэла Реймаруса, радевшего всю жизнь об образовании и просвещении. В его бывшей библиотеке среди томов в роскошных кожаных переплетах до сих пор стояла потрескавшаяся греческая колонна. Лессинг готов был встретить неприступность мрамора, когда

сообщил Элизе, что он наконец решился опубликовать в Берлине или в Брауншвейге переданную ему «Апологию, или Речь в защиту разумных почитателей бога» под заглавием «Фрагменты безымянного», строго соблюдая анонимность автора. Но ему не пришлось обосновывать необходимость этого поступка или доказывать его своевременность. Элиза тотчас согласилась. Она также разрешила ему сделать комментарии и примечания, какие он сочтет необходимым.

Он ожидал возражений, а получил безоговорочное согласие.

В этом он усмотрел черту, типичную для старой девы: обостренное чувство соперничества. Он был уверен, что она давно распознала взрывную силу этих сочинений и предвидела последствия публикации, пусть даже анонимной. Но она без колебаний дала согласие! Видимо, она хотела насладиться тайной радостью от того, что даже после своей смерти тихий Реймарус торжествовал над громкими гёце, лафатерами или клопштоками...

В остальном же она была по-прежнему склонна к «личным выпадам», как он это называл, когда бранили не обстоятельства, а отдельных лиц.

Если Лессинг говорил, что задачей века является отделение философии от теологии, то Элиза возражала:

— Из всех философов Якоби мне по-прежнему ближе всех. Мягкий свет его практической философии и человековедения согревает каждую душу, которой коснется.

Если же Лессинг заявлял, что он с этим не согласен, переводил разговор на литературу и выражал сожаление по поводу ее ухода в сентиментальность, то у нее снова были наготове одни сплошные имена.

— Вы уже слышали, — сказала наконец Элиза, — что Клопшток после падения своих покровителей покинул Данию и перебрался к нам, в Гамбург?

Лессинг кивнул.

— Клопшток! Повсюду лишь одно это имя!

— Обычно говорят, — заметила Элиза, — будто он мечтает о некоей республике ученых, но мне кажется — ибо я читала, как он об этом пишет, — будто втайне он имеет в виду ученую республику, что означает — разумную республику, а ведь это означает прежде всего: республику!

— В таком случае, он избрал абсолютно неверный путь, — холодно возразил Лессинг. — Его общество любителей катанья на коньках по льду Альстера, его кружки любителей чтения для прекрасных гамбургских дам ведут к республике одних лишь экзальтированных эстетов. Разум нуждается в людях из более твердого материала, чем тот, из которого слеплены эти плаксы — уж простите мне сей неудачный образ, — ведь ваш Клопшток, по-видимому, очень жизнерадостный человек...

— Вы завидуете его славе? — удивленно спросила Элиза и тонко добавила: — Да он и сам однажды удостоил меня прочтения своих од, а ведь никто в целом Гамбурге не станет утверждать, будто я принадлежу к числу видным дам. — Наш гамбургский Клопшток! А все-таки его непоколебимая вера в прекрасный немецкий язык достойна всяческого уважения. И он — ярый приверженец гекзаметра, а о сентиментальных эстетках он того же мнения, что и я: коль завидел пьяных, посторонись, и пусть себе бредут мимо.

— Пока однажды сам не побредешь мимо... — сказал Лессинг.

— Фу, как зло! — С присущей ей проницательностью Элиза заявила, что, видимо, вольфенбюттельское затворничество ожесточило его, о чем она, как и каждый поклонник литературы, не может не сожалеть.

Лессинг еще раз повторил свое обещание хранить тайну при любых обстоятельствах и вскоре распрощался.

Поездка в Берлин была неизбежна...

Кузен Кнорре без колебаний предложил себя в попутчики, ибо хотел в Берлине попытать счастья в тамошней лотерее, но Ева никак не могла уразуметь, зачем Лессинг собирается в это далекое путешествие.

— Неужели нам действительно уже пора расставаться?

Ее разочарование было легко понять, и Лессинг пообещал вернуться как можно скорее.

— Ведь герцог не предоставит мне другого отпуска в обозримом будущем, — сказал он. — А сейчас возникла необходимость побеседовать с берлинскими друзьями, поскольку у нас есть совместные планы, да и мой брат Карл, как вам известно, дорогая, милая моя подруга, живет в Берлине. Мне надо с ним повидаться, и я

хочу, в том числе и с его помощью, попытаться наконец-то облегчить бедственное материальное положение нашей матери.

— Короче, оснований предостаточно! — перебил его кузен, ибо он пришел поделиться новостями. — Говорят, будто некий молодой ученый из Гёттингена, профессора Лихтенберг, очевидно, изрядный насмешник, прибыл на корабле из Англии в Гамбург и услышал проповедь Гёце. Когда его спросили, как ему понравился сей муж, он отчеканил фразу, которая теперь у всех на устах: «Своих прихожан он норовит затащить на небо за волосы...»

— Ортодоксия, дорогой кузен, — это уже удел прошлого, — заметил Лессинг, но Кнорре считал высказывание «еще совсем молодого, но, к сожалению, уже весьма согбенного профессора Лихтенберга» в высшей мере примечательным и поспешил прочь, чтобы поделиться им со следующим из своих друзей.

Теперь рассмеялся и Лессинг.

— Какое меткое описание горба Лихтенберга! — заметил он. Ибо косвенно, из переписки с гёттингенскими профессорами Гейне и Михаэлисом, он был прекрасно осведомлен о молодом высокоталантливом Лихтенберге и его сочинениях...

IV

Стоит ли говорить о том, сколько раз он застревал на непроезжей дороге или в разбитой колее, сколько раз коляска раскачивалась, сколько раз она опрокидывалась, какое колесо, какая ось ломались, — если в конце концов он все же благополучно достиг цели? Лессинг находился в Берлине, а кузена, гамбургского монетчика Кнорре, он предоставил попечению своего брата Карла, сотрудника «Берлинской монеты», ибо они прекрасно находили общий язык.

— Итак, я хочу навестить своих друзей. Кого сначала? Я подозреваю, что этому будет придано значение...

— Действительно, — заметил брат, — твой издатель Фосс просит, чтобы ты разыскал его без промедления. Сам понимаешь, как это укрепило бы его авторитет, если бы он мог сказать, что ты ему первому оказал честь.

— Но этим я обидел бы Николаи, моего старого друга, издателя и редактора, снискавшего себе известность «Литературными письмами», да и другими работами.

— Старый друг, еще более старый друг! — Окажите почтение возрасту! — весело выкрикнул кузен. — Посещайте друзей в последовательности и очередности их годов рождения! Никому не дано идти наперекор порядку, установленному природой. Не Мендельсон ли самый старший из всех?

— Вот совет, которому грех не последовать. — заключил Карл.

Лессинг отправился к Мендельсону и был дружески принят всей его семьей. Но он стремился к доверительному разговору наедине.

Когда они настороженно уселись друг напротив друга за стол, покрытый мягкой скатертью цвета мха, и Лессинг принялся перебирать складки беспокойными пальцами, коротышка господин Мозес, сидя казавшийся еще меньше, посмотрел на него с такой мягкой и дружелюбной улыбкой, что Лессинг сразу расслабился и оставил в покое скатерть.

Лессинг сказал, что хотел бы получить назад «Фрагменты безымянного», а господин Мозес ответил, что он-де так и предполагал. Вот они. Лессинг наспех бегло проверил страницы, ибо был уверен в их полной сохранности, и засунул рукопись в портфель, а господин Мозес тем временем снова стал излагать свои опасения. Если, по мнению «безымянного», в библейские времена все происходило сугубо «человечно», — так, примерно, звучали доводы Мендельсона, — то ведь и человека следует воспринимать таким, каким он мог быть тогда, с учетом весьма ограниченных знаний и представлений о правах народов, справедливости и человеколюбии.

Лессинг ответил, что не стал бы возражать, если бы речь шла об обычных людях:

— Но разве патриархи и пророки — это люди, нуждающиеся в нашем снисхождении? Скорее уж напротив, они являют собой высочайшие образцы добродетели, и даже самое малое из их деяний следовало бы запечатлеть нам в назидание, помятуя о некоторой божественной скупости...

Таким образом, если в поступках, которые с позиций здравого смысла вряд ли можно оправдать, усиленно пытаются найти

божественное начало, — продолжал он, — то мудрец допустил бы ошибку, так или иначе эти поступки оправдывая.

Скорее уж ему следовало бы говорить о них с тем полным презрением, какое они заслужили бы в наши, лучшие времена, с тем полнейшим презрением, какое они могли бы заслужить в еще лучшие, еще более просвещенные времена...

И снова невозмутимость господина Мозеса, видимо, помогла Лессингу справиться со своим возбуждением. Он поспешно переменял тему и уважительно заметил, что, как он слышал, его друг стал теперь членом здешней Академии.

— Отнюдь, — возразил Мендельсон. Он рассказал, что Берлинская Академия единодушно хотела принять его в свои ряды. — Но король не соизволил утвердить это решение! — А посему он так и не стал членом Академии.

— Что же вы так равнодушно к этому отнеслись, вместо того, чтобы стукнуть кулаком по столу? — и Лессинг раздраженно добавил, уж не боится ли его друг пресловутого костыля...

— Да, я тоже знаю эту историю об уснувшем привратнике, которого король якобы собственноручно отлупил.

— Потому что войти в ворота понадобилось ему самому, — с горечью произнес Лессинг.

— Для нас имеется кое-что пострашнее костыля, — заметил господин Мозес и снял со стены оправленный в рамку рисунок популярного художника Даниэля Ходовецкого. «Мозес Мендельсон проходит проверку на берлинской заставе при выезде в Потсдам» — гласила подпись под рисунком.

На нем был изображен коротышка господин Мозес: в черном платье, с испуганными глазами, держа треуголку в руке, он предъявлял свой паспорт, а перед ним угрожающе возвышался некий представитель власти в образе офицера с косицей и рядом верзила-рядовой. Правда, на лице офицера угадывалась легкая улыбка, и он вроде бы слегка приподнял в знак приветствия свою щегольскую шляпу, но бравый солдат-рядовой в белых гамашах на пуговицах, с огромным ружьем и в высоком головном уборе, роковым образом напоминавшем Лессингу епископскую митру, поглядывал на коротышку сверху вниз весьма свирепо.

— Есть кое-что пострашнее! — повторил Мендельсон. — Король мог бы отнять у нас охранные льготы, которые он соизволил предоставить лишь моей жене и мне, причем не распространив их действие даже на моих детей. — И это несмотря на то, что у меня, как вы видите на картинке, уже есть мой собственный паспорт, и обсуждается вопрос о моем избрании в Академию. Когда двадцать восемь лет назад я прибыл из Дессау в Берлин, то при въезде меня записали как «некоего иудея Мендельсона» вместе с овцами, телятами и волами — причем в этой бумажонке я фигурировал после телят...

Лессинг снова почувствовал, что его захлестывает гнев.

— Я бы этого не выдержал! — произнес он и протянул руку, чтобы тотчас уйти.

Однако Мендельсон остановил его.

— Ведь мы же философы, дорогой мой друг!

— Я знаю, каждый из нас исполняет свою роль в мировом театре. Вы избрали себе роль доброго, благородного, добродетельного мудреца-философа, а посему слушаете, видимо, не без удовольствия. когда берлинцы называют вас немецким Сократом, — сказал Лессинг. — И все же, дорогой мой, старинный мой друг, — вскричал он, — ах, я бы этого не выдержал!

У Николаи он дал выход своему недовольству. Издатель принял Лессинга в своей книжной лавке и прошел с ним в богато обставленное помещение позади прилавка, причем, едва Лессинг заговорил о «Фрагментах», тотчас крепко запер дверь.

Николаи заявил, что не сможет их напечатать.

Лессинг потребовал объяснений.

— Вам должна быть прекрасно известна терпимость берлинского общественного мнения, — объяснил Николаи. — Это относится и к критическим сочинениям. Почти каждая третья книга рассматривает теологические вопросы самого разного толка. Но истинная терпимость исключает резкость суждений, а «Фрагментам», по мнению господина Мендельсона, таковая, к сожалению, присуща.

Лессинг тотчас ответил, что он и сам терпим ничуть не меньше, чем берлинцы, и не собирается никому ничего навязывать.

Тут Николаи в свою очередь поинтересовался, правда ли, что министр Кауниц — как ему доверительно сообщили Зульцер и Глейм

— собирается переманить Лессинга, Клопштока и некоторых других в ультракатолическую Вену. Эта новость вызвала-де у него удивление и недоверие, и он полагает ее не более чем забавным курьезом.

Лессинг холодно заметил, что ему об этом ничего не известно.

Затем, сохраняя внешнее спокойствие, но внутренне кипя от возбуждения, он сказал:

— Мне нет до Вены никакого дела, но и там я принес бы немецкой литературе куда больше пользы, чем в вашем офранцузившемся Берлине.

Он сменил тон и сделался учтивее, но голос его звучал громко и с каждой фразой становился все громче.

— Не говорите мне больше ничего о вашей «берлинской свободе мыслить и писать»! Она сводится только и единственно к свободе поставлять на рынок сколько угодно глупейших сочинений, порочащих религию. Порядочному человеку должно быть стыдно пользоваться такой свободой. Но пусть кто-нибудь попробует в Берлине написать о других вещах так же свободно, как писал в Вене Зонненфельз; пусть он попробует бросить в лицо высокородной придворной черни всю правду так же, как это сделал тот; пусть кто-нибудь попробует выступить в Берлине и поднять свой голос в защиту прав угнетенных, против вымогательства и деспотизма так же, как то теперь имеет место даже во Франции и Дании, — и вы тотчас на собственном опыте узнаете, какая страна до сегодняшнего дня остается самой рабской страной Европы.

Лессинг уже собрался было покинуть Берлин. Однако кузену Кнорре, который еще не успел попытать счастья в лотерее, легко удалось уговорить его продлить пребывание в Берлине, объяснив, что значительные дорожные расходы кузен понес, в основном, ради Лессинга.

Теперь Лессингу довелось познать и другую, приятную сторону своего до той поры печального опыта: день за днем он ощущал искреннюю расположенность берлинцев. В комнате брата ему приходилось непрерывно принимать посетителей. Несколько раз заходил книгоиздатель Фосс и как-то сообщил, что «Разные сочинения» Лессинга уже в типографии. Наконец он выложил перед ним чисто отпечатанные, без единой ошибки листы.

— Ну, конечно, вот истинно мастерская работа, не то что эти халтурные пиратские издания, которые то и дело обнаруживаешь то тут, то там, — уважительно произнес Лессинг.

Господин Мозес тоже почти ежедневно бывал у Лессинга, чтобы доказать разобиженному другу свою привязанность и преданность. Однажды утром он привел с собой Зульцера, который искренне посоветовал Лессингу «подвергнуть молву испытанию» и нанести визит австрийскому посланнику в Берлине. Вероятно, там только этого и ждут.

Но Лессинг лишь усмехнулся:

— Не в моих привычках себя предлагать.

Неожиданно из Гамбурга пришло скорбное известие. Ева сообщала, что ее престарелая мать скоропостижно скончалась. Лессинг ощутил в ее письме растерянность и уныние. Итак, обстоятельства требовали его срочного отъезда, и брат Карл с тяжелым сердцем вынужден был согласиться, что Готхольд не может дольше оставаться в Берлине.

За время продолжительного путешествия в карете до Гамбурга кузен проникся таким доверием к Лессингу, что решил поделиться с ним своей тайной. Кузен сказал, он-де понимает, что Лессинг ищет содружества свободных, широко мыслящих и рассудительных людей. Он, совершенно очевидно, желал бы избавиться от ограничений, налагаемых предрассудками, сословной принадлежностью, имущественным положением, местными обычаями. Он мечтает о равенстве благородных душ. Так вот, именно такое общество он, кузен Кнорре, нашел у вольных каменщиков. Многие крупнейшие ученые — самые светлые умы во всех немецких государствах — разделяют его взгляды.

— Нам следует преодолеть безысходность, — заявил кузен. — А как еще этого достичь, если не объединением всех здравомыслящих мужей?

Лессинг пожелал услышать подробности. Тут кузен, правда, заколебался, сказал, что, по понятным соображениям, речь идет о тайном обществе, но затем все же назвал имена некоторых ученых в Гёттингене и Лейпциге, которые, как он полагал, были членами общества.

— А в Гамбурге?

— Тут я вынужден помалкивать. Но расспросите-ка вашего старого друга, печатника Иоганна Иоахима Кристофа Боде...

Принадлежность печатника к ложе была Лессингу, разумеется, известна, и так, в глубокой задумчивости, он прибыл снова в Гамбург.

После того, как он сердечно поздоровался с Евой и прочувствованными словами постарался утешить детей, оплакивавших кончину своей бабушки, после того, как он несколько дней целиком посвятил любимой семье, Лессинг, наконец, отправился в типографию.

Цех был невелик. Среди наборных касс и прессов в рубашке с расстегнутым воротом и закатанными рукавами стоял Боде. Широкое лицо, недоверчивый, настороженный взгляд и грубые черты постоянно напоминали Лессингу о том, что в юные годы Боде был пастухом.

— Так кто? Кто же это? Брокман или Лессинг?

— Конечно, Лессинг! Неужели я действительно так похож на гамбургского актера Брокмана, что меня с ним путает даже мой старый друг Боде? Или это означает, что он — Гамлет театра, а я — Гамлет литературы? — И Лессинг продекламировал:

«...Распалась связь времен.
Зачем же я связать ее рожден?»

(Перевод А. Кронеберга)

Их разговор длился долго. Сначала они припоминали свои тщетные усилия неустанно творить новое. Боде тоже пожертвовал все свое состояние, полученное им в приданое от жены, пытаясь спасти от краха совместно основанное «Книгоиздательство ученых» — то самое первое немецкое издательство в пользу авторов. В конце концов все средства канули туда без остатка. Ему пришлось мучительно начинать свое дело сначала, имея одну наборную кассу и один пресс.

Так что им было о чем поговорить, что порассказать друг другу. Под конец Лессинг перевел разговор на масонство. Он придирчиво выпытывал подробности, но уже 14 октября 1771 года в присутствии Кнорре и Боде был принят господином фон Розенбергом в гамбургскую ложу «Три золотые розы». После того, как церемония, проходившая в

помещении, украшенном греческой колоннадой, закончилась, господин фон Розенберг, магистр ложи, спросил:

— Ну, теперь вы убедились, что я говорил правду: ведь вы же не обнаружили ничего такого, что было бы обращено против религии или против государства?

Лессинг раздосадованно взглянул на него и возразил с презрительным смешком:

— Ха, я-то как раз хотел обнаружить что-либо подобное! Это было бы мне больше по душе!

Вступление в ложу не повлекло за собой никаких видимых последствий, ибо, вернувшись в Брауншвейг, Лессинг узнал, что «великим магистром» тамошних масонов являлся не кто иной, как сам наследный принц...

Кроме того, сразу же по возвращении Лессинг получил от берлинского великого магистра Циннендорфа письмо, содержащее предостережение — или, может, то была угроза? — чтобы он не вздумал, подобно Сократу, дискредитировать себя, «перейдя границы дозволенного». Главное, ему надлежало, в соответствии с уставом, требовавшим, чтобы разговоры о масонстве велись только за закрытыми дверями и только среди братьев-каменщиков, предъявлять берлинскому верховному судье любое сочинение, которое он «возымает намерение незаконно предать гласности».

Лессинг оставил письмо без ответа. Не таким представлял он себе содружество равных!

Ненастной ночью Лессинг покинул Гамбург. Сопровождаемый ледяным ветром, он переправился через Эльбу, и Ева, в тревоге за него, послала ему вдогонку обеспокоенное письмо. Но и без этого напоминания Лессинг, конечно же, известил бы ее, безраздельно владевшую всеми его помыслами, о своем благополучном прибытии.

Его радовала и обнадеживала мысль, что конец их разлуки уже не за горами. Он чувствовал себя куда более здоровым, нежели прежде, и воспользовался душевным подъемом, вызванным поездкой, для того, чтобы завершить трагедию, над которой он работал более десяти лет, создав несколько различных ее вариантов.

То была старая трагедия о Виргинии, пьеса, обличающая тиранию, представляющая гибель дочери плебея Виргиния; и хотя, по законам эзопова языка, действие ее и у Лессинга разворачивалось в Италии, оно

потрясало также и современного немца, было для него чрезвычайно близко и правдиво; позднее многие, в зависимости от темперамента и от собственной склонности обличать пороки или же, напротив, их затушевывать, находили эту тему типично брауншвейгской, или саксонской, или гессенской, или вюртембергской — а значит, немецкой, и, значит, современной! Он назвал трагедию «Эмилия Галотти», по имени своей несчастной героини. Впервые на немецкой сцене был выведен современный монарх со всеми его слабостями, всеми его варварскими страстями — причем выведен в роли виновного и обвиняемого.

Так, в чередующейся веренице часов и дней, Лессинг опять был попеременно то библиотекарем, то автором, то автором, то библиотекарем — а новая зима уже давала о себе знать. Все требовало своего разрешения: собственная неудовлетворенность и неудовлетворенность тех друзей, что разделяли его тревогу. Но удачи — столь частые гости у других людей — обходили его стороной. Он постоянно чувствовал, что все дается ему большим трудом. Едва ему казалось, что цель уже близка, как ему объявляли шах. И даже если ему удавалось потеснить тяжелые фигуры и подобраться к самому королю, все заканчивалось ничем. Любой его ход проваливался в пустоту.

В ноябре его брат Карл написал из Берлина, что профессор Зульцер желал бы — разумеется, по поручению австрийского посланника — сделать Готхольду Эфраиму Лессингу почетное предложение «сменить Вольфенбюттель на Вену».

Но Ева, к которой он обратился в письме за советом, смогла ему поведать лишь о новых, и притом самых непредвиденных трудностях, вставших перед ее венскими мануфактурами. Некий господин фон Вагенер, бывший якобы другом ее покойного мужа, в торговой фирме которого она одолжила немалые суммы, неожиданно потребовал в кратчайший срок вернуть ему назад все его деньги. Так что ей придется все распродавать...

Зачем же Лессингу было теперь рваться в Вену? «Если у Вас больше нет никаких дел в Вене, — писал он Еве, — тогда и мне она совершенно безразлична».

Однако он не преминул рассказать о венском предложении Эберту, господину К. фон К. и Цахариэ, ибо эта история должна была уж хотя

бы ускорить обещанное герцогом повышение вознаграждения. Лессинг был вынужден опять одалживаться, иначе он не мог покрыть расходы, вызванные поездкой в Гамбург, и оплатить старые счета. Чтобы раздобыть денег, ему снова пришлось подписать векселя и выдать облигации.

Однако действие, которое произвела его полуправда-полуложь о венских возможностях, было ошеломляющим и оказалось совершенно не таким, какого он ожидал.

Холодным зимним днем Лессингу было велено явиться в Брауншвейг, где ему, не дожидаясь новых прошений и ходатайств, вручили в канцелярии подписанное герцогом и датированное тринадцатым февраля 1772 года распоряжение: «Его Высочество Светлейший князь и повелитель и прочая, и прочая извещают вольфенбюттельского библиотекаря Лессинга, что в ответ на его верноподданнейшее прошение всемилостивейше дозволить ему издавать типографским способом сочиненные им труды под названием „Материалы по литературе, из сокровищ герцогской вольфенбюттельской библиотеки“ принято всемилостивейшее решение: всемилостивейше удовлетворить ходатайство просителя и разрешить печатать вышеозначенные труды под его непосредственным наблюдением; а также, принимая во внимание данную просителем полную гарантию того, что им не будет напечатано ничего против религии и добрых нравов, он отныне и впредь всемилостивейше освобождается по предъявлении сего от обычной в таких случаях цензуры».

На добром казенном немецком языке это, собственно, означало: ему, библиотекарю Лессингу, надлежит оставаться в своей должности и служить моей библиотеке! Но это также означало, что теперь он имел «полную гарантию» и, значит, мог надеяться и строить планы... Это означало: он мог ничего не обещать!

Лессинг сделал герцогу ответный подарок сходного достоинства.

Из Берлина в Брауншвейг прибыл Дёббелин со своей театральной труппой. Он заехал за Лессингом в Вольфенбюттель и отвез его в собственной карете на представление «Минны», на следующий день показал ему постановку «Мисс Сары Сампсон», был очень предупредителен и, разумеется, интересовался новыми пьесами, тем

более, что близился день рождения Ее Королевского Высочества, иначе говоря, герцогини Брауншвейгской.

Тут Лессинг вспомнил о «благодетелях» герцога и сообщил ему, что Дёббелин хотел бы ко дню рождения герцогини сыграть его новую трагедию, которая «является не более чем древнеримской легендой о Виргинии, только в современных костюмах». Он послал герцогу напечатанную в Берлине трагедию «Эмилия Галотти», прекрасно зная, что старик не станет ее читать, и дал ему понять, что судьба его детища теперь полностью зависит от любителей закулисных интриг: достаточно будет намекать, «чтобы под каким-нибудь благовидным предлогом воспрепятствовать постановке этой новой пьесы».

Лессинг рассчитывал на свойственный старому герцогу дух противоречия и не ошибся, ибо Карл Брауншвейгский ответил, что представление «Эмилии Галотти» в день рождения герцогини «было бы весьма уместным».

На премьере Лессинг не присутствовал, поскольку у него сильно разболелся зуб, а на последующие представления он решил не ходить, ибо до него дошел слух, что в театре шепотом поговаривали, будто своей пьесой он вывел на сцене похождения наследного принца. Театральные предприниматели, чтобы заманить к себе публику, часто бывали неразборчивы в средствах!

И это при том, что он лично прочитал и объяснил каждому исполнителю его роль, особо указав — и не одной только очаровательной мадам Дёббелин, впрочем, более сообразительной, чем ее неотесанный супруг, — на типичность судьбы ее «Эмилии».

Вывести на сцену наследного принца... Ох, почему бы уж тогда не Карла Вюртембергского или Августа Сильного Саксонского?

То были жалкие личные выпады. Но ведь он-то выступал не против личностей, а против гнусных порядков!

Скрытое раздражение сломило его. Все было как в прошлом году: он не мог писать. Невысказанное мучило его и привело к болезни. Слух, в котором никто не признавался и который ему никто не ставил в упрек, нельзя было опровергнуть доводами разума. Возможно даже, — предположил в конце концов Лессинг, — этот слух зародился при дворе... Но тогда пусть ему дадут оправдаться! Ведь цитировали же его при дворе все кому не лень при каждом удобном случае.

Я снова стою на торжище, — думал он, — и каждый украдкой придиристо роется в моем товаре. Если бы они хоть говорили громко и открыто!

Лишь его друзья высказали свое суждение. Труппа Коха почти одновременно поставила пьесу в Берлине, так что самые надежные из его друзей в Брауншвейге и в Берлине смогли составить себе мнение о ней.

Все то время, что Лессинг работал над трагедией, он, по вполне понятным соображениям, ни с кем не советовался. Теперь же он стремился к дискуссии и писал Карлу: «Что ни говори, а нужно все-таки иметь возможность хотя бы поговорить с кем-нибудь о своей работе, если не хочешь сам над ней заснуть».

Карл ответил без промедления и среди прочего заметил: «В твоей „Эмилии Галотти“ господствует тон, какого я не встречал ни в одной другой трагедии; тон, который не то чтобы принижает ее, но делает ее более приземленной, так что она становится совершенно естественной и тем легче входит в наше сознание... Но правдивость изображаемых тобой характеров я ставлю еще выше, чем красоту языка... В сценах между Рота и принцем, равно как и в сценах с художником, каждая строчка свидетельствует о твоем глубоком знании этих людей... И лишь против Эмилии Галотти у меня имеются кое-какие возражения... То, что она так пугается, когда во время мессы с ней заговаривает принц, вынуждает меня не слишком высоко оценивать ее ум; а скудный ум, даже в сочетании с самым добрым сердцем, представляется мне недостойным благородных героев трагедии...»

Но неужели Карл не чувствовал запуганность столь многих и столь умных людей, а не одной только Эмилии? Неужели он ничего не слышал о неожиданном повышении цен, охватившем этой весной многие немецкие государства? Неужели он не знал, что именно в этот час кто-то умирал от голода, а чью-то жизнь уносила гнилая горячка, — и никто не протестовал против спекуляции зерна и против беззаботной жизни при дворе?

Карл хотел бы видеть Эмилию более смелой и уверенной в себе во время разговора с принцем? Но ведь Эмилия — это же не сам Лессинг!

А добрейший господин Мозес высказался в кругу друзей: «Дойдя до слов: „...жемчуг означает слезы“, я сам из-за слез был вынужден прервать чтение. Вся пьеса так на меня подействовала!..» Но о принце

он сказал, что тот в начале показался ему более деятельным и благонравным, а в конце — праздным сластолюбцем.

Читая отчет брата, Лессинг горько усмехался. Что же ему следовало изменить: свою пьесу или характер правящих принцев?

В сравнении с другими отзывами мнение Николаи было несколько противоречиво, ибо, считая, что в целом «Эмилия Галотти» выше всяких похвал, он, однако, писал о царедворце Маринелли: «Многие находят, что поэтическая справедливость не полностью соблюдена, ибо Маринелли не понес заслуженной кары».

Но разве в жизни все эти Маринелли, Никколини или как их там еще несут заслуженную кару? Разве их не вознаграждают за каждую подлость? Разве они не получают из года в год свои верные тридцать тысяч талеров? Неужели это и есть «заслуженная кара?» Какими же мелкими представлялись всем этим умным людям задачи искусства!

Или, может быть, ему следовало солгать и подменить вопиющее бесправие «поэтической справедливостью»?

Но с одним заявлением Николаи он, пожалуй, мог согласиться: «„Эмилия Галотти“ — это сюртук, скроенный на вырост, до которого публика еще должна дорасти». Об этом же с очевидностью свидетельствовали и письма друзей.

И лишь Эберт, невозмутимый, рассудительный и молчаливый Эберт, написал ему из Брауншвейга: «О милый, чудесный, несравненный Лессинг! Как хотел бы я живо выразить Вам восхищение, умиление и признательность, которые мне довелось испытать вчера на представлении Вашей новой пьесы! Но именно эти чувства не позволяют мне это сделать. Могу лишь Вам сказать, что я, по выражению Клопштока, громко дрожал всем телом. О Шекспир — Лессинг! Я почти всю ночь не мог сомкнуть глаз и спал потом очень беспокойно. А сейчас, проснувшись, не могу ни за что взяться и ни о чем другом думать. Образы Ваших персонажей все еще не дают мне покоя и мерещатся мне на каждой странице, которую я собираюсь прочесть...»

Насколько ужасно вздорожание, Лессинг понял, когда из Каменца пришло письмо от сестры. Добродушная Доротея, всю жизнь скромно во всем уступавшая — ибо лишь сыновьям смог бедный пастор Лессинг обеспечить приличное образование, — писала в своей

обычной неуклюжей манере, с ошибками, но с таким ожесточением, что Лессинг ужаснулся.

Как же тяжело, должно быть, приходилось матери, если даже обычно снисходительная сестра впала в ярость.

Глубоко потрясенный, читал он эти слова:

«Мы каждый день с большим нетерпением ждали твоего письма... Ты ведь не знаешь или не заботаешься о том жива ли твоя мать или умерла или как у ней вообще дела... Конечно для тебя это мелочи но чтоб уж так совсем забыть про мать... Таким образом мы плохо почтим память отца если короткий свой остаток жизни мать проведет в заботах и лишениях. Тебе же хорошо известны все обстоятельства так что мне нет нужды повторять и жаловаться и ко всему ищо прибавляя общая нужда которая всем прекрасно известна что вся наша страна мучается от большого подорожания и голода...»

Лессинг раздобыл пятьдесят талеров и послал их матери, сопроводив искренней просьбой о прощении и подробными объяснениями: «Полгода назад на меня навалились столь неотложные долги, что мне пришлось приложить все силы, дабы сохранить свое доброе имя. А посему я испытывал такую нехватку наличных средств, какую вам, я уверен, безусловно, не довелось испытать. Ведь наверняка у сестры все же всегда находился припрятанный про запас дукат или около того, которого мне, ей-богу, так часто не доставало».

Чтобы уплатить все свои старые долги, ему потребовалось бы дополнительно вознаграждение за целый год, и он не видел иного выхода из этой нужды, кроме как давать новые расписки взамен старых и работать не покладая рук. При этом деятельность его приносила весьма скудный доход. Повсюду игрались его пьесы, до него постоянно доходили слухи о пиратских переизданиях его книг — но ему не выпадало ничего, даже меньше, чем ничего — ибо раздражение, вызванное таким положением дел, часто лишало его способности работать. В Зальцбурге, а может, в Регенсбурге — какое значение имели названия, если везде повторялось одно и то же! — некая труппа, по сообщению Евы, дала на одной неделе шесть представлений его «Минны», а он не получил ни гроша! Он жаловался своему брату

Карлу: «Даже самое успешное литературное творчество — не более чем самое нищенское ремесло!»

Временами его охватывало такое чувство, будто он не живет, а лишь прозябает: ведет не активную и деятельную, а созерцательную и призрачную жизнь, не яркую, насыщенную впечатлениями и творческими находками, а обремененную тяготами писания и чтения. Время от времени он получал письма и отправлял письма. Он изучал старые, значительные произведения и возвращал их к жизни из мрака забвения своими критическими исследованиями и разборами. При этом страдало его зрение — ибо нередко вместо одной ровно горящей свечи ему виделись бесчисленные дрожащие огоньки, — а чувство одиночества крайне обострялось.

Ева опять находилась в Вене. Он сам посоветовал ей принять окончательное решение без колебаний. Едва успев попрощаться, она уехала, пообещав скоро вернуться. Но в Вене трудности множились одна за другой, счет потерянного времени шел на месяцы. Свое отчаяние он пытался заглушить работой. Год заканчивался. Ему казалось, он прошел впустую.

Поистине призрачная жизнь, да, именно так! Картины действительности не желали сгущаться и обретать яркость красок. То, что его окружало, — это были лишь некие неясные, призрачные силуэты в духе времени. «Все, что Вас гнетет, — это заботы, которым уже виден конец, — писал он Еве. — Мне же теперь нередко вся жизнь кажется такой отвратительной — да, такой отвратительной! Я скорее влачу в полузабытьи свои дни, нежели полноценно проживаю их. Тягучая работа, которая выматывает меня, не принося удовлетворения... Так что сам диву даюсь, как это я еще могу водить пером!...»

V

Увидев идущего ему навстречу аббата Иерузалема, назначенного несколько лет назад также попечителем Collegium Carolinum, Лессинг не удивился, поскольку и раньше нередко встречал его в этих залах и коридорах. Шаги Лессинга гулко отдавались в каменной галерее. Аббат шел почти беззвучно. На нем был скромный берет, длинный черный

плащ и золотой крест на груди — все как обычно, но он скользнул по Лессингу отсутствующим взглядом, словно не заметил его, словно старался разглядеть что-то далеко вдаль. Эта отрешенность образованного и обходительного человека неприятно поразила Лессинга, и он молча приподнял шляпу.

— Вы ведь тоже знали его, знали его хорошо, как истинный друг, — произнес аббат Иерузалем.

— Кого, позвольте спросить?

— Вильгельма... Сохраните о нем добрую память...

— Что с Вильгельмом? — испуганно спросил Лессинг, почувствовав недоброе.

Но аббат, не проронив ни слова в ответ, пошел прочь. И Эберт тоже не знал, что стряслось.

Но поскольку профессора имели обыкновение во время перемен встречаться в кулуарах каменной галереи, то появился тут и молодой Эшенбург, который добивался места и читал в Carolinum пробные лекции об «Одиссее» Гомера. Лессинг спросил также и его, не знает ли он, что произошло.

Эшенбург посмотрел вдаль, взглянул вверх, на овальное окно, через которое в эту осеннюю пору проникал лишь бледный свет, и произнес:

— Вильгельм Иерузалем, единственный сын аббата, застрелился в Ветцларе.

— Но почему? Чем это можно объяснить?

Ответа не знал никто. Даже Цахариэ, которого нередко выручала его фантазия, на сей раз смущенно молчал.

Возвратившись затем в Вольфенбюттель и пытаясь отогнать от себя сверлящую мысль о том, что это — тоже в каком-то смысле решение всех жизненных проблем, Лессинг снова взял в руки сочинения Вильгельма. С двойственным чувством перечитывал он ясные, правдивые, глубоко философские сентенции, которые, казалось, начисто опровергали трагическое известие. Но разве такой честный человек, как Вильгельм, не был в конечном итоге почти с неизбежностью обречен на гибель в столкновении с этой окаменелой, этой мелочной и достойной сожаления немецкой действительностью?

В старой части города Лессинг отыскал печатника, мастера Виндзейля, человека необыкновенно добродушного, который, несмотря на свой почтенный возраст, настолько приноровился к его почерку, что мог разобрать зачеркнутые, добавленные и написанные одна поверх другой строки. Таким образом, печатник избавил его от неприятного и отнимавшего массу времени переписывания набело. Едва страница, а то и небольшая статья были готовы, как Лессинг тут же относил эти части в типографию к старому мастеру: тот брался за дело и подверстывал все это к уже имеющемуся тексту. Иногда он сразу давал в руки Лессингу оттиск и заставлял его тут же, за конторкой у наборной кассы, держать корректуру. Так была изготовлена верстка первого тома вольфенбюттельских материалов. Никогда еще созданию столь оригинального и отнюдь не бесспорного произведения не сопутствовало так мало ученого тщеславия и авторских претензий.

Когда набор уже должен был отправиться в печатные прессы, старый мастер Виндзейль заболел и умер. Прошла не одна неделя, прежде чем его преемник завершил издание, и надежда Лессинга на отмеренную щедрой рукой прибыль от этой работы скоро угасла.

Настроение его часто менялось: долгие приступы беспросветного отчаяния чередовались с мгновениями восторженной надежды. Он задумал совершить ближайшим летом давно намеченное и обговоренное еще при вступлении его в должность вольфенбюттельского библиотекаря путешествие в Италию, а затем надолго остановиться в Вене. Лессинг провел уже не один год в Вольфенбюттеле, и потому вряд ли кто-нибудь удивился бы, начини он теперь настаивать на своей поездке. Но вот к оплате дорожных расчетов он отнесся слишком легкомысленно, ибо и на этот раз понадеялся, что его доля прибыли у Фосса и Виндзейля будет значительно большей.

Разочарование постигло его раньше, чем можно было ожидать. В начале 1773 года один из его кредиторов стал угрожать судебным преследованием, если ему не будут незамедлительно возвращены деньги. Лессинг опасался публичных оскорблений, он умел насмешливо и находчиво отражать лишь литературные нападки.

Посему он взял свое вознаграждение за три полугодия вперед, уплатил старый долг и принялся делить остаток, подсчитывая каждый день и каждый грош.

Лишь своему брату Карлу сообщил он спустя месяцы об этом случае. Еве он писал, не вдаваясь в подробности и не упоминая о своем печальном пробуждении от сладостных снов: «Неужели для Вас и для меня никогда более не наступит счастливое время?»

Горести горестями, но они не помешали ему облачиться шестого января в синий замшевый сюртук, надеть белоснежный шейный платок, кружевное жабо и кружевные манжеты и отправиться в «Дом у дороги». Цахариэ справлял там свадьбу с Генриэттой, одной из дочерей трактирщика. Приглашенные были сплошь друзья и знакомые Лессинга, одни — со своими невестами, как Эберт или Эшенбург, другие — пока лишь преисполненные надежды воздыхатели, как тот полковник Ц., что ухаживал за старшей дочерью хозяина.

Когда вошел Лессинг — а он был вынужден скромно проделать весь путь пешком, — веселье было уже в разгаре; и едва он с мрачным выражением лица присоединился к обществу и был поспешно препровожден на отведенное ему место, как посыпались бесчисленные «здравницы»: за молодую жену, за Цахариэ-супруга, за «хозяина трактира и его дражайшую половину», за полковника, за камергера фон Кунтча — словом, за всех по очереди...

Вдруг Эберт, хитро посмеиваясь, поднял бокал и, нарушая гармонию чинов и званий, воскликнул:

— Да здравствует Лессинг! — величайший поэт повсюду, где только звучит немецкая речь!

Лессинг вздрогнул от неожиданности и опрокинул свой бокал. Так взволновало его трагическое несоответствие между этим высоким признанием его заслуг и убогой реальностью жизни. Он ничего не ответил, безмолвно позволил подать себе новый бокал, даже не извинившись, — он чувствовал себя чужаком среди всех этих развеселых людей.

Позже К. фон К. отвел его в сторону.

— Вас видели в Брауншвейге, — приветливо произнес он, — на новогоднем приеме. Что вы там делали?

— Низко кланялся и чесал языком, как и все остальные.

— Но послушайте! — камергер был шокирован. — Ведь вы почти никогда не бываете на таких приемах, а вас там очень недостает. Вот что я имел в виду.

— До меня дошел слух, будто наши властители раздражаются, если кто-то постоянно забывает показываться при дворе. — И, немного подумав, Лессинг добавил: — А если говорить серьезно, то мое вознаграждение должно быть повышено, в противном случае Брауншвейг меня дольше не удержит. В Вене мне было предложено втрое больше.

Ева, — нет, Карл намекнул ему на нечто подобное. Настоящего приглашения из Вены Лессинг не получал. Однако уже несколько дней он был так зол, что готов был наговорить царедворцу и не такого.

К счастью, начались танцы. Со студенческих лет Лессинг обожал танцевать и тут не изменил своему пристрастию. Пока Эберт сосредоточенно предавался своему старому пороку — чревоугодию за чужим столом, Лессингу удалось заполучить в партнерши его молодую невесту. Он потанцевал и с дочерьми трактирщика, и с посаженной матерью, и еще со многими другими, и даже с хорошенькой служанкой, которая обходила в зале столы и подливала вино.

Конечно, кому-то это могло и не понравиться, но он получал удовольствие от такой своего рода бесцеремонности.

Сидевшими за свадебным столом постепенно овладевала усталость, а Лессинг между тем сделался веселее всех других гостей в этой обшитой панелями зале, и далеко за полночь, уже прощаясь, он громко сказал трактирщику:

— Мое почтение, папаша Вегенер, это была чудесная свадьба! На столе я насчитал не меньше двадцати лакомств, которые не только никогда не пробовал, но даже не слышал, что есть такие, и вино было отменное, из тех, какими славится ваш «Дом у дороги». Я говорю это вам, ибо новобрачные внезапно куда-то скрылись: чудесная свадьба, и спасибо за нее!

В начале февраля наследный принц выказал желание лицезреть своего библиотекаря. Лессинг поехал в Брауншвейг, велел в замке доложить о себе, был принят и после первых же слов принца понял, что судьбе его суждено вдруг круто перемениться. Надворный советник Лихтенштейн, надзиравший в Гельмштедте за семейным архивом герцогов Брауншвейгских, скончался. Вакантное место предлагалось занять Лессингу — в придачу к должности, которую он уже занимал.

Это должно было повысить его престиж, в том числе и как ученого, сулило большее вознаграждение.

Лессинг кивнул.

— Вы очень скоро приобретете необходимые знания в области прав и истории нашего дома. Вольфенбюттельская библиотека по-прежнему остается за вами, и я обеспечу вам положение, которое бы полностью вас удовлетворяло и позволило прочно обосноваться у нас. Но при одном условии: вы должны находиться здесь, в Брауншвейге, и оставить намерения разъезжать по всему свету.

Так вот откуда ветер дует! — подумал Лессинг. Но на что ему весь свет, коль скоро он сможет здесь предоставить Еве с детьми кров и приличное содержание. Посему он по всей форме поблагодарил за оказанную честь и принял предложение, заметив:

— Должен признаться, что без надежды на лучшее будущее я бы долго тут не выдержал!

— Только от вас зависит, выберете ли вы предложенную карьеру, или нет — только от вас! Здесь вы заняли бы положение, которое иначе как влиятельным не назовешь. Но не будем опережать события! Я должен по неотложному делу ехать в Потсдам, вернусь обратно не позже, чем через две недели. Тогда я и выслушаю ваш ответ.

— Я уже сейчас могу заявить о своей согласии, — повторил Лессинг и с удовлетворением почувствовал, что все устраивается как нельзя лучше.

Прослышав о том, что принц уже возвратился из Потсдама, Лессинг снова отправился в замок и велел о себе доложить. Однако на сей раз его не пустили дальше канцелярии, и ему не удалось узнать, что же решил принц.

То же самое повторилось и в следующий раз. Прибыв в замок в третий раз, Лессинг потребовал, наконец, сообщить ему, что происходит. Но в канцелярии только пожали плечами.

Вне себя от возмущения он отправился к Эберту.

— Я просто в бешенстве! — Сжав кулаки, он подошел вплотную к своему опешившему другу. — Сперва меня настойчиво зазывают, хотя я к ним и не напрашивался, обходятся со мной чудо как ласково, сулят золотые горы, а потом, не проходит и двух недель, о своих обещаниях уже и не вспоминают. Будьте уверены, я не стану гоняться за принцем, который, похоже, просто морочит мне голову, пусть сам доводит до

конца свою затею. А если все это не кончится, и притом в самое ближайшее время, то меня ничто тут не удержит! Полагаю, что столько, сколько я оставлю здесь, я найду везде. А если даже и нет... То лучше уж побираться!

Исполненный досады и горечи, он уехал назад в свой Вольфенбюттель и уединился там с единственным желанием освободиться от тягостных мыслей и чувств и обрести покой и умиротворение.

Приемы, августейшие дни рождения, балы, именины, новогодние торжества сменяли друг друга. Но среди тех, кто привычно являлся ко двору с низкими поклонами, Лессинга не было.

Еще целый год он лелеял надежду, что правитель хотя бы соизволит объяснить свое непостоянство. Наследный принц уезжал и вновь возвращался, умер какой-то министр-интриган, и на его место был назначен новый, при дворе происходили непрерывные передвижения — был не один случай, чтобы вспомнить об отложенном деле. Но Лессинг ждал напрасно.

За это время Лессингу удалось выяснить — частично у аббата Иерузалема, частично у Эшенбурга, — что же предшествовало самоубийству Вильгельма.

Способный юрист Вильгельм Иерузалем был отправлен герцогом в Вецлар — город, приобретший к тому времени значительный вес в глазах всех немецких князей, благодаря тому, что там находился государственный верховный суд. Вильгельм был определен в помощники господину фон Хёфлеру, брауншвейгскому посланнику. Но этот спесивый высокородный господин не жаловал молодого бюргерского отпрыска. Он откровенно измывался над ним и стремился унижить его где только можно.

Вильгельм был в достаточной мере философом, чтобы с холодной сдержанностью и рассудительностью пренебрегать гнусными выходками господина фон Хёфлера до тех пор, пока тот, на манер подлых интриганов, не начал распускать при дворе в Брауншвейге ложные слухи о неповиновении секретаря посольства Иерузалема.

Вильгельм узнал об этом и послал опровержение, но, оставленное придворной знатью без внимания, оно так и не попало к герцогу.

Тогда молодой человек счел свое положение безнадежным. Оскорбления становились все нестерпимее, и Вильгельм утратил всякую надежду на избавление.

Лессинг увидел в этом некое общее явление, включавшее и его собственный случай. Но только он, Лессинг, не стал бы терпеть подобные унижения.

В октябре 1774 года Эшенбург переслал ему из Брауншвейга роман Гёте «Страдания юного Вертера». К тому времени Лессинг уже был наслышан о том, будто во второй части романа нашла поэтическое воплощение судьба Вильгельма, которая, несомненно, была известна Гёте, также пребывавшему одно время в Вецларе.

Лессинг читал внимательно и участливо, однако и с некоторым недоумением, растущим по мере того, как он осознавал, что Гёте приписывает самоубийство Вертера прежде всего несчастной любви. «Если бы дух нашего Иерусалема был в таком состоянии, я вынужден был бы его чуть ли не презирать», — писал Лессинг в ответном письме Эшенбургу. «Можете ли Вы поверить, чтобы римский или греческий юноша таким образом и по такому поводу лишил себя жизни? Возносить подобных, по-существу, ничтожных, достойных презрения, чудаков свойственно лишь христианскому воспитанию, умеющему столь успешно выдавать физическую потребность за высоту духа».

Вопреки тому, что молодой сочинитель Гёте заявил словами своего Вертера, будто он пишет «без романтической экзальтации», на Лессинга так неприятно подействовала сентиментальность романа, что он поначалу решил вступить с господином Гёте в открытую полемику.

Гёте растратил свой пыл попусту, считал Лессинг. Не случайно еще в Гамбурге он уговаривал своего друга Боденкера перевести оба романа Лоренса Стерна. Ведь роман, как форма выражения бюргерской жизни, мог бы укрепить самосознание народа и содействовать распространению идей просвещения!

Вдобавок Лессинг увидел еще одну опасность «вертеровского» настроения — опасность подражания!

Не без основания полагая, что его мнение о романе будет на все лады обсуждаться в Брауншвейге и неминуемо дойдет до ушей Гёте, Лессинг в своем письме Эшенбургу одновременно обращался к самому господину автору: «Но если столь обжигающее, пышущее жаром

сочинение должно приносить добра, по крайней мере, не меньше, чем зла, то не считаете ли Вы, что его не мешало бы дополнить еще небольшой, сдержанной, так сказать, остужающей главой? Несколько пояснений вдогонку — о том, каким образом у Вертера сложился столь невероятный характер, и как уберечься от этого другому юноше, которого природа наделила сходными задатками. Ибо такой легко может поэтическую красоту принять за нравственную и поверить, что тот, кто вызывает в нас сильное участие, должен быть непременно хорош... Итак, любезный Гёте, еще бы одну маленькую главку под конец; и чем циничнее, тем лучше!» — писал Лессинг Эшенбургу.

Иней возвестил о наступлении зимы.

Лессинг прикинул, — это будет его пятая зима в вольфенбюттельской глуши. Все его надежды оказались тщетными. Стоит ли обманывать себя и дальше?

Ева была уже третий год в Вене, и за последние семь или восемь недель он не написал ей ни одного письма — рассказывать было не о чем.

Ничего не произошло, ничего не изменилось, ничто не получило завершения — ни в Вольфенбюттеле, ни в Вене.

Издали доносился перезвон колоколов. Рождество! Лессинг был как всегда один и смотрел из мансарды вниз, на заиндеветые деревья. Хорошо еще, что ему было чем заняться.

Прежде всего, следовало отделить молодого ученого Вильгельма Иерузалема от этого Вертера — образ его мог постепенно слиться в сознании читателей с литературным героем. Уже и сам Лессинг ловил себя на том, что поэтические картины романа о Вертере заслоняли ему подлинные воспоминания. Что и говорить, искусство молодого Гёте было исполнено мощи. Но вот как обстояло дело с его любовью к истине? Почему, услышав толки, будто в его «Вертере» изображена судьба Вильгельма Иерузалема, он ничего не возразил?

Лессингу пришла на память фраза, читанная у Николаи: «Этот малый — гений, но гений — плохой сосед...»

Сам же он хотел остаться Иерузалеми, пусть даже мертвому, добрым соседом и надежным другом. Посему он решил напечатать философские сочинения Вильгельма, снабдив их своим предисловием. Разрешение отца покойного у него уже имелось.

Статьи Вильгельма — эти свидетельства его светлого ума — должны были сохранить о нем память тех, кто любил этого молодого человека и ценил его талант. Образу чувствительного Вертера из романа следовало противопоставить безошибочно узнаваемый портрет Вильгельма Иерусалема: портрет умного, рассудительного, неизменно уравновешенного человека. Так, чтобы любой критически мыслящий читатель непременно задался вопросом: «Что же довело его до самоубийства?»

Крупные черные вороны опустились на заиндеветые ветки и хлопали крыльями, стараясь устроиться поудобнее. Во все стороны брызнуло сверкающее облако мельчайших ледяных кристалликов. Наконец черные разбойники в молчании расселись на верхушках давно облюбованных ими деревьев, — он часто видел их здесь и раньше, — склонили набок головы и с опаской уставились на него.

Если бы он только мог одним могучим рывком обрести свободу!

Правда, зима мало подходила для этого, — но весной он уедет. Это он решил твердо. С него довольно!

Говорить с наследным принцем Лессингу было больше не о чем. И писать ему он тоже не намеревался. Но старому, хворающему герцогу Карлу Лессинг отправил деловое письмо, в котором с подобающей вежливостью испрашивал позволения еще раз взять за два квартала вперед свое вознаграждение, необходимое для предстоящего путешествия. Одновременно он просил и об отпуске.

Герцог вызвал его в Брауншвейг, принял благосклонно и сразу успокоился, едва Лессинг изложил ему план своего путешествия: Берлин, где находился брат; Каменц, где жила старая мать; возможно, Лейпциг; возможно, и Дрезден. Герцог распорядился выдать наперед испрашиваемое вознаграждение на путевые расходы.

— С условием, что потом оно будет у вас вычтено, — жестко сказал он.

Но, видимо, у него не было полной уверенности в том, что его библиотекарь не попытается в конце концов улизнуть, ибо напоследок он грозно прокричал ему вслед:

— Смотрите же, чтобы вас не переманили!

Не в силах больше ждать, холодным февральским днем Лессинг упаковал чемодан и отбыл на перекладных.

Перед отъездом Лессинг упросил расположенного к нему камергера фон Кунтча оказать ему, если потребуется, посредничество при дворе. Необходимость в этом возникла очень скоро. Из Дрездена Лессинг написал давно задуманное письмо, в котором, сообщив попутно об исполненном им поручении навестить тетку К. фон К., подробно изложил свои собственные дела.

Он писал, что герцогу не мешало бы продлить ему отпуск до мая, а заодно распространить данное им разрешение и на поездку в Вену. Предлог был таков: Лессинг рассчитывал встретить в Дрездене одну «особу», которую, однако, обстоятельства вынуждают задержаться какое-то время в Вене. Поэтому, чтобы его поездка не была напрасной, ему следовало бы самому срочно прибыть в Вену. Лессинг даже подсказал в письме подходящую формулировку: речь идет о «делах, связанных с женитьбой». К. фон К. предоставлялась таким образом возможность умело направить язвительность герцога на «одну особу», которая однажды уже послужила для престарелого монарха поводом «подразнить» своего библиотекаря.

Это и впрямь выглядело куда как «забавно»; здоровый мужчина, которому судьба мешала сделать это раньше, в сорок шесть лет надумал наконец жениться! Правда, об этом письмо умалчивало, ибо Лессинг надеялся в скором времени избавиться от своих жизненных невзгод.

«Если бы только я мог летать!» — написал он Еве и выехал с экстренной почтой через Прагу в Вену.

VI

Он остановился в Вене в «Золотом осле», но ему следовало бы поискать красного или коричневого, или пестрого «осла». Лессинг не запомнил масть и обнаружил ошибку, лишь когда хозяин «золотого» заявил, что никто не оставлял ему ни письма, ни адреса.

Лессинг поспешил к старому статскому советнику фон Геблеру, их с Евой общему знакомому, и разузнал у него, как найти ее мануфактуры. Заодно, подумал Лессинг с облегчением, он совершил и

тот единственный визит в Вене, который представлялся ему необходимым, если не считать долгожданной встречи с Евой.

Дверь в контору Евы имела небольшое оконце с матовыми стеклами, не позволявшими любопытному взгляду проникнуть внутрь. Поскольку на его робкий стук никто не отозвался, Лессинг нажал на бронзовую ручку двери и сразу увидел Еву. Она сидела за высокой конторкой со множеством чернильниц и сосредоточенно подсчитывала что-то в бухгалтерской книге, водя вверх и вниз остро очиненным гусиным пером.

— Я сперва постучался, — произнес он, увидев, что она не подняла головы.

— Не может быть! — вскричала Ева в крайнем изумлении, вскочила, припала лицом к его плечу и молча заплакала, не в силах, казалось, произнести больше ни слова.

— Три года! Целых три года! — шептал Лессинг, глядя ее по волосам.

— Я так счастлива, — проговорила Ева немного погодя, в ее глазах еще стояли слезы. — Как чудесно, что мои дела в Вене близятся сейчас к удачному завершению. Наконец-то я могу продать обе мануфактуры — после того, как мне удалось, проявив несказанное терпение, освободить их от всех долгов.

К радости Лессинга она сохранила ту чистую гамбургскую интонацию, которую он так любил.

— Теперь все будет хорошо! — говорил Лессинг, сжимая Еву в объятиях. — Нам не придется больше разлучаться.

Но Ева еще не закончила свой рассказ.

— Я нашла одного надежного покупателя, который будет выплачивать мне и моим детям ежегодную ренту в пятьсот талеров. Хватит ли этого?

— Да, — поспешно ответил Лессинг и принялся подсчитывать, потом вдруг засомневался, начал проверять и после долгого молчания наконец подтвердил:

— Да! Вполне!

Вена была полна чудес!

На следующий день после приезда Лессинга статский советник фон Геблер прислал ему записку, кучера и карету; записка, которую

кучер упорно называл «билетом», содержала приглашение воспользоваться каретой, чтобы в сопровождении госпожи Евы осмотреть Вену.

Предложение было принято сразу. Контору заперли. Ева в этот праздничный день, призванный послужить прологом к долгому свиданию, облачилась в свои шелка. Кучер открыл дверцу, Лессинг помог своей милой, любимой подруге сесть в карету, и они поехали кататься по улицам прекрасной Вены.

Как выяснилось, кучер получил четкие указания, что следует показать немецкому поэту: Хофбург, старую церковь Святого Августина, ратушу, собор Святого Стефана, испанскую школу верховой езды. Время от времени он останавливал карету, давал краткие пояснения и осведомлялся, не желают ли его пассажиры выйти. Этот ритуал, последовательно соблюдаемый их гидом в сапогах, страшно забавлял обоих, и они, посмеиваясь про себя, скоро отвечали уже дружным дуэтом:

— Нет, спасибо, нам хорошо видно и так.

С самого начала поездки их охватило безудержное веселье и молодой задор. Лессинг не уставал восхищаться красотами имперской столицы, жизнь ему казалась снова прекрасной и исполненной надежд. Но в самый неожиданный для влюбленных момент, когда они приготовились увидеть очередную достопримечательность, словно этому мерному перестуку колес, этому приятному покачиванию не будет конца, карета вдруг остановилась перед мануфактурой Евы.

Кучер спустился с козел, отдал честь и объявил, что на этом данное ему поручение может считаться выполненным.

Но Ева разочарованно спросила:

— А разве Венский лес не в Вене?

Славный малый поскреб в замешательстве за ухом, безмолвно забрался обратно на козлы, и они поехали в Венский лес. Там он уже не спрашивал, не желают ли пассажиры выйти, да в этом и не было нужды, и так было видно, что весь мир оделся нежной весенней зеленью.

Но когда кучер развернул карету, чтобы ехать обратно, Лессинг с озорным смехом быстро спросил:

— Послушайте-ка, добрый человек, а разве Гринцинг не относится к Вене и не должен быть в числе главных достопримечательностей

показан гостю города?

Кучеру ничего не оставалось делать, как повернуть лошадей и направиться в северную часть города. Но, добравшись до винодельческой деревушки Гринцинг, он, прежде чем прокатиться по уходящим круто вверх и вниз переулкам, остановился у старого, увитого плющом углового дома, на котором был вывешен издалика бросающийся в глаза зеленый венок.

Там Лессинг с Евой вышли наконец из кареты, и все вместе они отведали молодого вина, которое, вероятно, тоже составляло достопримечательность Вены, а ведь молодое вино и впрямь молодит — «о том и в священном писании сказано», пояснил кучер немецкому поэту.

Лишь поздним вечером возвратился в этот день кучер господина фон Геблера из своей поездки.

Вскоре последовали всевозможные аудиенции, одна почетнее другой. Лессингу следовало догадаться, что, нанеся визит старому статскому советнику фон Геблеру, он тем самым возвестил о своем прибытии в Вену...

Князь Кауниц, всемогущий министр, изъявил желание первым побеседовать с поэтом. Князь, державший в своих руках судьбы страны, повсеместно слыл поборником идеи «просвещенной» монархии, и у него Лессинга ждали на редкость доброжелательный прием и дружеская беседа.

День спустя за Готхольдом Эфраимом Лессингом была прислана дворцовая карета: познакомиться с ним пожелал молодой император. После смерти отца он, по настоянию матери, был допущен к делам правления, но его пристрастием были театр и изящные искусства.

— Здесь поговаривают, будто именно молодой император Иосиф хочет привлечь в Вену Лессинга, Клопштока и других, — заметила Ева перед аудиенцией.

Однако после приема Лессинг возразил:

— Об этом и речи не было.

— Ах, разве он не был столь же мил, как и министр, как князь Кауниц?

— Мил? Не то слово! Он был исключительно любезен, сказочно любезен!

— А вы, мой друг?

— Я отнесся к этому равнодушно.

То, на что втайне надеялась Ева, о чем она мечтала, вскоре стало чудесной явью: императрица Мария Терезия также удостоила Лессинга аудиенции в Хофбурге, хотя он и не добивался ее.

— Да это настоящий триумф! — воскликнула счастливая Ева. — Еще ни один немецкий поэт или ученый не удостоивался в Вене таких почестей.

Сгорая от нетерпения, она едва дождалась его возвращения и тут же накинулась на него с расспросами:

— Ну, как все прошло? Что там было?

— Была сцена, достойная комедии, любовь моя. Три раза подряд с разными интонациями я начинал было «Ваше величество, это...», однако мне, как тому зайке в старом венском анекдоте, все три раза так и не удалось продвинуться дальше, ибо, громы небесные, она говорит одна и говорит непрерывно...

— Ах, я должна была вас об этом предупредить, — вставила Ева.

— Заодно уж вы могли бы мне сообщить, что она такая толстая и такая рябая. Мое изумление было бы не столь велико: ибо когда она — видимо, чтобы оказать мне честь, — уперлась обеими руками в подлокотники и при этом лишь слегка смогла приподнять свое тяжелое тело, меня так и подмывало подскочить и помочь ей.

— Удостоиться аудиенции ее величества — уже само по себе большая честь, любезный друг!

Лессинг невольно рассмеялся.

— Ну да! Человеку со стороны показалось бы в высшей мере странным увидеть, как бедный немецкий поэт выбрался из роскошной дворцовой кареты, как перед ним распахнулись все ворота и двери, как разодетый дворецкий самолично провел его через великолепную парадную залу, где один только вид шести или восьми гигантских люстр — несравненных шедевров ремесленного искусства — так поражали воображение, что лишь в приемной императрицы поэт пришел в себя...

— И что она сказала? — быстро спросила Ева.

— Она сказала — прошу не судить меня строго, если мне не удастся точно воспроизвести ее интонации, — так вот, она сказала: «Меня чрезвычайно радует, что я могу приветствовать вас здесь, в Вене, мой дорогой господин Лэссинг». — «Ваше величество, это...» —

попытался я ответить комплиментом на комплимент. Но она оборвала меня на полуслове: «Этот Вольфербиттель, где он, собственно находится?» — «Ваше величество, это...» — попытался я объяснить. «Но, кажется, не в Пруссии?» — перебила она. — «Ваше величество, это...» — произнес я в третий раз, но она тем временем приступила к экзамену.

— Вас допрашивали, друг мой?

— Риторические вопросы. Ответов не требовалось. «Посмотрим-ка, — произнесла она, — мне говорили, что он знающий человек. Так может ли он мне теперь растолковать, хорошо ли обстоят дела в нашей Вене с театром, с искусством и литературой...» Я был так ошеломлен, что с трудом подыскивал слова.

— Как и раньше, — заметила Ева с улыбкой.

— Как и раньше, как и всегда! Кто бы отважился вот так, с налету судить об искусстве? «Да, мне кажется, я его понимаю» — озабоченно продолжала она, и ее речь смахивала на обычную жалобную скороговорку торговки сдобными булками: «В вопросах вкуса мы несколько отстаем. Но в чем причина? Я сделала все, что было в моих силах. Теперь я часто думаю, что я — простая баба, а женщина не может тут ничего исправить».

— Но вы, конечно же, возразили, друг мой? Ведь сразу видно, что это — необыкновенная женщина.

— Я сказал, что мое краткосрочное пребывание в Вене не позволяет мне пока судить о деле, но если бы мне дали побольше времени, то дней через двадцать или тридцать я был бы готов охотно ответить на все вопросы. «Так пусть он останется, сколько захочет!» — распорядилась императрица и поднялась, как и раньше, тяжело опираясь на подлокотники своего роскошного трона. Аудиенция, видимо, была окончена. Я поклонился и вышел.

— А теперь скажите мне, что произвело на вас у ее величества самое сильное впечатление?

— Люстры в парадной зале.

— Узнаю своего любимого друга, — со смехом заметила Ева, — если ему хорошо, он тотчас принимается острить.

В театре — и это был отнюдь не самый мелкий из триумфов поэта Готхольда Эфраима Лессинга в Вене — срочно внесли изменения в

репертуар. Сыграли «Минну фон Барнхельм», а потом поставили даже «Эмилию Галотти».

Лессинг с Евой посмотрели оба спектакля. Каждый раз его узнавали, и ему приходилось покорно выслушивать сперва робкое, раздававшееся то тут, то там, а затем громкое, многоголосое: «Да здравствует Лессинг! Виват!» К удивлению Евы, он стеснялся этой шумихи, сидел с непроницаемым лицом, не вставал, не благодарил и не выходил на сцену.

Но это не помешало Еве испытывать за него немалую гордость.

Десять дней спустя счастье кончилось.

Однажды утром к Лессингу незванно явился гувернер фон Варнштедт и сообщил, что принц Леопольд желает безотлагательно поговорить с Лессингом.

— Принц Леопольд? Сын императрицы?

— Младший сын его светлости герцога Брауншвейгского.

— Он здесь, в Вене?

— С сегодняшнего утра.

Двадцатидвухлетний принц Леопольд Брауншвейгский поселился в большом, украшенном колоннами дворце, который императорская семья держала наготове для сиятельных гостей. О Лессинге доложили. Принц вышел ему навстречу. На нем был костюм для верховой езды.

Принц величественно заявил, что совершает путешествие в Италию, и повел своим хлыстом в том направлении, где она, по его представлениям, находилась. Короче говоря, все сводилось к тому, что принц выпросил себе у отца в качестве ученого проводника библиотекаря Лессинга, дабы тот мог рассказать ему про особенности страны, памятники древности, геральдику, развалины и все такое прочее.

«А может быть, — и это куда вероятнее, — старик послал своего младшего сына выманить „своего библиотекаря“ из Вены?» — терялся в догадках Лессинг. В ушах у него еще стояло предостережение герцога Карла: «Смотрите же, чтобы вас не переманили!»

— Раньше путешествие в Италию было бы для меня счастьем, но теперь я собираюсь жениться и вернуться с семьей в Вольфенбюттель, — возразил Лессинг.

Но, очевидно, старый герцог подсказал своему сыну верный ход. Похлопывая хлыстом по голенищам своих сапог, принц вскользь заметил, что пока он собирается ехать лишь до Венеции, а это ведь совсем недалеко. Если Лессинг согласится его сопровождать, то он, принц Леопольд, возьмет на себя заботы о том, чтобы вольфенбюттельскому библиотекарю, тем более если тот подумывает о женитьбе, было в будущем увеличено его вознаграждение. «Я вам это обещаю!»

С тяжелым сердцем Лессингу пришлось согласиться. Неужели его радости и горести зависели теперь от заступничества столь малозначительного принца?

Ева сказала, что она готова еще один, хочется верить, последний раз доказать свое долготерпение и будет ждать его писем или возвращения. Но Лессинг догадывался, что на память ей пришла совсем другая поездка в Венецию, возвращения из которой она так и не дождалась.

VII

Эх, если бы он мог вовсе вычеркнуть из своей жизни это путешествие по Италии!

На маленькой почтовой станции в окрестностях Зальцбурга Лессинг сидел в карете напротив принца. Тот спал с открытым ртом, и Лессинг с нетерпением дожидался его пробуждения.

Надо было переменить лошадей. Но почтмейстеру еще предстояло пригнать их с соседней станции. Восемь месяцев назад, даже почти девять, путешественники уже были здесь. Тогда морды лошадей смотрели на юг, теперь они указывали на север.

Минувшей ночью выпал снег. Безотрадная белизна! Еще один год прошел вдали от Евы. Время продолжало свой неумолимый бег. Потерянное время! А ведь это — его жизнь.

Путешествие принца по Италии оказалось сплошной цепью сиятельных обманов, ибо поездка вовсе не окончилась в Венеции. Они побывали в Болонье и во Флоренции, в Турине и в Парме, в Риме, Неаполе и снова в Риме. Об осмотре древностей больше и речи не было. Время проходило в разъездах по чужим дворцам, в веселых

пиршествах и карточной игре. Лессингу положено было присутствовать повсюду. И все принимавшие их, не исключая дожа и самого папы римского, предпочитали вести нескончаемые беседы не с принцем, а с библиотекарем Лессингом.

Постепенно Лессингу стало ясно, что принц прибыл в чужую страну, чтобы развеять свое беспокойство. Он не был приучен к ожиданию, а между тем ему предстояло ждать, пока его дядя Фриц не назначит его, как ранее и всех остальных брауншвейгских принцев, владельцем какого-нибудь прусского полка. Дело все еще не было решено. А потому принц Леопольд разъезжал по Италии с севера на запад, с востока на юг и непрерывно слал письма в Брауншвейг и в замок Сан-Суси. Нет, это путешествие явно преследовало не общеобразовательные цели!..

Принц начал неприятно похрапывать. Когда же он наконец проснется! Лессинг собирался попросить его об отпуске. До Вены было недалеко. За все время он не получил от Евы ни единого письма и терялся в догадках. В самых мрачных своих мыслях он уже представлял себе, что она заболела, даже умерла...

Тут он вспомнил, как лихорадочно его разыскивали во время их второго пребывания в Риме. Принц получил наконец от своего дяди Фрица патент на командование прусским полком во Франкфурте-на-Одере. Он немедленно собрался домой, а тут ему приходилось ждать библиотекаря! Лессинга нашли стоящим перед скульптурной группой «Лаокоон». Он прислонился к колонне и смотрел на статую в глубокой задумчивости...

Внезапно почтовая станция наполнилась шумом — пригнали лошадей. Принц очнулся от сна. Лессинг обратился с просьбой предоставить ему в Вене отпуск. Но принц возразил, что Лессинг должен еще сопровождать его до Мюнхена. Лишь там ему дозволялось распрощаться с принцем.

Вот что получаешь в награду, когда связываешься с принцами, — подумал Лессинг. Если уж попался к ним в лапы, приходится терпеть, хочешь того или нет.

Из Мюнхена Лессинг поспешно выехал в Вену. Но Евы там не оказалось. Пришлось опять обратиться за сведениями к старому знакомому Геблеру.

К своему изумлению, он обнаружил у статского советника барона Тобиаса Филиппа фон Геблера связку писем от Евы. «Я не нашел способа вам их переправить», — объяснил тот.

Ничто больше не удерживало Лессинга в Вене, и он уклонился от аудиенции, которой его опять собирался почтить князь Кауниц. С каким пренебрежением и здесь, в имперской столице, обходились с человеком не дворянского происхождения! Ведь письма принцу Леопольду, несомненно, также посланные через Вену, находили его в любом городе Италии.

Пятого января нового, 1776 года Лессинг на перекладных покинул Вену и даже не оглянулся, раз и навсегда избавившись от желания жить и творить в этом городе.

По дороге он навестил в Каменце свою мать. Брата он повидал в Берлине. Затем, сгорая от нетерпения, он возвратился в Брауншвейг.

Одним из первых, с кем Лессинг столкнулся в Брауншвейге, был наследный принц. Тот прогуливался как ни в чем не бывало, словно никогда и не думал так явно избегать встречи, специально прятаться во дворце Вехельде или где бы то ни было.

Две левретки бежали впереди принца. Дурацкая мода, скопированная у дяди!

Лессинг подошел к принцу и снял шляпу. В ответ он был удостоен равнодушного и, видимо, машинального кивка.

Значит, следовало заговорить. Лессинг сказал, что наконец вернулся после долгого путешествия с принцем Леопольдом.

Его светлость ответил, что рад видеть его снова в Брауншвейге, и хотел уже пройти мимо.

Лессинг поспешно объяснил, что еще перед отъездом он неоднократно, хотя и тщетно, бывал во дворце, и вот теперь он надеется, что в ближайшее время герцог найдет время его выслушать.

Наследный принц возразил, будто ему не докладывали, что Лессинг был во дворце, тем самым в одно мгновение поставив все с ног на голову. Ему, напротив, необходимо поговорить с Лессингом, и он непременно его пригласит, если Лессинг готов подождать в Брауншвейге его распоряжений. Сказав это, он зевнул во весь рот и зашагал вслед за собаками.

Лессинг обосновался в Брауншвейге и тщетно ждал день за днем. Наконец ему стало ясно, что принц Леопольд, несмотря на все заверения, так и не замолвил за него слово. Впрочем, этому мальчишке предстояло нарушать свои обещания еще не раз. Да и можно ли было ожидать иного от всего их сиятельного выводка?

Когда спустя десять дней Лессинг окончательно потерял терпение, он дал «волю сердцу», как любили выражаться у него дома, в Саксонии. В вежливых, но метких и язвительных выражениях он упрекал наследного принца в бесконечных надувательствах и напомнил ему о том, как вольфенбюттельского библиотекаря более трех лет водили за нос и морочили ложными обещаниями. Он ничего не упустил: ни своего намерения жениться, ни весьма посредственного жилья, ни тщетных надежд на повышение вознаграждения. Он завершил письмо угрозой, что в силу всех этих причин — в коих принцу некого винить, кроме себя самого, — он будет требовать у герцога отставки.

Письмо возымело ошеломляющее действие. В тот же самый день к Лессингу был отправлен камергер фон Кунтч. Ему поручалось устно посулить: повышение вознаграждения, аннулирование долгов, тысячу талеров аванса, виды на лучшее жилье, — но при условии, что Лессинг не пошлет жалобу герцогу.

Однако стоило ему согласиться, как снова потянулась прежняя канитель. Принц в тот же день уехал и очень долго не показывался в Брауншвейге.

За время бесплодного ожидания вышли из печати сочинения Вильгельма Иерузалема с тем самым предисловием Лессинга, что задержалось из-за путешествия в Италию. Он разослал эту книгу всем влиятельным ученым в немецких государствах — Кестнеру, Гейне, Эберту, Рамлеру и господину Мозесу — с запиской, призывающей не только обратить внимание на содержание сей публикации, но и «постичь истинную точку зрения автора».

Из путешествия по Италии Лессинг возвратился зимой. Но близился уже разгар лета, когда представилась, наконец, возможность побеседовать с принцем. Тот предложил восемьсот талеров годового вознаграждения вместо шестисот, милостиво согласился выплатить авансом тысячу талеров, которые впоследствии должны были быть удержаны, и пожаловал Лессинга в надворные советники.

Лессинг поблагодарил за повышение жалования, сам вызвался возратить аванс в течение двух лет, а затем прямо и недвусмысленно заявил, что не придает никакого значения титулам.

Но наследный принц связал все в один узел. Это-де является одним из условий. Он хотел бы видеть Лессинга при дворе. Ведь как знать, может быть, скоро наступит время, когда надворного советника Лессинга придется использовать. Он хотел бы заручиться его поддержкой, как и поддержкой других порядочных граждан страны, и он уверен, что надворного советника Лессинга удастся использовать наилучшим образом.

Принц снова и снова употреблял это странное слово, приравнивающее человека к неодушевленному предмету.

Так Лессинг вопреки своей воле стал надворным советником, ибо нуждался в талерах для своей будущей семьи. Ему оставалось только гадать, как его намеревались «использовать». Возможно, наследный принц хотел лишь заставить его в дальнейшем вновь являться ко двору всякий раз, когда полагалось верноподданными поклонами выражать свою преданность?

От Эберта, который не выказал ни малейшего удивления, услышав о титуле надворного советника, Лессинг узнал больше. Оказалось, что престарелый герцог несколько дней назад внезапно тяжело занемог. Поговаривали о параличе правой стороны тела, и наследный принц, видимо, возмечтал теперь взять бразды правления в свои руки. Однако вся эта неразбериха могла продлиться долго, — считал Эберт, — ибо престарелый герцог тем временем несколько оправился, а он был не из тех, кто преждевременно сдается.

Цахариэ, всегда превосходно осведомленный, ибо, не умея сидеть без дела, он, помимо места профессора, занимал в течение ряда лет также хлопотливую должность издателя «Новой брауншвейгской газеты», от которой лишь недавно был освобожден, — так вот, даже он заколебался, когда Лессинг спросил:

— Апоплексический удар? У него что, были неприятности?

— Вполне вероятно, хотя вслух ничего не говорится, — сказал Цахариэ. — Давайте рассуждать: считалось, что наследный принц часто бывал в своем полку в Гальберштадте. Но чтобы так подолгу? Столько

недель — и лишь в своем полку? А между тем поговаривают, будто в Англии находятся более четырех тысяч солдат герцогства...

— ...ею нанятых, что ж тут рассуждать? — нетерпеливо прервал его Лессинг. — Я, как саксонец, тоже ведь служил по найму у генерала Тауэнцина.

— Разве можно сравнивать? — с горечью возразил Цахариэ. — Герцог Карл зарабатывает на этой торговле чудовищные суммы. «Государь-отец» продает своих сынов. А почему он это делает? Он хотел бы и на будущее обеспечить свое благополучие. Тут его превзошел, пожалуй, лишь ненавистный гессенский «государь-отец». И всех их — будь то солдаты Брауншвейга или Гессена — английская корона тут же отправляет на войну в Америку. Поэтому меня не удивляет, что старика хватил удар в то самое время, когда наследный принц возвратился из своих постыдных «поездки»!

— Мне уж хотелось бы заодно узнать, как в этой стране собираются «использовать» надворного советника Лессинга?

— А разве Лессинг допустит, чтобы его использовали? — усмехнулся Цахариэ.

Когда после Иванова дня, которым в герцогстве начинался новый финансовый год, Лессинг стал обладателем тысячи сверкающих талеров, он послал довольно крупную сумму матери и одним махом проиграл в лотерею шесть талеров и двенадцать грошей. Слишком велико было искушение попытаться счастья.

Затем он начал готовиться к свадьбе.

Как все это будет — потом, когда спадет напряжение, когда кончится разлука, когда он обретет счастье? Шесть лет он ждал этого дня. Что же теперь?

Лессинг улыбнулся, хотя почтовая карета, которая опять, но теперь уже в последний раз, везла его в Гамбург, тряслась и вздрагивала. Нужно было подумать о детях Евы. Ведь ясно как божий день, что и в дальнейшем ему вряд ли доведется шествовать по жизни легко и беззаботно.

Опять была пора урожая. Это бросалось в глаза повсюду, и когда начался праздник, Лессинга охватило такое чувство, словно на сей раз он был причастен к нему.

Деверь Евы, брат ее первого мужа, встретил Лессинга в Гамбурге на станции — красивый жест с его стороны. Этот человек, — которого

Ева обычно упрекала в том, что он слишком мало заботится о детях своего брата, а Лессинг, оправдывая его, возражал, что у брауншвейгско-люннебургского почтмейстера, служащего на станции при въезде в Гамбург, и без того дел по горло, — был единственным званым гостем на их свадьбе.

В залитой солнцем осенней тиши загородного поместья Йорк, расположенного в окрестностях Штаде и испокон веку принадлежавшего семье Шубак, 8 октября 1776 года состоялась долгожданная свадьба. Иоганнес Шубак, сын гамбургского бургомистра, был опытным коммерсантом и своими полезными советами не раз помогал Еве в ее запутанных делах. Чтобы не было лишней шумихи, он вместе со своей женой Анной Элизабет предложил устроить свадьбу своих верных друзей Евы Кёниг и Готхольда Эфраима Лессинга в Йорке, в желанной тиши и уединении. Так что Лессингу не пришлось даже покупать себе новый сюртук. Ева раздобыла ему лишь новый жилет, выказав заботливость истинной жены и хозяйки.

Когда после краткой церемонии все уже сидели за праздничным столом, Иоганнес Шубак стал допытываться, о чем каждый думал во время венчания. Но каждый должен был поведать о мыслях, не связанных с торжественным событием.

— Чтобы у Марии не подгорела эта чудесная индейка! — тут же ответила госпожа Анна Элизабет Шубак.

— Так я и знал! — поддел ее муж.

Желая смягчить неловкость, Лессинг поднял свой бокал за госпожу Шубак:

— Браво, это я называю ответить прямо! — Все тотчас выпили за здоровье хозяйки дома.

Ева же сказала, что во время венчания ей вдруг подумалось, пойдет ли детям на пользу, если теперь им в некоторых случаях придется спрашивать также и мнение отца.

Дети — здесь все это знали — часто подолгу бывали предоставлены сами себе.

— Ты опасаясь, что я буду недостаточно строг? — спросил Лессинг, поймав себя на том, что он впервые употребил сердечное «ты», вообще-то принятое лишь между братьями и сестрами.

Брауншвейгско-люннебургский почтмейстер Фридрих Вильгельм Кёниг, смеясь, заявил, что все время пытался высчитать, сколько денег

можно было бы сэкономить на извозчике, если бы они не поехали в церковь, а пригласили пастора к себе.

— Дай бог не иметь других забот, кроме этой! — воскликнул Иоганнес Шубак, опять не без иронии. Ему очень понравилась эта игра.

— Других забот? Мне придется вас разочаровать, — заметил Лессинг, ибо во время торжества его вдруг стал мучить вопрос, почему это он испросил разрешения на свадьбу у герцога, но забыл получить благословение собственной матери.

— В вашем возрасте еще спрашивать согласия у матери? — изумленно спросил Шубак.

— У нас так принято.

— Но ваша мать ведь не отказала бы вам? — допытывался Шубак.

— Это было и останется формальностью, но я пренебрег ею безо всякой нужды. Я намереваюсь в ближайшее же время написать матери письмо и попросить прощения.

Ева согласно кивнула. Она ценила то глубокое почтение, какое Лессинг испытывал к своей матери.

— Выходит, я более поэтичная натура, чем любой из вас, хоть и не умею сочинять стихи. Я так проникся атмосферой этого торжественного часа, что даже мои, казалось бы, посторонние мысли были о чудесном спасении, — а ведь любое долгожданное бракосочетание напоминает, в сущности, чудесное спасение, — заявил коммерсант Шубак.

— Громы небесные! Какое сравнение! — воскликнул почтмейстер, который уж давно объявил, что никогда не женится, потому что не хочет оказаться под каблуком у жены.

— Что ты имеешь в виду? — спросила мужа Анна Элизабет Шубак.

— А ты не догадалась? — Шубак удивленно взглянул на жену и обратился затем к Еве и Лессингу: — Давным-давно, в пятьдесят пятом году — мне тогда было двадцать три года — в Лиссабоне — а это очень важный для средиземноморской торговли портовый город — я изучал тонкости или, лучше сказать, тайны заморской торговли. Так вот, я жил в Лиссабоне, когда землетрясение разрушило город, вызвало ужасающие опустошения и погубило тысячи людей. Все, кого я там знал, пали жертвой катастрофы, в том числе и все соседи по дому, с

которыми я делил кров. Один я чудесным образом остался в живых. — Вот это мне и вспомнилось.

— Я не хочу преуменьшать роль чуда в таком спасении, хотя, уверен, тому имеются и более земные причины, — заметил Лессинг. — Но одно меня удивляет: а не могла ли весть об этом чудесном спасении младшего сына гамбургского бургомистра достичь ушей обер-пастора Гёце?

— Да, конечно, еще бы! — сказал Иоганнес Шубак. — Я же сам рассказывал ему об этом случае!

— Тогда мне кажется странным, почему его проповедь о лиссабонском землетрясении не содержала и намек на утешение. Это несправедливо! Обер-пастор отнимает надежду, хотя не может не знать, что, по библии, она, как и любовь, есть неотъемлемая часть веры. — Лукавые морщины веселыми лучиками разбежались вокруг глаз Лессинга, когда он с деланной серьезностью добавил: — Но ведь еще Лютер сказал:

Всяк библии свое имеет толкование
И сообразно с ним возводит жизни здание.

На другой день после свадьбы, прослышав, что в Кадене, в загородном поместье своего кузена, остановился Клопшток, Лессинг уговорил Еву и почтмейстера поехать туда. Когда вышла в свет книга Клопштока «Немецкая республика ученых», Лессинг ощутил в ее сложном подтексте стремление объединить людей с развитым гражданским сознанием для совместной деятельности.

В Кадене их радушно приняли. Впрочем, иначе и быть не могло. Пока Еву и почтмейстера гостеприимно потчевали в доме чаем, Клопшток и Лессинг отправились прогуляться на свежем воздухе. Они расхаживали взад и вперед по широкой поляне среди весьма живописно и с большим вкусом расположенных по-осеннему пестрых групп деревьев. Чтобы видеть обоих собеседников, Еве было достаточно повернуть голову к широкому эркерному окну и слегка приподняться. Готхольд, хоть и был весьма солидной комплекции, казался изящным, почти хрупким рядом с огромным Клопштоком.

Клопшток предпочитал вести беседы на просторе этого старинного парка, так как имел обыкновение говорить очень громко и нередко

— Кто назвал их людьми, их, кои по глупости
Всерьез почитают себя выше нас...

— Теперь я часто замечаю в ваших одах какую-то новую, если можно так сказать, интимную интонацию, — задумчиво произнес Лессинг. — Достаточно взглянуть на названия: «Мое отечество», «Немцы». Или такая богатая ассоциациями ода, как «Конский след». Так что же вы ищете, — спросил он прямо, — отечество или нацию?

— И то, и другое, а может, и что-то третье! Необходимо преодолеть иностранное влияние. Но кому я об этом скажу? Еще ваша «Гамбургская драматургия» указала нам всем эту цель. Нам следует с достоинством отринуть современное французское искусство, а заодно, по-моему, и греческую античность. Нельзя, чтобы они заполняли и формировали все наши устремления, все наше искусство, все наши мысли, нашу поэзию и наши идеалы. Я хочу, чтобы немец больше не стыдился своего прошлого, как чего-то позорного. Поэтому я читаю «Германию» Тацита, и «Эдду», и различные старонемецкие сочинения. Мы — вы и я — с нашими слабыми силами не можем создать немецкую нацию и все, что к ней относится, ибо триста карликовых Тамерланов, триста мелких князьков требуют от подданных, чтобы они носили русские или прусские, любекские или липпские цвета. Но зато, используя древние источники и литературные памятники, мы могли бы основать национальную традицию, которая поможет покончить с внутренним и внешним иностранным влиянием. Я хочу пробудить в немцах гордость.

И Клопшток снова принялся читать стихи, лишь спросив предварительно:

— Вы знаете оду «Мое отечество»?

Никогда еще ни одна страна
Не была столь справедлива к иноземцам, как ты.
Но знай меру и в этом, ибо они недостаточно
благородны,
Чтобы восхищаться твоими пороками.

Лессинг рискнул усомниться:

— А так ли необходимо это провозглашать? Неужели нашего собственного примера недостаточно?

— Привычки, эти священные коровы, разлеглись в наших тесных улочках, а нам уж и согнать их нельзя, чтобы расчистить дорогу? Даже в нашей почтенной гимназии к немецкому языку относились столь презрительно, что мы за шесть нескончаемых лет не узнали о немецкой грамматике ровным счетом ничего. Ничего! Кто нам сказал хотя бы, что некогда существовал древневерхненемецкий язык, за ним — средневерхненемецкий и наконец новый, коему положил начало Лютер? А как возникли эти древние верхненемецкие языки? Что это — искусственные образования, поэтические наречия? Сплошные вопросы!

— В поэме «Скакун» Гуго Тримбергского есть несколько стихов, так, лишь отрывки — я спишу их вам, как только вернусь в Вольфенбюттель, — в которых содержится совет заимствовать все лучшее из «местных говоров», то бишь, из немецких диалектов, — ответил Лессинг. — Если не ошибаюсь, там сказано, причем весьма архаичным слогом, что в этом деле «тот верно поступает», кто делает его искусно и «меру соблюдает». Для меня это служит доказательством того, что немецкий литературный язык, так называемый верхненемецкий, следует рассматривать как выборку из диалектов Германии; по крайней мере, наши писатели прежних поколений воспринимали и развивали литературный язык именно в свете этих представлений.

Клопшток остановился, опустил голову, в задумчивости поднес ко лбу палец левой руки, а затем произнес:

— Да, пришлите мне эти стихи! Как славно иной раз бывает снова задуматься над великими идеями развития!

— Я хочу вам также послать три первые песни вашей «Мессиады» на итальянском языке, — добавил Лессинг. — Поскольку во время моего путешествия по Италии я познакомился с переводчиком, у меня есть все основания рассчитывать на получение следующих частей великой поэмы.

— Какая приятная новость! — воскликнул Клопшток. — Перевод, о котором я и не подозревал!

Когда же пришла пора прощаться, один назвал другого «о, благородный Лессинг», а тот его «дорогой мой Клопшток», что явно

свидетельствовало об искреннем, без тени взаимной зависти, почтении друг к другу.

В Вольфенбюттеле Лессингу было дозволено наконец, после стольких лет, покинуть свой проклятый замок и вместе с семьей переехать в так называемый дом Бёрнера, расположенный в непосредственной близости от дворцовой площади. Лессинг когда-то был здесь, и дом показался ему достаточно просторным, однако для большой семьи, да еще с непоседливыми детишками, он был тесноват. Лессинг решил на первое время поступиться собственными удобствами, оставив пока в замке свои личные вещи, книги, журналы, письма, рукописи.

Хуже было другое: выяснилось, что выданные ему авансом деньги утекли, как вода сквозь пальцы. Поскольку Ева, по его совету, не привезла с собой никакой мебели, он был вынужден покупать самое необходимое, вещь за вещью, на всевозможных распродажах. Между тем он продолжал посылать деньги и своей больной матери, чтобы она ни в чем не нуждалась.

Так что вечерами, когда дети спали, он сидел вместе с Евой за столом и чаще, чем ему бы того хотелось, занимался денежными подсчетами, пытаясь свести концы с концами. Однажды он, смеясь, сравнил себя с Фрицем и Энгельбертом, которые регулярно упражнялись в счете и письме под присмотром кантора Штегмана; избавившись от необходимости преподавать эти предметы, Ева и Готхольд могли, таким образом, учить детей более сложным наукам — латыни et cetera...

— У меня все — как у милого Фрица, — весело сказал Лессинг. — Поначалу я учил цифры, теперь приходится иметь дело с числами. Но в моем случае это, безусловно, шаг назад. А между тем ты даже представить себе не можешь, как я счастлив, несмотря ни на что. Ты рядом, и любая задача кажется мне разрешимой. Как тебе нравится этакое безрассудство? — И, не дождавшись ответа, добавил с улыбкой: — Если же станет неумоготу, я добьюсь повышения своей пфальцской пенсии.

— Как будто это так просто!

— Вот увидишь, все получится. Вода камень точит. Письма ведь пока еще никто не отменил.

Но Ева знала, что говорила. Она была уроженкой Пфальца и предвидела немалые трудности на пути Лессинга.

Курфюрст Пфальцкий и его всемогущий министр финансов барон фон Хомпеш завидовали правителям различных, нередко еще более мелких немецких государств не только потому, что там имелись известные театры, но и потому, что все великие мужи жили где угодно, только не в Мангейме. Клопшток обосновался в Гамбурге, Виланд — в Веймаре, а Гердер и Лессинг — аж в Бюккебурге и в Вольфенбюттеле. Подумать только: в Вольфенбюттеле, в Бюккебурге!

А посему в Мангейме выстроили театр, которому не доставало лишь актеров; затем в Вольфенбюттель, к самому знаменитому из великих мужей, отрядили книготорговца Швана, каковой и не подозревал, что в предстоящей затяжной шахматной партии ему понастоящему ведом лишь первый, самый незначительный ход. Шван доставил в Вольфенбюттель свидетельство — красиво оформленный, украшенный золотом диплом, удостоверявший, что Лессинг избран действительным членом пфальцской Академии наук. Ему назначалась пенсия в сто луидоров при условии, что раз в год он будет ненадолго приезжать в Мангейм для участия в заседаниях Академии. После того, как книготорговец Шван воздаст эти, пока лишь формальные почести, ему поручалось по всей форме пригласить Лессинга в Мангейм и заодно упросить его употребить весь свой авторитет среди актеров и актерских трупп на то, чтобы новый мангеймский театр, который по примеру его знаменитого предшественника собирались назвать «Национальным театром», обрел своих исполнителей.

Наконец-то Лессинг почувствовал, что признан. Но за дополнительное задание он взялся с большой неохотой.

— Меня охватывает ужас, — пожаловался он Еве, — при одной лишь мысли о том, что опять придется иметь дело с театром.

В конце концов при помощи Лессинга Мангейм залучил к себе лучших после труппы Экхофа актеров — труппу Абея Зейлера, к которой принадлежала и несравненная госпожа Гензель.

В середине января 1777 года, заручившись согласием жены, Готхольд Эфраим Лессинг отправился по заснеженным дорогам в Мангейм. Престарелый герцог Карл предоставил ему отпуск.

В Мангейме Лессинг отыскал старых и обрел новых друзей и почитателей, и среди них — Мюллера-живописца, который принадлежал к окружению Гёте, был также не чужд литературного творчества и написал своего «Фауста». Наконец, специально из Дармштадта, а это составляло добрых три часа езды, прибыл славный Клаудиус вместе с Мерком.

— Скажите-ка мне, любезный Клаудиус, кто такой Мерк, чем он занимается? — прошептал Лессинг на ухо другу.

Но Клаудиус только рассмеялся.

— Мы можем говорить вслух. Моего спутника это никак не заденет. В настоящее время он — военный советник в Дармштадте, но вы его знаете скорее как бывшего издателя «Франкфуртских ученых известий», в которых сотрудничали Гёте и Гердер.

— Ах, Гердер, что за человек! — громко воскликнул Лессинг.

— А Гёте? Хе-хе! Зря вы его недооцениваете! Мы с ним друзья детства, — произнес Мерк и, улыбнувшись с видом превосходства, продолжал: — Когда он накропал своего «Гёца», я ему сказал: «Хе-хе, издай-ка эту штуку! Вообще-то она никуда не годится, но все же издай ее! Если ее переделывать, она, может, и изменится, но лучше наверняка не станет».

— Так это вам мы обязаны выходом в свет «Гёца»? — спросил Лессинг, пряча улыбку.

— Хе-хе, так оно и есть. Не стану врать.

Его светлость курфюрст, так заявил министр барон фон Хомпеш, желал бы привязать Лессинга к пфальцскому двору. Но об Академии уже речи не было, говорили исключительно о любимой игрушке этих господ — новом Национальном театре. Руководство им было бы желательно возложить на какого-нибудь выдающегося мужа с богатым опытом, заметил министр. Короче говоря, курфюрст полагает, что надворный советник Лессинг благожелательно и с благодарностью отнесся бы к своему назначению на эту должность.

Лессинг отказался. Он отверг это предложение со всей решительностью. Он пояснил, что его опыт охватывает и негативные стороны дела, имея в виду свои воспоминания об актерских склоках, о тщеславии и о слабых пьесах; ведь только Шекспиром, Клингером или Лессингом нельзя заполнить весь репертуар.

В итоге Лессинг получил один день на размышление; однако когда он вновь явился к министру, там обсуждался уже совершенно новый вариант.

Теперь речь шла о том, что его светлость курфюрст всемилостивейше предлагает надворному советнику Лессингу, «как ученому первой величины», возглавить руководство Гейдельбергским университетом и осуществлять надзор за всеми тамошними занятиями.

Лессинг ответил, что подобное предложение — большая честь для него. Он дал свое согласие немедленно, без колебаний и предварительных условий, ибо, радея всю жизнь об образовании и просвещении, вдруг увидел перед собой новое широкое поле деятельности. В сопровождении секретаря кабинета фон Штенгеля и Мюллера-живописца Лессинг в дворцовой карете отправился в Гейдельберг осматривать свои будущие владения. Об этом стало известно — сперва среди широкой публики, сочувственно следившей за всеми шагами Лессинга, а затем и при дворе.

Однако верховная опека над университетом находилась в ведении министра Оберндорфа, и тот учинил скандал из-за того, что фон Хомпеш его обошел. Чтобы решительно пресечь эти посягательства, Оберндорф прибегнул к услугам весьма ретивого патера Франка. Сей острый на язык муж, которого все побаивались, поднял истошный крик, обвиняя министра фон Хомпеша в том, что он вознамерился поручить воспитание католической молодежи страны протестанту Лессингу.

Теперь при дворе взглянули на это дело другими глазами, и сама мысль о каком бы то ни было использовании Лессинга показалась вдруг весьма сомнительной. Хомпеш был вынужден признать свое поражение, а секретарь кабинета фон Штенгель получил указание без долгих церемоний спровадить Лессинга восвояси.

Секретарь кабинета оказался из тех болтливых дипломатов, которые подробно описывают свою служебную деятельность. «Мне было поручено, — значит в его мемуарах, — передать Лессингу от имени курфюрста массу любезных слов, вручить ему шкатулку, полную дукатов, а в придачу — коллекцию золотых медалей с выбитыми на них портретами курфюрстов Пфальцских, начиная с Оттона Светлейшего и кончая Карлом Теодором; кроме того, ему особо возместили дорожные расходы и оплатили проживание, и Лессинг исчез, как и появился». Остается лишь добавить, что «золотые» медали, начиная с Оттона и

кончая Карлом Теодором, при ближайшем рассмотрении оказались из простой меди, покрытой тончайшим слоем позолоты.

Но едва Лессинг вернулся в Вольфенбюттель, как вдогонку ему посыпались письма с оправданиями: дружеские — от Швана и Мюллера-живописца, деловые — от министра, который хотел предотвратить какие-либо претензии со стороны Лессинга, ибо, что и говорить, несколько жалких дукатов вместе с «Оттоном Светлейшим», никак не складывались в обещанные сто луидоров. Вину министр норовил переложить на самого обманутого: «...но поскольку Вы отказались от постоянной пенсии, связанной с необходимостью ежегодно приезжать сюда, и дали понять, что не желаете ограничивать Вашу свободу...» Ну да ладно, так уж и быть, Лессингу и в дальнейшем, во время его будущих приездов в Мангейм, готовы «возмещать все убытки».

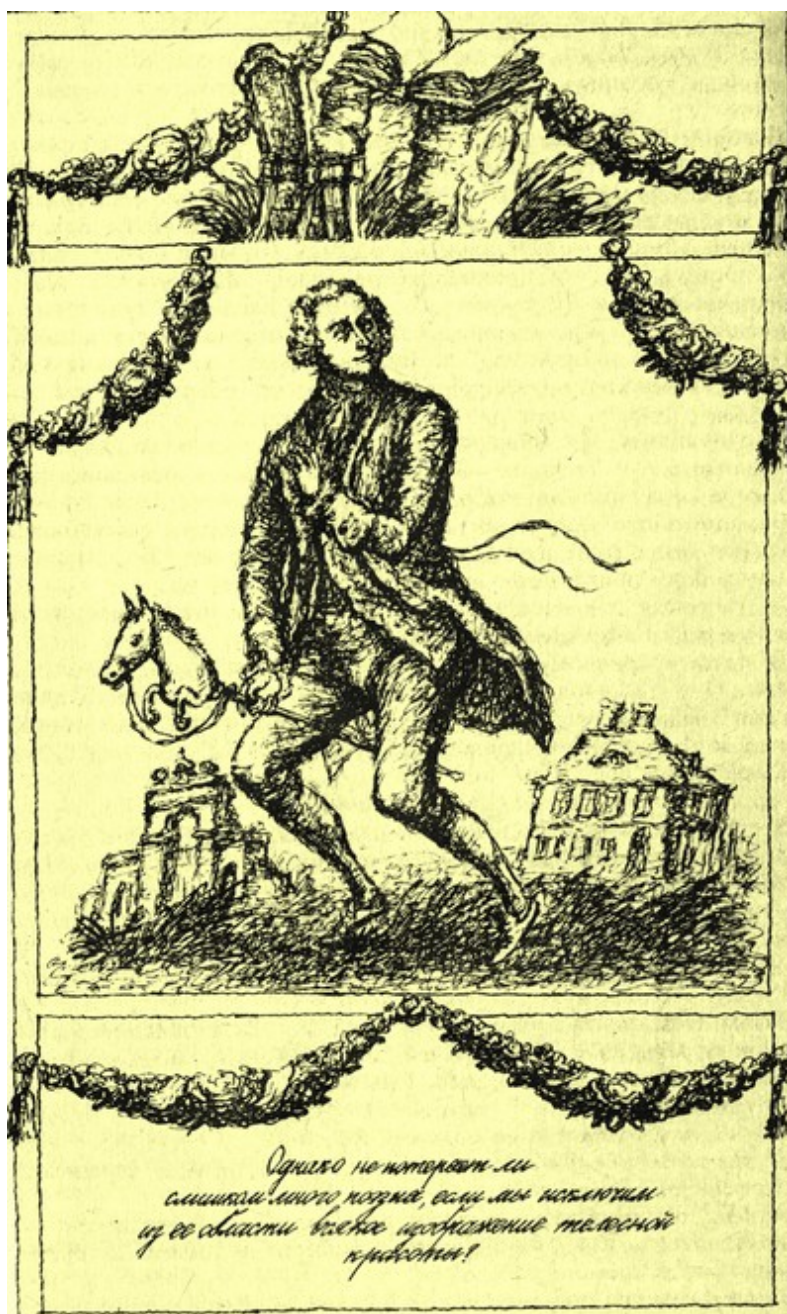
Лессинг гордо ответил: «Пусть только кто-нибудь посмеет напечатать или произнести хоть единое слово *лжи* о моем участии в Мангеймском театре, изобразить его не так, *как это было на самом деле*, — и я тотчас выложу широкой публике все начистоту. Ваше Превосходительство изволят, видимо, шутить со мной — полагая, будто я, после всего, что произошло, не брошу Мангеймский театр на произвол судьбы и буду время от времени наезжать туда. Я ничего не добиваюсь; но свалиться на голову людям, кои, хотя и сами же меня поначалу приглашали, но тем не менее не захотели или не смогли достойно принять, представляется мне совершенно невозможным».

А радушному Мюллеру-живописцу он дал настоятельный совет: «Прощайте же; и поскорее научитесь относиться к обещаниям сильных мира сего так, как они того заслуживают».

Вскоре после того, как Лессинг возвратился, скоропостижно скончался его старинный друг Фридрих Вильгельм Цахариэ, не раз выказывавший достоинство и гражданское мужество.

— Неужели это и есть начало той пустоты, что приходит с годами? — задумчиво сказал Лессинг Еве.

Еще не оправившись от этого удара, он получил известие о смерти матери. Оно заставило его погрузиться в воспоминания о далеком прошлом. Обстоятельства опять не позволили ему лично поехать в Каменц, ибо последние пфальцские дукаты он был вынужден срочно отослать сестре.



В тот день ранней весной 1777 года в доме Лессингов уже с самого утра шли какие-то тайные приготовления. Когда Ева открыла дверь спальни, ее встретил веселым смехом выстроенный полукругом хор, составленный из Готхольда и детей. Лессинг сделал едва приметный знак рукой, и дети стройно произнесли:

— Мы поздравляем любимую маму с днем рождения! Тысячу раз и от всего сердца!

Затем отец снова подал знак, и чистые голоса запели старинную студенческую песню «Gaudeamus igitur» в быстром, живом ритме.

— О, латынь! — воскликнула Ева, когда хор умолк.

— «Gaudeamus igitur» по-немецки означает «Итак, будем веселиться!» — с готовностью пояснил Лессинг.

— Ну вот и первые плоды твоих уроков латыни, — признательно сказала Лессингу Ева.

— Просто стихи запоминаются легче всего, — возразил он.

— Однако, — Ева улыбнулась и обвела взглядом детей, — пение — само по себе искусство!

— Об этом мы вовсе и не помышляем, — возразил Лессинг, как обычно, шутливо. — Люди говорят: где начинается искусство, забава кончается. Но мы-то поем не ради искусства, а ради забавы или, лучше сказать, ради веселья и удовольствия нашей дорогой мамы. А об искусстве, настоящем нелегком искусстве, мы здесь сегодня уж точно не помышляем.

— Я пел так громко, чтобы тебе было меня лучше слышно, — воскликнул усердный Фрицхен.

— И тебе это удалось. Мне всех вас было слышно прекрасно.

После этого дети принесли свои подарки. Мальхен спекла большой сладкий пирог, Энгельберт купил у разносчика булавки и цветные ленты. А Фриц непременно хотел подарить маме свою деревянную лошадку, на палочке, которую отец принес ему с одной из распродаж.

Ева обняла и расцеловала всех троих. А потом сказала Готхольду, что она так благодарна, — нет, она теперь просто счастлива!

После завтрака пришел Эшенбург со своей молодой женой. Эшенбург давно, уже не один год, слыл зятем профессора Шмида, но лишь недавно, после того, как получил место, смог жениться.

Эшенбург, которого Лессинг видел чаще всех остальных брауншвейгских друзей, был заядлым спорщиком. Молодой профессор уже пользовался известностью как переводчик Шекспира, а посему мудрость шекспировского шута обсуждалась за чайным столом до тех пор, пока большой сладкий пирог не был доеден до конца.

— А теперь давайте покатаемся верхом! — предложил Лессинг. — Можно мне оседлать твою лошадь?

И, не дожидаясь ответа, схватил деревянную лошадку и устремился с нею за дверь. Оба мальчика ринулись следом. Вокруг

дома началась бешеная погоня. Отец скакал на деревянной лошадке, а Фриц и Энгельберт пытались его поймать. Это была одна из их любимых игр.

Ева стояла у окна и смеялась. Лессинг скакал изо всех сил. Но вскоре шумная ватага, к которой присоединилась и Мальхен, настигла-таки его. Вот это была забава! Настоящая, чудесная забава!

Новое благодеяние принесло новые заботы. Его светлость, которого, видимо, насторожило чужое внимание к его библиотекарю, вскоре после возвращения Лессинга из Мангейма пожаловал ему для постоянного жилья домик попросторнее. То был расположенный неподалеку от библиотеки так называемый дом Шеффера: одноэтажный центральный корпус с выступающими боковыми крыльями и широкой четырехскатной крышей. Уже в его скромных размерах явственно проглядывала гармония барочной архитектуры. Тут были комнаты в три окна, тихий кабинет с чарующим видом на лужайку позади дома и маленький внутренний дворик с изящными елями справа и слева от дорожки. Усадьбу окружала стена в человеческий рост с широкими воротами.

То, что Лессинг, не терпевший беспорядка, все лето и всю осень жил, как он сам в шутку говорил, сразу в трех местах, было бы для него до свадьбы источником постоянного раздражения. Теперь же он только посмеивался над всеми возможными неприятностями и был бодр, как никогда.

Семья продолжала жить в доме Бёрнера, а Лессинг по-прежнему держал свои книги и рукописи еще и в мансарде старого замка — до тех пор, пока в более просторной усадьбе Шеффера не побелили стены, не навели порядок и не прибили венские драпировки Евы. Это заняло почти целый год, ибо Еве следовало беречься. Лессинг всячески заботился о своей дорогой жене, так как узнал радостную новость. У них должен был родиться ребенок.

При мысли об этом Лессинг делался озорным, как мальчишка. Когда берлинский друг Лессинга Николаи обратился к нему за текстами для своего альманаха народных песен, Лессинг напомнил ему дерзкую, многоязычную шуточную песню:

Ты пробовал когда-нибудь
Под юбку к Лизхен заглянуть?..

Правда, французскую и итальянскую строфы он припомнить не смог, однако в шутливой форме дал Николаи понять, как позабавила его эта песня: — «Прошу не забывать, что английскую строфу я сочинил *сам* — так что не думайте, будто вы и Шлоссер — единственные немцы, сочинявшие стихи на английском языке!»

Дальнейший поиск текстов такого рода доставил ему изрядное удовольствие. Были опрошены все друзья, и спустя несколько недель Лессинг снова послал ожидавшему с нетерпением Николаи на выбор для его коллекции первые строфы грубовато-шутливых песен:

«Наш батрак служанку нашу
Затащил на сеновал...»

Или же:

«В постель нейдет невеста, талдычит всякий раз:
— Такого уговора ведь не было у нас...»

Были тут и забавные прибаутки-бессмыслицы, иначе говоря, шуточные песни, созданные, очевидно, по образу известной «Дело было в январе, пятого апреля».

Лессинг писал Николаи:

Я б легко мог с монахами встать в один ряд:
Они бедны, и я не богат;
Не пьют они мясо, не ем я вино:
Разве может быть большее сходство дано?
И все же я разницу вижу одну:
Когда они встают, я отхожу ко сну.

Однако Лессинг отобрал и некоторые тексты, исполненные глубокого смысла и так точно отвечавшие его собственным тайным опасениям, словно он не нашел эти стихи, а сам их сочинил.

Я нынче плохо день провел.
Еще не в силах я понять:
Тот край, где довелось бывать,
Мне больше не видать, не видать...

Господин Мозес, которому Николаи дал прочитать письмо, первым заметил странные, как ему показалось, колебания настроения Лессинга от безудержного веселья до мрачной озабоченности и связал это с выходом в свет четвертого тома вольфенбюттельских «Материалов». Четвертый номер «Материалов» содержал значительную часть из «Фрагментов безымянного», и больше ничего.

— Создается впечатление, — сказал господин Мозес берлинскому книгоиздателю Николаи, — будто наш друг приложил все силы к тому, чтобы бросить вызов ортодоксальной теологии. Тот, кто хорошо его знает, может предположить, что Лессингу пришлось слишком поспешно сдавать в печать этот четвертый том «Материалов», ибо он снова нуждался в деньгах. На самом же деле ему сейчас куда ближе шуточки о Лизхен, которой норовили заглянуть под юбку, и о невесте, что отказывалась лечь в постель. Мне, собственно говоря, уже давно следовало бы его навестить, ибо молчание, которое хранит ортодоксия, напоминает затишье перед бурей.

И даже сам Лессинг пока еще не представлял себе истинное положение дел.

Когда брат Карл сообщил ему кое-что об опасениях берлинских друзей, Готхольд ему ответил: «То, что о „Фрагментах“ моего „безымянного“ теологи помалкивают, лишь укрепляет меня в том добром мнении, какого я всегда придерживался в отношении них. Соблюдая необходимую осторожность, о них можно писать все, что вздумается. Их выводит из себя не то, чего их лишают, а то, что им взамен этого норовят навязать, и тут они правы. Ибо, если уж миру суждено стоять на лжи, то старая, давно привычная ложь годится для этого ничуть не меньше, чем новая.»

Долгожданный визит Мендельсона в Вольфенбюттель все откладывался, вплоть до самого последнего предРождественского воскресенья. Когда же господин Мозес, улыбаясь, переступил наконец

порог их дома, это застало всех врасплох — и до рождественских праздников, и до родов оставались считанные дни.

Лессинги давно привыкли к посетителям. Нередко в городе появлялся какой-нибудь заезжий магистр, желавший воспользоваться библиотекой. Однажды в числе гостей оказался художник по фамилии Тышбейн, втянувший Лессинга и его отменно образованную жену в нескончаемые искусствоведческие споры. Когда зашла речь о Винкельмане, Лессинг сказал:

— Есть два писателя, которым я с удовольствием подарил бы несколько лет моей жизни: это Лоренс Стерн и Винкельман.

Ева Лессинг возразила:

— Умоляю тебя, не шути так. Я слишком дорожу твоими годами.

С некоторых пор и старший сын Евы, девятнадцатилетний Теодор, также жил в Вольфенбюттеле. Затем он собирался податься вместе с господином Мозесом в Берлин, чтобы там, преимущественно под присмотром брата Лессинга Карла, изучать искусство фортификации. Хотя Лессингу и не удалось пока полностью освободить своего пасынка от военной службы, он, по крайней мере, сумел предотвратить вступление юноши в брауншвейгскую армию преданных и проданных сынов отечества.

И вот теперь тут был господин Мозес — со своим неизменно ясным и точным мышлением, сердечным и ласковым обхождением.

Уже то обстоятельство, что он пренебрегал общепринятым париком и с достоинством демонстрировал миру собственные волосы, было проявлением его прямой натуры. Каким бы маленьким и сгорбленным ни был его друг, Лессингу он, благодаря своим достоинствам, всегда казался великим.

О старой дружбе хорошо сказано в старой песне: нет человека лучше, хоть обойди весь свет...

— Ходили слухи, будто вы были больны?

— О да, я и сейчас еще нередко слишком быстро устаю и лишь усилием воли принуждаю себя регулярно работать.

— Мне также говорили, будто у вас теперь есть ученики: Фридлендер, Энгель, Эбергард.

— Добавьте сюда заодно и добрейшего Николаи. Если только они еще могут считаться учениками! — Господин Мозес рассмеялся. — Я делюсь с ними своими мыслями, а тот или иной из моих друзей

облекает их затем в законченную форму, разумеется, совершенно самостоятельно, и частенько, когда я знакомлюсь потом с конечным результатом, будь то трактат или философский диалог, я сам чувствую, как это меня обогащает и просвещает.

Между тем Лессинг уже расставил шахматные фигуры. Друзья уселись за доску и скоро так погрузились в эту благородную игру, что Еве, несмотря на ее округлившийся живот, пришлось ходить чуть ли не на цыпочках, а Теодор примостился верхом на стуле, чтобы, затаив дыхание, следить за развитием партии.

— Чудесно, чудесно! Сколько нечаянных радостей еще готовит нам жизнь, — неожиданно произнес Лессинг.

Однако тут господин Мозес объявил шах. Вот наказание, подстерегающее опрометчивых игроков.

— Ну-ну, все не так уж страшно! — воскликнул со смехом Лессинг, когда в комнату, словно черт из табакерки, ворвался Фрицхен, всхлипывая и по-детски бранясь. Захлебываясь, он сообщил, что у него стащили новую красную курточку.

— Сорвали с тела или как? — недоверчиво спросил Лессинг.

— Сорвали с забора, упрятали поглубже и — давай бог ноги!

Выяснилось, что какой-то мужчина в шляпе и с котомкой будто бы снял куртку с забора. За игрой это и не сразу заметили; потом с криками пустились в погоню, но в переулке, свернув за угол, мужчина вдруг как сквозь землю провалился.

Так, запинаясь, изложил эту историю мальчуган.

Лессинг знал эти дома с двумя входами — парадным и черным — и был уверен, что запоздалые поиски ни к чему не приведут.

— Как же красная курточка оказалась на заборе? — спросил он.

— А если жарко! — ответил Фриц.

— А если жарко, зачем вообще надевать курточку?

— Чтобы покрасоваться. Она же новая!

— Была новая, Фриц, увы, была! — сказал Лессинг.

— Я не люблю, когда надо мной смеются, — заявил Фриц и начал пятиться к двери.

Но тут вошел кантор Штегман и начал ругать себя за то, что не проводил детей до дому.

Лессинг с улыбкой возразил, что это не входит в его обязанности.

— Мой собственный сын тоже там был, — добавил кантор и снова принялся себя упрекать. Он заявил, что куртку стащил какой-то жид. Дети будто бы это видели.

— Христианин! — сказал Лессинг и испуганно покосился на господина Мозеса.

— Это был уличный торговец, старьевщик. Мы называем таких людей коротко и ясно: жида.

— Это слишком коротко и слишком ясно. Вы ведь знаете, сколь жестоки у нас законы против иудеев, сколь строги, сколь непреложны. За эту кражу вора, если бы он оказался иудеем, полагалось бы повесить. А отсюда следует — то был христианин.

— Так нельзя рассуждать, — раздраженно возразил кантор. — Согласно принятой манере выражаться, старьевщика всегда называют жидом.

— То, что для вас — манера выражаться, для других, похоже, — манера мыслить; так вот, запомните, — это был христианин! И заодно я вас настоятельно прошу: давайте оставим это высокомерное отношение к людям, будь то иудей или христианин, и признаемся, что нам едва ли точно известно, как он выглядел, а уж о том, какую религию он в действительности исповедовал, мы и вовсе понятия не имеем. Да и чем это поможет? Куртку уже не вернешь.

— Согласен! — сказал кантор и вызвался возместить половину ущерба, ибо это он недоглядел за доверенными ему детьми...

Лессинг отказался. Пусть-ка Фриц наденет опять свою старую курточку и впредь поостережется, играя, швырять куда попало свои вещи.

Когда кантор ушел, Мозес Мендельсон, покачивая головой, сказал Лессингу:

— Какой же вы все-таки, я вижу, исключительно упорный человек! Да, Лессинг, вы совершенно неисправимы!

Он был тронут, и об этом говорили его глаза.

— Нетерпимость этих людей есть некий род глупости, — ответил Лессинг. — Даже если они и умеют читать, считать, писать, им все равно недостает самого важного образования: образования души, человеколюбия. Я знаю, просвещение находится лишь в начале своего пути, и если мы опустим руки, все опять погрузится в средневековый мрак.

— Но почему всегда «или-или», дорогой друг?

— Потому что во все времена ничто не свершалось само собой.

Затем оба вернулись к прерванной игре, и Лессинг добился-таки победы в этой партии, хотя позиция его еще недавно казалась безнадежной.

Вечером вся многочисленная семья вместе с детьми и дорогим гостем собралась за ужином. Случившееся было уже забыто, и за столом царило веселое оживление. Мама отменила запрет на разговоры за едой и, как ни странно, больше всех разошлась Мальхен. Малышка не только помогала матери, но и болтала, задавала вопросы и не давала никому покоя, пока не узнала, что молодая жена дяди Карла в Берлине тоже ждет ребенка.

— Так я и думала! Иначе ведь они оба обязательно приехали бы к нам в гости вместе с вами, господин Мозес. — Она испуганно прикрыла ладошкой рот: — Прошу прощения! Я хотела сказать господин Мендельсон!

— Считай, что тебя простили, — ласково ответил гость, — здесь ведь все называют господина Мозеса «господином Мозесом»!

После того, как дети отправились спать, разговор еще долго продолжался при свечах, и Лессинг признался, что пока никак не может отважиться на большую работу, но все же собирается писать исследование по истории эзоповых басен.

— Друг мой, вы размениваетесь на мелочи! — возразил господин Мозес и осторожно повел над столом обеими руками, словно стремился этим движением точнее передать свои чувства.

Но Лессинг только пожал плечами:

— Ни вы, ни я не в состоянии определить квадратуру круга.

На следующий день, когда господин Мозес и пасынок Лессинга Теодор уже сидели в почтовой карете, а ямщик, взобравшись на козлы, крепче ухватился за вожжи, когда, наконец, раздался звук рожка, призывавший поторапливаться и трогаться в путь, старый друг еще раз опустил окно кареты и сказал Лессингу, что теперь, когда он уезжает, у него гораздо спокойнее на душе, чем было по приезду. Чтобы пояснить свою мысль, он добавил:

— У меня сложилось впечатление, будто вы, несмотря ни на что, пребываете сейчас в довольстве и умиротворенности, и это состояние бесконечно ближе моему складу ума, чем то оживленное, но и

несколько язвительное настроение, которое, как мне показалось, владело вами несколько лет назад.

— Да, я спокоен, я счастлив в своих четырех стенах, — прокричал Лессинг вслед удаляющейся карете, — но и бездеятелен, бездеятелен...

VIII

Рождественским вечером Лессингу пришлось послать за повивальной бабкой. Это оказалась высокая женщина внушительной комплекции в дорогом, расшитом золотом и серебром ярком одеянии: длинное, до пят, платье, а поверх него, почти как второе платье, столь же длинный белый передник. Даже украшенный лентами и кружевами чепец был из блестящей золотой парчи, и при виде акушерки Лессинг подумал, что никакая другая принадлежащая к бюргерскому сословию дама не отважилась бы на подобную роскошь в одежде. Такой наряд говорил о том, что в своем деле она добилась немалого признания.

Повивальная бабка держала под мышкой сиреневый узелок, в котором позже, когда его развязали, оказался нехитрый инструментарий акушерки: таз, льняная простыня и принадлежности для крещения.

Жена кантора и Мальхен были готовы, если понадобится, помочь повивальной бабке. Пощупав Еве пульс, представительная дама распорядилась приготовить как можно больше горячей воды и заодно поинтересовалась возрастом роженицы.

— Сорок один год, — сказал Лессинг.

— В таком случае необходимо пригласить еще и врача! — заявила акушерка столь решительным тоном, что Лессинг тут же собрался в дорогу. Он не хотел ничем пренебречь, ничего упустить.

Эта предусмотрительность оказалась весьма кстати, ибо роды протекали неожиданно тяжело. Пришлось даже применить ужасные железные щипцы.

На свет появился светловолосый мальчик и огласил комнату первыми криками. Добро пожаловать, дорогой сын! — подумал Лессинг. Акушерка завернула младенца в теплые пеленки и положила его в широкую постель Лессинга. Тот встал рядом, отказываясь уйти, и долго всматривался в лицо сына. Оно казалось ему таким родным!

Врач откланялся, пообещав заглянуть позднее, Ева спала, а повивальная бабка отвела Лессинга в сторону и предупредила, что ему потребуется немало выдержки. Но он лишь возразил:

— Теперь, когда я так счастлив?

Милое кудрявое дитя спало на подушках, поражая своей бледностью, и на следующий день тихо скончалось, как угасает огонек. Рождество 1777 года.

«Радость моя была недолгой: я лишился сына и горько его оплакиваю: ибо в нем было столько разума, столько разума! — писал Лессинг своему верному другу Эшенбургу. — Не подумайте, будто короткие часы отцовства успели превратить меня в такого одуревшего папашу-болвана. Я знаю, что говорю. Разве это не было проявлением разума, что его пришлось тащить на свет железными щипцами? и что он сразу распознал неладное? — Разве это не было проявлением разума, что он воспользовался первой же возможностью, дабы снова покинуть этот мир? Правда, маленький негодник того и гляди утащит за собой и мать, ибо надежда, что мне удастся сохранить ее, все еще слаба. Единственный раз я захотел обрести те же нехитрые радости жизни, что и прочие люди. Но видно не судьба».

Десять дней Ева пролежала в беспамятстве. Лессинг не отходил от ее постели. Затем ей стало немного лучше, появилась слабая надежда. Надежда! Он сел за стол и написал своему брату Карлу: «Только что я пережил четырнадцать самых печальных дней, какие только выпадали на мою долю. Я рисковал потерять жену, а эта потеря чрезвычайно омрачила бы мне остаток жизни. Она разрешилась от бремени, и я сделался отцом прелестного мальчика, здорового и бодрого. Но он оставался таковым лишь двадцать четыре часа став жертвой жестокого способа, которым его пришлось вытягивать на свет... Короче говоря, я едва осознаю, что был отцом. Радость была столь быстротечна, а скорбь отступила перед еще большей тревогой! Ибо Ева лежала все эти девять, а то и десять дней без сознания, и каждый день, каждую ночь меня по нескольку раз отгоняли от ее постели, опасаясь, что я лишь усугублю ее предсмертные страдания. Ибо меня она узнавала даже в беспамятстве. Наконец, болезнь разом отступила, и вот уже три дня, как я питаю твердую надежду, что на сей раз мне все же удастся ее сохранить...»

Но Еву опять охватила страшная слабость. Лессинг сидел у ее постели, вытирал холодный пот с ее лица, смачивал ей пересохшие

губы, нежно гладил ее волосы, страстно шептал ее имя и все же не смог ее спасти. Искра угасла.

«Моя жена мертва; мне было суждено пережить и это испытание. Я радуюсь, что теперь на мою долю может выпасть уже крайне мало подобных испытаний; и я спокоен», — писал Лессинг Эшенбургу 10 января 1778 года. Но брату он признался, сколь глубоко потрясен:

«Каким скорбным вестником прибудешь ты к моему пасынку! — а ведь именно на это я вынужден тебя обречь... Его добрая мать, моя жена, мертва. Если бы ты ее только знал! Но говорят, хвалить свою жену — значит восхвалять себя. Ну да ладно, больше я ничего о ней не скажу. Но если бы ты ее только знал!» Жалоба прозвучала все же и в одном из писем Эшенбургу: «Если бы я мог ценою половины оставшихся мне дней купить себе счастье прожить другую половину в обществе этой женщины: с какой радостью я бы это сделал! Но это невозможно: и теперь мне снова предстоит влечь свой путь в одиночестве».

Он смертельно устал, но вынужден был взять себя в руки и бороться, ибо нападки уже начались. И он боролся — с отчаянным мужеством.

Наконец Лессинг поселился в домике с выступающими вперед боковыми крыльями и барочной четырехскатной крышей, но теперь, без Евы, он был великоват для него и троих детей — Мальхен, Энгельберта и Фрица. Наконец-то Лессинг мог, оторвав глаза от работы, любоваться сочной зеленью лужайки у себя под окнами, но вот беда — нередко, особенно по утрам, она казалась ему лишь неясным сиянием, ибо зрение его резко ухудшилось. Это было мучительно, но и легко объяснимо: в последние годы, когда денег не хватало даже на свечи, он постоянно читал до глубоких сумерек.

Однако ту публикацию, что была сейчас у него в руках, он знал почти наизусть, ибо постоянно ее читал и перечитывал, переходя от окна к окну и останавливаясь ненадолго то тут, то там. Причем на сей раз он больше, чем обычно, прочитывал «между строк», как говаривали у него на родине. Эшенбург, чья неизменная верность могла сравниться разве что с верностью господина Мозеса, обнаружил на страницах «Добровольных взносов в гамбургские известия из мира учености», в 55-м и 56-м выпусках, полемические заметки, направленные против

издателя «Фрагментов безымянного», и с выражением сочувствия переслал их в Вольфенбюттель. Вернее, даже не так: он распорядился их скопировать и сам оплатил расходы.

Итак, эта «черная газетенка», как называл ее Лессинг, ибо такое определение подходило ей вдвойне и даже втройне — черная, как риза, черная, как злоба, черная, как зависть, — подала сигнал к травле. Здесь впервые стали травить не «безымянного», а самого Лессинга. Последовавшие за этим бесчисленные наскоки мелких писак во всех немецких государствах были, по сути дела, лишь подтягиванием своры. Но уж если тебя обложили, значит, надо, не мешкая, обезвредить, с позволения сказать, вожака. А мелкие шавки пусть себе пока безнаказанно расползаются по углам. Яростная схватка стала неизбежна. Охотник был обречен превратиться в дичь. Звали его Гёце.

В Гамбурге Лессинг всегда обходился с этим человеком по справедливости, и Гёце это знал. Во времена театроборчества обер-пастора Лессинг отправился к нему домой и в долгой беседе терпеливо объяснил, что и комедия — смехом, и трагедия — потрясением могут возвышать и воспитывать людей.

Гёце знал безусловное правдолюбие Лессинга, и так же точно он знал отточенность его аргументов. Если же теперь он безо всякой нужды сделался врагом, то что ж, он сам выбрал вид оружия.

Есть такие деревья — чтобы увидеть их, Лессингу было достаточно распахнуть окно, — которые рвут свою кору, когда она становится им тесна. Подходящее сравнение? Вполне, вполне! Итак, внешняя оболочка немецкой духовности и немецкого сознания стала жесткой, хрупкой и слишком тесной для наступающих времен. Долой ее!

Как-то раз в Вольфенбюттель приехал профессор Эшенбург со своей молодой женой, чтобы собственными глазами увидеть, насколько его друг смирился с неизбежностью. Следуя намеку Лессинга, он привез детям — Фрицу и Энгельберту — с брауншвейгской ярмарки несколько оперенных мячей и к ним две биты, называемые ракетками, и мальчики тотчас ринулись с ними во двор, чтобы на лужайке поучиться этой популярной, модной теперь игре. Лессинг позвал их назад, потому что они забыли поблагодарить гостя.

— Выходит, я правильно выбрал подарок. Как они радуются! — смеясь, сказал Эшенбург, выслушал чинное «спасибо» Энгельберта и неуклюжие стишки Фрицхена, в которых «играть с мячом» рифмовалось с «благодарю вас горячо», и пожелал мальчикам вволю порезвиться на свежем воздухе.

— Но вот Мальхен, — сказала госпожа Эшенбург, — не тяжело ли ей вести хозяйство?

Мальхен побледнела и обратилась не к госте, задавшей вопрос, а к Лессингу:

— Я прошу тебя, дорогой отец, не надо ничего менять. Быть полезной — это для меня не бремя и не обязанность, а удовольствие.

— Но, может быть, дорогая Мальхен, нам все же стоит присмотреть себе кухарку? — спросил Лессинг и задумчиво поглядел на шестнадцатилетнюю падчерицу. — Имея бесплатный стол, она будет получать тридцать талеров в год плюс несколько талеров чаевых и подарок к рождеству. Это нам по карману.

— Отец, дорогой мой отец, — ответила все еще бледная Мальхен, — почему вы все вдруг стали мной так недовольны?

— Что правда — то правда, — сказал Лессинг, погладил Мальхен по голове, — наша маленькая кухарка превосходно заботится о нас. Вот только боюсь, что тебе это не по силам.

Мальхен еще раз отвергла это предположение и отправилась с молодой госпожой Эшенбург на кухню, а Лессинг тем временем открыл высокий коричневый буфет и достал бокалы и бутылку вина.

— Мне приходится дорого расплачиваться за один единственный год, что мне было дано счастливо прожить с рассудительной женой.

— Приемные дети?.. — спросил Эшенбург.

— Они навеки мои друзья, — поспешно ответил Лессинг. — Но родственники Евы, ни на один день не взявшие на себя заботу о детях, распускают в Гамбурге, да и в других местах, сплетни, будто я хочу привязать к себе детей, чтобы потратить на себя их ежегодную ренту в пятьсот талеров — часть наследства их матери. Но это же неправда! Кто умеет считать, знает — мне приходится еще кое-что доплачивать; да и Теодор в Берлине нуждается в моей помощи.

— Неужели же вы должны были отдать детей в сиротский приют? — поддержал Эшенбург.

— Не беспокойтесь! Я привык справляться с любыми обстоятельствами. И все же подозрение причиняет боль, ибо происходит от высокомерия хорошо обеспеченных бургеров.

— Возможно, эти люди опасаются, как бы дети не пострадали в той борьбе, что была навязана вам, дорогой Лессинг. Со времен Лютера никто еще не вызывал такой бури! Зачем вам понадобилось вмешиваться еще и в дела религии?

— «Фрагменты» направлены не против религии, а лишь против ее ложных толкователей.

— Но так ли уж необходимо было «безымянному» в критике Библии заходить столь далеко, — спросил Эшенбург, — что он повсюду искал и находил противоречия: в повествовании о переходе через Красное море, в явлении Христа тотчас после Голгофы и наконец в самом воскресении?

— Буква — это еще не дух; а Библия — это еще не религия, — ответил Лессинг. — Нам следовало бы набраться мужества увидеть в евангелистах самых обычных людей — летописцев.

— Но все же, все же! Что-то тут не так.

— Не существует никакого иного откровения, кроме разума! — так утверждает «безымянный».

— Что же остается от Божественного, если в Библии обнаруживается столько изъянов? — все настойчивее допытывался Эшенбург.

— Возможно, завет Иоанна Богослова.

— А где он изложен? В какой книге Библии?

— Да разве все обязательно должно быть в одной книге? Последняя воля Иоанна — его последние, замечательные, многократно повторенные им слова — разве это не может быть заветом? Иероним поведал их нам в своем послании Галатам. Когда евангелист Иоанн, живший в Эфесе до глубокой старости, — так, примерно, сказано в послании Иеронима — уже едва мог добраться до церкви и был не в состоянии читать проповеди, он и тогда не уставал на всех собраниях снова и снова повторять: Дети мои, будем любить друг друга! *Filioli diligite alterutrum!*

— Всегда одно и то же?

— Имеющий уши да услышит!

— Не означает ли это: вот вам христианская любовь, и хватит с вас, а из христианской религии пусть будет, что будет?

Нет, это означает: еще неизвестно, что все-таки труднее: признавать и исповедовать христианское вероучение или на деле жить по законам христианской любви.

— Но почему он говорил всегда одно и то же?

— Потому что одного этого, — одного этого, если оно есть, — уже достаточно, совершенно достаточно: Возлюби ближнего! Помогай ближнему! Дети мои, будем любить друг друга!

— А почему, дорогой Лессинг, вам теперь приходится снова и снова вступать в борьбу?

— Потому что я опасюсь, что мои намерения будут неверно истолкованы. И вот я стою с обнаженным клинком в руках, но разве это пока что честная борьба? О боже, избави нас всех от смертоносного сквозняка тайного злословия.

— Вы что же, полагаете, что вы один владеете истиной? — спросил Эшенбург.

Лессинг вскочил со стула, простер обе руки и вскричал:

— Что есть истина?

Затем он подошел к своему письменному столу, взял в руки какую-то бумажку и добавил уже тише:

— Вот что я написал лишь на днях в предисловии к «Дублике», этому защитному слову обвиняемого.

Он повысил голос, собираясь читать с выражением:

— Не истина, коей владеет или полагает, что владеет, некий человек, а прямые усилия, кои он приложил, дабы добраться до истины, определяют ценность человека. Ибо не владение истиной, а добывание ее множит его силы, в чем только и состоит его постоянно растущее совершенство. Владение расхолаживает человека, делает его ленивым и высокомерным, — Лессинг взглянул на Эшенбурга и продолжал. — Если бы господь заключил в правую руку всю истину, а в левую — одно единственное вечно живое стремление к истине, даже и с оговоркой, что мне суждено вечно заблуждаться, и рек бы: выбирай! Я бы смиренно припал к его левой руке и сказал: «Дай, отче! Абсолютная истина может принадлежать одному лишь тебе!»

Берлинские друзья, казалось, ликовали, что в этих сонных немецких кушках нашелся один, кто возвысил свой голос — поистине редкое событие! — дабы пробудить страну и людей от вековой спячки. Брат Карл держал Лессинга в курсе всех дел. Он собирал сведения, записывал суждения, выяснял имена противников, разыскивал памфлеты, отсылал все это Готхольду и распространял его ответы. Карл оказался надежным помощником в споре.

Но из Гамбурга послышалось жалобное «Пощадите!». Доктор Реймарус утверждал, что в перепалке будто бы прозвучало имя его отца. В ответ Лессинг пристыдил его за то, что ему вообще пришло такое в голову: «Хотел бы я взглянуть на того, кому якобы сказал, будто Ваш благословенный покойный отец является автором „Фрагментов“!» Правда, чтобы успокоить доктора, он добавил: «Тем не менее я собираюсь, при первой же возможности, не только вообще возразить против излишнего любопытства к имени автора, но и *in specie* ^[10] высказаться относительно Вашего отца таким образом, чтобы и в дальнейшем все полемические выпады были, безусловно, по-прежнему направлены исключительно против меня». Однако прекращать свою борьбу против Гёце всех мастей, борьбу, в которой критика соседствовала с насмешкой, он не считал возможным. «Гёце должен неизменно получать подобную решительную отповедь всякий раз, как будет в своих „Добровольных взносах“ говорить дерзости обо мне или моем „безымянном“. Я это твердо решил, пусть даже „Анти-Гёце“ превратится в настоящий еженедельник...»

Но доктор Реймарус не обладал твердым характером своей сестры. Он также не был философом — он был врачом, причем весьма известным в Гамбурге врачом, имел большую практику, множество пациентов и, казалось, ни о чем так не тревожился, как о своем обеспеченном существовании. Ибо десять недель спустя он снова написал Лессингу, и едва ли не жалобнее, чем в первый раз: «Подумайте о собственном и о чужом покое!»

Готхольд Эфраим Лессинг ничего ему не ответил. Но теперь он уже не мог отмалчиваться в этой борьбе без риска признать тем свою неправоту. Имя его врагам было легион.

К гамбургскому Гёце присоединились суперинтендант Ресс из Вольфенбюттеля, и обер-пастор Людервальд из Форсвельде, что в окрестностях Брауншвейга, и директор Шуман из Ганновера, и ректор

Маше из Руппина, и пастор Зильбершлаг из Берлина, и все эти бесчисленные Шейбель, Шрейтер, Шобельт, Блаше, Моше, Рюккерсфельдер и Хенке, Пфейфер и Вельтгузен...

Однако передовые, умнейшие соотечественники, затаив дыхание, прислушивались к ясному голосу из Вольфенбюттеля, чтобы потом — эх, вечно все у нас происходит с опозданием! — подхватить этот тон и эти суждения и нести их дальше объединенной силой разума и искусства Гердера, Виланда, Лихтенберга, Якоби или Гёте.

Но пока, в эти горчайшие часы, Лессинг был в одиночестве.

Удар был нанесен в упор.

Директору книгоиздательства в пользу сирот, где печатались все «Материалы» Лессинга, его полемические сочинения и выпуски «Анти-Гёце», престарелый герцог Карл послал распоряжение кабинета не только не принимать в дальнейшем от «упомянутого надворного советника и библиотекаря» ни единой строчки для опубликования, равно как и не выпускать в свет то, что «в настоящий момент должно было находиться в печати», но и, напротив, представить верховному духовенству епархии подробный перечень еще имеющихся в наличии экземпляров третьего и четвертого выпусков «Материалов» и последующих полемических сочинений с тем, чтобы «ни один экземпляр более не попал в руки кому бы то ни было, а дальнейшая продажа была полностью прекращена».

Тайные советники, предположительные сочинители распоряжения кабинета, крайне враждебно характеризовали печатные работы Лессинга, «...кои если и не выказывают намерение полностью сокрушить христианскую религию, то, во всяком случае, подвергают сомнению ее основу... бесчинство коих и почти неслыханное стремление потрясти религию в ее основе, выставить ее в комическом и презренном виде терпеть долее невозможно...»

То был герцогский запрет на публикации!

Теперь враги Лессинга могли вздохнуть с облегчением, даже возликовать. Этих противников никто ни в чем не ограничивал, а следовательно, они могли в корне превратно истолковать его вынужденное молчание.

Эта мысль чрезвычайно тревожила Лессинга: в разгар спора оказаться с кляпом во рту! Но он не подал виду и с невозмутимостью

старого бойца написал 11 июля 1778 года обстоятельное письмо герцогу Карлу. Уже во второй фразе он высмеивал придворных тайных наушников. «Поскольку я, однако, живу праведной надеждой, что Ваша светлость готовы выслушать и меня, то я осмеливаюсь изложить лично Вашей светлости истинные обстоятельства дела нижеследующим образом».

И дальше: «Я безусловно готов отдать себя на суд любого, даже самого придирчивого теолога — пусть-ка он покажет мне, особенно в „Материалах“, хоть что-нибудь, что давало бы основание заподозрить меня в ереси».

Такова была его тактика: старый герцог требует объяснений, и он сможет незамедлительно возобновить свою борьбу. «Но что касается меня, то теперь я... оказался вовлечен в склоку, которую никак не могу вдруг оборвать на полуслове. Ибо в этой склоке я являюсь не нападающей, а обороняющейся стороной. Я подвергся нападкам со стороны человека, который прекрасно известен своей нетерпимостью к самым невинным мнениям, если только они не совпадают полностью с его собственными. Я подвергся нападкам столь яростным, что по сравнению с ними все самое резкое, что я ему до сих пор ответил, — не более чем комплименты».

Из этого, считал Лессинг, следует вывод, будто герцогу надлежит разъяснить книгоиздательству в пользу сирот, «что запрет на „Фрагменты“ не распространяется на мои антигёцевы сочинения, кои они по-прежнему могут бесцензурно печатать в своем издательстве».

Эшенбургу, который, как всегда, проявлял интерес к его делам, Лессинг сообщил, что заключил послание герцогу угрозой уйти в отставку, если верховное духовенство епархии велит конфисковать антигёцевы сочинения. Но Лессинг написал также, что пока он, однако, пребывает в добром расположении духа, пока он и не думает отчаиваться.

Произошло то, чего опасался Лессинг, — ответ герцога, внушенный ему советчиками из консисторий, был неумолим: запрет на «Фрагменты», запрет на антигёцевы сочинения, повеление в восьмидневный срок прислать герцогу рукопись «безымянного» вместе со всеми когда-либо сделанными с нее копиями, запрет на дальнейшую публикацию «Фрагментов», равно как и любых других подобных

сочинении, под угрозой «тяжкой немилости», повеление возвратить герцогу оригинал освобождения от цензуры...

Герцогский запрет на публикации означал, по сути дела, запрет на творчество и вдобавок проклятие лютеранской консисторией. Кроме того, герцог одновременно отдал распоряжение ученому совету Гельмштеттского университета и магистрату Брауншвейга повсеместно изъять фрагмент «О целях Иисуса и его последователей». И в Саксонии была уже запрещена продажа антигёцевых сочинений, а в Дании введен запрет на их ввоз.

Готхольд Эфраим Лессинг не сложил оружия. В ответном письме он поставил герцога в известность, что отныне, в ущерб здешнему книгоиздательству в пользу сирот, будет печататься за границей. Он так и поступил, для верности продублировав публикацию: его «Необходимый ответ на один совершенно излишний вопрос господина обер-пастора Гёце» вышел сразу в Гамбурге и в Берлине. Карлу в Берлине удалось уговорить Фосса напечатать «Необходимый ответ» также и в его издательстве. Не все пути еще были отрезаны...

И опять Лессинг основательно использовал детальное знание вейсенбургских манускриптов и других письменных источников библиотеки. «Эти мысли, — писал он в заключении „Необходимого ответа“, — я собрал лично, не раз внимательнейшим образом перечитывая отцов церкви первых четырех столетий; и тут я готов выдержать самый яростный спор с любым ученым патристиком, — иначе говоря, знатоком отцов церкви. Самый начитанный имел в своем распоряжении не больше источников по этому вопросу, нежели я. Следовательно, самый начитанный не может и знать больше, нежели я...»

Лессинг был уверен, что в споре на знание источников обер-пастор остался бы «с длинным носом», как он выражался. И он позаботился также о том, чтобы все его друзья получили по экземпляру «Необходимого ответа».

Никто не должен был и мысли допускать, будто он покорился.

Тем временем заявление Лессинга о том, что он может потребовать отставки, окольным путем дошло до его друзей, и Элиза Реймарус, его отважная и верная советчица в годы одиночества, написала из Гамбурга: «Если это правда, что Ваш „Анти-Гёце“ запрещен, Ваши

„Фрагменты“ конфискованы, если все это правда, то Вы ведь не позволите, сбежав, торжествовать глупости еще и эту победу... Царство лжи ширится лишь в отсутствии честного мужа. Посему ради всего, что Вам дорого, вернее нет, — назло Вашему злейшему врагу, не покидайте сейчас Вольфенбюттель».

Лессинг прислушался к просьбе Элизы.

Он будет терпеть, сколько хватит сил. «Ибо, рассматривая дело в целом, я лично как нельзя более уверен в себе; и надеюсь дожить до такого поворота событий, когда большинство теологов перейдет на мою сторону, ибо поймет, что лучше лишиться одежды, но сохранить еще на некоторое время в целости тело». Однако он признавался, что нередко испытывает досаду от необходимости «иметь дело со столь жалкими плутами».

В начале августа герцог объявил своему библиотекарю о том, что все ранее отданные запреты распространяются «также и на будущие сочинения», и без зазрения совести добавил, что, кроме того, Лессингу запрещается печататься и за пределами герцогства.

Это значило оставить его безоружным перед лицом врагов.

В середине месяца последовало дополнительное распоряжение герцога, лишавшее Лессинга права передавать для печати что бы то ни было «по вопросам религии» как здесь, так и за границей, как «под собственным, так и под любым другим вымышленным именем».

Тогда Готхольд Эфраим Лессинг решил сменить подмости, то бишь избрать не другое место, а другое средство.

В Брауншвейге Лессинг неожиданно повстречал директора труппы Абеля Зейлера, находившегося там в сопровождении драматурга Максимилиана Клингера, чья пьеса «Буря и натиск» стала образцом и девизом для целого литературного направления. Абеля Зейлера, некогда сотрудничавшего с потерпевшим крах Гамбургским национальным театром, недавно, как и Лессинга, одурачил пфальцский курфюрст, и его вместе с труппой выдворили из Мангейма. Теперь Зейлер пытался, но столь же тщетно, обрести в Брауншвейге постоянную, круглогодично действующую сцену, в коей немецкий театр остро нуждался, ибо ее отсутствие ставило под угрозу само дальнейшее его существование.

Всю вторую половину дня Лессинг провел в спорах — главным образом с неистовым юным Клингером — на тему о том, что следует

считать движущей силой искусства: разум, как утверждал он сам, или чувство, как полагал Клиндер. Затем он в задумчивом настроении вернулся в Вольфенбюттель.

Бессонной ночью, когда он неустанно расхаживал взад и вперед между письменным столом, окнами и кроватью, его осенила мысль, показавшаяся ему спасительной.

Я должен попробовать, — произнес он вслух, пожалуй, слишком громко для этой ночной поры, — дадут ли мне свободно проповедовать хотя бы с моей прежней кафедры, с театральных подмостков.

Лишь теперь он зажег свет; ибо для раздумий хватало и лунного сияния, заливавшего комнату. Свеча замигала, — так стремительно он распахнул дверцу высокого шкафа, хранившего его рукописи. Лессинг извлек набросок пьесы, сделанный им непосредственно по возвращении из Италии. Притча о трех перстнях, рассказанная Боккаччо в его книге «Декамерон» в третьей новелле первого дня, пробудила в нем желание воплотить ее в Дrame.

Если я, — размышлял он, — расширю действие этой пьесы, более четко обрисую конфликт характеров, убедительнее сформулирую аргументы, то смогу тем самым еще раз систематизировать свои доводы в споре с Гёце и придать им чистую форму сценической наглядности.

Он обмакнул перо, чтобы, сочиняя, читая и снова сочиняя, великим языком театра поведать о сходстве трех перстней, используя написанное Боккаччо как образец.

«В былые годы где-то на востоке был человек... нет, лучше: жил человек... В былые годы где-то... в былые годы... слишком невыразительно, слишком бесцветно это самое „в былые годы“... Стоп! Вот так годится... В седые времена... жил человек... Да, но где, жил где?... от востока сразу ждут сказку... однако этот человек, призванный нас тронуть и взволновать, жил просто... в стране восточной... В седые времена в стране восточной жил человек; был перстень у него...»

Лессинг и не заметил, как за окном проглянул бледный рассвет. Обессиленный, он лег в постель, мгновенно уснул и даже к полудню все еще не появился на кухне у Мальхен.

Она подошла к двери, приоткрыла ее и встревоженно спросила:

— Отец, ты не заболел?

— Я здоровее, чем когда-либо! Не тревожься! — отозвался он.

Затем он встал, как всегда, тщательно оделся, ибо после смерти Евы он, во избежание пересудов, очень следил за этим и, перейдя улицу, вошел в библиотеку.

Со следующего дня он уже лучше распределял свое время. Теперь он обычно вставал около пяти часов утра и принимался за работу над новой пьесой под названием «Натан Мудрый». Он перечитывал написанное накануне, вносил исправления, делал пометки, расширял и углублял текст, наполняя его духом своей человечности.

Затем он будил детей и шел в библиотеку или же, если это было необходимо, продолжал свою работу. Лишь вечером, после десяти часов, когда вдали уже раздавалось монотонное пение пожарного, Лессинг завершал свой изнурительный дневной труд.

Так проходили неделя за неделей. Он жил ради этой новой пьесы, ради библиотеки и в первую очередь ради своих детей.

Однажды он написал Карлу, а позже и Элизе Реймарус, что его новую пьесу можно будет напечатать только по подписке, то есть по предварительным обязательным заказам, ибо он обременен долгами и требуется гарантия, что он не понесет новых убытков.

Памятуя о том, что ему ежегодно приходилось поддерживать своих четырех приемных детей изрядными суммами собственных денег, тогда как, по его сведениям, и в Гейдельберге, и в Гамбурге находилось наследное имущество их родителей, он вместе с Мальхен отправился в Гамбург, к деверю Евы — почтмейстеру.

Там Мальхен тяжело заболела, и хотя переговоры Лессинга оказались безрезультатными, ему пришлось провести в нелюбимом городе пять недель, пока его падчерица не поправилась. Элиза Реймарус снова проявила себя верной подругой. Кроме всего прочего, она набрала уже семьдесят два подписчика на «Натана».

Позже, вернувшись в Вольфенбюттель, Лессинг с изумлением узнал, что сам Гердер набрал двадцать четыре надежных подписчика, а Карл и Фосс — чуть ли не сотню. Это вселило в него надежды на пасхальную ярмарку в наступающем году.

Но сперва предстояла зима, и когда до рождества уже оставались считанные дни, Лессинг надел дорожные башмаки и отправился пешком в Брауншвейг. Там он одолжил четыре луидора у Эшенбурга и

пять — у Лейзевица, чтобы облегчить жесточайшую нужду, а кроме того, купить детям в подарок к рождеству несколько безделушек.

То было печальное время для него, ибо он неотступно думал о кудрявом малыше и о Еве, которых он лишился год назад. Подчас он просто не находил себе места.

Когда по вечерам он сидел за письменным столом, слезы застилали ему глаза, так что порой он даже не различал огонь свечи. Он написал об этом Карлу, самому преданному из всех, и завершил письмо вопросом о его маленьком сыне.

«Пусть он научится ходить, и заведи себе еще одного ребенка: тогда я у тебя его заберу.» Ах, такая боль не проходит никогда...

Когда праздники были позади, Лессинг получил от вольфенбюттельского почтмейстера триста талеров, которые в ответ на бесчисленные просьбы Карла дал Готхольду в долг на четыре месяца под расписку и обычный процент Бессели, старый гамбургский знакомый.

Лессинг тотчас вернул Эшенбургу и Лейзевицу деньги, одолженные перед рождеством, а пять луидоров отослал сестре в Каменц. Таким образом, он все еще выплачивал один долг за счет другого и при том работал не покладая рук и все же не мог позволить себе ни одного праздного дня.

К пасхальной ярмарке «Натан» все еще не был завершен. Пятое действие этой драматической поэмы пока не обрело законченную форму, и, главное, его еще предстояло переложить пятистопным ямбом. Таким образом, Лессингу не удалось обратить на пользу своей книге, которая по ряду причин должна была выйти в издании автора, продолжительное действие ярмарочных каталогов, равно как и заинтересованность тех книготорговцев, что во множестве съехались в Лейпциг.

Примерно в это же время ему пришлось, по настоянию родственников своей покойной жены, составить опись тех вещей, что некогда принадлежали Еве. С этим списком он пошел к вольфенбюттельскому нотариусу и подтвердил, как то требовалось, «под присягой», что ничего из включенного в опись не было по его вине уничтожено или растрчено.

Рас-тра-че-но.

В «Натане» он изложил свой образ мыслей. Поймет ли его кто-нибудь?

Рэхе, приемной дочери Натана, он вложил в уста слова: «...Ужели только к кровному родству отцовство сводится? Ужели?»

Однако послушник, который некогда внес Натану в дом беспомощное дитя, возражает:

«Не могут дети обходиться без любви;
Любовь, хотя б она была любовью зверя,
В младенчестве дороже христианства».^[11]

Итак, Лессинг чувствовал необходимость довести «Натана» до конца. Рукопись он отправил в Берлин своему брату Карлу и через него — прямо в типографию.

На отделку истории о перстнях Лессинг потратил уйму труда и старания. Став, наконец, обладателем печатного экземпляра драмы, он нередко декламировал великую притчу в своей комнате, подражая манере чтения Экхофа; ибо, чтобы оказывать воздействие на зрителя, пьеса должна хорошо восприниматься на слух.

Даже после стольких лет голос великого актера все еще звучал в ушах Лессинга, ибо он бывал вместе с Экхофом — ах, в целом мире не найти другого Экхофа! — и на репетициях, и на спектаклях, и сотни раз внимал ему и наблюдал его в веселой дружеской компании после представлений Гамбургского национального театра.

Однако когда Лессинг принялся читать:

«В седые времена в стране восточной
Жил человек; был перстень у него
С бесценным камнем — дар руки любимой...»,

котенок, обитавший теперь в доме и пользовавшийся правом сидеть на письменном столе Лессинга, когда тот работал, озадаченно поднял голову, перестал умываться и сузил глаза, словно зверек оценивал благозвучие текста. Стоило Лессингу сделать паузу, если в пьесе следовала короткая реплика: «Султан, ты понял?» или похожая:

«Ты слушаешь, султан?», как у котенка шерсть на загривке тотчас вставала дыбом. Лессинг взирал на это с изумлением. Но зверек отважно продолжал сидеть где сидел, упорно снося все взлеты голоса, все шепоты, мольбы, проклятия, угрозы. И лишь когда Лессинг подошел к концу, к той тщательно продуманной заключительной сентенции:

«И если та же сила неизменно
Проявится и на потомках ваших, —
Зову их через тысячи веков
Предстать пред этим местом. Здесь тогда
Другой судья — меня мудрее — будет.
Он скажет приговор. Ступайте!»

(Перевод В. Лихачева)

— котенок вскочил, подобрался, выгнул спину и — шмыг! — одним прыжком оказался у двери.

Но Лессинг тотчас примирительно позвал: «Эй, к тебе это не относится, киска! Иди сюда! Ну иди же скорей сюда!»

Потом он отправился с котенком на кухню, попросил Мальхен налить в плошку молока и поставил ее на полу у себя в кабинете.

Никто, — он знал это, — никакой Экхоф, никакой Фридрих Людвиг Шрёдер не стал бы играть «Натана Мудрого»! Пьеса — кошке под хвост...

Во Франкфурте-на-Майне всем книготорговцам тотчас же по выходе «Натана» в свет возбранялась продажа этой «скандальнейшей» из всех драм. Аналогичные запреты вскоре последовали повсеместно. Теологический факультет Лейпцигского университета обратился к королю Саксонии с прошением «не дозволять» распространение этого печатного произведения.

То была старая песня, старая мерзкая нетерпимость.

Этим летом, желая побыть наедине, Лессинг частенько прогуливался среди высоких берез по городскому валу возле библиотеки. Там он мог себе иногда позволить размышлять вслух, не рискуя показаться странным.

Ему снова пришла в голову мысль еще раз продолжить свой спор с Гёте, Землером и иже с ними в драматургической форме — даже если и не будет возможности поставить пьесу на сцене. После «Натана» он решил написать «Милосердного самаритянина» — трагедию в пяти действиях по притче, сочиненной Иисусом Христом и изложенной Лукой в 10-й главе.

Лессинг думал: хотел бы я посмотреть, кто тогда посмеет выступить против христианства любви и милосердия — выступить против человеколюбия. И он улыбнулся при мысли о том, что и левит, и священник играли бы у Лессинга, как и у Луки, прямо-таки блистательную роль.

Однако было бы лучше и смелее не возвращаться к старому спору, а отважиться на новый шаг и подвести итог собственным раздумиям, исследовать закон развития, продлить из вчерашнего в завтрашний день воспитание человеческого рода: расчистить путь реке познания!

Шелест деревьев сразу же располагал к размышлению вслух. Свои лучшие реплики Лессинг всегда заучивал наизусть и громко проговаривал, чтобы проверить, как воспринимаются смысл целого, звучание слов и гармония гласных. Задача была ясна: он хотел еще раз гордо выступить против скептиков и недоброжелателей, обвинявших его — об этом свидетельствовал его немалый горький опыт — во всех смертных грехах. В «Натане» он уже на деле преодолел присущую веку тягу к смерти, которую привыкли связывать с Гётевым «Вертером». Теперь своим трактатом «Воспитание человеческого рода» юн собирался убедительно показать, что именно в этом заключается развитие, что именно здесь вьется узкая тропинка: «В нем автор вознес себя на некий холм, откуда ему, как он полагает, открываются несколько более широкие дали, нежели путь, predeterminedный ему сегодняшним днем».

Шелест листьев усилился, и Лессинг громким голосом произнес свою исповедь: «Нет, оно наступит, оно определенно наступит, время совершенства, ибо, чем более разум человека проникнется уверенностью в лучшем будущем, тем менее придется человеку черпать в этом будущем мотивы своих поступков; и он станет творить добро, потому что оно есть добро...»

Одиночество становилось постепенно все ощутимее. Годы уходили. Лишь мужественная поддержка в споре, оказанная Гердером, скрасила на некоторое время жизнь Лессинга. Гердер был человеком, всегда творившим добро, потому что оно было добром.

Они посылали друг другу все свои новые произведения, и когда Лессинг отдавал что-нибудь в типографию, его первой мыслью всегда было: а что на это скажет Гердер? К каждому новому году Лессинг писал Гердеру обстоятельное письмо.

Начало года — самое подходящее время для людей, которые, как то читалось у него между строк, могли с уверенностью смотреть в будущее. Конечно, насмешники непременно сказали бы, будто он прятал свои когти, когда имел дело с Гердером. Однако тут он вовсе и не собирался выпускать когти. Он хотел поддерживать дружбу с этим единомышленником, чтобы в который раз перехитрить, обвести вокруг пальца разливающееся безмолвие.

Не только Гердеровы народные песни, нет, он любил и ценил его самого, — хоть они и не виделись вот уже десять лет. Ему он поведал задолго до выхода в свет эпитафия «Натана», взятый им у Гераклита — «Войдите, ибо и здесь обитают боги!»

С Гердером он обсудил — в письмах, разумеется, — даже «Фрагменты». «Мой „безымянный“, кажется, получил небольшую передышку», — писал он в январе 1780 года.

Выделяя то тут, то там какое-нибудь слово или целую строку курсивом, он посвятил Гердера и в свои планы: «Теперь же „безымянный“ позаботится о себе сам в той мере, в какой это необходимо по *законам высшей бережливости*». Лессинг был знаком с действием импульса, индукции, ибо время от времени почитывал труды профессора Лихтенберга по физике, которые тот ему любезно присылал.

Да, тут не могло быть двух мнений: Гердер был человеком чести. А это самое главное!

Мысли Лессинга перекинулись на того, другого теолога, который снова подал о себе весть, на сей раз одновременно из Вены и из Гамбурга. Теодор, старший сын Евы, отправился из Берлина в Вену, ибо вышла заминка с отчислениями, которые новый владелец тамошних фабрик обязался ежегодно переводить приемным детям Лессинга. Кроме того, после всяческих разочарований, постигших его в Берлине,

Теодор надеялся теперь получить место в Вене, и Лессинг уже обратился в этой связи к своему старому знакомому — статскому советнику фон Геблеру — с просьбой похлопотать.

Однако первое, что прислал домой Теодор, — это были 85-й и 86-й номера «Венского ежедневника», на страницах которых презренный Гёце — хоть и не поставивший своей подписи, но узнаваемый безошибочно, — тот самый тип, что так долго помалкивал, ибо не мог найти возражений на «Необходимый ответ» Лессинга, — оставил еще более грязные отпечатки пальцев, чем те попрошайки, что толпились возле собора Святой Катарины с гёцевыми пасквилями в руках.

В «Венском ежедневнике» было черным по белому напечатано, будто Лессинг «за публикацию кое-каких „Фрагментов“ получил в дар от еврейской общины Амстердама 1000 дукатов». А следующая злобная фраза гласила: «Вознаграждения подобного рода, безусловно, заслуживают того, чтобы привлечь к ним внимание общественности...» Следующий выпуск того же журнала бесстрастным тоном сообщал, какими отвратительными сочинениями являлись якобы эти самые «Фрагменты».

Та же ложь о 1000 дукатов появилась и в гёцевых «Добровольных взносах», выходящих в Гамбурге. Сколь гнусен был этот человек, сколь узок был круг его мыслей! Коль скоро ему не удалось победить Лессинга в споре, так теперь он пытался представить его Иудой Искаротом, получившим якобы если и не тридцать сребреников, то все же тысячу дукатов.

Лессинг ответил сдержанно, хоть и невыразимо страдал, ибо тут богач смел издеваться над бедным и больным, который из последних сил — Лессинга мучила перемежающаяся лихорадка, — полуослепший, работал не покладая рук, чтобы прокормить себя и своих приемных детей. Лессинг написал опровержение, которое Теодор, дабы защитить отца от герцогского гнева, подписал своим инициалом К. и издал в виде листовки. Ответ гласил, что «Фрагменты» были направлены против всех известных религий и, таким образом, «иудейское вероисповедание оказалось опорочено как раз больше, других». «А что до господина Лессинга... то неужели он не поостерегся бы принять подобный дар?»

Вот так господин Мельхиор Гёце сошел со сцены. Сам того не желая, он превратился в паяца, наступил, как это случается, на полу

чужого пальто, поскользнулся и в конце концов оборвал занавес.

Da capo!^[12]

IX

Летом 1780 года Готхольду Эфраиму Лессингу выпало провести несколько веселых дней со старыми и новыми друзьями! Оба Якоби — философ и его сводная сестра Елена — по настоятельному наущению Элизы Реймарус решили по пути в Берлин навеститься и в захолустный Вольфенбюттель. Сухощавый философ Фридрих Генрих Якоби, «старинный друг Гёте», что он часто и охотно подчеркивал, прежде всего собирался заехать к «папаше» Глейму в Хальберштадт и предложил Лессингу — в этом тоже ощущалась тонкая режиссура Элизы, хоть она и находилась в ста с лишним немецких милях отсюда, — просто-напросто совершить эту поездку вместе.

Глейм, который более двадцати лет назад написал свои «Песни гренадера» и посвятил их Лессингу, к вящему изумлению последнего, ибо Лессинг никогда не разделял его восхищения прусскими войсками, и с которым Лессинг обменялся большим числом писем, чем со славным господином Мозесом, ибо Глейм был фанатичным приверженцем эпистолярного жанра, — ну что ж, милейший Глейм безусловно заслуживал того, чтобы ради него вынести тяготы такой поездки.

— Итак, в путь, к папаше Глейму! — вскричал Якоби, по мнению Лессинга, чересчур восторженно.

Не будучи ни отцом, ни даже супругом — хозяйство ему вела какая-то дальняя родственница, — Глейм на протяжении десятилетий являлся покровителем и меценатом целой армии молодых поэтов, которые пользовались правом благодарно называть его своим «папашей». Ни одному немецкому лирику еще не удавалось устроиться так славно и беззаботно, как этому непремемному секретарю соборного капитула в Хальберштадте, которому вдобавок приносили исключительно высокие доходы сан и должность каноника Вальбекского монастыря.

Когда коляска подъехала, Глейм стоял в дверях своего пестрого фахверкового дома, сняв с головы берет в знак приветствия. Как он постарел! — подумал Лессинг, но тут же был вынужден оправдываться

за то, что не привез с собой в Хальберштадт Мальхен, милую, очаровательную, прелестную Мальхен.

— Да это старая история, дорогой мой Глейм.

— Которую я обязательно хочу услышать. Рассказывайте!

Первым делом Глейм повел гостей, как и всякого посетителя своей усадьбы, в «Храм муз и дружбы». Это была обычная комната фахверкового дома, в которой на всех четырех стенах висели портреты друзей. На протяжении многих лет Глейм заказывал эти портреты на собственные средства. Лессинг вспомнил. Георг Освальд Май, прилежный мастер своего дела, изобразил его довольно похоже, правда, при этом славный малый, как неудавшийся миниатюрист, прочертил тонкой кисточкой каждый отдельный волосок и даже кружевные манжеты и жабо, которое он тогда еще носил, выписал с такой же педантичной тщательностью.

Лессинг надел новые очки с сильными стеклами. Действительно, каждый мазок был легко различим.

С тех пор прошло добрых пятнадцать лет. Картина была написана еще до гамбургских разочарований, до борьбы за немецкий национальный театр. У того Лессинга был еще блеск в глазах!

Полотно, изображавшее его в хорошо знакомом серо-голубом замшевом сюртуке, было заметно больше, чем все другие портреты друзей Глейма, и висело на самом почетном месте. Но Лессингу воистину претило такое признание, выраженное размерами картины или стоимостью позолоты на раме. Его также покорило, что ему приходится висеть вместе со всякими там Уцами и Гёцами.

На столе стоял пестрый букет полевых цветов, но там и сям по стенам рядом с портретами умерших друзей были развешаны венки из бессмертников, настраивающие на меланхолический лад.

— Ну, рассказывайте же наконец про Мальхен! — вновь потребовал Глейм.

— Как, здесь, в святилище муз? — спросил Лессинг с лукавой улыбкой, и всем знакомые веселые морщинки разбежались лучиками вокруг глаз.

Поскольку их визит пришелся на время «точно между трапезами», как выразился Глейм, то он со своими гостями и объемистой корзиной перешел в сад, расположенный, как и все сады, у городской стены. В одном из уголков сада стояла увитая плющом скромная беседка с парой

скамеек под открытым небом. Этот закуток, который Глейм гордо назвал «павильоном», весьма привлекал Лессинга, ибо он опасался, что то запертое строение посреди сада, которое он умышленно обошел стороной, могло опять оказаться своего рода музеем.

Уютно расположившись на солнышке, поставив перед собой на сколоченный из березовых досок стол стакан доброго — Глейм сказал «добрейшего» — вина, Лессинг поведал, что Мальхен одна уехала в Эшвейлер, в Рейнскую землю, к одной из сестер своего покойного отца.

— Милое дитя едет в этакую даль в полном одиночестве и пренебрегает визитом к доброму папаше Глейму, который так к ней расположен. Ах, это очень нехорошо, — запричитал старик.

Лессинг возразил, что это он сам настойчиво уговаривал свою падчерицу Амалию Кёниг познакомиться с ее кровными родственниками, дабы не было больше разговоров, будто он хочет привязать к себе детей, хоть, к сожалению, и правда, что никто из этих склонных к злословию родственничков не проявлял заботу о четырех сиротах.

— Что вас так волнует, дорогой мой Лессинг? Таков удел поэта! Это непосредственно следует и из вашего «Натана». У нас так любят переносить слабости литературных персонажей на господина автора, пусть даже это самые невинные, самые полезные слабости. Разве мудрый Натан, так будут говорить, не выдавал замуж чужое дитя как свое собственное, разве он не старался, так скажу я, чтобы оно не досталось первому встречному, прежде чем он убедился, что у того в отношении и этого ребенка добрые и честные намерения? А Натан и есть Лессинг, так вам скажут, резонно ли, нет ли. Так что я повторяю: таков удел поэта! Как долго меня самого считали «пруссским гренадером», хотя во время Семилетней войны я был личным секретарем одного принца и доверенным лицом одного князя, — Глейм расхохотался, вытащил из кармана носовой платок в красную клетку и утер слезы, — таким забавным показалось ему все это.

Лессинг возразил:

— Если бы все было так просто! Ходят слухи — мне о них поведала Элиза Реймарус, — будто я влюблен в свою падчерицу.

— Элиза? — переспросила Елена Якоби и многозначительно кивнула своему брату. — Да она ревнует Мальхен. Теперь мне все понятно.

— Мы все очень любим Мальхен, — заметил и философ. — Ее ангельское личико, ее прелестные голубые глаза, ее неизменную заботу о любимом, прихварывающем отца, давшем этим четырем детям, коих судьба вверила его попечению, все, все, что только может один человек дать другим: пропитание, образование, надежный приют.

— Что вы ответили Элизе? — спросила Елена Якоби.

Лессинг вытащил из кармана сложенный лист бумаги:

— Вот черновик моего ответа.

Елена Якоби взяла его в руки, пробежала глазами и вдруг принялась читать вслух: «Так в чем же видят доказательства того, что я влюблен в свою падчерицу? В том, что я не хочу с ней расстаться? Ну ладно, а в чем же видят доказательства того, что я не хочу с ней расстаться? В том, что я пока не оттолкнул ее от себя? Ибо, действительно, мне пришлось бы не иначе как оттолкнуть ее от себя, если бы я вдруг вздумал препоручить ее скудным заботам ее родственников. Или, может быть, кто-то решил, будто я тому причиной, что из-за меня она уже отвергла одно предложение?»

И так далее, и тому подобное, — произнесла Елена Якоби, перевернула листок и тотчас принялась читать вслух дальше: «Короче говоря, любезная подруга, раздобудьте-ка бедной доброй девушке мужа; или сделайте так, чтобы тот из ее родственников с материнской стороны, кого она знает и любит, пригласил ее жить к себе; или же, чтобы она поселилась вместе с какой-нибудь рассудительной и порядочной подругой в Гамбурге, — и тогда увидите, как я себя поведу! Я только не хочу, чтобы она предлагала свои услуги кому-нибудь из этих... Если же кому-то взбредет в голову называть такое мое отношение к ней любовью, так вольно же ему вкладывать в свои слова любой смысл, какой вздумается!»

Елена Якоби перескочила еще один абзац и стала читать черновик Лессингова ответа дальше: «Ну хорошо! Вы, наверное хотите меня перебить... дескать, подумайте же о самой девушке! — Я думал о ней, моя дорогая! — Так вот, знайте, что случай позаботился о моей добродетели... Да, да, мне удалось проникнуть в тайну ее маленького сердца...»

— Теперь все ясно! — вскричал Глейм, прервав читающую Елену на полуслове, и снова все это его изрядно развеселило. — Тут я знаю больше, чем может знать сам дорогой отчим: речь идет об овдовевшем

почтовом советнике Георге Хеннеберге, сыне почтенных родителей: его молодая жена Луиза скончалась во время родов. Ребеночек выжил...

Лессинг воззрился на Глейма:

— Откуда у вас такие сведения!

— Я сидел подле Мальхен, когда они впервые увидели друг друга в обществе. Это произошло у Эшенбургов, как мне кажется, или у профессора Шмида, однажды вечером за ужином, недавно, когда я был в Брауншвейге. Вы, дорогой Лессинг, привезли с собой Мальхен. Там еще присутствовали Лейзевиц, а также оба Хеннеберга. На одном из них была траурная повязка. И я рассказал Мальхен, разумеется потихоньку, историю этого печального молодого человека. Она не спускала с него глаз. Однако, насколько я помню, они не сказали друг другу ни единого слова, и это будет, безусловно, тянуться долго, очень долго, — если только им вообще когда-нибудь действительно суждено объясниться.

— Может быть, — вставила Елена Якоби, — Мальхен останется у своей родной тетушки в Эшвейлере.

— Она вам уже прислала письмо? — поинтересовался Глейм.

Лессинг кивнул.

— И что она пишет, скажите же, что?

— Семь фраз о тоске по дому, — ответил Лессинг.

На следующий день гостей снова повели в сад Глейма, ибо каждый должен был написать на скрытой драпировкой потайной двери в садовом домике какой-нибудь девиз. Дверь эта смахивала на обширное собрание автографов.

Лессинг взял кусок сангины и перефразировал одно изречение Спинозы, не указав имени философа. Он написал: «Одно и всё, одно есть всё» сначала по-гречески, потом по-немецки. После некоторого колебания он приписал рядом свое имя.

Глейм протянул ему обе руки и рассыпался в благодарностях.

— Теперь есть о чем подумать, — заявил он. — Что-то ведь при этом обязательно должно прийти в голову, даже если никогда, раньше не слышал такое высказывание. В нем, как я уже заметил, речь, видимо, идет о добре.

— О добрейшем, безусловно, о добрейшем, как вина папаши Глейма, — ответил Лессинг, желая покончить с этим делом.

Но Якоби, стоявший поблизости, заметно побледнел. Он отвел Лессинга в сторону и, явно нервничая, то шепотом, то горячась, произнес:

— Выходит, Спиноза был просто слишком учтив, чтобы объявить себя атеистом.

— На сей счет мнения расходятся, — отрезал Лессинг, повернулся и тут же уютно расположился на солнышке, на скамейке в «павильоне» Глейма.

Прошло несколько дней. Друзья уже возвратились в Вольфенбюттель, когда Якоби снова вернулся к этому разговору. Они сидели вдвоем в кабинете Лессинга друг против друга, и Якоби в поисках темы для разговора извлекал из своего бумажника и перебирал всякую всячину: письма Элизы, кое-какие критические заметки, философские наброски, афоризмы. Внезапно он вынул какое-то стихотворение, протянул его Лессингу и сказал:

— Вы сами не раз будоражили мир и вызвали немало скандалов, так не мешало бы и вам ознакомиться с чем-то подобным.

Лессинг стал читать. Стихотворение было озаглавлено «Прометей» и начиналось словами:

«Ты можешь, Зевс, громадой тяжких туч
Накрыть весь мир,
Ты можешь, как мальчишка,
Сбивающий репы,
Крушить дубы и скалы,
Но ни земли моей Ты не разрушишь,
Ни хижины, которую не ты построил...»

(Перевод В. Левика)

Имени автора не было. Лессинг спросил наугад:

— Стихотворение Гердера?

— Гёте! — ответил Якоби.

Лессинг внимательно дочитал до конца и вернул Якоби рукопись со словами:

— Ничего скандального я здесь не обнаружил: я знаю все это уже давно из первых рук.

— Вы знаете это стихотворение? — изумленно спросил Якоби.

— Стихотворение я вижу впервые, но нахожу его изрядным.

— Я также, иначе я бы не показал его вам.

Лессинг возразил:

— Я имею в виду другое... Позиция, с которой написано стихотворение, полностью соответствует моей собственной. Ортодоксальные представления о божестве уже не по мне; я их не приемлю. «Одно и всё!» Ничего другого я не признаю. То же утверждает и это стихотворение; и должен признаться, оно мне очень нравится.

Якоби вскочил, выказывая такое же возбуждение, как и в саду у Глейма:

— Таким образом, вы почти полностью разделяете взгляды Спинозы.

Лессинг остался совершенно невозмутим.

— Если уж мне положено именоваться чьим-то приверженцем, то я не знаю никого более подходящего.

Открылась дверь. Вошла Мальхен и доложила о приходе посетителя. Оба отправились в библиотеку, и диалог прервался.

Позже, когда снова выдалась возможность поговорить откровенно, Лессинг подсел поближе к Якоби, который тотчас отложил в сторону книгу, ибо ждал этого объяснения.

— Я пришел, — сказал Лессинг, — чтобы побеседовать с вами об этом самом моем «Одно и всё». Вы испугались...

Якоби возразил:

— Возможно, я покраснел или побледнел. Но это не был испуг. Честно говоря, менее всего я ожидал найти в вас спинозиста или пантеиста. А вы заявили мне об этом без обвиняков. Я-то обратился к вам главным образом за помощью в борьбе против Спинозы.

— Так вы его все же знаете?

— Думаю, что мало кто знает его так же хорошо.

— Тогда вам уже не помочь. Лучше становитесь его верным другом. Иной философии нет...

— Пожалуй, это похоже на правду... А отсюда следует и все остальное.

— Я вижу, мы понимаем друг друга, — заметил Лессинг.

Не то чтобы неожиданно, но всего за одну ночь Брауншвейг и Вольфенбюттель обрели нового герцога. После кончины своего отца наследный принц Карл Вильгельм Фердинанд стал верховным правителем страны, и пока другие пребывали в печали, он уже рыскал в поисках добычи по городам и весям и предавался мотовству, ибо находил в этом немалое удовольствие. С этой характерной чертой его — равнодушием — не смог справиться за долгие годы упорного воспитания даже лучший учитель — аббат Иерузалем.

Тотчас же после высочайшей перемены власти Лессинг получил распоряжение «в самые кратчайшие сроки прислать опись наличествующих в здешней княжеской библиотеке дублетов».

Поначалу Лессинг упомянул лишь двойные экземпляры так называемой новой библиотеки, но его одернули, пояснив, что и те драгоценные старинные тома в витринах и железных сундуках, которые имелись не в одном экземпляре, должны быть названы герцогу. Затем последовало новое распоряжение передать все эти дублеты Гельмштеттскому университету.

Но Лессинг воспротивился. Поскольку библиотека этого университета не получила указания предоставить равноценную замену, хотя ее собственные дублеты заслуживали серьезного внимания, Лессингу стало ясно, что герцог ищет лишь предлог, дабы обратить драгоценные книги в деньги. Поэтому он письменно объяснил князю, что ценные дублеты дают возможность получить за них в обмен еще более ценные тома. К тому же в результате столь значительной потери пустые полки «так неприятно резали бы глаза».

Ответом ему было молчание. Тоже неплохо, подумал Лессинг. Значит, моя точка зрения восторжествовала.

Так он боролся за сохранность знаменитой библиотеки против ее разграбления собственным владельцем.

Но ему приходилось несладко. Близилась зима, и доброму главе семейства следовало позаботиться о припасах. Однако его сочинительство и раздумья приносили весьма скромный доход, поступлений из Вены ждать не приходилось, а потребности детей с годами росли. Энгельберт, проявивший изрядную тягу к учебе, поселился у кантора Штегмана, что также требовало дополнительных расходов...

Кроме того, Лессинг великодушно пустил в дом несчастного Дейвсона с женой и престарелого, совершенно нищего философа Кёнемана вместе с его псом солидных размеров.

При прежнем герцоге Лессинг в таких стесненных обстоятельствах взял бы свое вознаграждение авансом. Но теперь и в этом деле произошли перемены.

В конце концов он отправился в Гамбург и оставил там два «долговых обязательства», которые потом так и не смог оплатить. Кузен Кнорре после долгих колебаний дал Лессингу под расписку двести талеров, а старый знакомый Фридрих Людвиг Шрёдер, пользующийся успехом исполнитель героических ролей и директор Гамбургского театра, документально оформил давно обговоренный контракт: пятьдесят луидоров в год за две новые драмы Лессинга или две обработки чужих пьес лучшим драматургом, какого знала Германия.

Лессинг решил сначала переложить немецкими стихами «Саламейского алькальда» — драму непреклонного, уверенного в себе человека. Пора дать бой малодушию! — думал он; ибо это было не дело — покидать мир подобно Вильгельму или Эмилии, даже если произвол сильных мира сего становился непереносимым.

Но однажды, когда Лессинг вместе с Кампе и другими гамбургскими друзьями был в гостях у Элизы Реймарус, случилось так, что прямо посреди разговора он вдруг уснул. Другой раз он находился в типографии у Боде, где должен был, как в старые времена, проверить оттиск, но внезапно уронил голову на руки. Болезненная сонливость, которой он некогда страдал, вернулась опять, и это встревожило его друзей.

Прощаясь, Лессинг повсюду говорил, что теперь всю зиму будет очень прилежно работать. Но Элиза удрученно промолчала, а Шрёдер, только что подписавший с ним договор, дал вскоре понять театральному интенданту Дальбергу в Мангейме, что от великого Лессинга немецкой сцене ждать больше нечего.

Несмотря на ветреную погоду, Мальхен встречала почтовую карету на станции. Вместе с ней был библиотечный служитель Хельм, ибо ему предписывалось нести большой черный чемодан.

— Ну, что нового? — спросил его Лессинг.

Хельм сообщил, что герцог опять приказал отослать в Гельмштетт все дублеты, которые были ему перечислены. Воображение Лессинга

уже рисовало ему удручающую картину пустых полок.

Он побледнел от гнева.

— А я говорю, ни за что! — В его взгляде снова появилась та суровость, что вызывала смятение врагов и заставила сейчас оробеть даже милую Мальхен.

В молчании переступил отец порог дома, в молчании расхаживал он взад и вперед и более десяти дней не показывался в библиотеке. Неотступно, даже во сне, его преследовала и мучила мысль о том, что он может быть ограблен подобным образом. Теперь, когда он сроднился со своей библиотекой, когда он знал ее как свои пять пальцев, любая утрата отзывалась в нем мучительной болью.

Но лишь своему другу Эшенбургу, верному Эшенбургу, он все же признался в письме, что уже давно избегает появляться в библиотеке, — настолько ему все опротивело.

Еще не кончился ноябрь 1780 года, а герцог Карл Вильгельм Фердинанд уже приказал Лессингу явиться в брауншвейгский дворец. Прежде, чем попасть к герцогу, ему пришлось миновать множество гигантских комнат, огромных, как танцевальные залы, стены которых, однако, были затянуты темно-красной тканью. Это был тот тревожный тусклый цвет, который у художников именуется «бычьей кровью».

Пламя преисподней уже пылает, подумал Лессинг.

Странное дело: чем сильнее его одолевали слабость и дряхлость, тем больше он был склонен к иронии, правда, к мрачной ее разновидности. Порой, когда ему казалось, будто он изрядно весел и рассказывает презабавные истории, Элиза, читая, или Мальхен, внимая, приходили в ужас от подобных шуток.

Герцог поспешно вышел ему навстречу, но не дал и рта раскрыть, а заявил, что его посланник доложил ему из Регенсбурга, как ему в свою очередь поведал под большим секретом саксонский посланник, будто в ближайшее время от «Corpus evangelicorum» поступит предписание брауншвейгскому двору — официальное требование привлечь к заслуженному наказанию Лессинга, издателя и распространителя скандального фрагмента «О целях Иисуса и его последователей».

— Это точное, дословное сообщение моего посланника, — заметил герцог, стараясь не встретиться с Лессингом взглядом.

— В прежние времена было принято отрубать голову, а теперь, по всей вероятности, положено вешать, если только осужденного по дороге не схватят и не отправят в Вартбург.

Герцог ухмыльнулся:

— Я понял, что за игру вы затеяли.

— Нет, — возразил Лессинг, еле сдерживая гнев, — это высшие евангелистские имперские сословия затеяли игру. Но со времени того «спасения» прошло двести шестьдесят лет. Сколько времени, чтобы извлечь уроки, сколько впустую потраченного времени! Итак, давай, возмутитель спокойствия, живее, вверх по лестнице! Дело не шуточное! Но пусть никто не думает, будто я, испугавшись, сочту за благо скрыться. О происхождении фрагментов я уже все сказал. Тайны здесь нет.

Герцог слегка повернул свою шишковатую голову и искоса посмотрел на Лессинга.

— А вы не считаете, надворный советник Лессинг, что я вступлюсь за моего подданного?

— Я хотел бы вас настоятельно просить, — произнес Лессинг с ледяным спокойствием, — ни в коем случае не проявлять ко мне сочувствия, а поступать так, как должен поступать представитель благородного имперского сословия. Пресловутый Лессинг пользуется достаточно дурной славой.

— Мне кажется, больше всего на свете вам нравится, когда вас преследуют и подвергают нападкам, — ехидно произнес герцог. — Итак, оставьте ваши мысли о казни. Никто не смеет диктовать мне мои поступки, и если вы из ложной гордости и упрямства не желаете просить защиты у вашего герцога, то мне придется вам ее навязать.

Лессинг молчал и думал: почему этот человек так бахвалится унаследованной властью? Но тут же веселые морщинки разбежались лучиками вокруг его глаз, потому что «его герцог» опять превратился в старого капканщика:

— Прежде всего я жду от вас письменного заключения о современных религиозных течениях.

— Как кстати! — сказал Лессинг. — Будет чем гордиться!

Но герцог уже сменил тему. Он поинтересовался, почему это Лессинг пустил жить к себе антиквара Дейвсона, едва тот вышел на

волю после того, как был заключен своим герцогом в тюрьму за «соблазн к расточительству».

— Потому что он нуждался, Ваша светлость. Кроме того, я верю его клятвам. Почивший герцог был столь непоколебим, что никому не дал себя «соблазнить», ни единому человеку. Но если ему нравилось какое-нибудь произведение искусства, он не останавливался ни перед чем, чтобы эту вещь заполучить. Я припоминаю: несколько лет назад, когда никакого антиквара Дейвсона еще и в помине не было, мне уже довелось давать Его светлости заключение о некоем предположительно античном светильнике, который, по моему мнению...

Герцог его перебил:

— Говорю вам, этот Дейвсон, видит бог, не достоин вашего участия.

— Кто бы из нас всех, Ваша светлость, имел бы крышу над головой, если бы мы были вынуждены зарабатывать ее у бога?

— Но ведь вам от этого Дейвсона никакого прока, — настаивал герцог.

— Тогда что вы скажете, Ваша светлость, если я поведаю вам еще и о старом философе Кёнемане. Он тоже живет у меня, ибо пришел пешком без единого пфеннига в кармане из родной Лифляндии в Вольфенбюттель, чтобы иметь возможность пользоваться нашей знаменитой библиотекой. В пути, когда у него еще были с собой две булки, он повстречал подыхающего от голода пса и отдал ему одну из этих булок. Пес шел за ним следом до самого Вольфенбюттеля. Пока у меня будет хотя бы одна единственная булка, я буду делиться с этим человеком. Так я понимаю христианство, Ваша светлость!

Герцогу стало не по себе в обществе своего надворного советника. Столь чрезмерное великодушие и безграничная, прямо-таки мессианская доброта напугали его.

Он произнес резким тоном:

— А как надо понимать это письмо, которое прислал мне сюда, в Брауншвейг, профессор Тюнцель из библиотеки Carolinum'a? В нем он утверждает, будто обладает неоднократно доказанным преимущественным правом меняется дублетами с Вольфенбюттелем.

— Так оно и есть, Ваша светлость! Профессор Тюнцель недаром столь настойчив в своих притязаниях. Ему было предоставлено преимущественное право первым осматривать дублеты

вольфенбюттельской княжеской библиотеки. Это право пожаловал ему покойный герцог. Теперь профессор Тюнцель собирается им воспользоваться. Что делать мне? Почивший герцог сказал: Брауншвейг, правящий герцог говорит: Гельмштетт. На что мне решиться?

— В другой раз! — вскричал Карл Вильгельм Фердинанд, протестуя подняв руку. Он бросил на Лессинга неодобрительный взгляд и поспешно отпустил его.

Однако тот остался весьма доволен состоявшимся разговором и кратчайшим путем отправился к Эшенбургам.

— Знаете ли вы, дорогой мой Эшенбург, почему я с некоторых пор так зол на нашего герцога? Он, говорит он, к своим подданным, говорит он, столь отзывчив, говорит он, и столь благороден, говорит он. — Приходя к Эшенбургу, Лессинг всегда охотно шутил.

Но на сей раз друг возразил:

— Он ведь и мой герцог тоже. Надеюсь, это избавляет меня от ответа? В норд-норд-вест молчание — золото.

— Говорил Шекспир? Или это говорит пророк его Эшенбург?

— Ах, давайте лучше отправимся к Рёнкендорфу! Это нас отвлечет.

На улицах уже сгустились сумерки. Мимо, словно тени, скользили редкие прохожие. Тени в мире теней. А может, это его зрение было виной тому, что люди казались ему силуэтами. Но странное дело: лишь с тех пор, как он стал так плохо видеть, он замечал вещи, на которые раньше не обратил бы внимания. Не гордый человеческий род шествовал свободно и уверенно, а некая разновидность увечных существ — ущербных каждое на свой лад — поспешно ковыляла мимо. Основным цветом, особенно в женской одежде, был черный. Потупя взоры и сгорбившись, плотно прижав руки к телу, они лихорадочно сновали друг мимо друга. Но иногда внезапно — словно в противовес былой спешке — где-то показывалось неподвижное лицо за гардинами да дети пугливо и безмолвно выглядывали там и сям сквозь щели в заборе. Царившие столетиями законы — господские, церковные, семейные — создали этих убогих существ, забитых людишек, которых следовало встряхнуть...

Правда, со временем вера Лессинга в лучшее будущее претерпела не один удар. Но он не хотел расставаться с надеждой. Внезапно он вспомнил о девяносто первом параграфе своего «Воспитания человеческого рода»: «Шагай своей неприметной поступью, вечное провидение! Но не дай мне потерять веру в тебя, обманувшись этой неприметностью! Не дай мне потерять веру в тебя, даже если твои шаги покажутся мне обращенными вспять! Неправда, что кратчайшим путем всегда является прямая линия».

Эшенбург удивленно взглянул на своего друга:

— Что с вами?

— Уже прошло! Все в порядке! — Но вы только прислушайтесь, что за гвалт стоит у Рёнкендорфа!

Осенью К. фон К., легкомысленный камергер фон Кунтч, основал «Большой брауншвейгский клуб», в котором стал председателем и в который вошли все его друзья, а их у него была тьма тьмущая. Обычно все рассаживались за длинным, покрытым белой скатертью столом, и Рёнкендорф в наряде винодела самолично обслуживал своих гостей.

Лишь одно разъединяло членов клуба: сословие, к которому каждый из них принадлежал. А посему дворяне сидели за одним концом стола, а люди бюргерского происхождения — за другим. К. фон К. пытался выступать посредником между двумя группами, но ему так ни разу и не удалось преодолеть это «богоугодное» разделение.

Когда Лессинг переступил порог просторной, обшитой деревянными панелями залы — впрочем, тут имелись и другие помещения, где можно было полистать журналы или покурить, — ему, словно это само собой разумелось, накрыли почетное место за короткой стороной стола. Тут были профессор Шмид и Лейзевиц, а также профессор Эберт, которому новый герцог наконец-то пожаловал титул надворного советника, столь давно им ожидаемый. Однако он, как и раньше, продолжал носить причудливые желтые чулки, а свой большой, всем известный зонт неизменно вешал на спинку стула.

За другим концом стола обосновался господин фон Харденберг, о котором говорили, будто он собирается податься на прусскую государственную службу. Рядом с ним сидел генерал фон Шетц, а когда в залу вошел обер-шталмейстер граф Ботмер, ему радостно замахали руками, приглашая разделить компанию. Собственно говоря, господин

фон Харденберг ни в чем Ботмеру не уступал, ибо принадлежал — и никогда не уставал это повторять — не к обнищавшей ветви саксонских баронов Харденбергов, а к той процветающей графской ветви, чьи земли располагались преимущественно в Пруссии.

Приветливо улыбаясь, вошел аббат Иерузалем. Но господин фон Харденберг не поднял руки, чтобы призывно помахать ему. Исполненного благородных помыслов старого альтруиста давно уже причислили при дворе к «людям вроде Лессинга» со всеми вытекающими последствиями. Аббат занял место подле Лессинга, тут ему были рады. Фридрих Хеннеберг, брат того самого носившего траур почтового советника Георга Хеннеберга, о котором рассказывал Глейм, пришел в клуб вместе с гравером монетного двора Круллем, и оба сидели, разумеется, за Лессинговой стороной стола. Последним в залу вошел генерал фон Варнштедт. И его господин фон Харденберг также не удостоил приветственного взмаха рукой. С тех пор, как генерал фон Варнштедт в свите принца Леопольда разъезжал по Италии вместе с библиотекарем Лессингом, он прослыл его другом и был причислен к «перебежчикам».

Как обычно, их было всего трое — этих высокородных господ, удостоившихся чести сидеть за столом по правую руку. Во всяком случае, этого хватало, чтобы составить партию в l'hombre^[13]. Стоило одному из этих господ заболеть, как двоим оставшимся приходилось усаживаться за шахматную доску, между тем как бюргерская часть компании К. фон К. без усталости шумела, болтала, хохотала и пила старое токайское — кто за свой счет, кто за счет приятеля.

Едва Лессинг в своей излюбленной шутливой, саркастической манере, стал предлагать тестю Эшенбурга, изрядно постаревшему профессору Шмиду, свое гостеприимство, как тотчас вылилось наружу скрытое недоброжелательство благородных господ. Ни к кому не обращаясь, Шмид заявил, что в ближайшее время ему, видимо, понадобится опять приехать в Вольфенбюттель, чтобы поработать в библиотеке.

— И, наверное, захотите остаться в Вольфенбюттеле на ночь? — спросил Лессинг.

— Возможно...

— Тогда я должен открыть вам один секрет: все трактиры в Вольфенбюттеле, за исключением моего — вам ведь знаком дом с

четырёхскатной крышей, — так вот, я говорю, все трактиры, кроме моего, закрыты из-за чумы.

Шутку восприняли как шутку и встретили громким смехом. Аббат Иерузалем подлил масла в огонь, заявив:

— Все лучшее приходит к нам из Вольфенбюттеля. Вообще-то в наших краях не знают чумы вот уж сколько столетий, но в Вольфенбюттеле... да и как могло быть иначе... в Вольфенбюттеле...

Он вынул носовой платок и утер слезы — столь забавной показалась ему эта мысль.

Господин фон Харденберг раздраженно оторвался от карт, внимательно оглядел Лессинга и его друзей и произнес:

— Как разбушевались эти язычники!

Аббат Иерузалем посмотрел на него с изумлением:

— Язычники?

Господин фон Харденберг понял свою оплошность, привстал и изобразил поклон:

— Разумеется, вы не в счет, ваша честь.

— Но, — возразил развеселившийся аббат, — я-то как раз и «бушевал» больше всех!..

Фридрих II высказал недавно в форме некоего открытого письма, написанного, впрочем, по-французски, свои суждения о немецком языке и литературе. Это сочинение, озаглавленное «De la littérature allemande»^[14], аббат положил перед собой на стол и обратился к Лессингу:

— Если вы, уважаемый друг, не собираетесь воспользоваться своим преимущественным правом, то я не отказал бы себе в удовольствии ответить на это письмо. С нашим языком и нашей немецкой литературой король обошелся en canaille^[15]. Все удостоилось такой низкой оценки, пусть не язвительной, но сочувственно презрительной, доброжелательно прохладной, — надеюсь, Вы меня понимаете. Я считаю, что это нельзя оставить без ответа.

— Как раз сейчас я совершенно не расположен вступать в полемику, — поспешно произнес Лессинг.

Аббат озабоченно взглянул на него:

— Вы не заболели, уважаемый друг?

Затем он раскрыл сочинение короля и стал переводить наиболее примечательные места, ибо не знал, понимают ли люди вроде Крулля

или Хеннеберга по-французски.

Поскольку суждения прусского короля, однако, слишком часто и слишком явно расходились с суждениями присутствующих, то чтение сопровождалось поначалу робким, но постепенно все усиливающимся смехом, приведшим господина фон Харденберга в бешенство.

— Язычники снова разбушевались! — вскричал он и опять, как бы извиняясь, привстал и поклонился аббату Иерусалему: — Ваша честь!

— Это снова я, ей-богу, это снова был я! — воскликнул, забавляясь, аббат Иерусалем и поклонился другому концу стола, привстав лишь чуть-чуть.

Лессинг оценил очарование, скрытое в этой сцене. Ему стало тепло на душе. Какой неожиданный триумф — сам аббат Иерусалем хотел встать грудью на его защиту, чтобы дать решительный отпор наглой самоуверенности прусского короля!

X

На ночь Лессинг, как обычно, остановился у купца Анготта возле Эгидиенмаркт в Баруншвейге, ибо этот разбогатевший на виноторговле человек сдавал приезжим комнаты в своем весьма внушительном угловом доме.

На другой день, когда Лессинг ехал на перекладных в Вольфенбюттель, его охватил пробирающий до костей озноб, который все никак не проходил, так что Лессинг был рад-радехонек, когда поездка закончилась. Но и дома, сразу же улегшись в постель — а Мальхен принесла ему отвар из лекарственных трав и разогретые кирпичи, которые полагалось класть под одеяло, — он по-прежнему ощущал этот внутренний холод, который мурашками расползлся по всему телу. Ему было трудно дышать. И еще ему казалось, будто все его тело заковали в тесный панцирь. Перепуганная Мальхен послала Фрица за доктором.

Старый, сгорбленный домашний врач пошучивал, как всегда, когда приходил к Лессингу, ибо ему нравились его находчивые ответы. Но вскоре он убедился, что на сей раз речь идет не о сонливости, а о более серьезном недуге.

В задумчивости стоял он у постели больного. Все признаки указывали на водянку груди с уже появившимися уплотнениями в грудной полости — он называл их «окостенениями». То, что эта болезнь могла многократно возвращаться, объясняло, по мнению врача, и постоянную, хоть и не слишком сильную лихорадку. Он пустил кровь и распорядился положить больному на грудь специально приготовленный вытяжной пластырь.

Теперь, когда его недуг был наконец точно определен, Лессингу почудилось, будто он улавливает при дыхании какой-то странный шорох в грудной полости, что, с точки зрения логики, было невысказано.

Этак, пожалуй, и впрямь навоображаешь себе бог знает какую болезнь, подумал он. Спустя несколько дней он поднялся с постели, оделся и поплелся к письменному столу. Он написал письмо господину Мозесу, ибо проживавший в его доме Дейвсон хотел, чтобы его рекомендовали в Берлине хотя бы одному знакомому. Дейвсон намеревался уехать за границу. Он подумывал об Англии, искал способа и просил совета. Помочь должен был господин Мозес.

Лессинг тоже склонялся к мысли об эмиграции. Печальное зрелище являла его мысленному взору эта ледяная империя, где ему было отказано в каком бы то ни было признании и сам верховный имперский сейм намеревался его покарать.

Нечаянный триумф у Рёнкендорфа был уже забыт. Его снова окружало молчание, и всякое деяние представлялось бесплодным.

Под заглавием «Эрнст и Фальк» он издал остроумные «Масонские беседы», набросал и отдал в печать проникнутое заботой о будущем «Воспитание человеческого рода» и полагал, что это вызовет бурю. Однако в немецких критических зарослях ничего не шелохнулось.

Итак, он писал господину Мозесу: «Не думаю, чтобы у Вас сложилось обо мне впечатление как о человеке, жадном на похвалы. Но та холодность, коей свет имеет обыкновение доказывать определенным людям, что все, что бы они ни делали, никуда не годится, если не убивает, то уж во всяком случае повергает в оцепенение».

Письмо заканчивалось неожиданно: «Ах, милый друг, занавес опускается! И однако же, я очень хотел бы еще разок с Вами побеседовать!».

Третью годовщину со дня смерти жены Лессинг провел очень тихо, погруженный в собственные невеселые думы.

Но ближе к концу января он встряхнулся и отправился в Брауншвейг. Старая герцогиня-мать пригласила его отобедать. Для такого случая требовался придворный костюм, и Лессинг одолжил у профессора Шмида нарядный, обшитый серебряным кантом сюртук.

Пока был жив старый герцог, о его супруге никто и не вспоминал. Теперь же она забрала некоторую силу в резиденции. Она, видимо, прослышала о болезни Лессинга, а возможно, и об угрозах, исходящих от евангелистских имперских сословий. Так что она пригласила его к себе на обед и принялась навязчиво ему сочувствовать.

Заметив это, Лессинг напустил на себя беззаботность и, к вящему ее удивлению, впал в болтливость, которая явно никак не вязалась с тем образом чахнувшего человека, какой она уже себе нарисовала.

К ним присоединился ее сын, правящий герцог. Нерешенные дела библиотеки занимали его так же мало, как и угроза со стороны имперских сословий, но он сообщил, что аббат Иерузалем в одной из своих печатных работ ответил королю Пруссии на его исследование «*De la littérature allemande*». А посему он желал бы услышать, одобряет ли библиотекарь Лессинг то, что аббат возражает королю.

Лессинг пропустил мимо ушей высокомерие, прозвучавшее в вопросе герцога, заметил мимоходом, что в этом деле не стоило так уж торопиться, и наконец, как бы в пояснение, заявил, решительно глядя герцогу прямо в глаза:

— Умных людей слишком мало, чтобы они могли всякий раз давать отпор фатовству, едва оно проявится. Достаточно и того, что они не доводят дело до истечения срока давности...

— Фатовству? — переспросил герцог ледяным тоном.

— Это всегда фатовство — толковать о вещах, в которых так мало смыслишь.

— Но нельзя все же не учитывать, о чьем фатовстве идет речь, — вскипев, произнес герцог и в озлоблении удалился.

Это была все та же старая спесь, и Лессинг спрашивал себя, что еще удерживает его в этой стране.

Как же он, однако, удивился, прослышав позже у Эшенбургов, будто Дейвсон со своей женой все еще, а может, уже опять находятся в

Брауншвейге. Он отправился к ним, и там состоялся долгий разговор, который не слишком его воодушевил, ибо супруги в один голос сетовали на то, что человека с пустыми карманами нигде не жалуют.

Вечером Лессинг пошел к Рёнкедорфу в «Большой клуб» и повстречал там аббата Иерусалема, который лично вручил ему экземпляр своего трактата «О немецком языке и литературе». Лейзевиц тотчас ухватился за него и все читал и не мог оторваться, так что пришлось ему напомнить, что сей трактат аббата предназначался Лессингу.

На другой день, во время нового визита к Дейвсонам, с Лессингом случился приступ слабости, ему было так плохо, что пришлось его отвезти на квартиру, где он остановился. На некоторое время он утратил способность говорить.

Из Вольфенбюттеля вызвали Мальхен. Она тоже поселилась у Анготта, чтобы ухаживать за отцом. В конце концов ей удалось уговорить его посоветоваться с врачом. Но лейб-медик Брукман, имевший в Брауншвейге весьма солидную репутацию, не знал никаких других средств, кроме тех, что уже применялись вольфенбюттельским домашним врачом Лессинга. Он пустил кровь и распорядился положить вытяжной пластырь.

Однажды у Лессинга пошла горлом кровь. Но он сохранил полное спокойствие и не выказал ни малейшего испуга.

Спустя несколько дней он, казалось, несколько оправился. Слуга помог ему одеться, и он принял посетителей, ожидавших его в соседней комнате. В дальнейшем Лейзевиц, Дейвсон и Эшенбург стали наведываться почти ежедневно. Лессинг смеялся и шутил с ним, как раньше. Дейвсон прочитал ему вслух трактат аббата против короля Фридриха, и Лессинг заметил, что аббат весьма успешно справился с этим делом.

Однажды пришло письмо из Веймара. Оба Хеннеберга сами принесли письмо Лессингу, «чтобы оно по ошибке не попало по неверному адресу». Лессинг не знал, чему больше радоваться — письму или приходу друзей. Георг Хеннеберг — приветливый, улыбающийся, внимательный — молчал, пока его брат рассказывал, будто сам господин фон Харденберг выразил сожаление в связи с отсутствием Лессинга в «Большом клубе».

— Да что вы! — ответил довольный Лессинг и сломал печать.

Гердер отослал письмо из Веймара 9 февраля 1781 года, и Лессинг с превеликой охотой ответил бы старому верному другу, но зрение ему отказало.

Мальхен поняла, что отец пока еще совсем не готов к переезду. Так что, видимо, придется им выждать и третью неделю у купца Анготта в Брауншвейге.

Утром 15 февраля к Лессингу заглянули Эшенбург и Лейзевиц и, обрадованные тем, что нашли его таким бодрым, засиделись долго.

Потом, во второй половине дня, наведаясь Дейвсон и принес «Геттингенский журнал» Шлёцера, где ему попала на глаза полемическая статья, которую он, как обычно, тут же прочитал вслух. Острота Шлёцеровой полемики обрадовала Лессинга.

— Теперь я начинаю понимать, — сказал он, — что дух разумного противоречия не умрет вместе с протагонистом.

— Умрет? — по-детски испуганно взглянул на него Дейвсон.

Лессингу пришлось лечь в постель.

Принимать посетителей было ему не по силам. Он снова начал задыхаться. Лейб-медик Брукман называл это состояние «астмой» и считал, что оно может только еще больше усугубиться.

Лессинг, должно быть, дремал, когда Мальхен склонилась над ним и тихо сказала, что в комнате для посетителей дожидаются аббат Иерузалем и профессор Шмид.

— Теология в полном составе? Почему так поздно? — очень медленно спросил Лессинг, — ему было трудно говорить. Он был точно оглушен. К тому же, видимо, наступил вечер, сумрак в комнате невозможно было объяснить только лишь слабым зрением.

Мальхен зажгла свечу, но спросила, не лучше ли будет, если отец попросит этих гостей прийти на следующий день. Она же видит, в каком он состоянии.

— Сколько на часах?

— Около семи, дорогой отец.

— В таком, случае посетителей спроваживать не годится, — сказал Лессинг, тяжело дыша. — Пожалуйста, Мальхен, побудь пока с ними. Я приду.

Но отец лежал, откинувшись на подушки, такой немощный и бледный, что у дочери навернулись слезы на глаза, когда она послушно

вышла.

Вскоре открылась дверь, и Лессинг переступил порог. Его лицо было мертвенно бледно и покрыто холодным потом.

— Отец! — испуганно прошептала Мальхен. Но он только ободряюще сжал руку дочери и крепко за нее ухватился. С немыслимым усилием он поклонился пришедшим к нему друзьям. Тут у него закружилась голова, и пришлось прислониться к дверному косяку.

Мальхен тихо заплакала. Но отец ласково сказал:

— Успокойся, не тревожься!

Он дал уложить себя в постель, и пока Мальхен просила гостей навестить в другой раз, Дейвсон начал, как обычно, читать вслух. Его прервал предсмертный хрип.

Все было кончено.

В траурной процессии, двигавшейся в сторону брауншвейгского кладбища Магни, кроме приемных детей Лессинга — Мальхен, Энгельберта и Фрица, — шли только самые верные его друзья: Эшенбург, Шмид и Дейвсон, да еще Эберт, Лейзевиц и Кунтч.

Рассказывают, когда процессия приблизилась к подвалам булочника Денеке, тот будто бы крепко-накрепко запер все двери и ставни на окнах из отвращения к вольнодумцу Лессингу.

ГЮНТЕР ДЕ БРОЙН

ЖИЗНЬ ЖАН-ПОЛЯ ФРИДРИХА РИХТЕРА

Перевод с немецкого Е. Кацева
издание второе

Заклинаю тебя (иначе я явлюсь тебе с того света), чтобы после моей смерти ты написал обо мне словами грубыми и откровенными, а не отвратительно-провинциально-сладко и деликатно. О, я прошу тебя; и пусть эти строки станут эпиграфом к твоему сочинению.

Жан-Поль Кристиану Отто, 1802



1

НАЧАЛО ВЕСНЫ

Ребенок появился на свет ночью, в час тридцать. Он остался в живых, он здоров, что в те времена вовсе не было само собой разумеющимся. Из семи детей, рожденных в браке Розиной Рихтер,

двое умерли в первые же дни. По статистике это примерно соответствует средней детской смертности.

Гигиенические условия, особенно в деревне и в таких захолустных местах, как Фихтельгебирге, чудовищны, акушерки вовсе не обучены или обучены плохо. В простых семьях врачей к роженицам почти не зовут. Ведь врачи — мужчины, и обращаться к ним считается неприличным. Прошло уже девять лет, как первая женщина сдала экзамены по медицине, но пройдут еще десятилетия, прежде чем у нее появятся последовательницы. Когда читаешь в йенском «Альманхе для врачей и неврачей» за 1789 год, что протестантские церковные консистории под угрозой наказания приказывают акушеркам «прежде всего бежать за проповедником, а не хвататься за клистирную трубку и пытаться спасти жизнь», то это хорошо характеризует помехи на пути прогресса медицины.

Неправильный уход за новорожденными тоже часто ведет к смерти. Опасаясь, что от крика они могут получить грыжу, окриветь, охрометь, стать горбатыми, их так туго пеленают, что они не могут шевельнуться. Многие гибнут от перекармливания мучной кашей. Им легкомысленно дают как снотворное водку и маковый отвар.

Ночь на 21 марта. Вместе с ребенком приходит долгожданная весна. Тем более что жизнь горожан все еще зависит от смены времен года. Зимой по улицам едва пройдешь. В слишком тесных домах обывателей редко отапливается больше одной комнаты. Свечи, лучины или масляные светильники дают жалкий свет. Понятна радость, с какой Жан-Поль даже в старости постоянно подчеркивает, что весна и его жизнь начались одновременно. Равноденствие ему кажется связанным с его «двойственным стилем» — юмористически-сатирическим и патетически-сентиментальным, он перечисляет перелетных птиц, которые прилетели вместе с ним, и приводит названия растений, чьими цветами можно было бы усыпать его колыбель: чистяк весенний, полевая вероника или волдырник — названия, которые звучат так, словно он сам их придумал.



...Как лорд - рука движущая
и перст указующий из тьмы, так
Поэзия - это женское и властное око
взирающее на нас из тьмы

Прочитать это можно во фрагменте автобиографии, опубликованном лишь после его смерти. Заглавие, придуманное не им, вызвало негодование Гёте. После «Поэзии и правды» старик воспринял заглавие «Правда из жизни Жан-Поля» как дерзкое противопоставление. Жан-Поль сделал это «из духа противоречия», сказал он Эккерману. В то время как автобиография Гёте «благодаря возвышенным тенденциям поднимается из сферы низкой реальности»,

Жан-Поль остается в ее плену. «Словно правда такого человека может быть чем-то иным, чем свидетельством, что автор был филистером!» Приговор суровый и неверный, но он превосходно определяет разницу между ними.

Примечательны также начала обеих автобиографий. Гёте торжественно связывает свое рождение с космосом. «Положение звезд было благоприятным: солнце стояло под знаком Девы и достигло зенита; Юпитер и Венера дружелюбно взирали на него...» Жан-Поль же (полностью в плену «низкой реальности»), прежде чем дойти до вальдшнепов, трясогузок, ложечниц и осин, указывает на главные политические события года своего рождения: «Это было в 1763 году, когда был заключен Губертусбургский мир...»

В Губертусбургском охотничьем замке под Ошацом (ныне Лейпцигский округ) парламентарии Австрии и Саксонии с декабря прошлого года торговались с парламентариями Пруссии об условиях окончания семилетней войны, которая уже и так выдохлась ввиду полного разорения всех участвующих в ней стран. Самая разрушительная, самая кровопролитная война XVIII века, в которой участвовали почти все европейские страны, но которая велась преимущественно на немецкой и богемской земле, была окончена. 15 февраля 1763 года подписан мир, с редкой отчетливостью документально удостоверивший бессмысленность этой битвы за власть. Договорились о том, что все остается таким, каким было до войны. Когда через несколько дней после рождения Жан-Поля Фридрих II вернулся в Берлин, он отнюдь не чувствовал себя победителем. Говорят, будто во время благодарственного молебна, который король-атеист заказал в Шарлоттенбургской дворцовой капелле, он плакал. Куда больше оснований для этого имели его обнищавшие подданные.

Младенец Иоганн Пауль Фридрих Рихтер не относится к их числу. Фихтельгебиргский городок Вунзидель, место его рождения, принадлежал к одному из более трехсот немецких государств — княжеству Байройт, которым, правда, с конца средних веков правят также и Гогенцоллерны — их незначительная франкская ветвь; ее последний — бездетный — отпрыск, Кристиан Фридрих Карл Александр, отдает в 1791 году свое крохотное владение, соединившееся к тому времени с Ансбахом, прусским родственникам — за пожизненную ренту, выплачивать которую им приходится недолго, ибо

высокородный рантье уже в 1806 году умирает в Англии. И тем не менее сделка не приносит Пруссии никакой выгоды. Лишь до того же года Гарденберг, позднее ставший канцлером, управляет новой прусской провинцией; потом победоносный Наполеон отделит ее от Пруссии и великодушно подарит своим баварским союзникам, во власти которых она останется и после 1815 года, поскольку баварцы успеют своевременно покинуть тонущий корабль Наполеона.

Значительного влияния на жизнь, творчество и образ мыслей Жан-Поля эти смены подданства не оказывают, чего нельзя сказать о том обстоятельстве, что он растет в крошечном феодальном государстве, и не среди дворян и патрициев, а среди мещан и крестьян.

2

ВПРОГОЛОДЬ

Жаль-Поль — сын и внук школьных учителей, то есть бедняков. Его дед зарабатывал как ректор школы в Нойштадте на Кульме сто пятьдесят гульденов в год. «Школа была его тюрьмой, правда, он сидел не на воде и хлебе, а на пиве и хлебе; ибо сверх того — плюс чувство благочестивейшего удовлетворения — ректорство давало не много... и у этого обычно скудного байройтского источника, питавшего впроголодь школьных учителей, этот человек стоял тридцать пять лет и черпал из него», пока наконец в возрасте семидесяти шести лет не получил лучшего места, а именно на нойштадском кладбище, в год рождения Жан-Поля.

К этому времени отцу Жан-Поля уже тридцать шесть, он два года как женат и в течение трех лет учитель и органист в Вунзиделе. Только он еще беднее, чем дед. Он ведь не ректор, не проректор, а лишь третий учитель, *tertius*, он даже лишен чувства благочестивого удовлетворения. Десять лет кандидат теологии Иоганн Кристиан Кристоф Рихтер дожидался этой скромной должности. До тех пор он влачил жалкое существование домашнего учителя где-то под Байройтом. Не религиозное рвение, а бедность привела его к теологии. Это была единственная наука, доступная маленьким людям с большими способностями. Его способности — в другой области. Раскрылись они в Регенсбургской гимназии, где он жил впроголодь воспитанником, бесплатным учеником, — в области музыки. Он не дал им заглохнуть,

молодым человеком играл в капелле князя фон Турн унд Таксис, позднее сочинял церковную музыку, но сделать шаг от учителя и священника к художнику он так и не отважился. Слишком велика была боязнь необеспеченности и нищеты, слишком слаба воля к самоосуществлению, подвигшая позднее его старшего сына наперекор всем неблагоприятным обстоятельствам на большие свершения.

Едва вступив в должность учителя, бедный кандидат влез в долги. Ибо место нужно купить; место кандидата Рихтера в Вунзиделе (1760) стоило пять гульденов — добрая половина месячного оклада, который был так мал, что сэкономить из него хотя бы пфенниг для погашения долга казалось невозможным.

На втором году службы годовой оклад третьего учителя Рихтера повысился до ста девятнадцати гульденов. Для содержания семьи его могло хватить, лишь если ему платили за то, что он играл на органе на крестинах, свадьбах и похоронах, или если становилось больше школьников — это повышало его долю в доходе от платы за обучение. Бесплатно посещали школу только беднейшие из бедных.

Нищета учителей была давней немецкой традицией, которая, лишь постепенно ослабевая, продолжалась вплоть до нашего столетия. Известная насмешливая песенка о бедном деревенском учителешке долго была актуальной. Правда, почти все немецкие государства издали в XVIII веке законы об обязательном обучении, но они нигде не соблюдались и не улучшили существенно положения учителей. В Пруссии, например, первый такой закон был издан в 1736 году, но и через сто лет после его опубликования более полумиллиона детей школьного возраста, главным образом в больших городах, не учились. (В Берлине в 1838 году из 100 детей школьного возраста школу посещали только 60, в Познани — лишь 49, а в Аахене — и вовсе 37.) А с учительским жалованьем обстояло еще хуже, что и не удивительно, раз в параграфе 19 упомянутого закона сказано: помещики «вольны решать дело по своему усмотрению».

Вообще этот хваленый закон ясно показывает всю меру бедствия. Поскольку король Пруссии, Фридрих Вильгельм I, известный как король-солдат, в учрежденных им народных школах видел прежде всего школы для подготовки будущих рекрутов, этот закон применялся только в деревнях: горожане призыву не подлежали. За четыре талера твердого годового жалованья, которые церковь платила учителю, он еще обязан

был содержать в чистоте божьи храмы. Зато ему разрешалось «свободно выгонять на пастбище корову с телятком, item^[16] пару свиней и немного птицы», претендовать на часть воскресного сбора и ежегодно взимать с каждого ребенка «добрых четыре гроша». Но наиболее наглядно иллюстрирует положение учителя параграф 10. Он гласит: «Если учитель — ремесленник, он сможет прокормиться ремеслом, если нет, ему дозволяется шесть недель работать за поденную плату на уборке урожая».

Во второй половине XVIII века условия улучшились лишь незначительно. В сочинениях Жан-Поля много говорится об этом. Феодальное государство придавало мало значения образованию подданных. Чтение и письмо нужны главным образом для того, чтобы научить детей страху божьему и почитанию властей. Эпоха Просвещения не была эпохой просвещения масс. Буржуазия, которой служило просвещение, в целом не имела ни власти, ни желания, чтобы добиться просвещения народа. Все попытки разбивались о сопротивление знати и покорного ей духовенства. Даже лучшие умы Просвещения не стремились к радикальному изменению условий. Об этом свидетельствуют замечания Гердера по поводу открытия в 1780 году в Веймаре семинария для сельских учителей, основанного благодаря его действительной помощи. Цель семинария, сказал он, не в том, чтобы дать «молодым людям, готовящимся к работе в сельских школах, такого рода литературу и такое просвещение, которые... были бы им скорее вредны, нежели полезны. Слишком большие познания и умствования для тех сословий, которым они не нужны, бесспорно, принесут больше вреда, чем пользы». И он добавил, что семинаристам не следует жить в слишком хороших условиях, иначе возникнет опасность, что «нищенские школьные условия, каковыми они большей частью являются на селе, им потом покажутся неприятными и тягостными».

Прусский король Фридрих II, просвещенный «философ на троне», тоже стремился сдерживать просвещение в тесных — по возможности — рамках. Он писал Вольтеру: «Простонародье не заслуживает просвещения» — и указом 1764 года запретил принимать «в латинскую школу... детей крестьян, садовников и еще более мелкого люда». У него возникла мысль предоставить учительские должности инвалидам войн, которые он вел, — не из-за нехватки учителей, а чтобы

сэкономить пенсии, правда лишь в том случае, если они, как с мудрым ограничением сказано в указе от 1779 года, умеют читать, писать и считать. (По сообщению военного министра, из 4000 инвалидов таких оказалось лишь 79.) Намекая на это и на плохие условия в байройтских школах, Жан-Поль писал в «Квинте Фиксляйне»: «В Бранденбургской провинции инвалиды становятся учителями; у нас учителя становятся инвалидами».

Не удивительно, что кандидаты теологии, влачившие жалкое существование в качестве школьных учителей, смотрели на должность учителя лишь как на переходную ступень к более обеспеченной должности пастора. Иные ожидали ее всю свою жизнь.

Иоганн Кристиан Кристоф Рихтер был более удачлив. Не прошло и пяти лет после его вступления в должность в Вунзиделе, а он уже смог перебраться вместе с женой, двухлетним Иоганном Паулем Фридрихом (именуемым Фрицем) и годовалым Адамом в пасторский дом деревушки Йодиц. Решающую роль здесь сыграли не столько его безусловные способности, сколько покровительство баронессы фон Плото из имения Цедтвиц, которая ценила в нем музыканта, учителя музыки ее дочерей и остроумного собеседника.

3

АРОМАТ ДЕТСТВА

В воспоминаниях прошлое предстает преображенным. К нему обращаются не ради него самого, но всегда ради сегодняшних целей. Забвением, искажениями, поправками, истолкованиями, идеализацией воспоминания приспособливают прошлые факты к дню нынешнему. Это не обман, это изменившаяся точка зрения.

Когда Жан-Поль вспоминал детство, он идеализировал его. У писателя для этого были основания, ведь детству он обязан многим: оно дало ему необходимое для прозаика чувственное восприятие мира и угол зрения, под которым он обычно описывал мир. Почти все его произведения построены на материале, накопленном в детстве. Он всегда помнит, что именно там все взяло свое начало: любовь к маленьким людям, презрение к знати, преклонение перед природой, знакомство с нуждой и бедой, стремление к перемене — все это определило одну, светлую сторону его мастерства, а другая обратная,

тенивая, непременно сопутствующая свету, — его провинциализм, его сентиментальность, его наивная вера в добродетель и в бессмертие души, узость его стремлений, его чудачество. Как ни высоко он поднимался, как ни много читал, как ни широко думал — он оставался в узких границах своего детства. Никогда он не хотел и не умел скрывать своего происхождения. Это и делало его столь странным в глазах сына городского патриция Гёте. После первой встречи он назвал его чудным существом, и Шиллер подтвердил: «Он здесь чужой, словно с луны свалился».

Для профессора и придворного этой «луной» с общественной точки зрения была жизнь низов, крестьян на барщине и нищих школьных учителей, с географической — далекое захолустье, Фихтельгебирге, с культурной — убожество и ограниченность деревни и провинции.

Все это берет начало в Йодице, недалеко от Гофа, от «настоящего», то есть «духовного», места его рождения. «Заале, берущая, как я, начало в Фихтельгебирге, бежала со мной до самого Йодица». Она была «самым красивым, во всяком случае, самым длинным, что было в Йодице, она обегала его у горы, само же местечко перерезал небольшой ручей с мостиком. Небольшой замок и пасторский дом были здесь самыми видными постройками». В этом пасторском доме он прожил с трех до тринадцати лет. Оттуда до самой старости веяло на него «ароматом... увядшего детства», и из дали времен он приветствовал сельских жителей, желал им благополучия и важнейшей предпосылки его: «Да минуют их все битвы».

Были и другие причины, чтобы идеализировать детство. Сравнительно с тем, что ждало его потом, то была самая беззаботная пора его жизни, скудная, но без нужды. Правда, постоянно растущей семье не хватает кроватей, по одной кровати приходится на отца с Фрицем и на младших братьев, Адама с Готлибом, но домашнее хозяйство надежно обеспечивает семью. Доход отца по сравнению с заработком в должности учителя почти удвоился. В пасторских хлевах — коровы, овцы и свиньи. На огороженном каменной стеной дворе кудахчут куры. В людской живут две служанки, они помогают хозяйке. Приход из пяти селений владеет правами на пастбище и барщину. Таким образом, крестьяне обязаны обрабатывать поля не только землевладельца, но и пастора. Само собой разумеется, что пастор и его

дети тоже работают, и тем не менее чувство принадлежности к привилегированному сословию рано укрепилося в юноше.

Это чувство знакомо каждому, кто рос в деревне или небольшом городишке в семье бургомистра, учителя или врача. Ребенок видит, как к нему относятся окружающие, и это заставляет его ощутить свою роль в обществе. Если люди придают значение тому, чей ты отпрыск, то и сам начинаешь придавать этому значение. А пасторы в XVIII веке еще пользуются большим авторитетом. Государство постоянно старается внушить почтение к своим церковным столпам. Деревенский пастор исполняет не только духовные, но и административные обязанности. Он регистрирует акты гражданского состояния, руководит переписью населения. Ведет учет рекрутов. У него спрашивают о репутации крестьян.

Для мальчика Фрица Рихтера этот опыт важен потому, что он не только способствует его изоляции, но и делает ее переносимой, усиливая уверенность в себе. Если верить тому, что говорил Жан-Поль в старости, у него рано начался процесс эмансипации, сознательное пренебрежение к прочной общественной иерархии — первый шаг к бунту, к осознанию своего «я». Он описывает это как мистическое событие, как нечто, что пиетисты называют «прорывом» или «озарением»: «Однажды утром я, совсем маленьким ребенком, стоял в воротах и смотрел на сложенные дрова, как вдруг передо мной, словно молния с неба, сверкнуло внутреннее видение, и с тех пор оно так и сияет: я есть некое Я, тут мое Я увидело самое себя впервые и навсегда».

Хотя эти слова отдают литературной стилизацией (говорят, «Я есть некое Я» были последние слова обезумевшего перед смертью Свифта, и герой романа Жан-Поля «Титан» Шоппе умирает со словами «Я равно Я»), само событие, вероятно, не выдуманно и, пожалуй, представляет собой прямую противоположность тому, к чему стремился его отец, когда делал все, чтобы укрепить в старшем сыне сознание его роли в обществе. Он поручает ему разносить в воскресенье крестьянам, отбывавшим недельную барщину, «полагающуюся им краюху хлеба вместе с деньгами». Берет его с собой, когда навещает коллег в соседних деревнях. Он по ничтожному поводу вырывает его из общества деревенских школьников и сам обучает дома. Он постоянно

хвастает в семье добрым отношением хозяев замка и всячески развивает в ребенке сознание, сколь зависимы они от их милости.

Зависимость сельского учителя и деревенского пастора от поместного дворянства в полной мере даже невозможно себе представить. Почти не ограниченное господство феодала распространяется не только на крепостных крестьян. Пользуясь государственными политическими, экономическими и юридическими привилегиями (например, он не платит поземельного налога, владеет правом на охоту, пивоваренной и винокуренной монополией), он в своей округе не только осуществляет полицейскую власть и является первой судебной инстанцией, но и держит в своих руках надзор за школой и является попечителем церкви, что дает ему право назначать священников по собственному усмотрению. В Пруссии, где Фридрих Вильгельм I в интересах деспотического централизма «подорвал *autorité* юнкеров» и «стабилизировал собственное *souveraineté*, как *rocher*^[17] из бронзы», то есть как скалу — скала эта тоже продолжала покоиться на основе феодального владения, — права дворян в пределах их земельных владений не были урезаны. Еще более это относилось к мелким, карликовым государствам, где бездарные князья часто были бессильны противостоять самоуправству дворян. В то время как в Пруссии отношения между государственной властью и феодальным дворянством были построены таким образом, что государственное управление практически кончалось на ландрате, то есть низшая сфера власти была полностью отдана дворянству, иные мелкие государства были далеки и от такой системы. Так называемое имперское рыцарство несло обязанности, в обход князя, лишь по отношению к императору, которого практически не было. Да и границы дворянских земельных владений часто не совпадали с границами княжества. Поэтому в XVIII веке все еще играло роль так называемое принесение дворянством присяги на верность. Князьям часто приходилось добиваться этого с помощью оружия. К такому средству пришлось прибегнуть и министру прусского правительства Гарденбергу, когда он, взяв на себя в 1791 году управление бывшими княжествами Ансбах и Байройт, решил приспособить их административную систему к системе других прусских областей.

Характерно, что к числу указов, которые он издал, относится и указ, согласно которому в воскресных богослужениях молитва за

государя, короля Пруссии, должна возноситься *раньше* молитвы за покровителя церкви, то есть феодала; указ этот многократно наталкивался на сопротивление дворян: за два века существования лютеровой теории о порядке повиновения они привыкли считать пасторов инструментами для пропаганды своего личного господства.

Из сатирической литературы того времени видно, какими окольными путями пользовались попечители церкви, назначая угодных им кандидатов пасторами. Одним из наиболее надежных (по описанию обычно столь осторожного сатирика Рабенера) был путь через горничную помещика: чтобы получить назначение, кандидат женился на девушке, допуская и после замужества ее сожительство с хозяином. Рабенер приводит также письмо, в котором один феодал рекомендует другому в пасторы своего походного проповедника, потому что тот никогда не осудит пьянства и распутства своего будущего патрона. «Дай ему на неделе несколько раз пожрать досыта, и он будет кроток, как агнец».

Жан-Поль часто говорит в своих произведениях об этих нравах. В «Вуце» его герой, училишка, обязан своим местом тому обстоятельству, что трудно найти хорошего повара: место учителя патрон предназначал, собственно, повару, но, не найдя ему полноценной замены, не хочет его отпускать. Фикслайн, которому отказано в должности пастора, потому что он будто бы окрестил собаку именем помещика, в конце концов получает эту должность из-за путаницы имен, а сын «Юбилейного сениора» обязан своим назначением мошенническому маневру.

Йодицкий пастор Рихтер действительно зависит от цедтвицких господ, но правоверный лютеранин и помыслить не смеет критически отнестись к этому. Он верит в «безграничное величие сословия, как в привидения, хотя и не дрожит перед ними», рассказывает Жан-Поль и, обычно стараясь не повредить образу отца критикой, поясняет: «Как счастливы вы, нынешние дети, вас воспитывают распрямленными, вы не сгибаетесь в поклоне перед вышестоящими и внутренне устойчивы перед внешним блеском!»

Ему самому, несмотря на богатство внутренней жизни, всегда было трудно не поддаваться ослеплению внешнего блеска (он жил аскетически только потому, что нужда заставляла), и уже ребенком он должен был учиться преклонению перед господами на расстоянии часа

ходьбы, по меньшей мере раз в год, в чистый четверг, когда отец возвращался от цедтвицких господ с причастия и повергал жену и детей «в великое изумление» восторженными рассказами «о высоких господах и поистине придворном церемониале, о придворных яствах, о ледниках и швейцарских коровах и о том, как благодаря его неизменной жизнерадостности его сразу вытребовали из людской к господину фон Плото, или к фройляйн, которая упражнялась с ним в игре на рояле, или, наконец, к баронессе фон Боденхаузен и усадили за стол, несмотря на то, что там сидели и кушали самые важные владетельные рыцари — помещики Фогтланда».

Однажды отец даже взял его с собой в замок. Там мальчику, опьяненному всей этой красотой, дозволили гулять с «переполненным сердцем» среди арок и фонтанов парка и пасть на колени перед высокой персоной баронессы и поцеловать край ее платья. Эту сцену следует запомнить, чтобы понять, что впоследствии для него будет значить готовность благородных дам почтительно пасть на колени перед его высокой персоной.

4

ДУХОВНАЯ САХАРА

Почти каждый человек всю жизнь пытается избавиться от предрассудков, привитых ему в юности. Каждое поколение получает от предшествующего правила поведения в мире, не похожем на прежний. Даже воспитание, которое считается с будущим, никогда не выигрывает состязания с временем, ибо пользуется средствами прошлого. То обстоятельство, что в предыдущих веках развитие шло медленнее, существенного значения не имеет.

Кроме того, это не относится к временам больших переворотов. А эпоха Жан-Поля такой и была — эпоха Французской революции и ее последствий. Когда он родился, деспотическая Пруссия Фридриха была на вершине могущества; когда он умер, уже родился Карл Маркс и в Европе произошли такие экономические и политические изменения, которых не могла отменить и Реставрация. На его жизнь приходятся духовные движения Просвещения, «Бури и натиска», классицизма, романтизма. После его смерти представители «Молодой Германии»

объявили себя его сторонниками. Однако воспитавший его отец духовно принадлежал еще к эпохе, предшествовавшей Просвещению.

Пастор Рихтер в самом деле верил в привидения, и если он действительно не трепетал перед ними, то сын его все же испытывал трепет. В то время как теология Просвещения давно решила спор о существовании или несуществовании дьявола, для правоверного йодицкого пастора и массы мещан и крестьян нечистый был столь же реален, как для Лютера, который, как известно, часто видел и слышал его. Священники и миряне, прославившиеся умением изгонять дьявола, имелись как в католическом, так и в протестантском кругу. Колокольный звон во время грозы, которому приписывали благодатное действие, был отменен в просвещенном Берлине лишь в 1783 году. Тогдашние баллады об ужасах были не отголоском средневековой боязни призраков — они выражали страхи, еще живучие в народе. Последний раз ведьму жгли в Германии в 1775 году. Жан-Полю было тогда уже двенадцать лет, и он весь во власти таких страхов.

Когда вечерами служанка за прялкой рассказывает истории о призраках, он весь дрожит, лежа в кровати, пока не приходит отец и не ложится рядом с ним. Еще страшнее мальчику с чрезмерно развитой фантазией, когда во время похорон отец заставляет его пронести библию через пустую темную церковь, мимо гроба с покойником, в ризницу. Можно предположить, что эта жестокость отца вызывала в чувствительном ребенке нервные потрясения.

Борьба (еще и по сей день не увенчавшаяся полным успехом) против всяческих суеверий, которую вело Просвещение, в основном затронула лишь образованную часть населения. В народные школы она тогда еще не проникла. Образование, которое они давали, было жалким. Здесь прививали не столько знания, сколько идеологию, стремились воспитывать не образованных граждан, а главным образом робких и послушных подданных, правоверных христиан. Чтению и письму детей учат по катехизису и библии. Фридрих II, видевший в религии лишь средство управления подданными, издал в 1763 году инструкцию для школ всех прусских государств с точным расписанием уроков, в которой лишь один раз, и то мимоходом, речь идет о счете, в остальном же только о молитвах, церковных песнопениях, псалмах, посланиях апостолов, обоих заветах и катехизисе. «По субботам предписывается следующее: в первые часы дети не экзаменуются по катехизису, как в

остальные дни, а повторяют выученные библейские тексты, псалмы и песни, список которых надлежит иметь учителю. Затем он, чередуя недели, рассказывает им истории из Ветхого и Нового завета, расчлняя их вопросами и объясняя детям, как их толковать... По воскресным и праздничным дням родители обязаны перед проповедью посылать детей к учителю, чтобы они в надлежащем порядке были доставлены в церковь и пребывали там под хорошим надзором...»

Маленький Фриц Рихтер, как уже сказано, таким учением наслаждался недолго. И если он постоянно тоскует о нем, это бросает некоторую тень на учебные методы отца. С завистью глядя на деревенских детей, идущих в расположенную напротив пасторского дома квартиру учителя, мальчик должен вместе со своим братом Адамом в домашнем затворничестве нагружать свой удивительно восприимчивый мозг ненужным балластом. «Четыре часа до и три после обеда отец давал нам уроки, заставляя нас просто зубрить библейские тексты, катехизис, латинские слова и грамматику Лангена. Мы должны были заучивать, не понимая, длинные правила склонения по родам вместе с исключениями и соответствующей строкой примеров из латыни».

Если будущего Жан-Поля можно назвать вундеркиндом, то еще и потому, что его душа, жаждавшая пищи, не испортила себе аппетита такой неудобоваримой жратвой. Семь ежедневных уроков по учению Христа и латыни (о счете, об истории, правописании, природоведении или географии он в Йодице и не слышал) не удовлетворяют его рвения к знаниям. Он пробует себя в латинских переводах, но не находит никого, кто мог бы их оценить. По написанной на латыни грамматике греческого языка он выучивает греческий алфавит. С пользой читает «Байройтер цайтунг», трехмесячные комплекты которой отец приносит от помещика (с пользой — потому что читает газету не ежедневно, а сразу за четверть года, и лишь из целого комплекта политической газеты можно извлечь правду, ибо в комплекте «есть достаточно страниц, которые опровергают друг друга»). Выучивает наизусть воскресные проповеди отца и поражает семью и гостей, повторяя их. Уж очень не по-детски взрослым был, вероятно, этот ребенок.

«Тем мучительней жаждал я книг в этой духовной пустыне. Каждая книга была для меня зеленым живительным родничком, в особенности „Orbis pictus“», — что легко можно себе представить, если

знать, насколько этот, в то время уже столетний учебник чеха Амоса Comenius'a (собственно говоря, Коменского) превосходил все тогдашние школьные учебники.

«Orbis sensualium pictus. Мир чувственных вещей в картинках, или Изображение и наименование всех главных предметов в мире и действий и жизни» — предшественник наших иллюстрированных словарей иностранных языков; обновленный соответствующим образом, он был в употреблении до конца XIX века. В нем Коменский, пророк среди педагогов, как его по праву называют, впервые последовательно положил в основу обучения наглядность, и действовал он при этом с учетом социального будущего, включив в свой изображенный и поименованный мир также мир буржуазии. Таким образом, напичканный непонятными латинскими правилами юноша мог здесь на картинках видеть, что означает все им зазубренное, согласно изложенному в предисловии принципу Коменского: «Нет ничего в разуме, чего не было прежде в чувстве». Здесь он не только учит фразу: «Дитя хнычет э-э-э — *Infans ejulat eee*», но и видит картинку с младенцем в колыбели. Из грозных облаков дует толстошее лицо, и к этому дается пояснение: «Ветер дует фу-фу — *Ventus fiat fi fi*». Тут описаны и показаны фазы Луны — *Phases lunae*, певчие поют на картинке перед общиной, пасечники собирают мед, домашняя птица — *Aves domesticae* — летает и кудахчет, злодеев секут и вешают, горняки бурят и работают молотами, черт искушает человека, огромное божье око недреманно следит за всем и на мельнице (1) трется камень (2) о камень (3), благодаря вращению колеса (4) мелется сыплющееся через воронку (5) зерно и отделяются отруби (6), падающие в ящик (7), от муки, которая сыплется в мешок (8), — и то же самое по-латыни, с теми же цифрами, указывающими на ту же картинку.

Конечно, это скорее «чистое наслаждение», как того хотел Comenius, а не «сплошное мучение», как отцовские уроки. «Всякое учение было для меня жизнью, и я с радостью обучался бы, как принц, сразу у полудюжины учителей, а имел я едва ли одного настоящего».

Это изменится лишь на тринадцатом году жизни Жан-Поля, когда пастор Рихтер с женой и тремя уже сыновьями переселится из «сельской тиши» в расположенный неподалеку городишко Шварценбах

и займет лучше оплачиваемую должность, которой он снова обязан своей покровительнице.

Это первое сознательное расставание юноши с полюбившимся ему местом. Но «для детей вряд ли существуют расставания: ведь они не знают прошлого, а только настоящее, которое полно будущим».

5

УЧЕНОЕ ДИТЯ

Если влечение к художественному творчеству находит себе выход в писании книг, это почти всегда объясняется влиянием раннего чтения. Мы отдаем в той форме, в какой брали. Мы приходим к писанию через чтение.

Это относится и к Жан-Полю. Тут он от других отличается не по существу, а по количеству проглоченного. Более начитанного немецкого писателя, пожалуй, не было. С того времени, когда мальчик, лежа на церковных хорах, предавался — пока отец проповедовал — запретному чтению книг из отцовского книжного шкафа, его, как неизлечимая болезнь, обуяла страсть к чтению. Его память хранит бездну материала. Выписками из прочитанного он заполнит потом тысячи страниц. Он переносит отсюда в свои книги — не всегда им на пользу — невероятно много, но это всего лишь частица накопленного. В начале необъятного ряда прочитанных книг стоит «Orbis pictus» с его нарисованным мирозданием — и это характерно для широты его интересов, охватывающих все области знания.

Но он любит не только литературу, он любит и сами книги — с особенным пылом, вероятно, потому, что в молодости у него их не было. Уже в Йодице книги составляли основу его детских игр. Он делает библиотечку, сшивая из клочков бумаги книжки, которые сам исписывает. «Содержание было теологическое и протестантское и каждый раз состояло из выписанного из Лютеровской библии небольшого пояснения к какому-либо стиху».

Таково автобиографическое зерно гротескной истории о собрании книг предовольного учителяшки Вуца, которое «состояло, подобно языческому, из сплошных рукописей». Ведь Вуц сам сочинял для себя все значительные новинки, названия которых он находил в каталоге Лейпцигской ярмарки и купить которые, разумеется, не мог — сочинял,

даже не подержав в руках оригинала. «Едва лишь вышли „Физиогномические фрагменты“, Лафатера (к слову сказать, одна из самых дорогих книг того времени: четыре тома, форматом в четверть листа, стоили 100 талеров), как Вуц, дав лишь небольшую фору этой плодovитой голове, сложил вчетверо лист писчей бумаги и три недели не отрывался от кресла, пока сам не вывел из собственной головы физиогномический плод... и... не уподобился швейцарцу». При таком необычном способе копирования порой случалось, что философский трактат о пространстве и времени у Вуца толкует лишь о судовом помещении и о «времени, которое у женщин называют менсисом», — но это не омрачало радости обладания собственной библиотекой.

Чтение доставляло мальчику «физическое упоение». Это говорит пятидесятипятiletний Жан-Поль, когда вспоминает вторую книгу, оказавшую на него большое влияние. Снова это книга, которая, так же как и «Orbis pictus», знакомит с образом мира в буржуазном освещении, хотя и в другой, на сей раз увлекательной форме, — «Робинзон Крузо» Дефо, история буржуазного selfmademan'a [\[18\]](#), который, положившись на себя и на бога, вдали от феодальной власти создал свой особый, лучший мир собственности.

Все это происходит уже в Шварценбахе на Заале, где, по-видимому, есть люди, у которых можно одалживать книги. Торговый городишко насчитывает полторы тысячи жителей. Приход содержит двух пасторов. Городская школа имеет свой преподавательский корпус, состоящий из ректора и учителя пения, учит латыни и внушает такое доверие, что пастор Рихтер решает послать туда своего вступившего в переходный возраст вундеркинда, впервые предоставляя ему в 15 лет возможность регулярного обучения.

Шварценбахская латинская школа похожа на существующие и поныне одноклассные сельские школы. «В классной комнате... помещались и пригoтовишки, и читающие по складам, и латинисты, и большие и маленькие девочки — они сидели, как на ярусах в оранжерее или в древнеримском театре, от пола вверх до самой стены, — тут и ректор, и учитель пения, тут и неизбежный крик, гул, громкое чтение и драки». Ректор Вернер, тщеславный человек, «от природы красноречивый... но неглубокий», учил молодого Рихтера древним языкам (то есть всему, что могла дать школа), причем по методу, который он выдавал за собственное изобретение, но который Жан-Поль

называет базедовым методом, что несправедливо по отношению к филантропу Базедову.

Этот заслуженный гамбургский педагог, за два года до шварценбахского периода Жан-Поля прославившийся как основатель филантропического заведения («мастерской человеколюбия») в Дессау, разработал, основываясь на Коменском, и по сей день плодотворный метод изучения иностранных языков посредством их практического применения. Когда он в 1776 году проводил публичный экзамен, на который поспешили явиться все крупные педагоги Германии (напуганные еще и тем, что с помощью гравюры на меди он объяснил детям процесс рождения человека), он и урок рисования провел по-латыни. Получив по-латыни задание нарисовать на доске льва, учитель нарисовал сперва клюв, на что дети закричали: «Non est leo! Leo non habet rostrum!» («Это не лев! У льва нет клюва!»)

Метод ректора Вернера («который часто, воспламеняясь собственной речью, хвалил себя так, что сам поражался своему величию») похож на этот прогрессивный метод лишь тем, что он тоже без проволочек разделяется с введением в грамматику. Затем он сразу же, совсем не по-базедовски, переходит к трудному чтению какого-нибудь римского классика. Таким образом, нагруженному одним лишь хламом латинских правил Фрицу Рихтеру приходится сразу читать Корнелиуса Непота, по-гречески — Новый завет и через год по-древнееврейски — Первую книгу Моисееву.

Как ни удивительно, это удастся. Мальчик жаждет знаний (ему, правда, ничего другого, кроме как учиться, и делать нечего, потому что отец по непонятным причинам почти не выпускает его из дому), не знает устали и своими успехами подтверждает учителю правильность неверного метода.

Вскоре он уже устно переводит Новый и Ветхий завет на латынь, причем так бегло, что учитель не только не может его поправлять, но с трудом поспевает за ним. Его так захватывает «возня с древнееврейским языком и мелочным разбором», что он собирает «из всех шварценбахских уголков древнееврейские грамматики». Затем он сшивает себе книгу в четверть листа, берется за Первую книгу Моисееву и по поводу первого ее слова — «В начале», — по поводу его шести букв и повторяющейся гласной, заносит туда целыми страницами из всех заимствованных грамматик множество

наставлений; их так много, что на этом «начале» (он хотел продолжать таким образом от главы к главе) все и кончается. В самом деле, странное занятие для ребенка; потом он в шуточной форме припишет его своему герою Квинту Фиксляйну (тот будет заниматься отысканием неверно напечатанных древнееврейских букв) — он, как и Вуц, взрослым кажется более ребячливым, нежели сам писатель был в детстве.

Но важнее, чем эта школа и следующая школа и даже университет, было для юноши знакомство с двумя людьми, которые на долгое время станут для него наставниками. Это два молодых теолога, стоящие в оппозиции к ортодоксальному церковному учению, сторонники гетеродоксии, как называют рационалистическую теологию Просвещения. То, что отец допускает их влияние, вызвано, пожалуй, не столько его терпимостью, сколько начинающейся резиньацией.

Капеллан Иоганн Самуэль Фёлькель распознал чрезвычайную одаренность мальчика, который не отрывается от занятий, когда тот приходит в гости к Рихтерам. Он просит разрешения давать ему дополнительные уроки и жертвует ради этого своим ежедневным послеобеденным отдыхом. Преподавание географии у него сводится к заданиям рисовать по памяти географические карты, зато уроки теологии не только развивают литературный стиль ребенка, но направляют его мышление на путь, которому он всегда будет верен, — на путь к Просвещению.

Начинается это довольно безобидно с уже покрывшихся пылью «Первых основ всемирной мудрости». Автор, профессор Готшед, литературный вождь тридцатых годов и провозвестник новой немецкой буржуазной драмы (позднее подвергавшийся многим издевкам), из Лейпцига распространял и свои опирающиеся на Вольфа теории об основанном на разуме христианстве, постоянно заботясь о том, как бы не столкнуться с догматиками. «При всей пустоте и сухости» они новизной своей действовали на воспитанного в ортодоксии юношу «как живительная вода». Но по-настоящему загорается он, когда начинает изучать новейших гетеродоксов, из которых он в автобиографии потом назовет Нёссельта и Иерузалема.

Иоганн Август Нёссельт, профессор в Галле, был человеком прямым. «Плоды духа растут лишь на почве свободы», — внушал он позднее, правда безуспешно, Фридриху Вильгельму II Прусскому, когда

тот ограничил свободу обучения в университетах. Несколькими годами ранее Лессинг сказал о Нёссельте, что он «все-таки являет собой тип теолога, каким ему надлежит быть», имея, вероятно, в виду не только его твердые убеждения, но и научные достижения, сказавшиеся прежде всего в критике догмы. По различным поводам он упрекал прусскую государственную власть в том, что она стремится внедрять благочестие за счет правды. Он называл это благочестивым обманом, который пробуждает подозрительность и ненависть к любой религии. «Власть не может предписывать, как следует... понимать сочинение — так или этак», даже библия «всего лишь предмет для научного исследования».

Аббат Иерузалем (отец юриста Иерузалема, который покончил с собой в Вецларе и тем самым стал прообразом гётевского Вертера) вряд ли высказывался так четко. Сперва он был воспитателем принца в Брауншвейге, и, возможно, именно его имел в виду Жан-Поль, когда написал фразу: «Иногда я думал: если что хорошее и выросло в больших дворянских семьях, то лишь благодаря домашнему учителю из бюргерских кругов». Позднее Иерузалем стал придворным проповедником и вел себя соответственно, то есть осторожно. Тем не менее есть доля правды в восхвалявшей его эпитафии: «Им заложен первый фундамент Просвещения». Он достиг этого, кроме всего прочего, тем, что отрицал теорию первородного греха, — теорию, которая сделала церковь необходимой человеку: тому, кто в мир приходит отягощенный первородным грехом, только церковь может помочь достичь лучшего мира. Такое оскорбление человеческого достоинства было, разумеется, ненавистно бюргерскому оптимизму. Пессимизм первородного греха противоречил вере в способности человека совершенствоваться. Наследственный моральный порок не подходил буржуазному образу мыслей, который полагал своей основой «добродетель», обильно поливая ее слезами почитания. Преизбыточный культ добродетели исторгает много слез и у Жан-Поля — слез радости и умиления по поводу того, что бюргер освободился от первородного греха (и не заразился придворными пороками).

Фриц Рихтер познакомился тогда и с другим теологом — это одно из самых важных знакомств в его жизни. Эрхард Фридрих Фогель был пастором в деревне Рехау, неподалеку от Шварценбаха. Его чрезвычайно интересовали духовные течения времени. Его библиотека содержала старую и новую литературу по многим областям знания. Во

время конфирмации у него читают не библию и сборники псалмов, а немецкие стихи. Самым веселым из всех проповедников называл Жан-Поль этого человека с длинным носом и лукавыми глазами, который вначале был его советчиком, исполненным сознания педагогического долга, затем стал другом и почитателем. Пастор Фогель окончательно отвратил юношу от отцовской ортодоксии, главным образом тем, что одалживал ему книги — целыми стопками в течение многих лет. «Ваша библиотека — это моя академия, и у всех ваших книг я могу слушать курсы лекций, вдобавок бесплатно».

Так начался у Жан-Поля период чтения и писания — сперва, конечно, переписывания. Он педантично заносит в список прочитанных книг каждое название. Он переписывает отрывки, кажущиеся ему важными. Три толстых тома, которые заполняются в Шварценбахе, — лишь скромное начало. Он читает книги по всем областям знания, читает без плана и системы, но больше всего — теологические книги просветителей, много философии, немного поэзии. Запертый в стенах дома, мальчик живет только книгами. Чтение заменяет ему жизнь. Сорока пяти лет, которые ему остается жить, не хватит, чтобы переварить всю эту массу учености. Снова и снова поддается он искушению втиснуть, пусть и не к месту, в свои книги накопленные знания, дабы труды не пропали.

На первых порах все это приводит к одному: он отчуждается от отца. «Я мучил своего бедного отца и перестал любить его». Иначе и быть не могло. Шестнадцатилетний юноша давно перерос отца.

Но до полного разрыва дело не доходит. В феврале 1779 года Фридрих Рихтер поступает в гимназию в Гофе. Два месяца спустя отец умирает. Он оставляет после себя долги, вдову и пятерых малолетних сыновей.

6

ФИЛОСОФИЯ И ЛЮБОВЬ

Первый урок французского начинается взрывом бешенства мосье Жанико. В прошлом мастер по гобеленам, он с помощью одного-единственного учебника обучает гимназистов своему плохому французскому языку, обрушивается с руганью на невиннейшего из всех учеников первого класса, а именно на новичка Фридриха Рихтера, а тот

стоит перед ним в нелепой деревенской одежде и не знает, какой проступок он совершил. Лишь когда учитель с криком покидает класс и мальчишки раздражаются глумливым хохотом, он понимает, в чем дело.

Один из его соучеников (его звали Райнгартом), которому он по неведению доверился, ибо мимолетно, через родителей, был с ним знаком, внушил ему, что по обычаю новичок в начале урока должен выйти вперед и поцеловать руку учителю. Поскольку этот обычай у них дома еще в ходу, он поверил, поцеловал руку и навлек на себя гнев бездарного учителя, усмотревшего в этом дерзость.

Так встречает его город Гоф и так — с насмешкой и непониманием — будет относиться к нему и позднее. А он будет мстить сатирой. Гоф войдет в его сочинения под названиями Кушнаппель, Кревинкель и Флаксенфинген^[19], но этим он едва ли заденет филистеров. В 1813 году он записывает: «Каким смешным я кажусь себе, когда наталкиваюсь в своих прежних книгах на колкости, которые я отпускал в надежде как-то задеть Гоф! Ведь до настоящей минуты он, вероятно, и не прочитал этого».

Успехи, возвышающие молодого Рихтера, в глазах обывателей лишь унижали его. Так, во время учебного диспута, который должен был научить учеников защищать церковные догмы от нападок, ему досталась роль оппонента, и, с целой библиотекой гетеродоксальных сочинений в голове, он сыграл ее так хорошо, что доказал всю несостоятельность ортодоксального вероучения, если бы перепуганный заместитель ректора не прервал занятия. Но жители Гофа с этого дня поняли, что в облике сына шварценбахского пастора к ним в город заявился атеист.

Спустя полтора года он напишет в своем первом (оригинальном лишь своей орфографией) романе: «Учителя — ну и люди!.. Они держат свой ум впроголодь, а сердце их вянет... Никто из них мне не по душе. А ученики! О них можно сказать и того меньше. Я надеялся найти в них много хорошего, но они упали в моих глазах. Они слепки со своих учителей. А уж если оригинал плох, не станет ли копия вовсе несносной?.. Меня травят, ибо я чужак. Я доверчив, поэтому меня считают простаком, поэтому меня часто обманывают... Я влачу свое существование среди этих людей. Боюсь, что стану похожим на них и непохожим на себя».

Опасение безосновательное. Приспосабливаться он не умеет. И это неумение оборачивается у него гордыней. С детства он знает, что отличается от других, что глубже чувствует, острее думает, больше читал, больше от себя требует. Достаточно ему было несколько недель походить в гимназию, чтобы доказать учителям и ученикам свое духовное превосходство. Он уже видит, какие перед ним открываются перспективы (покуда иллюзорные). Реши он приспособиться к ограниченному, духовно отсталому провинциальному окружению, ему пришлось бы убить в себе самое ценное, порвать все внутренние взаимосвязи, потерять свое лицо. «Единственного разумного сумасшедшие повели бы в сумасшедший дом», — напишет он немного позже, преисполненный чувства собственного достоинства. Никогда не стал бы он лизоблюдством добиваться должности, воя с волками по-волчьи, — ведь тогда ему пришлось бы и разбойничать с ними. «И вообще я считаю, что постоянно, при всех действиях, оглядываться на чужое мнение — значит отравить свой покой, свой разум и свою добродетель. Я долго перепиливал эту рабскую цепь». Для молодого чужака, который так хорошо знает, что он все знает лучше всех, есть один путь: заставить отсталое окружение, приспособиться к которому он не может, приспособиться к нему. И он уже знает, что достигнет этого посредством слова.

Он начинает выступать в школе с публичными речами. И хотя эти речи весьма близки консервативному духу школы, ректор Кирш, его первый цензор, все-таки находит в них кое-что, что необходимо вычеркнуть (например, ссылки на Лессинга), ибо оно может напугать местную знать. Тем не менее молодой ученый не изменяет себе полностью. Когда в городе празднуют день рождения матери правящего маркграфа, оратор — ему шестнадцать с половиной лет — просвещает торжественное собрание речью «О пользе раннего изучения философии». Он основательно разбивает все контраргументы (что-де философия вредна, потому что «отвлекает от изучения языков, забивает голову бесплодными мечтаниями и раздумьями истощает организм»), предостерегает, как и положено немецкому гимназисту, от всезнайства, гордыни, дерзости и страсти к реформам — и в той же фразе опровергает это, утверждая необходимость скепсиса по отношению к традиционному. Но в заключение он пытается гофских суконщиков, парикмахеров и помещиков, в чьих глазах выглядит глупцом, обратить

в свою глупую веру, легкомысленно и беспочвенно обещая, что философия даст им единственное, что могло бы их заинтересовать, если бы они поверили ему, — выгоду. «И если допустить, что найдется человек, кому познание истины не доставит наслаждения, в чьем замороженном сердце не тлеет ни единой искорки правдолюбия, если допустить, что он останется безразличным ко всему этому, то собственная выгода заставит его заняться философией — наидостойнейшей из всех наук».

Этой наидостойнейшей науке (которой он, правда, не отдаст, как сперва казалось, свою жизнь, но которой всю жизнь останется верен) он посвящает и вторую школьную речь. Теперь он поучает слушателей, к которым обращается по всем правилам иерархии, в соответствии с их положением, как к «высокочтимейшим, высокочтимым и почитаемым присутствующим», «О пользе и вреде изобретения новых истин». Снова он осторожен в выражении собственного мнения, бьет поклоны перед школьной дисциплиной и строгим надзором консистории, но все же более определенно высказывает то, что действительно думает. Хотя, как учат в школе, «все эти Вольтеры, Юмы, Ламетри и иже с ними» принесли пользу лишь тем, что дали подлинным мыслителям повод к превосходной защите религии, но, с другой стороны, заслуживают осуждения и те люди, которые считают неопровержимым все, что они получили от прародителей. «Если бы все так думали, не находились ли бы мы и теперь еще на том же уровне знаний, что Ной и его сыновья?.. Если теология — наука, то она способна к обновлению». Это гетеродоксия чистой воды. Но это и его последнее выступление в школе — речь при вручении аттестата зрелости в октябре 1780 года.

Характерно, что в тот же день юный философ заносит на бумагу следующее излияние души: «Ах, эти несколько строк вызвали у меня слезы, у меня, у которого так мало радостей — откуда им быть? — и который скоро должен лишиться и их. Когда я, может быть, уеду, смотри по ночам на дорожки в саду, когда луна озарит их, и вспоминай о том, как дружеская слеза катилась с глаз, как мы обращали взоры поверх светлой воды — обращали взор к Всевышнему. Ах! Дни детства прошли... лейтесь же, слезы...»

Это отрывок из первого из более пяти тысяч сохранившихся (частично, правда, лишь в виде черновиков) писем, составивших в полном собрании сочинений девять томов. Адресована эта жалоба

самому близкому другу тех лет, Адаму Лоренцу фон Эртелю. С такой сентиментальностью — она еще не нашла самостоятельной формы и пока подражает знаменитым образцам (словно для того, чтобы показать это, письмо заканчивается ссылкой на «Сентиментальное путешествие» Стерна) — реагирует юноша на каждодневное непонимание обывателей.

Когда он ребенком по два часа шагал из Йодица в Гоф, чтобы принести от бабушки и дедушки «мясо, и кофе, и все, чего в деревне не было вовсе или было, но не по той исключительно дешевой цене, что в городе», городок казался ему самым чудесным и волнующим из всего, что только можно себе представить. Теперь же он сам живет в городе и ощущает всю тупость, мелочность и скуку его обитателей.

«Обыватель, — пишет его современник Й.-А. Миндер в „Письмах о Гамбурге“, — кружит, довольный собой, по ограниченной орбите, один день похож на другой, ничто не соблазняет его выкинуть что-нибудь необычное, и он воображает, что живет так благочестиво, добропорядочно и богобоязненно, как, по его мнению, только можно требовать... (Он) не испытывает сомнений в религии, ему не вредит чтение вольнодумных книг, ему и случая такого не представляется, ничего подобного он не слышит и от окружающих, он верит спокойно и безмятежно тому, что преподносят ему его проповедник и душеспасительные книги». Можно было бы добавить: терпимость — не его добродетель, и каждый порыв свободного духа он встречает с недоверием. «Все, что поднимает человека над бюргером, наталкивается вокруг меня на всеобщий холод», — так скажет об этом несколькими годами позднее Жан-Поль в письме к Карлу Филиппу Морицу.

Теплоту, понимание, одухотворенность он находит в нежном, душевном друге. Он ровесник Жан-Поля. Но его дворянское звание моложе его возраста. Лишь в 1774 году, одиннадцати лет от роду, он получил к своей бюргерской фамилии приставку «фон», когда его отец Эртель, известный как жестокосердный и скаредный коммерсант, купил имения Тёпен, Гогендорф и Тифендорф вместе с дворянством и титулом камеррата. Поскольку вечно прихварывающий и влюбленный в природу и искусство сын мало годится на роль дельца, его, по собственному настоянию, отправляют в Гоф в гимназию. В то время как Рихтер живет у дедушки с бабушкой, новоявленный дворянский сын

обитает в романтически расположенном на берегу Заале доме с садом. По рассказам другого соученика, Кристиана Отто, там во время восторженных бесед, с пением и музицированием, «вертеризировали, зигвартизировали и упивались мучительно сладостной и почитаемой сентиментальностью». Из дома открывается широкий вид на пойму реки и пригородные островки, и, если лунной ночью спуститься вниз к Заале, оттесненная вглубь жажда плотской любви превращается в любовь к природе и жажду смерти.

Эртель к тому же запутался в любовной истории, документы которой (четыре найденных в наследии Жан-Поля письма) читаются как конспект бульварного романа. Дочь обедневшего амтмана, чье дворянство весьма сомнительно, Беата фон Шпангенберг из соседнего поместья Венска, позволяет Эртелю — он на год моложе ее — засыпать ее клятвами в любви, отвечает (не очень разбираясь в разнице между дательным и винительным падежами) сдержанно, но благосклонно, высказывает серьезные, по-видимому обоснованные, сомнения, даст ли старый Эртель согласие на брак, строго предписывает тон писем, которому надлежит быть спокойным, чтобы их можно было показать матери, присылает домашнего учителя образумить пламенного юношу — и в конце концов выходит замуж, исполняя желание матери, за хорошо обеспеченного бюргера.

«Что за мир без Вас, — пишет Эртель горячо любимой, когда та дает ему еще смутную надежду или, точнее, не говорит ни да, ни нет, — как безрадостно печальна моя жизнь без Вас! Если когда-нибудь судьба, или тирания, или смерть отнимут Вас у меня, тогда и я скоро явлюсь, Предвечный, пред твоим престолом, тогда твое творение, твое дитя поспешит в твои отчьи объятия, чтобы обрести покой там, где все обретает покой, где не властвуют предрассудки, где пред лицом праведников и ангелов я снова обниму Вас, мою подругу. Я Ваш, и я останусь им, даже если Вас и вынудят достаться другому. До тех пор пока в этих жилах течет хоть капля крови, до тех пор пока в этом теле жив хоть один нерв и эта грудь вздымается, до тех пор все мои мысли с Вами».

А Рихтер, посвященный во все эти страдания, и думать не думает о девушках, потому что «занят», как он непривычно кратко замечает. Он подарил свое сердце книгам, и когда вскоре после окончания гимназии он пишет свой первый любовный роман, подчеркнув, что он «для

Эртеля», то сердечные излияния этих страниц лишены и тени собственного переживания, здесь только наблюдения над другом и опыт, извлеченный из книг.

7

СТРАДАНИЯ ЗИГВАРТА

В 1774 году появился гётевский «Вертер» и начал свое триумфальное шествие по Германии и другим европейским странам. Он не только вызывал у многих восторг, а у некоторых отвращение, но и долгое время оказывал влияние на бюргерский стиль жизни тех лет. Люди чувствовали и думали, как Вертер, писали письма в его стиле, одевались по моде а-ля Вертер, паломничали к могиле его прототипа, молодого Иерузалема, а иные отчаявшиеся сердца доходили в своем подражании до того, что кончали с собой на его манер. Пасторы произносили антивертеровские проповеди, берлинский просветитель Николай сочинил пространную, неудачную — потому что неостроумную — пародию, и, как при всяком успехе, тотчас целая армия эпигонов двинулась в поход, чтобы принять участие в литературном триумфальном шествии.

Самым удачливым в этой толпе был Иоганн Мартин Миллер, швабский пастор и профессор теологии, чья поэтическая карьера некогда началась совсем по-другому, то есть лучше. Студентом в Гёттингене он с воодушевлением исповедовал идеи «Бури и натиска». В шляпе, украшенной венком из дубовых листьев, он вместе с Фоссом, Хёльти, братьями Штольберг и другими молодыми поэтами танцевал вокруг священного дерева — немецкого дуба, участвуя в создании «Содружества рощи». Вместе с Бюргером и Бойе он под звон бокалов провозглашал тост за Клопштока и желал смерти аморальному Виланду, но наряду с этим создал прекрасные стихи, близкие народной песне, как, например, еще и сегодня живущее «Зачем мне деньги и блага...»

Немного позже, достигнув чинов и званий, он стал настойчиво добиваться денег и благ, понял, что антифеодальным бунтарством не добьешься ни того, ни другого. И он изменил свой образ мыслей и стиль и стал печь ходкие романы, бледные подражания «Вертеру», беззубые, чувствительные, морализирующие, пошлые и пухлые. Как и

всякий автор, он нашел для своей манеры теоретическое обоснование: он хочет, чтобы его понимали. Результатом миллеровой «вислоухости» называет прямодушный Фосс эти романы, озаглавленные так: «История Готфрида Вальтера, столяра», «История Карла фон Бургхейма и Эмилии фон Розенау», «К истории нежности»; стиль их Гёте называл «бабским, со многими точками и короткими фразами». Но наибольший успех, обеспечивший ему место во всех курсах истории литературы, принес «Зигварт, монастырская история», где герой, чьим именем назван роман, после изрядно запутанного действия в конце концов замерзает на могиле возлюбленной.

Герою юношеского романа Фрица Рихтера «Абеляр и Элоиза» это не удастся. «Я упал на землю, на ее могилу — взвесил все, — и решил умереть, дав хладному духу ночи убить меня. Я бросился в снег. О! Как холодно вокруг! И как все во мне горит! Я хотел медленно уснуть и во сне замерзнуть». Но это кажется ему слишком долгим, и он, как Вертер, второй крестный отец этого небольшого романа, хватается за пистолет. «Ах! Смертоносное оружие! Размозжи эту голову...»

Не все столь произвольно комично в этом «романишке», но для развития писателя он не имеет большого значения. В стиле нет еще ничего жан-полевого, невелико и автобиографическое содержание. Помимо уже цитированного места об учителе и гимназисте, есть еще несколько несущественных подробностей, взятых как будто из жизни Рихтера или Эртеля, в остальном же копируется не жизнь, а литература, причем в некоторых местах столь точно, что позволительно говорить о плагиате. Если у Гёте сказано: «Мой час еще не настал, я это чувствую», то у Рихтера читаем: «Мой час еще не мог настать. Я буду ждать». Если Вертер пишет возлюбленной: «Решено, Лотта, я хочу умереть, и я пишу тебе это без романтического преувеличения», то Абеляр пишет другу: «Благодарение Богу! Это решено. Я хочу умереть, Вильгельм... Без преувеличения, пусть выстрел...» и так далее. И если в «Зигварте» мертвая возлюбленная должна спуститься на вечернем облачке, чтоб утешить героя, то того же ждут от мертвой Элоизы «на белом облачке».

Своеобразие, которого можно ожидать и от начинающего, здесь состоит лишь в смешении двух литературных образцов и... в своевольной орфографии (от которой Жан-Поль отвыкнет, только достигнув вершины своего творчества).

Напечатано это произведение лишь в нашем веке. Восемнадцатилетний автор не думал о публикации, скорее считал его длинным письмом к другу. Оно написано в январе 1781 года, после окончания гимназии и до поступления в университет, в так называемое время мулуса (когда человек, подобно мулу — по латыни «mulus» — ни лошадь, ни осел, — ни школьник, ни студент). Это время он проводит у матери и братьев в Шварценбахе, проводит с пользой — читает, делает выписки, пишет. Свои порожденные чтением сочинения, преимущественно философского и теологического содержания, он называет «Упражнениями в мышлении». «О любви» он примется письменно размышлять лишь полгода спустя. В сочинении, которое он первоначально написал в форме письма к другу (Эртелю, разумеется) и в котором он со старческой мудростью именует любовь сумасбродством, приносящим наслаждение, содержатся характерные слова: «Ты ее чувствуешь, я о ней думаю» — и просьба не считать его «холодным из-за того, что он не пылает страстью к какой-нибудь возлюбленной».

Да и где ему взять время для любви? Библиотека пастора Фогеля еще далеко не исчерпана, а с тех пор, как он сам начал писать, время стало еще дороже. К тому же он еще в самом начале своего пути. И очень хорошо это знает. Слово «упражнения» в названии первого сборника статей употреблено всерьез. Это четко выражено в предисловии, озаглавленном «Предуведомление»: «Эти опыты — лишь для меня. Они не предназначены для того, чтобы научить чему-нибудь новому других. Я упражняюсь, чтобы когда-нибудь самому научиться. Они не конечная цель, а только средство: не новые истины, а путь к их открытию».

Ничто так не говорит о серьезности его усилий, как понимание собственной незрелости. Так, уже через семь месяцев после окончания своего неудавшегося романа у него сложилось твердое мнение — и он, разумеется, записывает его: «Весь этот романишко сделан без плана, нет завязки, он зауряден и неинтересен. О характерах не скажешь, что они выписаны плохо, — они не выписаны вовсе...

Вдобавок все чрезмерно преувеличено... Много не вызывает никаких чувств — именно потому, что чересчур чувствительно. Да и неправдоподобно. Очень уж это плоско — обесчестить человека и заставить его умереть из страха, и еще более плоско — другого сделать

самоубийцей. Язык не гетеанский, но безуспешно пытается подражать ему».

Самокритично настроенному автору придется еще десять лет изучать жизнь, чтобы вернуться к прозе. Зато потом сразу родится шедевр.

8

КАВАЛЕРИЙСКАЯ ВЫЛАЗКА И РУБИЩЕ ГОЛОДНОГО

Ранним росистым утром будущий студент стоял у дверей дома, готовый оседлать коня и отправиться в путь — в праздничном сюртуке, круглой шляпе, с хлыстом в руках и детскими слезами на глазах. Шварценбах знал о его первой в жизни поездке верхом и был начеку. Старая сивая кляча стояла у конюшни. Фрицу предстояло взобраться на нее.

Еще накануне он затвердил, что должен взбираться слева. Но теперь не знал, как сесть в седло, чтобы и лицо всадника и голова лошади оказались впереди. И он вскочил справа, выпрямился, расправил полы сюртука, сунул ноги в стремяна и взял в руки поводья. Теперь можно проститься и тронуться в путь.

Но кляча ни с места. Удары хлыстом для нее что удары конским волосом. Шлепки матери она принимает за ласку. Тогда один из братьев бьет ее черенком вил по задку. Это заставляет ее двинуться вперед до ручья, где она снова останавливается. Фриц изо всех сил работает поводьями и дает шенкеля, а городок покатывается со смеху.

Это вольный, переведенный в биографический план пересказ начала главы из «Озорных лет». В действительности эта «Кавалерийская вылазка» (так названа глава) будет совершена весной 1781 года — тогда впервые мулус Рихтер выедет за пределы узкого круга Гофа, в Байройт (его местожительство в поздние годы), где всякий, кто желает учиться не в университете земли Эрланген, а за границей, должен сдать экзамен консистории. Согласно феодальным обычаям (позволяющим, например, гимназистам носить шпагу), путь туда полагается проделать верхом. Характерно для Жан-Поля, который до конца дней своих сознательно будет вести бюргерский образ жизни, что никогда после этого он не сядет на лошадь. Он станет занятым пешеходом. И никогда не станет жаловаться на трудности длительных

переходов, зато будет сетовать на утомительность поездок в почтовых каретах.

Мощеных улиц почти еще нет; нет, разумеется, и резиновых шин. Лошади с трудом тащатся по глубокому песку, размокшей глине, по камням. Чаше всего так медленно, что можно выйти из кареты и шагать рядом. На почтовых станциях приходится ждать часами, потому что здесь кормят и поят или меняют лошадей. У почтовых повозок еще нет рессор. Они предназначены больше для перевозки грузов, чем пассажиров. Путешественник сидит, зажатый посылками, мешками с почтой, бочками с селедкой и пивом, и во время многодневной поездки не может вытянуть ноги. Крыша, правда, защищает от дождя, но не от пыли, жары и холода. Поэтому состоятельные люди ездят в каретах экстренной почты или наемных экипажах.

Но ни о том, ни о другом, конечно, не может быть и речи, когда 19 мая 1781 года студент Рихтер вместе с Эртелем отправляются на учебу за границу — в Лейпциг. Он беден, что подтверждает даже письменное удостоверение. За четыре дня до отъезда из Гофа ректор Кирш выписал ему на наилучшей школьной латыни *Testimonium paupertatis*, свидетельство о бедности, и не поскупился ни на похвалы, ни на обстоятельность: «Поскольку бедность никоим образом не порочит того, кто жаждет богатства добродетели, превосходному юноше И. П. Фр. Рихтеру, сыну бывшего шварценбахского пастора, бедному, даже беднейшему человеку, воистину незачем краснеть, получая сие свидетельство. Несколько лет тому назад смерть унесла его отца, и, не будь грехом порицать волю божью, можно было бы пожалеть, что именно он, а не кто-либо другой потерял отца, чьи надежды, живи тот долго, сын непременно оправдал бы. Ибо сей юноша горит столь страстной жаждой учения, что ручаемся: всякий, кто захочет проверить познания Рихтера, с удовольствием удостоверится в том, что оный не токмо в языках, но преимущественно в философии для своего возраста чрезвычайно преуспел. Так что он в высшей степени достоин быть горячо рекомендован каждому, кто сие читает, в особенности высокочтимым профессорами знаменитого Лейпцигского университета. И все оказанные ему благодеяния, он, несомненно, не только с благодарностью оценит, но и, если счастье когда-нибудь станет к нему благосклоннее, достойно их вознаградит».

Это крайне важный документ, он-то и дал возможность «бедному, даже беднейшему» вообще учиться. Правда, предъявитель документа не получает ни стипендии, ни бесплатного стола, зато он избавляется от платы за зачисление в университет и за обучение, которая с других взыскивается беспощадно. Таким образом, те несколько рейхсталеров, которые присылает ему мать, он может расходовать на квартиру и еду. Его комната в доме «У трех роз», Петерштрассе, 2, которую на время ярмарки приходится освобождать, потому что тогда ее можно сдать дороже, стоит 16 талеров, за обед он платит 18 пфеннигов, о покупке книг или одежды не думает вовсе. Тем не менее денег никогда не хватает, даже когда Эртель, живущий рядом у того же хозяина, приходит на помощь — вопреки воле отца-нувориша, постоянно напоминающего сыну, чтобы тот не давал денег в долг, в особенности несносному Рихтеру.

В первые месяцы мать довольно регулярно присылает понемногу денег, а затем начинаются годы голода и долгов. Во всех письмах домой он говорит о безденежье, иной раз весьма бессердечно, не считаясь с положением матери, которая должна заботиться не только о деньгах, но и о трудных младших сыновьях.

«На днях я писал Вам о деньгах, к тому времени я уже много задолжал; сейчас у меня денег все еще нет и я продолжаю залезать в долги. Чего же мне ждать наконец? Будьте так добры и дайте совет. Я ведь должен есть и не могу беспрестанно брать в долг у трактирщика. Я должен топить печь; но где мне взять дров — без денег? Не замерзать же мне. О здоровье своем я вообще не могу позаботиться: ни утром, ни вечером я не ем горячего. Я просил Вас прислать 20 сакс. рхт^[20], давно уже просил; если я получу их, то едва смогу уплатить то, что уже задолжал. Не думайте, что я зря стал бы просить у Вас денег — для расточительства. Я знаю, как Вы сами сейчас нуждаетесь. Но помогите мне только сейчас... я действительно не знаю, что мне делать, если Вы не пришлете денег или заставите меня долго ждать... Я надеюсь получить с первой почтой ответ и деньги — ибо, повторяю, я действительно не знаю, что делать».

Но постоянно прихварывающей сорокачетырехлетней вдове пастора Софи Розине Рихтер едва хватает денег, чтобы перебиваться вместе с четырьмя младшими сыновьями. Пока жив был ее отец, гофский суконщик и торговец Иоганн Кун, она всегда могла

перехватить у него несколько талеров. Но в прошлом году он умер. Правда, он завещал ей дом на гофской Клостергассе, но ее зять Ридель, судебный адвокат и ювелир, опротестовал завещание, и тянувшийся до смерти Риделя процесс почти полностью съел наследство. К тому же она выплачивает долги мужа.

Вдобавок ей предложили освободить квартиру в Шварценбахе, и она должна переселиться в Гоф, в оспариваемый дом. И она тоже влезает в долги, чтобы освободить от долгов старшего сына в Лейпциге, что ей, однако, никогда не удастся. Эта хрупкая женщина со времени замужества всегда терпит нужду, то большую, то меньшую, и до конца дней своих зарабатывает прядением, но этот приработок не может помочь большой семье. После ее смерти сын, ставший тем временем знаменитым, нашел в ее скудном наследии тетрадку, в которой она записывала гроши, заработанные за прялкой. «Что я напярля» — стоит на обложке.

Во всех мыслях Рихтера, во всем, что он пишет в эти годы, о бедности говорится мало. Но именно бедность — та почва, на которой вырастает все, что он пишет, на которой растет и он сам. И если в более поздние годы она станет объектом его изображения, то теперь она определяет личность будущего писателя, его восприятие и творчество. Когда он восторгается лучшим — по словам Лейбница — из миров, в котором всякое мучение есть только предпосылка сущих радостей, или прячется за стоическими понятиями о добродетели, чтобы обрести возможность считать ничтожным реальный мир, где ничто ему не принадлежит, то это лишь попытка скрыть одухотворенностью рубище голодного, отделяющее его от блеска и роскоши большого города. А насмешки, что он скоро обрушит на общество, которое выбросило его, неимущего, на задворки, — это броня, надетая им для защиты чувствительной души. Эпиграфом к своему неудачному роману он взял фразу: «Тот, кто чувствителен, слишком хорош для этой земли, населенной холодными насмешниками...» Теперь же чувствительный хочет побить насмешников их собственным оружием.

Другой человек в столь безнадежном положении искал бы быстрого пути к доходному месту. А он и не думает отклониться от своей дороги. «Голодал я, — скажет он позднее Генриху Фоссу, — жестоко-прежестоко, но никогда не терял мужества... Я знал, все должно устроиться, и все устроилось».

Все должно устроиться, потому что он точно знает, чего хочет: писать книги. Но вот какие — это еще неясно. Скорее всего, философские, кажется ему. Однако, чем больше жизнь в городе обнажает перед ним социальный строй и его собственное место в нем, тем сильнее желание изобразить жизнь общества.

9

СРЕДСТВО

Пятнадцатью годами раньше мулус Гёте отправился в университет в Лейпциг, но не в почтовой повозке, а в наемной карете, которая, правда, тоже не застрахована от того, чтобы застрять на плохих дорогах Тюрингии. У него в кармане крупный вексель отца, он снял не студенческую каморку, а «несколько приличных комнат» и, как только убедился, что его богатая, но старомодная одежда не соответствует элегантному Лейпцигу, купил все новое; рекомендательные письма сразу открыли ему доступ (и обеспечили обеды) в лучшее общество, к которому в Лейпциге принадлежали и профессора. Город с его «красивыми, высокими и ровными домами» показался ему современным и импозантным, и он сразу почувствовал себя как дома. Девушки интересовали его больше, чем науки; изучал он, собственно, не юриспруденцию, а жизнь.

А Фридрих Рихтер тоскует по дому. Большой город (насчитывающий около 30 000 жителей, то есть отнюдь не большой в сегодняшнем смысле слова) вначале удручает его. Высокие дома и длинные улицы кажутся ему не современными, а однообразными, окрестности — унылыми: нет ни холмов, ни долин. Он здесь только половиной души, «другую часть я оставил в своем возлюбленном отечестве». Даже простые люди, среди которых он всегда хорошо себя чувствовал, здесь не такие, как на его родине: «они такие вежливые, такие лощеные». Здесь зарождается и на всю жизнь утверждается уверенность, что приветливость, доброта, человеколюбие прописаны только в деревне и небольших городках.

Хотя стиль его жизни, жизни за рабочим столом, почти не меняется, это время для него чрезвычайно важно. Задворки богатого торгового города особенно подчеркивают убожество его собственного

существования. Понять собственное положение — значит обрести социальное сознание.

Чувство неполноценности, которое возникает в нем, он пытается уравновесить презрением ко всему окружающему. Профессора — дураки или шарлатаны, студенты — подхалимы, льстецы, карьеристы. Особенно ненавистны ему — ему, вынужденному выпрашивать у матери второй галстук и носовые платки, — элегантные щеголи. «Мода здесь — тиран, перед которым все преклоняются... Щеголи заполняют улицы, в хорошую погоду они порхают, как мотыльки. Один похож на другого; они подобны куклам в театре марионеток, и ни у кого не хватает духу быть самим собой. Светский господинчик носится из будуара в будуар, из ассамблеи в ассамблею, всюду подхватывает пару глупостей, смеется или плачет, приноравливаясь к собеседнику, пичкает один салон пакостью, подобранной в другом, и тешит свою плоть едой, а дух ничегонеделаньем, пока, утомленный, не засыпает. Кого бедность не заставляет быть умным, тот в Лейпциге превращается в вышеописанного мною дурака. Таково большинство богатых студентов».

Если верить его письмам, он один из немногих студентов, кто стремится к знаниям. Однако он, как мало кто, вынужден думать о хлебе насущном, и эти заботы кажутся ему заслуживающими всяческого презрения. «Но ведь именно этим ты зарабатываешь свой хлеб» — хуже этого ничего не скажешь, пишет он в начале своего учения, но и десять лет спустя он говорит о своей неукротимой ненависти ко всяким «наукам ради заработка» и о том, что он «был и будет против всяких должностей». Его девиз: «Полностью жить во имя науки, жертвовать ради нее всеми силами, всеми удовольствиями, всем временем».

В его письмах все чаще идет разговор о гордости. Чем больше приходится выпрашивать и льстить, тем невыносимее это становится для него. «Вдобавок Бог отказал мне в четырех ногах, с помощью которых можно было бы, ползая на коленях, удостоиться милостивого взгляда покровителя и нескольких крох от его щедрот. Я не могу быть ни лживым льстецом, ни модным дураком и не могу заполучить друзей гибкостью языка или спины».

Поскольку ученый мир — это мир состоятельный и он терпел бы бедняка только в позе смиренного приспособленца, Рихтер полностью

обособляется, выражая это и внешне — бросающейся в глаза одеждой. Вопреки всем предписаниям высшего света он носит рубашку «à la Гамлет» открытой, так что видна грудь, отказывается от парика с косой, то есть ходит с непокрытыми волосами, что привлекает внимание и вызывает возмущение не столько в Лейпциге с его вольным городским духом, сколько в затхлой атмосфере Гофа. Это все та же, порожденная непризнанием, позиция протеста, что и по сей день постоянно встречается у молодежи.

И сегодня еще многие считают неприличным одеваться и причесываться не так, как все; в восемнадцатом же веке это в еще большей мере было вопросом не столько эстетики, сколько этики. Много веков назад были изданы «Правила сословной одежды», их снова и снова обновляли. И одетый неправильно, то есть не в соответствии с правилами, мог быть, оштрафован. Строго разделенные классы должны были и внешне различаться. Своего рода униформа, указывающая на звание и сословие, должна воспитывать у нижестоящих чувства смиренности и благоговения перед вышестоящим. Крестьянин или ремесленник должен дрожать перед красочным костюмом дворянина, как солдат перед золотыми эполетами и красными отворотами генеральского мундира. Честь отдавалась не человеку, а знакам отличия, символам власти: шляпа важнее головы. Поговорка «По одежке встречают» бытует и поныне не только в том смысле, что внешность обманчива, но и в том, что одежда преобразует человека, что костюм изменяет и сознание, — это отчетливее всего обнаруживают такие крайности, как униформа, маска или официальные мундиры.

Хотя после 1750 года повсюду, в особенности в столицах и торговых городах, перестали строго следовать предписаниям касательно одежды, новые правила все же были изданы, последний раз в 1789 году в Мекленбурге. Однако моральное давление еще долго сохраняло свою силу, особенно в деревне и небольших городках. И хотя тот, кто одевался не соответственно своему положению, уже не считался уголовным преступником, его поведение по-прежнему порицалось как безнравственное. Престиж корпорации, например, все так же требовал соответствующего внешнего вида.

Поэтому понятно, что даже его терпимый друг, пастор Фогель, не возражая против гениально своевольной орфографии Рихтера, все же

протестует против его своеволия в одежде. В свою защиту Рихтер приводит сначала разумные обоснования (что носить открытые рубашки здоровее, что не носить парика — значит экономить деньги и время), но потом называет истинные причины: если общество им недовольно, то еще больше он недоволен обществом, он вынужден плыть против течения, чтобы сохранить в себе то, что считает своим достоинством; ему наплевать на мнение людей, потому что ему не нужны никакие должности, а только угол, где он мог бы работать; подобно Диогену в своей бочке, он хотел бы освободиться от всяких потребностей, чтобы независимость позволяла ему карать пороки власть имущих.

Карать, говорит он. Но для этого нужно могущество, хотя бы только поэтическое. Он уверен, что уже обладает им. В самоуверенности у него нет недостатка. Она средство, чтобы освободиться от душевной зависимости, порожденной бедностью. Без такой уверенности в себе он едва ли был бы способен в тех условиях творить. Когда некий сосед в Лейпциге пожаловался домохозяину Рихтера на неслыханно вызывающую одежду студента, этот студент написал ему: «Вы презираете мое ничтожное имя, но советую Вам запомнить его». А когда мать упомянула, что надеется когда-нибудь увидеть его проповедником в Гофе, он презрительно ответил: «Меня насмешил Ваш благочестивый совет произносить душеспасительные проповеди в госпитальной церкви в Гофе перед старухами и нищими школьниками. Уж не думаете ли Вы, что быть проповедником большая честь? Этой чести может удостоиться любой жалкий студент, а сочинить проповедь можно и во сне... Я не презираю священнослужителей, но я не презираю и льнопрядильщиков, однако стать льнопрядильщиком не хочу».

Но изучает он все-таки — само собой разумеется — теологию; правда, изучает ее так, как Лессинг или как Гёте изучал юриспруденцию, — номинально, между делом. Его теологические интересы все больше и больше вытесняются философскими, помимо того, он по-прежнему испытывает огромную тягу к другим наукам. Наряду с «деяниями апостолов» он слушает курс логики, метафизики, этики, эстетики, английского и тригонометрии, совершенствуется во французском языке. Но числится теологом, и среди них он не единственный, кто голодает. Теология — наука бедняков. Только как

теолог он может надеяться, что его освободят от платы за зачисление в университет и за лекции, предоставят стипендию и бесплатный стол; и только окончив этот курс, он, если будет достаточно прилежен и покладист, может рассчитывать на должность. Для простолюдина теология не наука о божественном, а единственный способ, приобретающий знания, преуспеть в жизни. Феодалное общество накануне гибели, ему нужна целая армия тех, кто деятельно поддерживает его идеологию, и оно вербует их во всех слоях.

Но истинные познания Рихтер по-прежнему черпает из книг. Он почти не покидает студенческую каморку. Он по-прежнему получает книжные посылки из Рехау и сам посылает книги туда, сопровождая их своими комментариями. Он уже больше наставляет пастора Фогеля, чем получает наставления от него. И пастор признает это. «Когда-нибудь у Вас будет больше заслуг передо мной, нежели сейчас у меня перед Вами», — пишет он юноше, давая новую пищу его уверенности в себе. Рихтер посылает ему в благодарность библиографические списки из Лейпцига — города книг. Он внимательно штудировал каталоги книжных ярмарок и отмечает в них важные новинки. «К ярмарке выйдут разные примечательные книги. Кантовская „Критика разума“; она остроумна, свободна и мудра». В одном из писем к Фогелю он признается в «душевном наслаждении», которое доставляет ему наука.

Он и раньше знал, что в университете его по-прежнему будут учить главным образом книги. В «Абеляре и Элоизе» написано: «И вот я наконец здесь, в университете! И что же? Я проедаю деньги, которые мог бы употребить лучше, забываю то, что знал, и изучаю предметы, которые мне ни к чему... То, что мне имеют сказать все эти профессора, я могу лучше — основательнее и с меньшей потерей времени и денег — узнать из книг. Но обучать так начали еще в давние темные времена, когда писали мало книг, и чтобы набраться разума, приходилось слушать. А теперь, коль скоро это стало модой, изменить обычай почитается за грех; у людей есть книги, они слушают профессоров, но дурак так дураком и остается».

Лишь однажды, когда Рихтер учился в Лейпциге, ему показалось, что один профессор смог бы оторвать его от книг. Это был Эрнст Платнер, философ, скорее мастер афоризма, нежели автор системы, превосходный оратор, он захватил его своим обаянием. Платнер — последователь Лейбница, так же как и Жан-Поль в ту пору, и его

опубликованные афоризмы воплощают эту философию «наисочнейшим образом». Его прославленные лекции по эстетике (никогда не напечатанные и известные только по записям одного студента, которые были найдены в начале нынешнего века в лейпцигской букинистической лавке) соответствуют художественным взглядам эпохи и производят на Рихтера сильнейшее впечатление. Платнер утверждал: источник всякого искусства — восприимчивость художника; он требовал от искусства современного политического духа, национального самосознания и социально-критической сатиры. Не удивительно, что он часто — и это особенно привлекает Рихтера — конфликтует с консисторией в Дрездене — духовным ведомством саксонских высших школ. Разумеется, его обвиняют не в самостоятельности мышления, а во враждебном отношении к религии и в материализме — совершенная бессмыслица, по мнению Рихтера. «Но это консистория, и как таковая она имеет наибольшее право благостно совершать глупости и благочестиво творить зло».

К слушателям Платнера принадлежит и Николай Михайлович Карамзин. В «Письмах русского путешественника» он рисует картину всеобщего воодушевления: «Ныне поутру слышал я эстетическую лекцию доктора Платнера... Превеликая зала была наполнена слушателями, так что негде было упасть яблоку. Я должен был остановиться в дверях. Платнер говорил уже на кафедре. Все молчало и слушало... Он говорил... о гении... так свободно, как бы в своем кабинете, и очень приятно... Сказывают, что лейпцигские студенты никого из профессоров так не любят и не почитают, как его. — Когда он сошел с кафедры, то ему, как царю, дали просторную дорогу до самых дверей».

Когда Жан-Поль через несколько лет посетил своего бывшего учителя, он нашел невыносимым его тщеславие и куда привлекательнее — его дочерей. «Повзрослев, мы ищем вокруг головы наших учителей прежнего ореола, но он был порожден не их, а нашими головами». Неизвестно, знакомо ли ему было позднее сочинение Платнера, где тот утверждал, что самой природой обусловлено моральное превосходство женщин над мужчинами. Он нашел бы это сочинение спорным.

Все другие профессора в общем-то Рихтеру безразличны, так же как и, за исключением гофских друзей, остальные студенты, их развлечения, выходки, любовные связи. Он голодает в своей каморке и

пишет, пишет — письма, конспекты и все больше и больше собственные вещи. Ожесточенно пробивается он к цели, которая обретает более четкие очертания.

За четыре года — в Шварценбахе, Гофе и Лейпциге, — с 1778 до 1782, выписками из книг и журналов заполняются двадцать томов, причем он уже не просто переписывает, а составляет дельные примечания, сравнивает и дает оценки. К этому надо добавить «Рабочую книгу» (1780/81), куда наряду с черновиками писем, упражнениями по французскому и математическими задачами занесены и собственные небольшие сочинения: «Дневник моих работ» со всевозможными обрывочными мыслями, два сборника («Упражнения в мышлении» и «Рапсодии») и его первое крупное сатирическое сочинение «Похвала глупости». Вместе с небольшим романом эти ранние произведения одержимого сочинительством юноши (исключая, разумеется, выписки из книг) составляют в полном собрании сочинений довольно внушительный том в 350 страниц.

Бедность его между тем становится все более гнетущей. «У меня нет ни одного не рваного носка, — жалуется он матери. — Мое безденежье столь же велико, как Ваше. Я без конца беру деньги в долг. Без этого не обойтись... Я не прошу у Вас денег, чтобы заплатить трактирщику, которому должен 24 рхт., или домохозяину, которому должен 10 рхт., или другие долги, составляющие более 6 рхт., — на все это я не требую от Вас денег... но Вы не можете мне отказать в следующей помощи: мне нужно еженедельно платить прачке, которая в долг не стирает, мне нужно по утрам пить молоко, мне нужно отдать в починку сапоги, а сапожник тоже не чинит в долг».

Скоро никто уже не дает в долг. Требует денег и хозяйка, которая каждое утро стучит в дверь каморки и злобно спрашивает, не прибыли ли наконец корабль с деньгами господина Рихтера. Тщетно выпрашивает он стипендию или бесплатный стол. Тщетно ищет домашних уроков. Голодающих студентов много, а «в богатые дома наставниками берут только тех, кто имеет рекомендации».

Мысль о том, чтобы из-за нужды отказаться от своего плана жизни или отсрочить его выполнение, даже и не приходит ему в голову. Напротив, он дерзко решает ускорить его осуществление. В письме от 1 декабря 1781 года «любимой маме» впервые появляется таинственный намек: «Возможно, средство, которое я обдумал, даст мне деньги». В

июле 1782 года он снова пишет: «Если б только мое средство подействовало...» И в августе: «Вы не должны думать, что мое средство добыть деньги никуда не годится... О нет!»

Но пастору Фогелю он уже в марте открылся: он хочет зарабатывать деньги, сочиняя книги!

Через четырнадцать дней, после этого письма ему исполнилось девятнадцать лет.

10

КРУТАЯ ГОРА

Первым свободным (что в первую очередь означает: денежно независимым) писателем Германии специальная литература попеременно называет Лессинга и Жан-Поля — обоих по праву. Лессинг первый сделал попытку жить на гонорары, но первому это удалось Жан-Полю. Никогда он не зависел, как Клопшток, как Гёте, как Виланд, от меценатствующего князя; никогда не занимал, как Шиллер, Гёте, а подчас и Лессинг, оплачиваемой государством должности. Должность для поэта, говорит он в «Озорных летах» людям, которые считают, что это весьма желательно, так же ужасна, как «оспа для беременной женщины». Ибо искусство для художника — «и путь и цель одновременно». «Через иудейский храм запрещено... проходить только для того, чтобы попасть в другое место; так же запрещен проход через храм муз. Нельзя пересекать Парнас, чтобы попасть в тучную долину». Это было и осталось его жизненной программой. Он был убежден, что искусство — не занятие на досуге, а тяжкий труд, он требует полной отдачи и духовной независимости.

Но и самую лучшую программу человек с самым сильным характером, конечно, не мог бы осуществить, не будь подходящих условий. За тридцать лет, что прошли с тех пор, как Лессинг стал секретарем бреславльского губернатора, то есть рухнула его первая попытка стать независимым, а Жан-Поль добился первого успеха на книжном рынке, произошли большие перемены. Несмотря на политическое бессилие, буржуазия добилась экономических успехов. Круг образованного населения расширился. Улучшилось школьное образование. Выросло число читателей и покупателей книг, соответственно увеличилось и число писателей и издателей.

С 1773 до 1787 года число немецких писателей почти удвоилось. (В истории немецкой книготорговли Гольдфридх называет около 6000 имен — цифра невероятная, если вспомнить, что Союз писателей ГДР насчитывает около 650 членов.) Из всей этой массы жить за счет книг могли лишь сочинители тривиальной литературы, которая завоевала тогда новые, главным образом мелкобуржуазные, круги читателей. Характерно, что большинство писателей (в процентном отношении) жили в Саксонии (то есть в исконной Саксонии и в саксонских герцогствах): здесь экономическое развитие буржуазии шло более беспрепятственно, чем в других землях. Свою писательскую жизнь Жан-Поль начал в городе с наибольшим количеством авторов: их было 138 — в то время от города книжных ярмарок можно было постоянно ждать каких-нибудь новых рекордных цифр. В 1770 году перечень новинок впервые достиг цифры 1500, а в 1776 году их было уже 2000 и в 1788—3500. Начинающему писателю это могло придать мужества, даже если он и видел, как вместе с экономическими и духовными успехами росли препятствия политического характера. Ибо могуществу печатного слова государство пыталось противопоставить власть цензуры, пока что довольно безуспешно из-за немецкой раздробленности — положительное следствие отрицательного явления. То, что запрещалось в Берлине, могло быть, скажем, разрешено в Лейпциге.

Таким образом, у молодого Фридриха Рихтера объективно было больше возможностей осуществить свою жизненную программу, чем тридцатью тремя годами раньше у Лессинга, которому тогда тоже было девятнадцать лет. Но субъективно его исходная позиция была куда менее благоприятной. В то время как Лессинг уже с некоторым успехом писал для театра, установил через одного из своих друзей связи с «Фоссишер цайтунг» и мог прокормиться переводами, Рихтер — все еще провинциальный студент-бедняк, штудирующий теологию, у которого, кроме эрудиции и веры в себя, не было ничего за душой — у него не было даже более или менее крупного произведения.

Первая работа, которую он считает достойной публикации, — навеянное (и вскормленное) чтением Попа сочинение «О человеке» (дидактическая поэма Попа называется «Essay on man»^[21]), где он обстоятельно доказывает, что человек — загадка. К сожалению, Кристиан Генрих Бойе, издатель журнала «Дойчес музеум», не

разделяет восхищения автора и возвращает его рукопись, не проявив никакого интереса к словам студента-сочинителя, что после того, как работа будет принята, он сообщит ему, Бойе, некую «не лишенную важности новость».

Эта первая попытка разбогатеть и прославиться предпринята поздним летом 1781 года. Весной следующего года он сообщает свою важную (к сожалению, лишь для него) новость лейпцигскому издателю Вейганду: внимательно прочитав всех английских и французских сатириков и глубоко изучив «Похвалу глупости» Эразма, он сочинил собственную сатиру, которая тоже называется «Похвала глупости» и может быть представлена (по семь саксонских рейхсталеров за лист) публике. Материал ее таков, наставляет молодой человек издателя, что она найдет «множество читателей и покупателей». «Ибо кто же не любит сатиры? Кому не хочется посмеяться?»

Но издатель не внимлет. Он отклоняет рукопись. Автор не смущается. Когда через несколько месяцев он снова берет в руки свое творение, то убеждается: это плохое ученическое сочинение. Он чувствует, что способен на лучшее, и вместо отклоненной небольшой сатиры пишет большую. «Короче говоря, после работы тщетной я взялся за работу тяжкую и за шесть месяцев создал новехонькую сатиру».

На этот раз он посылает ее (набело переписанную другом Эртелем) в Берлин, в издательство Кристофа Фридриха Фосса, друга Лессинга, выпустившего также книгу Гиппеля «О браке», которую очень ценил и Рихтер. Но последние восемь страниц он пока придерживает. Не для того, чтобы доработать эти страницы, а потому, что не может противостоять искушению поговорить здесь — как будет делать и позже — о себе, выдавая читателю свою молодость. Он опасается осуждения, но справедливо полагает, что по книге, битком набитой эрудицией, никто не догадается о несовершеннолетии автора.

10 декабря 1782 года Фосс пишет: «Господину автору сатирических очерков я предлагаю за рукопись пятнадцать луидоров». Перед рождеством он платит шестнадцать (что соответствует девяноста шести рейхсталерам), и в конце января (то есть через семь недель после принятия рукописи издательством!) книга готова. Ее заглавие — «Гренландские процессы».

Господин анонимный автор торжествует в письме: «Слава богу! Наконец-то вершина крутой горы достигнута; я снимаю шляпу, вытаскиваю носовой платок и вытираю пот с горячего лба».

Но он торжествует слишком рано. Правда, за следующие полгода он с большим трудом сочиняет вторую книжицу, выходящую в октябре, и получает за нее даже сто двадцать шесть талеров, но при его долгах этих денег хватает не надолго. Скоро ему опять приходится голодать и брать в долг. Сатиры же, которые должны покорить литературный мир, тихо лежат на полках и никого не интересуют. «Рецензенты в общем обошли их молчанием; лишь один из них в Лейпциге... пребывая в своем литературном карауле на ветвях дерева, под которым прошел мой первенец... забросал его грязью».

Эта «грязь» появилась на страницах «Лейпцигского общего библиографического указателя» и гласила: «Пусть кое-что из того, что автор столь язвительно говорит о сочинительстве, богословах, женщинах, щеголях и т. д., — правда; но его маниакальное желание быть остроумным пронизывает всю книжонку, и можно не сомневаться: у разумного читателя она сразу же вызовет такое отвращение, что он немедленно отбросит ее».

Неутомимый сатирик вскоре предлагает третий том: понятно, что Фосс отказывается публиковать его. И снова начинаются поиски издателя. Крутая гора оказалась лишь предгорьем, между ним и вершиной успеха лежит еще обширнейшая голодная долина.

11

КОСА

Вечером 12 ноября 1784 года студент Фридрих Рихтер тайно покидает лейпцигскую гостиницу «У трех роз» на Петерштрассе. Он не хочет быть узнанным; плащ, шляпа и накладная коса придают ему вид бравого бюргера. По темным улицам он спешит к городским воротам, где его уже ждет Эртель. Там он садится в почтовую карету. На границе он предъявляет документы на имя студента медицины Иоганна Бернхарда Германа.

Так заканчивается его изучение теологии: бегством от заимодавцев, угрожавших ему долговой тюрьмой. Ибо описывать у него нечего: даже плащ у него чужой.

От лейпцигской бедности он бежит в еще более удручающую бедность Гофа. Туда он прибывает 16 ноября и сразу же пишет другу в Лейпциг: «Мой дорогой Эртель! Возвращаю тебе твой плащ; холодные ветры, о которых я в Лейпциге и не думал, обязывают меня благодарить тебя за него, равно как и за штаны, еще более горячо, чем я собирался: без этих вещей я бы... прибыл к своим наверняка жестоко обмороженным, а так я отморозил только правую руку. Теперь я едва могу писать ею... Скоро пришлю тебе свою рукопись».

Его единственная мысль — писать. Ни единым словом не поминает он об условиях, в которых живет: голод, тесноту. Вся семья ютится в одной комнате. Одержимому писанием Жан-Полю это доставляет адские мучения, но он переносит их со стоическим спокойствием и через десять лет точно опишет это в «Зибенкезе», правда в смягченной форме, с юмором; ведь кроме Ленетты (которая выведена в романе шумливой и болтливой, как его мать), в гофской действительности есть еще три младших брата. (Адам, старший из них, сменил домашнее убожество на еще более убогую армейскую жизнь.)

Подобно адвокату бедняков в этом романе, бывший студент работает над книгой сатир, которая потом получит название «Избранные места из бумаг дьявола». «Со времени отъезда я переработал двенадцать листов, — пишет он через три недели после бегства Эртелю. — Корплю над рукописью и совсем обессилел».

Еще в Лейпциге он предлагал свою книгу сатир разным издательствам. Вайдман в Лейпциге, Гарткнох в Риге, Николаи в Берлине, Вraitкопф в Дрездене, Милиус в Берлине — все они отклонили ее, но он все равно ни на минуту не прекращает работу. Он продолжает писать, не щадя себя, не считаясь ни со своим положением, ни с не понимающей его матерью, не считаясь и с читателями, у которых как тогда, так и теперь нет большой охоты продираться сквозь джунгли слов и ассоциаций его сатир. Когда Август Готлиб Майстер, редактор дрезденского ежеквартальника «Прошлой и новейшей литературы», в 1784 году включает в него несколько сатир анонимного автора «Гренландских процессов», он делает это лишь «потому, что его письма были воистину превосходны», и добавляет: а сатир «никто не хотел читать».

И если при всем том один из издателей и редакторов, которых неудачливый автор осаждает письмами и рукописями, просит прислать

новые сочинения, это уже много значит. Такое случилось тогда однажды — то был редактор журнала «Литература и народоведение» Иоганн Вильгельм фон Архенгольц, публицист, чье пятитомное произведение «Об Англии и Италии» (1787) окажет влияние на немецкую интеллигенцию и пробудит горячий интерес Жан-Поля к демократической Англии. Рихтер считает, что это Архенгольц встряхнул немцев, заставил их высвободиться из «монархических цепей и пут», «приведя в пример народ, который обладает свободой... Да не будет у Вас недостатка во времени... чтобы живыми примерами осенить солнцем и воздухом наше свободолюбие (которое, как придавленные камнями растения, чахнет под гнетом тронов)».

Можно не сомневаться, что напечатать в своем журнале между 1784 и 1788 годами некоторые из рихтеровских сатир Архенгольца побудили их революционно-критические тенденции. Но и он считает, что форма снижает их возможное влияние. Это косвенно видно из совета, который он позднее даст сатирику: «Будь все это остроумие и причудливость израсходованы в романе, я уверен, книготорговцы дрались бы за него. Почему же, спрашивается, Вы не поступаете так со своими произведениями? Ведь человеку, владеющему таким несравненным искусством быть остроумным и причудливым, не так уж трудно увлечь тех, кто всего лишь торгует изделиями искусства!»

Это пишет ему Архенгольц в феврале 1790 года. Ровно через год готов «Вуц». Но до тех пор Рихтер напишет еще много сатир, не имевших никакого успеха. Рукопись «Бумаг дьявола» кочует от издателя к издателю, друзья и знаменитости, выступающие в роли посредников, ничего не добиваются. И все время он дорабатывает, улучшает, шлифует ее. После долгих блужданий в марте 1786 года рукопись оседает в Гере, у некоего господина Бекмана, который сулит издать ее тиражом в 750 экземпляров за оскорбительно мизерный гонорар — и замораживает на годы, пока наконец в 1789 году она не появляется с ужасающим количеством типографских и корректорских ошибок и остается незамеченной. К этому времени уже готова третья книга сатир, «Абракадабра, или Баварская крейцеровская комедия», так и не нашедшая издателя. Отрывки из нее потом вошли в романы.

Рихтер все еще живет вместе с матерью и братьями. Он немного зарабатывает репетиторством в домах гофской знати, еще меньше — публикуемыми сочинениями. Он много пишет (в том числе бездну

вежливо-остроумных писем людям, которые могут одолжить бедствующей семье деньги), много читает (в том числе больше прежнего современных немецких авторов: Канта, Гердера, Гамана), поддерживает дружбу с учеными и старается верой в себя преодолеть нужду и досаду, вызываемую насмешками гофских жителей, которые видят в нем неисправимо глупого студента, так ничего и не добившегося. Два года он терпит, потом бежит из города, который позднее под названием Кушнаппель в «Зибенкезе» войдет в литературу, становится гувернером, причем, на беду, у человека, который совершенно не выносит его и невыносим для него: у камеррата фон Эртеля, отца его друга.

Так вступает он на тернистый путь — удел многих интеллигентов бюргерского происхождения того времени. В университетах многих немецких земель и землек, зачастую обязанных своим созданием только тщеславию мелких князей (даже такой провинциальный городок, как Бютцов в Мекленбурге, на короткое время становится университетским городом), без всякого плана выпускают студентов, для которых нет мест. И для безработных выпускников должность гувернера нередко единственная возможность заработка. Но армия безработной интеллигенции растет; это вынуждает их мириться с малым и в свою очередь позволяет богатым семьям нанимать выпускников. Сначала их называют репетиторами (в отличие от гувернера у знати), потом несколько более почетно — домашними учителями.

Чтобы получить место, нужны рекомендации и посредничество — пасторов, чиновников, придворных поэтов, издателей, но в первую очередь профессора. Так развивается подхалимство перед ними, которое возмущает студента Рихтера в Лейпциге. Таким посредничеством был известен, например, Геллерт. В «Леване» Жан-Поля говорится о «приснившемся письме к благословенному профессору Геллерту, в котором автор просит о месте гувернера», называя профессора оптовым поставщиком учителей. Шиллер добывает Гёльдерлину место у госпожи фон Кальб.

Почти всем выдающимся людям того времени, у которых в отличие от Гёте не было достаточных средств, пришлось пройти суровую школу гувернерства. Гердер, Гиппель, Гаман, Глейм, Винкельман, Гебель, Кант, Фихте, Гегель, Шлейермахер, Гёльдерлин,

Базедов, Кампе, Гейнзе, Ленц, Иоганнес фон Мюллер, Фосс, Арндт — все они проходили через эту школу услужения; то был принудительный этап образования, вроде странствий подмастерьев, с тем преимуществом, что он протекает не в собственной социальной среде, а позволяет познакомиться со всеми имущими слоями: с деревенской, столичной, чиновничьей и офицерской знатью, патрициями, духовенством, торговцами, купцами, арендаторами.

Наниматель уважает домашнего учителя настолько, насколько в его семье считаются с детьми и с их воспитанием. Хуже всего в домах деревенской знати, поэтому служба здесь чаще всего похожа на прислуживание. Когда в пьесе Ленца «Домашний учитель» герой осмеливается за столом вмешаться в разговор, хозяйка обрывает его: «Да запомнит он, мой друг: слугам в обществе господ разговаривать не пристало. Пусть убирается в свою комнату. Его никто не спрашивал».

В бюргерских семьях, где в видах карьеры придают большее значение образованию, положение иное. Здесь в домашнем учителе зачастую почитают уже воспитателя, в особенности если родители понимают, что значат гуманные демократические методы воспитания. Часто именно домашний учитель растолковывает родителям своих воспитанников: авторитарное положение отца в большой патриархальной семье соответствует положению самодержавного князя в государстве, авторитарная педагогика подавляет все демократические побуждения подданных. «Добрые привычки не вырабатываются лишь приказами, назиданием, предостережениями, наказаниями. Упражнения — вот настоящее средство», — учит бывший домашний учитель Базедов. На детей раньше смотрели как на незрелых взрослых, теперь к ним начинают относиться как к самоценным существам. Просветители стремятся внедрить во влиятельные семьи подходящих учителей. Тайная организация «Немецкий союз», созданная Карлом Фридрихом Бардтом, издает предписание «осторожно действовать во всех местностях, семьях, при дворах etc., оказывая влияние на замещение должностей гувернеров, секретарей, священников и т. д.». Проблема «воспитания князей» (домашними учителями, разумеется) играет значительную роль в литературе — от Виланда до Жан-Поля.

К тем, кто превращает свое вынужденное звание в призвание, принадлежит и Жан-Поль. Он и учителем работает творчески, сворачивает со старых путей, ищет новые, записывает наблюдения и

пишет потом на этой основе книгу, которая обеспечивает ему место в истории педагогики. Тем не менее должность домашнего учителя в Тёпене — это прежде всего бегство. Он бежит от семьи, от голода. По настоятельным просьбам Рихтера друг Эртель, который, постоянно прихварывая, вскоре после него покинул Лейпциг, добился для него этого места. Это последняя из множества дружеских услуг. 13 октября 1786 года Адам фон Эртель умирает на руках у Рихтера.

Через три месяца Рихтер вступает в должность учителя в господском доме поместья Тёпен. Его ученик — младший брат почившего друга. Рихтер обучает его по собственному методу, который потом назовет «развитием жажды познания».

Вскоре ученик привязывается к нему трогательной любовью, с отцом же, хозяином, у Рихтера постоянно возникают споры, которые и после увольнения продолжают в письмах. От голода Рихтер теперь избавился, но независимость потерял. У него есть собственная комната и покой, но меньше времени для себя. Однако он использует и это малое время. Даже на прогулках он всегда с книгой или с грифельной доской. Потрясение, вызванное смертью друга, едва сказывается. Он лишь пишет несатирическое сочинение («Что есть смерть»). Последствия этого удара судьбы пока еще неощутимы.

Годы в Тёпене вознаграждают писателя знакомством с новой областью жизни. Он увидел деревню с другой точки зрения, не глазами мечтательного сына пастора. Жизнь в господском доме утратила свой блеск. Он увидел нужду и несправедливость крестьян. Сатиры, которые он теперь пишет, становятся более острыми и более точными. Алчный помещик, с которым он через два года расстанется, позднее появится в романе.

В апреле 1789 года он снова у матери в Гофе. Через год он занимает новое место учителя, в Шварценбахе, где ребенком читал «Робинзона» и посещал латинскую школу. Теперь он учит семерых школьников разного возраста, на этот раз из бюргерских семей, детей знакомых и друзей, на которых и проверяет свои педагогические идеи.

Как всякая сильная личность, посвящающая себя преподаванию, он не может подавить в себе стремления воспитать своих учеников по своему образу и подобию. Он учит их на жан-полеватский лад, например, применяя свой метод — сравнением разнородных предметов связывать друг с другом разные области знания. Но результат — лишь поиски

остроумных метафор. Прививать детям остроумие, говорится в первом романе, в «Незримой ложе», потому полезно, что это ускоряет работу их «мыслительного механизма», учит их пользоваться знаниями. «Автор данного сочинения некогда в течение трех лет... возглавлял захолустную школу», — рассказывает он об этом времени в «Леване». «Тогда начали наряду с латынью изучать немецкий, французский, английский, вместе со всеми так называемыми естественными науками. Однако... после полугода ежедневных пятичасовых занятий мы начали искать в этих повторениях забавные сходства... автор, чтобы подбодрить учеников и сохранить эти находки, завел журнал, озаглавленный „Антология bonmot^[22] моих питомцев“, в который он при них заносил каждое остроумное замечание». Затем он цитирует оттуда две страницы: «Дыхательное горло; нетерпимые испанцы и муравьи не терпят ничего постороннего, а выталкивают его. Лютеранская религия и олени не выносят южного тепла. Моя школа — школа квакеров, где каждый может говорить, что хочет».

Так его педагогическое усердие оказывается лишь боковым ответвлением главного потока — писательства: оно вытекает из него и в него же впадает. Когда «его часы занятий, которые он добросовестно соблюдал, кончались, — вспоминает одна из его учениц, дочь владельца кузницы Клётера, — он выбегал на воздух, охотнее всего в лес, ложился под дерево, устремлял неподвижный взгляд на кроны и небо, время от времени вытаскивал из кармана белый лист бумаги, записывал отдельные слова и нередко тут же вскакивал и спешил домой, чтобы развить возникшие мысли и образы».

Ему двадцать семь, он все еще холост, все еще нищ, светловолос, узколиц. Юность его прошла. С тех пор как началась революция, он снова напоказ носит накладную косу, подобно другим христианам, и оповещает об этом друзей: «Посему милостивая высокородная публика извещается о том, что нижеподписавшийся в ближайшее воскресенье намерен появиться на разных важных улицах с короткой накладной косой и этой косой, словно магнитом и арканом любви... насильно завладеть любовью первого встречного, каково бы ни было имя его».

Он приспособливается внешне, но не внутренне. Теперь, когда его уверенность в себе укрепились, нет нужды выставять напоказ свой нонконформизм. Знания его огромны, стиль выразителен, богатство языка необъятно. (Как раз в это время он начинает создавать «Со-

словарь», своего рода свод синонимов для собственного употребления, в котором он, например, для слова «ухудшаться» приводит 184 варианта.) Написал он уже больше, чем иные авторы за всю жизнь, опубликовал две книги и несколько статей. Он, бесспорно, стал, как и намеревался, писателем — но во всех отношениях писателем-неудачником. Жить за счет работы он не может, критика его не замечает, его произведения не оказывают никакого влияния на читателей. В немецкой литературе имени его не существует.

12

УКСУСНАЯ ФАБРИКА

Любовь к подданным князь нередко выражает и тем, что «охотно ссужает их любому государству, которое ведет войну и имеет деньги, или даже обоим воюющим государствам одновременно, чтобы вражеский меч избавил бедного подданного от голодной смерти».

К более или менее скрытым политическим намекам, то и дело встречающимся в его сатирах, относятся и намеки на княжескую торговлю солдатами, которая в пору юности Жан-Поля доживает последние дни. Он словно бы вскользь преподносит читателям такие замечания о современных политических событиях, что, существуя в Германии подобие общественного мнения, разразился бы скандал.

Торговля подневольнейшими из подневольных — солдатами — имеет у немецких князей многовековую традицию. Первый договор такого рода заключил в 1676 году ландграф фон Гессен с датским королем. Когда Вильгельм Оранский в 1688 году высадился в Англии, с ним был отряд бранденбургских солдат. В испанской войне за порядок наследования на обеих сторонах воевали наемные войска. Гессенцы подавили по просьбе англичан шотландское восстание. В английских частях, к началу Семилетней войны расквартированных в Вестфалии, за исключением офицеров, не было ни одного коренного англичанина. Когда в 1775 году американцы поднялись против английского колониального господства, лондонское правительство снова наняло иностранные войска, опасаясь, как бы рекрутский набор в собственной стране не вызвал волнения, и не желая ослаблять экономику страны. Поскольку не удалось заключить крупных договоров с Голландией и Россией о поставке целых армий, пришлось ограничиться небольшим

количеством пушечного мяса, которое могли предоставить немецкие князья. Помимо ганноверских частей, и без того состоявших на службе у англичан, это были почти 30 000 солдат из шести немецких государств, больше трети из них не пережили войны в Америке.

К князьям, которым из-за безумной роскоши и безалаберного хозяйствования постоянно требовались деньги, принадлежали маркграфы Ансбаха и Байройта. В январе 1777 года они пригласили работоторговца британской короны и заключили с ним договор на покупку в общей сложности 1285 человек. «Маркграф, — писал посредник своему министру иностранных дел, — изъявил особую благодарность за то, что король столь милостиво и снисходительно пожелал взять к себе на службу часть ансбахских войск. Я каждое утро присутствовал на параде и нашел солдат прекрасными, рослыми и хорошо сложенными. Они превосходно владеют оружием, регулярно — как часы — занимаются строевой подготовкой и очень хорошо маршируют и разворачиваются. У них новая и чистая форма — синие мундиры с красными лацканами и желтым жилетом».

После того как была обусловлена ежегодная плата за наем каждого человека и особое вознаграждение за раненых и убитых, наемников отправили в Оксенфурт на Майне, где их загнали на суда. Но там произошло нечто непредвиденное, что напугало и покупателей и продавцов и на целые годы дало стране пищу для разговоров: войска взбунтовались.

Иоганн Конрад Дозла, солдат Байройтского полка, так описывает это в дневнике: «Мы промаршировали через Оксенфурт, там погрузились на суда, а на ночь встали на якорь на Майне. Поскольку такое размещение было для нас непривычно и на судах было очень мало места, мы лежали в большой тесноте и нас очень донимал густой судовой дым, да и было довольно холодно, — все это дало повод к разным разговорам, и на следующий день разразилось настоящее восстание бунт. Начало положил рано на рассвете Ансбахский полк; одно его судно стояло на якоре вблизи берега, и солдаты проложили сходни с судна, и все вышли на берег, и потому подтянулись еще несколько судов к берегу; одно судно было Байройтского полка. Наши люди тоже поддерживали их и силой, без разрешения господ офицеров вырвались с судов. И хотя оба господина полковника и командира корабля вместе со всеми офицерами испробовали как уговоры, так и

угрозы и все средства, чтобы умиротворить людей, обеспечили доставку из города хлеба, мяса и других продуктов, а также дров, все это несколько не помогло, а вино, щедро подносимое жителями Оксенфурта, еще больше распалило солдат. Затем в полдень люди направились к горам и, безрассудные и пьяные, дали тягу. Поэтому егерский корпус получил приказ занять позицию в предгорье и давать предупредительные выстрелы по бунтующим беглецам. Только и наши люди открыли огонь по егерям. Почти два часа палили друг в друга. Около сорока человек дезертировали из нашего полка во время этого восстания».

Ночью прибыл маркграф и с заряженным ружьем в руках наблюдал за новой погрузкой столь доходного для него товара. Чтобы избежать бунтов, он сопровождал войска до Голландии, где груз приняли британцы. В апреле английский посредник сообщил в Лондон, что мятежа не было бы, если бы офицеры сразу пустили в ход силу. Дисциплина уж приструнит молодцов. В Америке ансбахбайройтцев следует использовать на особо опасных участках. Число дезертиров невелико, «если учесть, что большинство населения здесь сочувствует американцам».

Чтобы по-настоящему понять, почему сатиры Рихтера имеют такой боевой характер, нужно иметь в виду эти и другие, не менее страшные события эпохи. Самые острые и лучшие из сатир направлены против поместного дворянства, против придворных, против порочности, глупости и алчности князей, из которых, впрочем, для одного он делает исключение — для Фридриха II Прусского. То, что он не участвовал в торговле солдатами (они ему нужны самому) и даже, хотя и слабо, препятствовал ей, наверняка способствовало уважению, которое Жан-Поль, пусть и не без критики, оказывал ему. Одна из сатир прославляет справедливость Фридриха. Позднее он назовет его «колоссом и гигантом». «Еще никогда корона не венчала такую голову». Но короне-то как раз и не доверяет Жан-Поль. Трон, на котором сидит Фридрих, унижает его. И в то время как Франклин что-то дал человечеству — «громоотвод, стеклянную гармонику и свободу», — Фридрих дал истину лишь... самому себе.

Молодой Рихтер хочет дать истину всем, но не находит пока для этого формы. Если прочитать подряд — что очень трудно — около тысячи страниц ранних жан-полевских сатир, видно, что они

становятся все более гибкими и содержательными, все более меткими и точными. Это, несомненно, связано с расширением опыта пишущего — опыта писательского и жизненного.

Прежде все шло от книг. Пример этого старый Жан-Поль приводит в предисловии ко второму изданию «Гренландских процессов», которое вышло лишь в 1822 году: «От повседневного общения с британскими сатириками, Попом и Свифтом, у юноши осталась грубость выражения, в особенности в отношении пола... Именно англичане совратили доброго и невинного Фридриха Рихтера, который лишь двадцать лет спустя увидел публичную особу — красивую одинокую даму, которую показал ему друг, когда она одна возвращалась из театра домой, — они ввели его в искушение, и он на пороге своей первой книги рассказал притчу, в которой привел читателя в такой дом, в какой до того часа сам никогда и не заглядывал».

Эта первая из тысяч притч (забавно, что она — первый опубликованный фрагмент целомудренного Рихтера) гласит: «Некая жрица Венеры на мягких алтарях своей богини приносила в жертву свои увядшие прелести, и, хотя ни один покупатель наслаждений не обращает более своего вожделения на ее красоту, она не собирается сменить стезю позора на славный путь исправления и не внемлет голосу своего уродства, увещающему ее отказаться от служения любострастию. Напротив, ее дух следует за телом; раньше она училась любви, теперь она учит ей, она кормится пороками, которым может лишь учить, но не может больше предаваться, она узнает свою прежнюю жизнь в успехах своих питомцев и тем облегчает печальное сознание, что теперь она ни на что больше не годна. Вот так и я».

В таких предельно усложненных метафорах молодой автор перескакивает от одной мысли к другой. «Пестрая лестница сплошных иносказаний; в них больше блеска, чем света», — скажет потом пятидесятилетний автор. «Не только между точками, отделяющими один период от другого», наталкивается читатель «на словесные цветники иносказаний... но и от запятой к запятой» он постоянно вынужден «пробираться между расцветченностью и цветистостью».

В старости Рихтер особенно удивляется своему женоненавистничеству в молодости, превращающему всякую девушку-«розан» в «колючий шиповник». «И это делал и писал девятнадцатилетний? Человек, который... ни о чем более прекрасном,

хорошем, прелестном, чем женщина, и думать не должен? Клянусь небом, и я поступал именно так, и не было на сцене лейпцигского театра ни одной актрисы или (если оглянуться) ни одной зрительницы в ложах, на которых я бы тогда тут же не женился, если бы я был им интересен, а не безразличен».

«Но, — объясняет он себе это противоречие, — истинная сатира так же мало исходит из сердца, как истинное чувство — из головы». А сердце его оставалось тогда закрытым; чувства могли спокойно зреть, пока их наконец не откупорил «штопор поэтического пера».

Но он восприимчив к политике, а сатира может особенно хорошо это выразить — правда, лишь в негативном плане. Ибо сущность сатиры — в критике, для провозглашения идеалов она мало пригодна. Да и они накануне Французской революции у молодого Рихтера достаточно смутны. Нечто вроде античных демократий, но без рабства, и свобода на английский лад. Однако в первую очередь его политическое сознание — это отрицание: существующее положение скверно и должно быть изменено, если понадобится — силой.

Среди уймы читаемых им книг — труды Руссо, и, как все поклонники Руссо, он берет у него лишь то, что ему подходит: он не приемлет его вражды к цивилизации, ему, вечно голодному и жаждущему красоты, эта вражда подозрительна, зато он приемлет оправдание революции, сравнивая ее в одном из включенных в «Бумаги дьявола» афоризмов с луговым стругом. (В примечании — он никогда не скупится на них — он поясняет: «Приспособление, при помощи которого устраняют на лугах холмики кротовых нор».) В афоризме, намекающем на детей природы Руссо, которые питаются желудями, и на венок славы из дубовых листьев, говорится: «Если бы великий Руссо обладал таким луговым стругом и, как я надеюсь, прошелся с ним по всей земле и хорошенько разровнял холмы, делающие ее бугристой и ухабистой, насыпанные завоевателями для своих резиденций и тронов, он заслужил бы за это не желудей, которыми он нас соблазняет, а одни только дубовые листья».

Невольно возникает мысль, не есть ли затемненное выражение этой и подобных мыслей уловка, чтобы обойти цензоров. Но зачем прибегать к такому темному стилю, высмеивая стремление писателей к подражательству или женское франтовство? Зачем такая скрытность в

письмах, даже когда они доверяются не почте, а передаются через одного из младших братьев?

Это не уловка, это стиль. Стиль молодого самоучки, который хочет показать, что он умеет, который гордится тем, что каждая его строка остроумна и учена. «Антитезы и иносказания так укоренились в моем мозгу, что они наставляют меня и во сне». — признается он в письме. Даже подвергая свои сатиры самокритике за то, что они перегружены иносказаниями, он и тут не обходится без множества иносказаний. «Разве не понимает красноносый пьянчуга, какая ядовитая сила... в вине? Наверняка знает — и тем не менее не бежит его». А в 1804 году одержимый метафорами автор самодовольно записывает: «Хотя я и не знаю, кому из писателей земли принадлежит больше всего иносказаний, меня все же радует, что я намного превосхожу любого из них».

Возможно, он отдает себе отчет, что такой стиль в значительной степени охраняет от цензоров. Но порожден его стиль не этим. Цензоры не оказывают влияния на стиль. Они действуют как тормоз. Они, например, виновны в том, что некоторые из самых острых сатир не доведены им до конца — скажем «О божественности князей», — не доведены «потому, что ни к чему я не испытываю такого стойкого отвращения, как к государственной тюрьме».

Но несмотря на затемненность смысла, даже самые глупые цензоры должны были обратить внимание на антифеодальную тенденцию многих сатир — если они их читали. Может быть, больше, чем непонятность, сатирика спасает скука, навеваемая им. Чрезмерное изобилие оборачивается пустотой. Щеголяя остроумием, не вызовешь смеха. Продукты его «сатирической уксусной фабрики» не веселят, а набивают оскомину. «Греки считали, что потребление дичи вызывает зевоту, — говорится в эпилоге „Бумаг дьявола“, — но писателей раз и навсегда превратили в домашний скот». В этом молодой Рихтер ошибался. Он вполне принадлежал к вызывающей зевоту дичи. Ему была свойственна ярость молодых, но он обнаруживал и свойственную им наивную гордыню, считая, что читатели способны следовать за ним через дикие заросли его мыслей и остроумия. Не в том была его ошибка, что он давал слишком мало чувства, а в том, что с безграничной щедростью отдавал все, что имел в голове. Эта ошибка простибельна для молодого автора, который хочет «в первое свое

сочинение во что бы то ни стало втиснуть всю свою жизнь, начиная от первого ее года и до года опубликования книги», «словно у него не будет потом второго, двадцатого сочинения, где доведется рассказать лишь о немногих последующих годах». Ошибку свою он совершил радикально: в этом есть свое, особое величие, состоящее еще и в том, что он так долго — целых девять лет — придерживался ее.

Время это не было растрачено попусту. Когда оно кончилось, он был одним из лучших знатоков немецкого языка, одним из крупнейших прозаиков своей эпохи. Если, как он утверждал впоследствии, таков был его план, то он выполнил его с нечеловеческой точностью.

И между сатириком и повествователем вовсе не пролегал ров. Уже в «Бумагах дьявола» слышалось нечто серьезное, задумчивое, затем он стал писать повествовательную сатиру, затем повесть, однако сатирик никогда не умолкал в нем. Так и сложился истинный Жан-Поль, который в равной мере владел и пользовался героической, сентиментальной и сатирической манерой.

Ранние сатиры Рихтера превосходили все, что дало немецкое Просвещение в области сатирической литературы, — превосходили остротой наступательного духа и — бесплодностью. Плод они принесли только ему самому. Они не были блужданием. Они были началом.

Охарактеризовал их сам двадцатилетний автор, охарактеризовал без намерения быть самокритичным в эпиграмме «К цветистым философам»: «Почему вы прячете, подобно пчелам, вашу голову в поэтических цветах? Почему вы окутываете мысль излишними украшениями и заставляете читателя, прежде чем пить пиво, сдуть с него сверкающую пену? Пена, правда, тоже пиво, но пожиже».

13

АКАДЕМИЯ ЛЮБВИ

Жизнь не только Гёте, но и многих других мужчин можно разделить соответственно женщинам, которые сопровождали ее, изменяли, украшали. Подобная попытка в отношении Жан-Поля безнадежна. Никакая мадам де Варенс не сделала из него мужчину... Никакой Фридерике не была отравлена жизнь во имя прекрасных любовных стихов, никакая недостижимая Диотима не поддерживала его

в минуты отчаяния. На жизнь человека, который стал излюбленным писателем дам, который воспевал их, содействовал их эмансипации, — на эту жизнь никто из них не оказал длительного влияния.

Мы цитировали в предыдущей главе примечательные слова старого Жан-Поля. Оглядываясь на время создания юношеских сатир, он сказал: тогда, в Лейпциге, он бы любил всех женщин и женился бы на них, на любой актрисе, любой зрительнице, не будь он им безразличен, он, полуголодный студент теологии, у которого нет ничего, даже вида на должность, но прежде всего нет времени — он «занят». Он всегда вращается в кругу бюргеров и мелких бюргеров, где никто не считает его серьезным женихом, да у него нет и желания стать им. Он выбрал роль чужака, а она включает в себя это отречение. Его добровольный выбор вынуждает к аскетизму. Поэтому все женщины кажутся ему красивыми, милыми, прелестными. Горькие же слова о женщинах в его сатирах вычитаны из книг. Но когда он берет в руки «штопор поэтического пера», когда осознает, что можно описывать то, что сам пережил и сам ощутил, когда отказывается от дидактической формы сатирического письма, когда начинает рассказывать — тогда его восславление женщин чарует. Значит, у него есть причина, чтобы продлить вынужденное затворничество, чтобы не нарушить воздержания, которое ведет к сублимации. Только бы ничего не завершать, ничего не доводить до конца, не разрушать иллюзии действительностью. Можно сказать, он приносит в жертву работе свою жизнь. Но это неверно: ибо работа и есть для него жизнь, а жизнь — работа. «Прощай и ищи, как я, свое Перу, свой рай, свой храм и свой Пратер на белой и голубой бумаге», — говорится в одном из его юношеских писем. И спустя двадцать лет, размышляя, как он изображал женщин, он записывает: «Все, что я сказал о женском поле, правда, но это не значит, что я сказал всю правду — а в нее входит и зло».

«Издали настоящая любовь теряет меньше, чем вблизи», — сказано в позднейшем автобиографическом фрагменте. «Явись мне на Венере Венера, я бы горячо полюбил это небесное существо с его столь волшебными в такой дали чарами и не раздумывая избрал бы ее для поклонения». Это всегда была его не единственная, но излюбленная манера любить, «телеграфная» — как он назвал ее в другом месте. Его переписка с женщинами составляет тома, но он, видно, нередко

радовался, что долгая и утомительная дорога мешает их частым приездам.

Любить издали он начал давно, еще в Йодице; там Фриц был очарован некой Августиной, он видел ее в церкви, очень издалека, она сидела на женской половине, и вечером, когда она гнала коров мимо дома пастора, он, не смея выйти со двора, любовался ею через ограду. «Августина так и осталась на таком удалении от Пауля, которое воспламеняет любовь, и за всю жизнь ему так и не пришлось коснуться ее руки». Однажды он в течение целого обеда любил некую взрослую даму, но она ничего не знала о своем счастье и, вероятно, не должна была и знать. В Шварценбахе он увлекается некой Катариной, которую видит из окна, когда она идет в школу. Его томит желание, и он однажды целует ее в темноте, но она все равно остается равнодушной, а ему достаточно возможности поклоняться; причем Катарина и Августа, видимо, вполне взаимозаменяемы: в них и во многих других, что придут потом, воплощена его любовь ко всем женщинам. Вот он описывает, с каким блаженством и верой он принял причастие, и так говорит о девушках, которые вместе с ним впервые удостоились святой благодати: «И я заключил их всех в объятия такой широкой и чистой любви, что, помнится, стал любить Катарину так же, как всех их». Йодицкая служанка некрасива, и он не любит ее, но иногда «налетает» на нее со «стыдливymi и жадными поцелуями, и в поцелуе душа и тело сливаются в бессознательном и невинном порыве».

На Шварценбахе автобиография обрывается, и с нею — за одним исключением — все сведения об увлечениях гимназиста и студента женщинами. Начинается время мономанной одержимости работой и дружеских привязанностей, сменяющих друг друга, как любовные увлечения: болезненно-мечтательный Эртель, неповторимо разбросанный Бернгард Герман, интеллектуально трезвый Кристиан Отто. Конечно, многие из его накопившихся чувств переносятся на них, но важны его друзья прежде всего тем, что близки сути его жизни, участвуют в его работе, каждый на свой лад: Эртель — поклоняется ему и постоянно готов помочь, Герман — сам творчески одарен, Отто — помогает критикой. Ситуация для юноши и молодого человека необычная, она подчеркивает полноту, с какой он всего себя посвящает достижению цели. Тут нет и следа прекрасной гармонии между жизнью и творчеством, есть только суровость, напряжение, своего рода мирской

аскетизм, его корни социально обусловлены, и он, естественно, влияет на психику. Кажется удивительным, что насильственное остроумие позже становится юмором, что чувства менее напряжены и ширятся, и не удивительно, что они часто становятся сентиментальными, переливаются через край и что мир, который перед ним, то и дело представляется уродливым, дьявольским, гротескным, он постоянно видит его безумие («классикам» это не свойственно).

Упомянутое скудное исключение зовется Софьей Эльродт; она дочь городского фогта в Гельмбредте, неподалеку от Гофы. Когда эта мимолетная связь началась и закончилась, ей — двадцать четыре, ему — двадцать. Он познакомился с Софьей во время каникул в Гофе, когда его мать пыталась одолжить деньги у фогта. Они условились о свидании в «Леопольдсгрюнском лесочке», вероятно, еще раз повидались в Гельмбредте, затем он уехал. Заверения в любви в тех нескольких письмах, какими они обменялись, звучат холодно и выпретенно. Под пустым предлогом она требует кольцо, которое дала ему. Он пишет прощальное письмо: «Пусть тот, кто занял или займет мое место, вознаградит Вас за те радости, что Вы мне доставили!» Случайный эпизод, не затронувший его души, в лучшем случае — утвердивший его приверженность к любви на расстоянии. В письме к другу он не упоминает даже имени возлюбленной. «Сегодня я вернулся из незнакомого тебе места, где пробыл три дня и три ночи...» Это все: важно только выпущенное придаточное предложение, показывающее, что на самом деле его волнует: «...и стало быть, по меньшей мере три дня ни о чем таком не думал...».

Это было в 1783 году. Но и восемь лет спустя, когда в Тёпене, Шварценбахе, Гофе он чаще встречается с девушками, флиртует с ними, поклоняется им, восхищается ими, работа всегда остается самым главным, на чем сосредоточены его жизнь и помыслы. Нет у него той единственной, что занимала бы его чувства. А есть целый круг девушек (он называет его «академией любви»), который он околдовывает своим очарованием, остроумием, силой чувств. Многие из того, что потом будет восхищать в его книгах прежде всего женщин, он предвосхищает своим поведением в этом кругу. Девушки едва ли его понимают или понимают наполовину или неправильно, но они чувствуют, что перед ними молодой человек, с кем не нужно быть настороже, потому что он начисто лишен мужского желания обладать, потому что он их больше

уважает, чем вожделеет, — родственная душа, преисполненная, подобно им, чувствительности. Возникают лишь легкие, воздушные отношения — еще и потому, что для дочерей из знатных домов о нем как муже не может быть и речи.

Эти девушки действительно его академия, его высшая школа. Он научился освобождать подавленные чувства и выражать их. Обретает уверенность, вращаясь в светском обществе, и постигает истину, что женщины обречены на второстепенную роль. Именно в это время, сперва в письмах, зарождается его критика «вавилонско-политического пленения» женщин, которая потом то и дело будет возникать в его романах. «Не только женское тело, но и женскую душу сдавливает вечный корсет». «Их руки заняты так много, их головы — так мало, им дозволено вместо ног шевелить веерами, им ничего не прощают, меньше всего — сердечное чувство». Они «меняют одни цепи на другие».

Но когда он это пишет, он от своих цепей — от сатир — уже освободился, — освободился, глубоко потрясенный. Ибо путь к жизни, к поэзии проложило ему столкновение со смертью.

14

СВЕТ, ОГОНЬ И НИКАКОГО ТЕПЛА

«Адский ледяной поток смерти ударил по моим чувствам, я упал навзничь, и сердце мое замерло перед видением — оно произнесло мое имя. И я произнес твое имя — и больше мы ничего не могли сказать, только в блаженстве прижались друг к другу блаженными сердцами... Ах, я теперь еще вижу, дорогое мое чудо, твою смущенную и удивительную улыбку, твое раздумывавшееся и трепетное лицо, твои влажные глаза... Я еще вижу, как позади нас, замерших в объятии, заходит светило, я еще чувствую, как мои глаза полны слез и язык захлебывается! О, как долго тебя не было!.. Я каждый день думал о тебе — ты видишь, я в тысячу раз нежнее, чем прежде, ах, я несказанно люблю тебя теперь... Теперь я стал старше и с тех пор многое потерял... Скажи и ты, разве и с тобой не произошло того же?»

Эта пара в любовном объятии не мужчина и женщина, а Жан-Поль и Иоганн Бернгард Герман, как они изображены (к счастью, дальше не в таком духе) в наброске «Биографические забавы». Идя из «Геспера»,

Жан-Поль видит в парковой беседке скелет. В черепе он находит свои письма и слышит позади себя голос: «Это мой скелет». Оборачивается — и заключает в объятия своего мертвого возлюбленного, который должен воскреснуть в его творении. «Это был мой Герман».

Потеря друга, который скончался в двадцать девять лет, потрясла Жан-Поля больше, чем смерть Эртеля и брата. Это потрясение дало выход его творческой силе: чувство дружбы, очень похожей на любовь, которому положила конец смерть. Эта дружба и эта смерть снова и снова требуют воплощения. Воспоминание о Германе — источник, из которого он черпает материал для персонажей многих романов: это Лейбгебер, Шоппе, Вульт, Гианоццо — негибимые, не приспособляющиеся к обстоятельствам.



Конечно, глаза достают
смотреть на картины сияющие,
но это только оттого, что сердце
очень скоро забывает о том, что ему нужно
все расти и расти, как роса оно преледе.

Расточительно и подробно живописуется в романах блаженство дружбы. Гармония чувств и духа столь же неотъемлемые составные ее, как и проявления телесной нежности: поцелуи и объятия. «Их закружил и сблизил вихрь любви, они открыли объятия друг другу и беззвучно упали на землю, их души сроднились, их тела замерли, поток любви и блаженства вздымался над ними...» — написано, например, в «Геспере», и наивность, с какой он применяет словарь любви к чувству

дружбы, показывает, что эти отношения не носили гомосексуального характера (хотя изначально, возможно, и были так окрашены). Это язык эпохи сентиментализма, которая почитает и культивирует чувства как бюргерскую добродетель и доводит их изображение до границ того, что можно выразить словами (и вынести).

И все-таки Жан-Поль, это двойное воплощение чувствительности и трезвости, догадывается об эротической стороне культа дружбы, которая, вероятно, играла определенную роль в его отношении к внутренне изменчивому и разбросанному, но внешне очень красивому Герману. Он хотел бы когда-нибудь, объясняет он другу Эртелю, «обручиться» с Германом и намекает при этом на «обычай морлакков, у которых двое друзей по-настоящему сходятся и их брак торжественно освящается». Он напоминает и о греках, у которых «дружба мужчин часто была, собственно, браком», и затем продолжает: «Все наши ощущения должны опираться на что-то телесное, и огонь греческой дружбы у нас встречался бы еще чаще, если бы его питала и телесная красота... То, что это пламя в конце концов исчерпывается чувственной щекоткой и дрожью, отвратит лишь того, кто считает плотские наслаждения чем-то низменным».

Из переписки видно, что письма Рихтера по тону всегда на несколько градусов теплее. Таких фраз, как: «Мне нужно написать тебе еще сто вещей. Сто первая та, что никого я так сильно не люблю, как тебя и себя», у Германа нет. В то время как Рихтер, подобно влюбленному, изливает свои чувства, Герман прячет свои за дерзостью и цинизмом. Его «скабрезная манера», как с испугом и весело называет это Рихтер, диктуется не удовольствием от грубости, а потребностью легкоранимой души в самозащите. Желанием заглушить потрясения.

«Ты знаешь, что в отношении женщин... я еще так же чист и невинен, как двухмесячный ребенок... — пишет двадцатисемилетний студент медицинского факультета из Эрлангена, после того как он впервые (заплатив за это драгоценный гульден) прошел курс практического акушерства. — Я все еще несведущий человек, за которого ты сам обычно выдаешь себя и которым ты, может быть, действительно и являешься... Короче говоря, заметь себе день, когда... я впервые всунул свой правый указательный палец в живое влагалище. Видел бы ты, каково мне было, как

охотно от стыда и отвращения я отсрочил бы все это, однако не мог же я дать заметить сокурсникам свое полное неведение в таких делах, но что толку; с пылающим лицом я отважился, и мне все удалось лучше, чем я мог бы желать, окажись у меня намного больше времени. Что же будет со мной, если мне когда-нибудь придется коснуться жены одиннадцатым пальцем».

Но до этого не дошло. Вечно обремененному долгами студенту нечего и думать о женитьбе. Бедность и вызванный ею стыд не позволяют ему приблизиться к девушке даже в воображении. Его сексуальный голод — следствие голода материального, и, поскольку последний никогда не уменьшается, никогда не проходит и первый. А превратить, подобно Рихтеру, нужду в добродетель он не умеет. В то время как его друг, полностью поглощенный своей высокой целью, умеет подняться над бедностью, Герман погибает от нее. Когда читаешь полные сетований и обвинений, стыда, гордости и отчаяния письма этого отстаивающего свою независимость человека, его смерть кажется добровольной — причем не только из-за высказанных в этих письмах мыслей о самоубийстве. Если подумать, что с ним стало, пишет он за год до смерти — «человеческое тело, которое разрушено ипохондрией и превратностями судьбы, как у многих других юношей — онанизмом, и которое... душа собирается скоро покинуть», — то «не удивительно, если я совершу безумство и опережу последнюю каверзу мнимой слепой судьбы какой-нибудь умышленной добровольной выходкой».

Началась эта поучительная жизнь интеллигента — выходца из мелкого бюргерства в Гофе двумя годами раньше жизни Рихтера. Он единственный из восьмерых детей бедных суконщиков пережил полные лишений годы детства. Хотя дома ему всегда приходилось помогать в работе, одаренный мальчик принадлежал в школе к числу лучших учеников. В особенности он любил естественные науки и потому после окончания школы решительно отказался от изучения теологии: он хочет стать врачом. Когда обходной путь через ученичество в аптеке не удался, он последовал за друзьями Эртом и Рихтером в Лейпциг — как теолог, но только для видимости: через два семестра он переходит на медицинский факультет, живет впроголодь за счет небольших частных стипендий и временного бесплатного стола, дает уроки, закладывает одежду, берет займы, прибегает к помощи Эртеля и Отто,

нанимается фамулусом, гувернером, слугой и тем не менее никогда не может раздобыть средств для регулярного медицинского образования.

Ведь студент-медик не пользуется привилегиями, как теологи. Прослушать курс хирургии ему не удастся, потому что лекции стоят 10 рейхсталеров в год. За право присутствовать при родах надо уплатить два гульдена, за акушерскую практику — семь, плюс еще «оплата медикаментов, которые могут понадобится роженице». У него нет денег на книги («Если бы я мог купить хотя бы только эркслебенский краткий курс физики». «Теперь мне не хватает некоторых нужных, как Библия теологам, книг, но где взять денег?») «Потому я в девять часов пошел в коллегию, чтобы выручить деньги... за книгу, которую покупал в Лейпциге трижды, в Гофе один раз и в Эрлангене один раз за 2,45, и теперь снова должен ее продать»). Но полную безнадежность он испытывает оттого, что у него никогда не будет достаточно денег, чтобы оплатить защиту диссертации. А если это чудо действительно произойдет, то, кроме титула доктора, ему это ничего не даст. Письма бывших сокурсников, пытающихся практиковать где-то в Германии, полны отчаяния.

Он постоянно убеждает себя, что тот университет, который он сейчас посещает, самый дорогой, и спасается бегством в новый. Чтобы заработать, он, голодая, харкая кровью, днями и ночами пишет две книги («О множественности элементов», «О свете, огне и тепле»), и один берлинский издатель их публикует, но мизерный гонорар тоже не может улучшить его положения. Он строит фантастические планы, как выбраться из нужды: хочет стать монахом, отправиться в Ост-Индию, завербоваться в солдаты. Когда болезнь и отчаяние угрожают ему безумием, он внезапно срывается с места и каждый раз превозносит целебное действие путешествий. Из Лейпцига он отправляется — всегда пешком — в Потсдам и Берлин, в Цейц и Йену, через Гарц в Вольфенбюттель, Брауншвейг, Гельмштедт, Магдебург, Дессау, Геру, Дрезден, Прагу, из Эрлангена через Бамберг и Готу в Гёттинген, оттуда в Кассель, Франкфурт, Майнц, Корвей, Пирмонт, Гамельн, Детмольд, Падерборн — в любое время года — и шлет друзьям поразительно интересные историко-культурные описания, в которых отчитывается за каждый истраченный на питание и жилье грош.

Чтобы увидеть прекрасных дочерей французов, живших в Потсдаме, он по воскресеньям ходит в их церковь, где «проповедовали

по-французски, а я слушал и ничего не понимал, потому что у меня плохой слух, но хорошее зрение».

Однажды под Берлином он в деревенском доме увидел, как делают колбасу, которую ему предлагают есть, и аппетит у него не пропадает лишь потому, что он слишком голоден. «И все-таки на поданный сперва суп я едва мог смотреть, не говоря уже — жрать его. В комнате были две большие кошки, и одна из них, когда я ел, достала кусок вонючих кишок, лежавших в тазу, сожрала немного и, как только подошла служанка, бросилась бежать, потянув за собой через комнату все внутренности; служанка отбила их, бросила в таз, и тот, кто придет после меня, наверняка должен будет это жрать».

Из Йены он сообщает о студенческом обычае, который потом распространится на все немецкие высшие школы: «Когда студенты с чем-нибудь согласны, они топают ногами, когда не согласны — шаркают ногами».

Разговоры саксонских инвалидов в трактире в Барби интересуют его больше, чем «двадцать лекций наилучших профессоров», и, когда сюда заявляется итальянец, который выдает себя за химика и показывает «всякие фокусы с фосфором», Герман называет себя алхимиком. «В конце концов мы заговорили по-латыни, и, как потом выяснилось, он был беглым студентом из католических краев».

Меняя в который раз университет, он так описывает свой уход: «В воскресенье... утром в пять часов я вышел из Эрланга, как Дон Кихот. Коричневый жилет и брюки, которые до сих пор мода запрещала мне носить, белый сюртук, носить который я стыдился уже в Гофе, в правом кармане грифельная доска, бумага (это письмо — часть ее), записи, план вместе с необходимыми выписками о Гёттингене, носовой платок, красные перчатки, в левом кармане ботинки со шнурками, коробка сургуча, печать, гребенка, бритва etc., под левой рукой зонт — больше для того, чтобы спрятать в нем узел с одним носовым платком, двумя рубашками, галстуком, парой носков и ночным колпаком, чем самому прятаться от дождя...» Пьяные подмастерья, поющие, меняя в зависимости от настроения мотив: «Это, это, это и это, это тягостный конец» (чем поставляют исследователям народных песен старейший вариант этой песни), и «католические фигурки» на дороге, изображающие ужасные страдания «превосходного человека и

правдолюбивого мужа», утешают бедного студента в его собственной участи.

В Берлине он присутствует при казни вора и с трудом скрывает свое потрясение. Хотя он и утверждает, что испытывал интерес медика к телу, подвергнутому колесованию, он яростно спорит с офицерами о бесчеловечности подобной казни, а злорадные слова зевак долго не выходят у него из головы.

Эта вторая поездка в Берлин интересна еще и тем, что дает представление об отношениях между издателем и автором, — отношениях, основанных на полном произволе. Ведь Герман едет в Берлин, чтобы выколотить у издателя Декера гонорар за свою вторую книгу, едет на сей раз из Лейпциг-Ойтрича, в почтовой карете, правда безбилетным пассажиром, то есть платя самому кучеру полцены. (Официальная стоимость проезда из Лейпцига в Берлин летом — 3 талера 23 гроша, зимой — 4 талера 10 грошей.) Хотя оба при этом многим рискуют (кучер — заключением в крепость, пассажир — 10 рейхсталерами), этот обман почты — дело общепринятое. В карете, доставляющей Германа в Берлин, едут три настоящих пассажира и семь безбилетных. Когда дорога идет в гору, безбилетники выходят первыми. Выезжает Герман в субботу вечером, прибывает на место в понедельник в полдень — на полдня раньше срока благодаря хорошей погоде.

Во вторник он спешит на квартиру и в контору Декера на Брюдерштрассе, но застает там лишь бухгалтера, который-де ничего не знает. Господин Декер, должно быть, в саду около Хольцмаркта. Там он действительно его находит, тот много говорит о своей поездке в Швейцарию, но ничего — о гонораре Германа. Пусть он в одиннадцать часов придет к нему на квартиру. Он приходит, но Декера опять нет дома: тот в гостях, а на следующий день уезжает в деревню. Когда Герман настаивает на встрече вечером, ему назначают прийти в шесть часов вечера; Декера он не застает, зато для него есть письмо, в котором ему предлагается мизерный гонорар — в противном случае он может забрать свою рукопись. Получив аванс, едва, покрывающий дорожные расходы, бедный автор в конце концов уезжает, «в высшей степени раздосадованный», как он пишет, на самом же деле — в отчаянии.

«Я мечтаю стать когда-нибудь полезным миру и близким, но теперь, когда мне надо накопить знаний и заложить основу всему, мне

помогают так плохо, что я едва могу просуществовать», — жалуется он, но и обвиняет, обнаруживая более глубокое понимание дел: «Годись я в солдаты, я бы продался какому-нибудь князю, чьим подданным не являюсь, иначе пришлось бы стать им бесплатно, и повернулся бы спиной к стране, где мои бедные родители помогают умножать доходы, за счет которых самые богатые, свободные от налогов сынки чиновников получают самые большие блага». «Кто накормит меня, кто вознаградит меня за все телесные и душевные муки, что я претерпел ради блага других?.. Я не могу изучать даже того, что помогло бы мне спасти людей от чумы, подвергая себя опасности заболеть ею... И пусть я буду дитя природы, которое беспрепятственно может жрать желуди и корни, лишь бы мне дана была свобода да небо, естественной красотой которого я мог бы любоваться».

Это он написал в 1788 году. Можно себе представить, как должна была всколыхнуть его через год революция во Франции. Но в его письмах о ней ни слова. Переворот, о котором он пишет, должен произойти... в философии. Под впечатлением лекций по физике великого Лихтенберга он надеется на полную перемену в философии. Все предрассудки стариков должны быть отменены, все веками боготворимые авторитеты — свергнуты, для того чтобы возникла подлинно «гетеродоксальная и непреложная философия», опирающаяся на «знание природы и ее законов».

Разработать свои мысли об «изгнании всех других философий в адскую пропасть» и концепцию «истинной, чистой, полезной философии» он подробнее уже не может. Запись в книге смертей гёттингенской церкви св. Иоганна гласит: «Иоганн Бернгард Герман, Studiosus Medicinae из Гофа, в Байройте, умер 3 февраля 1790 года от подагры и кровотечения, в возрасте 29 лет, похоронен 5 февраля 1790».

Полтора годами раньше он писал Рихтеру: «Я и ты — два гения, это доказывает наша одинаковая жалкая судьба», но относительно «одинаковой судьбы» он оказался не прав. В то время как он исчез безымянным, его друг достиг всего, что наметил. Чтя память великих, мы должны иной раз со скорбью помянуть и тех, кому неблагоприятные обстоятельства помешали осуществить свои добрые задатки, кто унес в могилу несозревший протест, сформировавшиеся идеи, но кто стойкостью своей способствовал тому, чтобы великие стали великими.

Из времен учительства Рихтера в захолустной шварценбахской школе до нас дошло следующее предание: хозяйка входит в его комнату и видит, что он, бледный и потерянный, стоит у окна. Она заговаривает с ним — он не слышит. Лишь когда она в третий раз обращается к нему, он отвечает, пробуждаясь, как после гипноза, и горячо благодарит женщину, которая своим приходом спасла его от вспышки безумия.

Это произошло примерно в то время, когда он, двадцати семи лет, ноябрьским вечером записал в дневнике: «Самый важный вечер в моей жизни: я ощутил мысль о смерти; понял, что положительно безразлично, умру я завтра или через тридцать лет, что все планы и все на свете у меня рушится и что я обязан любить бедных людей, чья жизнь так быстро гаснет...» И позднее: «Я никогда не забуду 15 ноября. Пусть у каждого будет свое 15 ноября. Я почувствовал, что существует смерть... В тот вечер я распластался на своем будущем смертном одре... увидел себя с повисшей мертвой рукой, с запавшим лицом больного, с остекленевшими глазами, — в этой последней ночи я еще слышал, как бьется моя буйная фантазия...»

Это видение смерти возникло не внезапно. Оно давало о себе знать и ранее. И явилось вершиной долгого кризиса. Поворотным пунктом оно стало лишь потому, что Рихтер осознал, что с ним происходит. Дневниковая запись содержит в себе подобие будущей программы: «... и что я обязан любить бедных людей».

Смерть в то время можно было наблюдать чаще и явственнее, чем в наше время. Медицина была по-детски беспомощна, перед эпидемиями она была бессильна. Примерно половина детей умирали, не достигнув тринадцати лет. Средняя продолжительность жизни — около тридцати лет. Умирали не в больницах, а дома, в кругу семьи. Смерть была составной частью жизни, повседневности. Но молодой сатирик пока что жил вне повседневности, в мире философских систем, в царстве литературы. Он боролся против княжеского произвола и верноподданнической глупости, то есть воевал за человечность, но людей вокруг себя едва замечал, так как полностью был сосредоточен на будущем.

И вот встреча со смертью возвращает его к действительности. В 1786 году умирает Эртель, в 1789 году отчаяние от нескончаемой бедности семьи приводит брата Генриха к самоубийству. В 1790 — скончался Герман. Мысль о неизбежности смерти ошеломляет Рихтера. «Эта мысль вызывает безразличие ко всем занятиям» — так заканчивается дневниковая запись.

Его и прежде странные «занятия» все еще не приносят успеха. Но это не конец, а новое начало. Не настань оно, возможно, перенапряженный дух в этом истощенном, измученном сексуальной неудовлетворенностью теле помрачился бы. С Ленцем это случилось, когда ему было, как и Рихтеру, двадцать семь лет, с Гёльдерлином — в тридцать два года.

Уже в предшествовавшие годы мысль о смерти занимала его, мучила и требовала выражения. Об этом свидетельствуют различные, большей частью сатирические статьи того времени: «За и против самоубийства», «Указания касательно моей эпитафии», «В каких выражениях следует ежегодно после моей смерти отдавать мне должное», «Уверенность, что я мертв», «Жизнь после смерти», «Мои похороны заживо» и ряд других. Но о пути, по какому он пойдет после поворота, яснее всего говорит небольшое сочинение «Что такое смерть» (позже оно в измененном виде под названием «Смерть ангела» войдет в роман «Квинт Фиксляйн»). Его ненависть к сильным мира сего, к «коронованным гербовым зверям», которые когтят свою добычу, не проходит, к ней присоединяется теперь сострадание к маленькому человеку, к угнетенным и восхищение теми, кто «вопреки всему не перестает глядеть на солнечную звезду долга» даже тогда, когда господствуют насилие, несправедливость, и порок, и смерть близких приводит их к одиночеству. «О вы, угнетенные люди... где уж вам состариться, если круг друзей юности редет, если могилы ваших друзей, подобно ступеням, ведут вниз к вашим собственным могилам и если старость — это остывшее поле битвы немым пустым вечером...»

Но не только литературные неудачи и смерть друзей ввергают его в депрессию. Сын правоверного пастора, начавший философские штудии с тринадцати лет, переживает и кризис своего мировоззрения. Как гетеродоксальный теолог, он борется против церковной догмы, верит вместе с Лейбницем в лучший из миров, перенимает у Мендельсона, Николаи и Лессинга терпимость и свободомыслие, и, наконец, Вольтер

приводит его к осуждению церкви, а Руссо — к исповедованию революционных теорий. Лишь от одного он не может отказаться вопреки всем ухищренным доводам разума — от детской веры в бога.

Многие годы он негодует против этой своей неспособности, проклинает свое религиозное воспитание как «насилие благочестием», называет веру «устаревшим вздором», «ослепляющим разум». Теперь, в конце восьмидесятых годов, в борьбе между разумом и чувством начинает побеждать чувство.

Он читает (как и все, что может достать) французских материалистов, в особенности Гельвеция, иногда с пользой. Но их атеизм отпугивает его. Ему кажется, что их представления о морали оправдывают самый низменный эгоизм. То, что материализм проникает прежде всего в княжеские дворцы, делает, разумеется, особенно подозрительным его в глазах социального обвинителя, не устающего клеймить пороки придворных. В этом он не одинок среди немецких оппозиционеров. Для деятелей «Бури и натиска» руссоистский антиматериализм и его религия чувств, далекая от церкви, значили не меньше, чем его революционные общественные идеи. А немецкие философы конца Просвещения, чьи основные произведения появляются в это время (он, конечно, читает их), ни в коем случае не признают ни материалистического, ни атеистического взгляда на мир. Все религиозные вопросы они, как Кант, исключают из науки и относят их к вере или же, как поздний Лессинг, как Гёте, с их пантеизмом, переносят бога из потустороннего мира в мир земной. А Якоби, «атеист умом и христианин сердцем», разумом создает реалистический образ мира, которым правит религия чувств.

К такому компромиссу между разумом и верой в конце концов приходит и Рихтер, приходит навсегда. Все с пылом и рвением усвоенные философские системы, вся проницательность, вся сила ума оказываются слабее впитанной в детстве веры. Без бога мир для него пуст и мертв. Без бессмертия души жизнь бессмысленна, человек — ничто. Представление о мире без бога вызывает в нем ужас. Чтобы избавиться от этого ужаса, он облекает его в слова. Великолепное видение страха (его породил ужас перед привидениями, испытанный в детстве) позднее впервые разнесет его славу за пределы стран, где говорят по-немецки.

«Первый набросок наполнил мою душу ужасом, и я дрожа занес его на бумагу», — говорит он в одном письме от 1790 года, немного отступая, конечно, от правды — во имя большей драматичности. Ибо в его наследии имеются более ранние заметки, относящиеся еще к 1785 году, которые полностью опираются на воспоминание о призраках, — «Как покойники совершают богослужение и читают проповеди». Затем, в 1789 году, — первый набросок под названием «Описание атеизма. Он проповедует, что бога нет». Но вскоре на смену персонифицированному атеизму приходит Шекспир: «Погребальная проповедь Шекспира». Сочинение это под названием «Плач покойного Шекспира перед мертвыми слушателями в церкви о том, что бога нет» войдет в «Баварскую крейцеровскую комедию» — стало быть, останется неопубликованным. Когда в середине девяностых годов был написан «Зибенкез», работа начинается заново. Сперва был задуман ангел, который должен возвестить миру, что бога нет, но затем Рихтер решается на самое смелое, самое страшное: провозвестником безбожия становится сам Христос. И призрачная сцена на кладбище расширяется при этом до космического видения гибели Вселенной.

Земля дрожит от резких звуков, бессолнечное небо затянуто туманом, время указывает циферблат без цифр, веки поднимаются над пустыми глазницами, и вечность лежит на хаосе, грызет его и пережевывает себя самое. Мертвые в страхе взывают к богу, а Христос отвечает: «Нет его... Я прошел через миры, я поднимался к солнцам и по Млечным Путям пролетал через небесные пустыни, но бога нет... Мертвое, немое Ничто! Холодная, вечная необходимость! Всем управляет случайность безумия... Как беспредельно одинок человек в огромной могиле Вселенной!» Гигантский змий вечности сжимает мироздание, сдавливая его, колокол отбивает последний час — и тут рассказчик просыпается. «Душа моя плакала от радости, что может опять молиться богу... И когда я встал, солнце пылало глубоко за налитыми пурпурными колосьями ржи... и между небом и землей бренный мир радостно простирал свои короткие крылья и жил, как и я, пред лицом Предвечного Отца; и вся природа окрест меня изливала мирные звуки, словно далекие вечерние колокола».

Эту веру он сохранил в себе на всю жизнь. Так же как он всегда оставался человеком Просвещения, который не принимал участия ни в каких отступлениях романтизма вспять и даже в годы Реставрации

оружием разума боролся против новых мракобесов, так же он никогда больше не отступался от веры в бога и в бессмертие души. Сожалеть об этом как об идейной отсталости могут лишь близорукие, они не видят, что с этим поворотом связан рост его поэтической силы. Кризис преодолен. Он нашел опору, и это открыло ему глаза на действительность. Поворот к вере становится поворотом к поэзии.

«Девять лет кряду, как у Горация, — пишет, оглядываясь назад, Жан-Поль в 1821 году, — сатира закрывала от юного сердца все, что бьется и блаженно трепещет, что волнует, и любит, и плачет. И когда оно наконец на двадцать восьмом году жизни смогло открыться и распахнуться, оно излилось легко и мягко, как теплое облако, проливающееся дождем под лучами солнца, — я ничего не делал, только вглядывался в этот поток, и все мысли рождались не обнаженными, а облеченными в слова, во весь свой рост, не урезанные ножницами искусства».

Этот поток начался уже через несколько недель после видения смерти. И начальные фразы, написанные тогда, в декабре 1790 года, так прекрасны, что их стоило бы выучить наизусть, как стихи: «Сколь кроткой и штилю морскому подобной были жизнь и смерть твоя, предовольный училишка Вуц! Тихое теплое небо позднего лета не заволакивало твою жизнь тучами, но проливало благоухание. Годы твоей жизни были подобны колебанию лилии на ветру, и, когда ты умер, это было как если бы лилия сломалась, а ее лепестки еще продолжали трепетать, ты еще не лежал в могиле, но уже тихо почивал».

16

СОЛНЦЕ СВОБОДЫ

Тем, что наряду с Вашингтоном, Бентамом, Костюшко и Клопштоком Шиллер был удостоен звания почетного гражданина Французской революции, он обязан, вероятно, в первую очередь некоему господину Швингденхамеру из эльзасского городишка Пфирт. Этот эльзасец, именовавший себя писателем Ла Мартилье, поставил на сцене революционного Парижа переработанных «Разбойников», где «Роберт, предводитель brigands» ^[23], выступал в якобинском колпаке. О почести, оказанной революционно настроенному юноше, каким он к

этому времени уже не был, Шиллер узнал из «Монитор». За несколько недель до революции он стал профессором в Йене и в лекции по случаю вступления в должность нарисовал картину современного мира, в котором «человек, утративший равенство своим вступлением в общество, снова обретает его благодаря мудрым законам», то есть мира, в котором нет причин для переворотов. Когда парижские бунтари сделали его своим почетным гражданином, он как раз задумал послание в защиту Людовика XVI и начал уже писать его, однако «эти жалкие палачи» в Париже казнили короля, и послание стало ненужным. И в течение еще полутора столетий школьники узнавали из шиллеровских стихов, что революции превращают «женщин в гиен».

Гёте тоже не симпатизировал великому событию. «Это правда, я не мог быть другом Французской революции», — признавался он Эккерману в 1824 году, когда пытался на расстоянии десятилетий вынести справедливый приговор событиям. «Все апостолы свободы мне всегда были отвратительны...» — говорил он весной 1790 года, и, когда писал: «В эти сумбурные дни франкомания, как некогда лютеранство, мешает спокойному образованию», это свидетельствовало, что порядок для него важнее перемен. Ниспровержение всего существующего пугает его, занес он в 1793 году в «Записные книжки», сказав далее, что не понимает, как из этого может произрасти какое-нибудь благо.

Многое, что он тогда написал, противоречит знаменитой фразе, которую он будто бы сказал своим соратникам по контрреволюционной армии вечером после канонады под Вальми: «Здесь и сегодня начинается новая эпоха в мировой истории, и вы можете сказать, что вы при этом присутствовали». Это противоречие позволило предположить, что эти красивые слова не были сказаны в 1792 году, а придуманы в 1820 (когда Гёте писал «Кампанию во Франции»); в пользу этого говорит многое: то, что Гёте сжег оригинал походных дневников, его ожидание, что войска пойдут прямо на Париж (он уже приказал наклеить на холст специальные карты для победного марша), равно как и допущенная им ошибка в датировке. В «Осаде Майнца» офицеры у него 28 мая 1793 года повторяют его знаменитое высказывание и добавляют: «Весьма поразительно, что не только суть, но и буква этого пророчества точно исполнилась: французы датируют свой календарь начиная с этого дня». Хотя это и верно, но 28 мая офицеры не могли

этого знать, потому что декрет, которым был введен республиканский календарь, начинающийся с 22 сентября 1792 года, был издан 5 октября 1793 года. Тут, пожалуй, больше поэзии, чем правды, но правда поэзии бесспорна, это также доказывает, насколько впоследствии легче оценить величие события: через тридцать лет — Гёте или через сто восемьдесят лет — нам, которые наверняка тоже, лишь на иной лад, страдают слепотой, обусловленной временем.

Гёте и Шиллер далеко не прогрессивным образом откликались на текущие события, но тем не менее их творчество в целом оказывало прогрессивное воздействие — это не всегда понимали их левые критики. Полностью на правых позициях тогда стояла лишь небольшая кучка интеллигенции: среди них был наивно верующий Клаудиус, Якоби и старый Глейм, который воспевал гренадеров Фридриха и считал, что умерший три года назад прусский король достаточно сделал для благосостояния и правопорядка, так что все, что ставит под угрозу прусские достижения, дурно. Созданный при его участии журнал «Дойче монатсшрифт» перечеканил ненависть к революции на ненависть к французам и стал сеять тот вид шовинизма, который потом, под властью Наполеона, расцвел пышным цветом. Еще не вполне уверенная в своей принадлежности к Германии, программа нового журнала начинается словами: «Мы немцы, бранденбуржцы...», и открывающее первый номер длинное стихотворение провозглашает в первой строке: «Германия — первый народ из всех народов земли», чтобы затем предать поруганию революционных французов и сообщить немцам, как хорошо им живется «под законами, любовью рожденными и мудростью возвращенными».

Но основная часть поэтов и философов уже тогда была левой и приветствовала революцию (ее начало): Клопшток — восторженно, во многих одах («Франция добилась свободы. Века благороднейшее деяние возшло на Олимп!»); Виланд был убежден, что Франция отстояла «доброе дело человечества», и приветствовал революцию трезво, критически оценивая ее в статьях; Гердер приветствовал ее в письмах, беседах, философских трудах. «Я считаю, что ваш пастор поступает правильно, — писала в 1792 году герцогиня Луиза, жена Карла Августа, Шарлотте фон Штайн, — вознося молитвы за королевскую семью Франции. Гердер так не поступил бы». Гердер действительно вместо этого читал «странные» проповеди, в которых

обрушивался на «персон высокого ранга». А жена Гердера Каролина писала (и не кому-нибудь, а Якоби) в это время: «Солнце свободы восходит, это бесспорно». Бюргер воспевал в стихах «свержение деспотизма в Галлии», Шубарт в песне «К свободе» отправляется на поиски ее, чтобы в конце концов найти ее у «легких галлов», воспитанники теологической школы в Тюбингене, Гёльдерлин, Гегель и Шеллинг, отпраздновали годовщину революции под Деревом свободы, Фосс, один из немногих, чье восхищение революцией никогда не проходило, написал не столь уж поэтичную, но очень патетическую «Песнь неофранков» на мелодию «Марсельезы»: «Будь благословенна, милая Свобода!.. С оружием — на бой. За Свободу и Закон! Присоединяйся, гражданин, присоединяйся! Трепещите, наемные своры!»

Всеобщее воодушевление было велико. Очевидцы — Кампе, Вильгельм фон Гумбольдт, Эльснер, Архенгольц, Форстер — рассказывали в журналах о событиях в Париже. В соседних с Францией пограничных областях и даже в Саксонии вспыхнули крестьянские восстания. Когда на Лейпцигской осенней ярмарке в 1791 году были поставлены пьесы Иффланда и Коцебу, высмеивавшие революцию, зал взорвался таким негодованием, что режиссер вынужден был выйти на сцену и извиниться перед публикой за выбор пьес.

Кант, по свидетельству Фарнгагена, услышав о провозглашении Французской республики, со слезами на глазах воскликнул: «Теперь я могу сказать, как Симеон: отпусти, Владыко, раба твоего с миром, ибо видели очи мои спасение твое!..» Выступить публично он, правда, отказался («когда сильные мира пребывают в состоянии опьянения... не следует пигмею, коему дорога его шкура, вмешиваться в их спор...»), но в работах, изданных после революции, он не раз выражает завуалированно свое положительное отношение к ней. При этом он заранее опровергает теорию Шиллера, что, прежде чем освободить личность от опеки и предоставить ей свободу, надо сперва к ней приучить. С этим он никогда не мог согласиться, написал он в 1793 году в трактате «Религия в границах чистого разума», поскольку при таком условии свобода никогда не придет, «ибо нельзя созреть для нее, не живя на свободе».

Из философов самым решительным защитником революции был, несомненно, Фихте. Сын бедного саксонского ткача, ровесник Жан-

Поля, выросший, подобно ему, в деревне, он прошел такой же трудный путь к образованию и взрастил свои убеждения на такой же политической почве — бюргерско-демократической. «Господин Р. считал наивным, что тот, кто не работает, не должен есть, — пишет он совершенно в духе Жан-Поля, полемизируя с публицистом Рейбергом, — да будет нам позволено считать не менее наивным, что только тот, кто работает, не должен есть или же есть самое несъедобное». В 1793 году он анонимно опубликовал два философско-правовых сочинения, названия которых уже говорили об их направленности: «Требование вернуть свободу мысли, которую князья Европы до сих пор подавляли» и «К исправлению суждений публики о Французской революции». Он спрашивал: «Имеет ли вообще народ право вносить изменения в свое государственное устройство?» — и отвечал утвердительно. «Человечество мстит самым страшным образом своим угнетателям, революции становятся необходимыми», — говорит он «деспотам, которых нужно растоптать», монархам (из которых, кстати, и он исключает «бессмертного Фридриха»). И хотя он тоже, как поэты, патетически говорит о свободе и разуме, он все же видит и экономические причины общественных изменений. «Как только непривилегированный поймет, что при помощи договора привилегированный его обделяет, он имеет полное право расторгнуть невыгодный договор... Он более не почитает честью для себя, чтобы горстка знати или принцев за его счет содержала блестящий двор или что так уж полезно для спасения его души, чтобы кучка бонз жирела, выжимая все соки из его угодий». Уже став профессором в Йене и Берлине, он, в сущности, всегда оставался демократом; только после 1806 года на его идеалы легла тень шовинизма, что позволяет и реакционерам ссылаться на него.

Единственным крупным немецким писателем, которого увлечение революцией сделало политиком, был Георг Форстер, путешественник, естествоиспытатель, знаток искусства. Вместе с Александром фон Гумбольдтом он посетил в 1790 году Париж и вернулся приверженцем революции. Когда после поражения австрийско-прусской армии французские революционные войска продвинулись к Рейну и оккупировали Майнц, библиотекарь Форстер стал одним из ведущих деятелей революционного клуба «Друзья равенства и свободы», а после основания недолговечной Майнцской республики — ее вице-

президентом. Немецкая республика на левом берегу Рейна была провозглашена 17 марта 1793 года; 30 марта Форстер вместе с Адамом Люксом приехал в Париж и предложил присоединить ее к Французской республике. Вернуться он уже не смог: государство, которое он представлял, больше не существовало! Немецкие князья с помощью армии насильно восстановили старые порядки.

Форстер остался в Париже. Потрясенный, пережил он якобинский террор, убийство Марата, казнь Шарлотты Корде, казнь и своего друга Люкса, но остался верен демократическим идеям. «Неиссякаемым» кажется ему «поток светлого разума» в революции, до конца которой он не дожил. За полгода до падения Робеспьера он, после долгой болезни, умер.

В Германии, где под впечатлением парижского террора общественное мнение резко переменялось, Форстера поносили, чернили, в лучшем случае — жалели. Фридрих фон Штольберг, прежде восторгавшийся революцией, пожелал, чтобы «память о нем... была забыта в каком-нибудь чулане», а Шиллер оказался так бестактен, что через три года после смерти Форстера осмеял его в «Ксениях» как неистового безумца, который «по совету бабы сажает дерево свободы» и «треплет кокарду». Тем самым он включился во всеобщую контрпропаганду реакции, влиянию которой поддались почти все, за исключением очень немногих (например, Фосса и Книгге). Создание Майнцской республики объявляется теперь «государственной изменой», якобинцы — «кровавыми чудовищами», приверженность республиканцам — «партийным бешенством» и «подстрекательством».

«Поэт Клопшток вернул свою грамоту французского гражданина с выражением живейшего негодования по поводу происходящих там ужасов», — сообщила «Фоссише цайтунг» 19 февраля 1793 года и перепечатала оду поэта, в которой он признался (не на лживом галльском, «нет, на честном языке Германии, — Германии, которая никогда не убивает властелина») в своей ненависти к французам, ибо они проливают кровь и отрицают бога. Он проклинал «изверга Марата» и вместе со своим окружением снова стал восхвалять христианско-германскую добродетель. А Штольберг для французов изобрел даже понятие «западные гунны».

В «Германе и Доротее» Гёте выразительно и ясно показал, как восторг превратился в разочарованность:

Кто ж отрицать посмеет, что сердце его всколыхнулось,
Грудь задышала вольней и быстрее кровь заструилась
В час, как впервой сверкнуло лучами новое солнце,
В час, как услышали мы о великих правах человека,
О вдохновенной свободе, о равенстве, также похвальном...
...Вскорости небо затмилось. К господству стали тянуться
Люди, глухие к добру, равнодушные к общему благу.
Между собою враждуя, они притесняли соседей
Новых и братьев своих, высылая разбойные рати...

(Перевод Д. Бродского и В. Бугаевского)

Разочарованность эта понятна, ведь никто не отдавал себе отчета, что классовая борьба должна быть кровавой. Те, кто идеалистически упивался свободой, которую принесла первая фаза революции, видели в ней эпоху гуманизма, а не террор мелкой буржуазии, не стремление буржуазии к наживе. Ни якобинцы, которые убивали во имя спасения революции, ни торжествующие финансовые гиены не соответствовали воображаемому идеалу человека. Революция, которая становилась все более кровавой, которая пожирала собственных детей и в конце концов закончилась оргией спекулянтов, не являла благородно мыслящим современникам возвышенного зрелища. Свобода, как они ее понимали, не наступила. В Германии революция была дискредитирована. Тот, кто не предал своих идеалов, надеялся теперь на постепенные перемены или на реформы сверху. Мечта о немецкой республике (при том уровне развития буржуазии утопическая) развеялась.

Кем бы ни были немецкие интеллектуалы — противниками или сторонниками революции, — государственных мужей они превосходили тем, что сразу же поняли историческое значение событий во Франции. Политики были настолько близоруки, что увидели в них сперва лишь изменение политической власти. Так, прусскому министру графу Гербергу революция представлялась прежде всего «возможностью, из которой хорошие правительства должны извлечь выгоду», и, действуя в соответствии с этим, он сразу же отправил в Париж, в Национальное собрание, посланника, который вскоре ответил на письмо своего короля следующим заверением: «Позиция Вашего Величества будет значительно укреплена штурмом Бастилии и

бессилием королевы». Это была та же близорукость, с какой в нашем веке немецкое командование в первую мировую войну не помешало Ленину добраться в Россию по железной дороге через Германию.

Этой исторической тупостью правителей отчасти объясняется то, что усиленная цензура и феодальная контрпропаганда начали действовать с опозданием. Потребовались годы, чтобы понять, что произошло на европейской земле. Потом, правда, были приняты очень жесткие меры: буржуазные идеи стали и в Германии опасностью.

17

РЕВОЛЮЦИЯ И НОЧНОЙ КОЛПАК

Когда в 1789 году во Франции начинается революция, Рихтер находится в глубочайшем кризисе; когда она через пять лет заканчивается свержением якобинцев, он, правда, все еще сидит в своем крохотном государстве (оно тем временем стало прусским), в убогой комнатенке матери, зарабатывает гроши уроками для детей, дальше столичного города Байройт (помимо студенческих лет в Лейпциге) так еще нигде и не был, однако основа писательской славы, известности и благосостояния уже заложена. Опубликованы повесть и роман, готов второй роман, который привлечет к себе внимание; у него уже есть доказательства, что он не ошибся, высоко оценивая свой талант.

Ему тридцать один год, он все еще в нищете, в низах, к которым принадлежит по рождению, но он уже изготавился к прыжку. Он не станет с трудом подниматься со ступеньки на ступеньку, он вознесется — к вершинам литературного мира и к верхушке общества. Аристократия, в чьем праве на существование он сомневается, примет его с распростертыми объятиями, дворы, которые он высмеивает, засыплют его приглашениями, и сами князья, чьи престолы он намеревается сровнять с землей, станут благоволить к нему. Он всюду будет пожинать успехи и наслаждаться ими. Но блеск всемогущих не ослепит его, и он останется тем, кем был, — бедняком из Фихтельгебирге, который верит в бессмертие и в бюргерскую добродетель, самоучкой, который следит, чтобы свет Просвещения не погас и во времена шовинизма и Реставрации, свободным писателем,

который оберегает свою независимость, адвокатом бедных, который ради их блага хотел бы изменить общество.

Как всякая бурная жизнь, полна противоречий и его жизнь; полно противоречий и его творчество: в них его величие, его границы, его красота и его очарование. Всякое истолкование этого творчества строится на двойной основе, поэтому она быстро рушится. Лишь тот, кто мало знает или намеренно многого не замечает, может уверенно говорить о нем. Чем больше вчитываешься, чем внимательнее вникаешь в него, чем больше его постигаешь, в тем большую растерянность ввергает тебя это многообразие. Сотканную биографами красную нить не протянешь сквозь жизнь такого гения, как он, в глянцевою бумагу почитания не завернешь. Если биография не удовлетворяется возведением памятника, она не должна сглаживать противоречий.

Вот, например, отношение Жан-Поля к Французской революции. До свержения жирондистов он относится к ней положительно, затем отмалчивается, чтобы четырьмя годами позже отрицательно высказаться о якобинском терроре. От революции в целом он открыто никогда не отрекался.

Уже в ранних сатирах явственно звучит надежда на смену власти. И когда во Франции начинается эта смена, Рихтер приветствует ее как великое событие века. В сентябре 1789 года он в одной из статей называет это событие освобождением французов из «вавилонского пленения» и в оживленной переписке с другом Кристианом Отто пишет о принятии революции как о само собой разумеющемся деле. Они обсуждают лишь, может ли она распространиться на другие европейские страны. Тут Жан-Поль более скептичен, то есть более реалистичен, чем Отто. Для того чтобы в Германии дело зашло так далеко, как во Франции, считает он в 1793 году, «надо впустить куда больше света в наши черепа и обжечь наши сердца серной кислотой». Восторженному другу цель казалась очень близкой, однако «в эти дни замораживающих мелочей, когда от нашего знамени свободы осталось лишь древко, согреваешься мыслью о грядущем мае рода человеческого».

Итак, надо не покоряться судьбе, а взвешивать факты, надеяться на перемены, работать на них, работать пером. В таком духе он в этот период революции создает два романа, рисующие годы, когда они

возникли. Это революционные годы — но в Германии, родившей не революцию, а только надежду на нее, эта надежда воплощена в романе в идеальных персонажах, готовых готовить революцию.

В первой работе, во фрагменте «Незримая ложа», высказываются окрашенные якобинством соображения о будущих временах, когда «не только не будут, как сейчас, терпеть нищих, но и богачей». И когда Фламин из «Геспера» решает перед казнью обратиться к народу с речью, она звучит как предвосхищение Бюхнера: «Я хочу бросить народу огонь, чтобы испепелить трон. Я провозглашаю:...вы можете поймать и запереть в одну клетку всех пиявок, волков, и змей, и ястребов — вы можете завоевать свободную жизнь или славную смерть. Неужели эти тысячи широко раскрытых глаз все поражены слепотой, все руки парализованы и никто не хочет увидеть и отшвырнуть длинную пиявку, которая ползает по всем вам и у которой отрезан хвост, чтобы двору и коллегиям сподручнее было сосать кровь? Слушайте же, я сам видел, как с вас сдирают шкуру — придворные господа одеты в ваши шкуры. Поглядите на город: что принадлежит вам — дворцы или собачьи конуры? Обширные сады, в которых они разгуливают в свое удовольствие, или каменистые поля, на которых вы до изнеможения гнете спину? Да, вы работаете, но вы ничем не владеете, вы ничто, и вы останетесь ничем — в отличие вот от этого мертвого бездельника-камергера».

Это написано в 1793–1794 годах; и когда несколькими годами позже появляется главное произведение Жан-Поля — «Титан», становится ясно, что он разделяет энтузиазм этих лет: Альбано, главный положительный персонаж, понял на вершине развития, что дело не только в благородных чувствах и помыслах, но и в действиях, и принял решение бороться в рядах французской революционной армии за свободу и «погибнуть прежде, чем погибнет она». Ибо «галльское упоение... поистине не случайно, это энтузиазм, порожденный человечеством и вместе с тем временем... По красному морю войны и крови человечество бредет к земле обетованной».

Но Фламин не произносит своей революционной речи, и Альбано не вступает в революционные войска. Это ведь Германия. Революционным героям противостоит немецкая действительность. В ее условиях более реалистично требовать перемен путем реформ (к чему в конечном счете и сводятся «Геспер» и «Титан»). И когда Наполеон

провозглашает себя императором, Жан-Поль 19 июня 1804 года пишет следующие слова: «Гёте был дальновиднее, чем весь мир, ибо начало революции он презирал уже так, как мы презираем ее конец».

Правда, повод для такого приговора смягчает сам приговор, ибо в нем звучат не угрызения совести того, кто мечтал о свободе, а стал реакционером, но гнев республиканца, вызванный восстановлением во Франции монархии; и все-таки это — отступление (пусть и не такое решительное, как может показаться, когда читаешь эти слова мгновенного разочарования). И отступление это было подготовлено.

Уже в 1799 году, во время работы над статьей памяти Шарлотты Корде, убийцы Марата, которая кажется ему воплощением свободы (жирондистов) по сравнению с кровавым господством (якобинцев), он говорит в связи с Якоби, как «отвратительно раскрывать книги о днях и ночах революции, неразборчивые из-за пятен крови»; с годами он ничего больше не хотел слышать о революции. А еще раньше, в юношески пылком «Геспере», мысль о революции больше предмет спора, чем пропаганды, и Виктор, из двух друзей более сильный, потому что более разумный, беседуя в революционном клубе, все время говорит: пытаться устранить угнетение и войну угнетением и войной — морально сомнительный способ. «Вы указываете народам два пути, — возражает он одному из радикальных революционеров, — один — более медленный, зато более правильный, и второй, который ни то и ни другое. Бессмысленно воздействовать на часовой механизм эпохи, который приводят в движение тысячи колесиков, — так его только собьешь с хода, а не ускоришь, а то и поломаешь зубцы; ты повисни на часовой гире, той, что движет все колеса; это значит: будь мудр и добродетелен, обрети величие и сохрани чистоту, и возводи Град Господен, не замешивая известь на крови и не укладывая черепа в его основание».

Таким образом, революционная активность наталкивается на сомнения моралиста Жан-Поля. Так продолжается до периода Реставрации, когда он, симпатизируя бунтующим студентам, осуждает действия убийцы Коцебу — Занда. Ему ясно одно: положение в Германии должно измениться, но как — посредством переворота или реформы, — это остается для него под вопросом. Для финала «Незримой ложи» оба решения были бы сомнительны. «Геспер», в котором все время дают о себе знать надежды на революцию,

заканчивается упованием на реформы, и в «Титане» революционные убеждения — необходимая ступень в воспитании князя, будущего реформиста.

В политическом мышлении Жан-Поля ощущается напряжение между полюсами «революция» и «реформа»; этот дуализм чувствуется у него и во всем остальном, что и делает такими разнообразными и интересными его жизнь и творчество. Скованность и искренность, широта и узость, шутка и серьезность, избыток чувств и трезвость тесно соприкасаются друг с другом. Особое пристрастие он питает к парным образам. Его раннюю прозу можно разделить на идиллии и «героические» романы (хотя ни те ни другие не заслуживают таких названий).

Непреднамеренная программа ощутима уже в начале его прозаического творчества: «Жизнь предовольного учителяшки Вуца из Ауэнтала. Своего рода идиллия» появляется вместе с романом «Незримая ложа. Жизнеописание», «вместе» не только по времени, но и физически — повесть просто приплетена к роману, что с точки зрения содержания оправдывается жалкой искусственной уловкой: десятистепенный персонаж романа выдается за сына предовольного Вуца. То был попросту выход из трудного положения, выход, которому можно придать и более глубокий смысл: глядите, эти двое составляют единство! Автор определяет здесь область, в которой намерен остаться, прикасается к темам, которые будет варьировать, находит характеры, которые будет снова и снова выводить и углублять: чувствительного юноши, в морали и политике стремящегося к добру, чистой девушки, свободомыслящего юмориста и сатирика, холодного, лживого придворного, распутной придворной дамы, бедного школьного учителя, а также себя самого, рассказчика, который всегда присутствует, вылезает вперед, поближе к читателю, зачастую назойливо близко, и порой доходит в своем дуализме до того, что двоится и как личность — и выступает в романе, и рассказывает сам о себе.

Фрагментарность этого романа тоже кажется заданной. Шесть романов напишет он за свою жизнь, три из них останутся незаконченными. Когда незадолго до смерти Жан-Поля появилось второе издание первого романа, он извинялся перед читателем, что книга эта — «от рождения руина», прибегнув к доводам, которые могут прийти в голову лишь тому, кто стремится к реализму и современности

и для кого фабула его романов мало что значит: «Пусть лучше спрашивают, почему произведение не закончено, а не почему оно начато. Разве есть на свете жизнь, что не прервалась бы? И когда мы жалуемся, что роман, оставшийся незаконченным, не сообщает нам, что случилось со второй любовницей Кунцена и с отчаянием Эльзы из-за нее и каким образом Ганс спасся из когтей земельного судьи, а Фауст — из когтей Мефистофеля, пусть послужит утешением, что жизнь человека состоит из одних запутанных узлов и лишь за гробовой доской они распутываются; всемирная история для него — незаконченный роман».

Однако, как известно, литературные теории писателей чаще всего лишь попытка выдать то, что умеешь, за то, что хочешь, и посему биографам следует принимать их хоть и всерьез, но не за чистую правду. Применительно к «Невидимой ложе» это означает: она не закончена не потому, что жизнь и всемирная история не закончены, а потому, что автор бросил свой первый роман для другого, похожего. Возможно, он сам уже не смог распутать бесчисленное количество нитей, которыми связывает воедино историю жизни своего героя, возможно, он понял, что задуманное продолжение превосходит его силы. Густав, главный герой, в тюрьме; его обвиняют в принадлежности к таинственной ложе, о которой читатель мало что знает. Жан-Поль ведет читателя в мир, который ему знаком (малоформатное княжество), и чуть-чуть за его пределы (мир двора). Он дает ему возможность пережить то, что он пережил сам (дружбу, смерть друга, любовь, ревность, угнетение, несправедливость, увлечение природой), и замечает, что мог бы все это сделать лучше. Вместо того чтобы написать слабый конец, он не пишет его вовсе, но не сдается: он начинает сначала, делает новую попытку.

В феврале 1792 года он посылает из Шварценбаха другу Кристиану Отто в Гоф рукопись: «Наконец-то после целого года родовые схватки моего романа кончились... Я трудился эту неделю, как вол, аппетит к работе давно пропал; чем ближе конец, тем судорожнее пишешь». Ни слова о том, что этот конец вовсе не конец, что Густав навсегда останется в тюрьме. Вместо этого он пишет, в том же письме, что на этой книге «учился, как делать романы; то, что я теперь придумал, лучше». Он имеет в виду «Геспера», у которого будет финал, хотя и написанный словно в спешке.

Но тут он сделал уже третий замах, еще дальше, еще выше, еще великолепнее, — для «Титана», на этот раз удачный. Мечта о немецкой революции развеялась. «Галльское упоение» Альбано остается эпизодом (хотя и в высшей степени важным), навеянным воспоминанием: так, должно быть, были настроены юноши, желавшие добра, тогда, когда они еще надеялись, что и в Германии произойдет революция. Так, должно быть, был настроен и князь, который, как можно ждать от Альбано, серьезно хочет что-то изменить в своей стране. Ведь реформы (хотя и далекие от идеалов Жан-Поля, они несколькими годами позже все-таки начинали осуществляться) — это единственное, на что еще можно надеяться.

Из трех романов о современности успех среди современников Жан-Поля имел лишь «Геспер», у потомков — ни один. Его раннее творчество осталось жить, скорее, благодаря привеску к первому роману — 40 «приклеенным» страницам, подробно живописующим дом и сердце школьного учителя; отсюда возникло живучее заблуждение, будто Жан-Поль — один из тех немногих крупных авторов политической прозы, каких имела Германия, — был человеком, который воспевал счастье в тихом уголке, покрывал позолотой немецкое убожество, не преодолел мелкобуржуазной ограниченности, то есть филистером.

Достаточно взглянуть на его творчество в целом, чтобы увидеть всю нелепость такого утверждения. «Вуцу» предшествовал, как переход от сатиры к повествованию, еще один рассказ о школьном учителе: «Странствие ректора Флориана Фельбеля и его воспитанников по Фихтельгебирге»; в нем представлен тип учителя, какого вплоть до нашего века порождала немецко-прусская школа. Он педантичен и кичится ученостью, мелочен и нетерпим, реакционен и далек от жизни, труслив и жесток. Фельбелю хотелось бы, чтобы с французскими революционерами обошлись, как римляне с восставшими рабами, чтобы их «распинали на кресте, отправляли на каторгу, бросали зверям на растерзание». Когда казнят дезертира, который не хочет, чтобы его угнали воевать на чужбину, Фельбель сопровождает это шуточками, дабы питомцы не почувствовали сострадание, позволительное разве что женщинам, а их он и без того презирает, почему с легкостью и оставляет, потратив все дорожные деньги, собственную дочь в залог трактирщику. Но величайшая его гордость — верноподданнический

образ мыслей, который побуждает его пускаться и в исторические изыскания: «Я полдня изучал в своей библиотеке сведения об учителях местной гимназии, кто из них бунтовал против земельных князей. Но, к моей неопишуемой радости, я могу сообщить, что как величайшие филологи и гуманисты, так в особенности и все — ныне покойные — состоявшие на службе в здешних школах, от ректоров до квинтов (включ.), никогда не бунтовали. Это были мужчины, которые никогда не изображали и не защищали мятежников против отцов и матерей государства, мужчины, которые все поголовно усердно и невзирая на хворь преподавали в различных классах от восьми до одиннадцати часов, и если они превозносили республики, то лишь обе известные классические республики, да и то ради латинского и греческого языка».

Надо помнить и этого школьного учителя (его прообраз, ректор Гельфрехт в Гофе, кстати говоря, спустя почти двадцать лет отомстил Жан-Полю, разразившись памфлетом на него), когда обращаешься к учителю предовольному — к Вуцу, в чьей жизни не было других событий, кроме того, что он родился, женился и умер. Едва заметная сатира здесь заглушается юмором, не слышно обвинительного тона, и критика присутствует лишь в завуалированной косвенной форме: в изображении нищеты, у которой Вуц вырывает свои радости, и в дистанции между героем и рассказчиком, который клянется над могилой учителя «презирать столь незначительную жизнь, заслужить ее и наслаждаться ею», что означает примерно следующее: презирать — ее ограниченность, заслужить — честностью, наслаждаться — мужеством жить «вопреки». Здесь мещанское счастье в тихом уголке не покрывается позолотой, а весело рисуется жизнь человека, который, хоть и прозябает в самом темном закоулке общества, счастлив, потому что «простые земные радости» возмещают ему «горние выси».

Все страдания Вуц переносит с надеждой, что они кончатся. «В зябкую ноябрьскую погоду он тешил себя на улице предвкушением жаркой печи и дурашливой радостью, что руки у него укрыты под пальто, как в дому. Если день был уж очень ненастный и ветреный... то учителяшка, вот продувная бестия, подлаживался к непогоде и плевать хотел на нее; то была не покорность, что приемлет неминуемое зло, не закалка, что делает человека нечувствительным, не философия, что учит переваривать несъедобное, и не религия, что превозмогает все надеждой на воздаяние, — его грела мысль о теплой постели. Вечером,

думал он, как бы они целый день ни донимали и ни травили меня, я, во всяком случае, улягусь под теплой периной, спокойно зарююсь носом в подушку, на целых восемь часов! И когда в последний час такого тяжелого дня он забирался наконец под перину, то, скорчившись, с подтянутыми к животу коленями, дрожал под ней и говорил себе: „Видишь, Вуц, вот все и прошло“».

Указанием, как выжить, — вот как можно назвать этот великолепный прозаический отрывок; рассказчик прекрасно знает среду, он ее любит и презирает, он прошел через лишения, постоянно стремится к «горным высям» и решительно превосходит своего ребячливого хитроумного героя, у которого, однако, много черт, заимствованных у автора.

«Не все свидетельствует, какой бесценной незатейливостью и ловкостью бог наделил и оснастил этого человека на его жизненном пути, на котором, сверни хоть влево, хоть вправо, найдешь не много, так что он, как бы черно ни было вокруг него, всегда мог черное обратить в белое; инстинктивно чувствуя и землю и море, он не утонул бы в воде и не погиб бы от жажды на суше».

Звучит как характеристика книжного персонажа Вуца, но на самом деле это характеристика автора, который сам ее дает себе в автобиографии, рассказав читателю о многих детских переживаниях и причудах, которые он потом припишет Вуцу. Этот процесс отчужденного воспоминания, смесь отождествления и отстраненности, рождает неподражаемую, напоенную грустью веселость, полную любви иронию. Раздвоенный, умудренный знанием человек рассматривает нераздвоенное существование человека ограниченного, воплотившего в жизнь сокровенную мечту ребенка: остаться ребенком.

Позднее, в «Приготовительной школе эстетики», Жан-Поль определит идиллию как «счастье в ограничении», но «Вуца» назовет «своего рода идиллией» и тем самым подчеркнет в нем нечто новое по сравнению с тем, что под этим понимали в XVIII веке, а именно: в первую очередь описания деревенских нравов, исполненных «тихого покоя и сладостного безмятежного счастья», как говорил Саломон Геснер из Цюриха, говорил со знанием дела, поскольку сам сочинял такие идиллии. «Ничего другого не знать, кроме еды и питья, — саркастически писал Гегель, — причем есть очень простую пищу и пить, например, козье молоко, овечье молоко или в крайнем случае

коровье молоко, зелень, корни, желуди, фрукты; сыр из молока и хлеб — это, мне кажется, уже нарушает идиллию». Пасут скот, играют на свирели, поют, целомудренно любят друг друга и пестуют «со всей возможной сентиментальностью такие чувства... которые не нарушали бы это состояние покоя и удовлетворенности». Жан-Поль находит для этого определение — «общестадная жизнь», говорит о «легких банальностях Геснера, в которых из водянистых красок иной раз еще выплывает овца или баран, но люди расплываются», а Маркс в похвалу этим авторам идиллий хорошо сказал, что они «добросовестно колеблются, кому присудить пальму нравственности — пастуху или овечке».

Но для «Луизы» Фосса (1795), а также для «Германа и Доротеи» Гёте (1796) это уже не характерно, ибо в них показывается идиллическое счастье современности, точно обрисованная реальность ничем не нарушаемого бюргерского мира, которой нет у Жан-Поля. У него идиллична только метода героя самоутверждаться в катастрофических обстоятельствах. Тут счастье улетучилось бы вместе с близорукостью школьного учителя. Его довольство возможно лишь благодаря тому, что он не видит ужасов мира — зато их видит читатель.

То же самое можно сказать и о двух историях о школьных учителях: «Жизнь Квинта Фиксляйна» (1796) и «Юбилейный сениор» (1797); в первой из них (в «Письмеце к моим друзьям вместо предисловия») Жан-Поль объясняет, как понимать эту часть его творчества, и вместе с тем дает повод к недоразумениям, позволяя истолкователям разных направлений защищать свои тезисы. Цитируют фразу: «В наш век важнее всего проповедовать — оставайтесь дома» — и, не замечая иронии, утверждают, что он законченный филистер. Или цитируют его сатирические высказывания, ссылаются на то, что слова: Брут, республиканец, революция — звучат у него положительно, и объявляют все в целом сатирой якобинца на немецкие порядки. Между тем правда посередине: в раздвоенности автора, которую он пытается выдать здесь за гармонию.

Он утверждает, что ему известны «три пути, как стать счастливее (не просто счастливым)»: первый — путь революционного героя и революционного художника, путь этот проходит в высях, с которых мир (как известно, невыносимый) кажется лишь «съежившимся игрушечным садиком»; второй, путь массы маленьких людей, — ценить

маленькие земные радости выше больших и, наконец, третий — «тот, который я считаю самым трудным и самым мудрым», — складывается из чередования обоих первых. И примером человека, идущего по этому третьему пути, он считает себя самого (в чьей жизни первые два никогда не соединялись, а пролегли рядом, порождая напряжение противоречивостей), поскольку, «пока писал это письмецо, он уже вообразил, что, когда закончит его, автора вознаградят жареными лепестками роз и гроздьями бузины, они уже кипят в масле».

Но множеству бедняков, которые не могут стать ни героями, ни художниками, угнетенным, «связанным людям», имеющим, правда, хорошие плавники, но лишенным права плавать, потому что «от имени рыб» плавают их тюрьма — «рыбный садок государства», постоянная армия государственных рабов и писцов, раков в раковых силках, которым «крапива сохраняет свежесть», — им по силам, конечно, только второй путь, и идиллии его указывают. Но в описании этого пути явственно слышится ирония, как например, в героическом пафосе фразы: «Удастся мне это — значит, я своей книгой воспитаю для грядущего мужчин, которые умеют наслаждаться всем: и теплом своей комнатухи, и теплом своего ночного колпака...» — слова эти превращают предисловие к истории предовольного учителя Фиксляйна в предостережение от того умения жить, которое он прославляет.

В печальной веселости этих историй наряду с любовью, сочувствием и пониманием постоянно звучит и пессимизм: если я не могу выбраться из этого ничтожного мира, где уж вам!

18

ПОЗЕЛЕНЕВШИЙ ТРУП В НОЧИ

«Первые звуки, которые воспринял его слух и которые дошли до его сознания, были проклятья и ругань нерасторжимо связанных узами супружества родителей. Хотя у него были и отец и мать, он уже в ранней юности был покинут ими... На восьмом году жизни он тяжело заболел. Его считали безнадежным, и он постоянно слышал, что о нем говорили, как о покойнике... Мать Антона сидела над ним и плакала, а отец дал ему два гроша. Так родители впервые выразили сострадание к нему. А больше ему вспомнить нечего... Когда в городе... горел дом, он очень испугался, но втайне желал, чтобы огонь погасили не сразу. В

этом желании не было злорадства, его породило смутное предчувствие великих перемен, переселения народов и революций, когда все обретет другой вид и наступит конец однообразию».

Это строки из автобиографического романа «Антон Райзер», завоевавшего почетное место в немецкой литературе XVIII века психологическим и социологическим реализмом. Тоска по любви, бедность, боязнь привидений, голодные годы учения (разумеется, на факультете теологии) — всем этим отмечена молодость автора, который был подмастерьем шляпника, актером, домашним учителем, школьным учителем, журналистом, писателем и дошел до места профессора Берлинской Академии искусств, где учениками его стали, наряду с другими, Тик и Александр фон Гумбольдт. Влияние некоторых его произведений велико, но писал он недолго. В общей сложности — десять лет, за которые создано более пятидесяти крупных и небольших произведений: два романа, пьеса, стихи, масонские речи, учебники языка, поэтики, путевые очерки, письмовник, сочинения по мифологии и истории, эстетике, психологии, педагогике — и новый букварь; почти все написано торопливо — конечно, из-за постоянной нехватки денег, но и потому, что истерзанная, угнетенная душа выходца из самых низов вопиет о признании. Однако организм выдерживает недолго: он никогда не сможет оправиться от лишений в молодости, постоянно прихварывает, и вдруг — легочное кровотечение; два дня он в постели, а на третий — в тридцать шесть лет — все кончено, имя его забыто. Его звали Карл Филипп Мориц.

К заслугам этого человека в июне 1792 года (ровно за год до смерти) прибавляется еще одна: он открыл величие одного из великих писателей. Именно тогда до него дошел обернутый в черную клеенку пакет от незнакомца, присланный неведомо откуда, с толстой рукописью. Сопроводительное письмо требует от больного, замученного человека, чтобы он не только прочитал и оценил рукопись, но и нашел издателя. Ибо незнакомец не хочет доверить ее «духовным работникам» на книготорговой бирже. «Мне сладостно знать, что я посылаю ее сердцу, родственному тому, под которым его вынашивали и вскармливали». — И профессор Мориц принимается читать, приходит в восторг, не верит, что это написано начинающим. Отправителем значится некий господин Рихтер из Шварценбаха под Гофом, в Фогтланде. Мориц принимает это за обман, подозревает, что какая-

нибудь знаменитость проверяет его критические способности, прибегнув к чужому почерку. «Я не понимаю, ведь это еще выше Гёте, это нечто совершенно новое», — говорит он (по свидетельству одного из его младших братьев), за два дня прочитывает всю рукопись, на третий читает вслух братьям сцену, где Густав (которого во избежание слишком раннего соприкосновения с безнравственностью общества воспитывают под землей) впервые ранним утром видит красоту мира: «И вот волны живого моря сомкнулись над Густавом, у него перехватило дыхание, ему ослепило взор, душа его была потрясена необозримым ликом природы. Но когда он стряхнул с себя первое оцепенение, отворил свою душу, открыл ее этим потокам жизни, когда ощутил тысячи рук, какими великая душа мироздания захватила его в свои объятия, когда разглядел, как колышется цветущая зелень, как вокруг него склоняются лилии... когда испугался горами громоздящихся на небе багрово-черных туч... когда увидел, что горы лежат на нашей земле, подобно новым землям, когда его окружила бесконечная жизнь, жизнь, летящая птицами среди облаков, жизнь, жужжащая у его ног, золотящаяся в листве, когда увидел, как ему кивают огромные деревья своими руками и главами... — тогда небо озарилось сиянием и за беглянкой-ночью, пылая, потянулся ее шлейф, а на краю земли покоилось солнце, подобное короне бога, скатившейся с божественного трона».

Не прошло и двух месяцев после получения пакета, как профессор Мориц написал незнакомцу: «Живи Вы на другом конце земли, меня не остановили бы и сто ураганов, чтобы добраться до Вас, я полечу в Ваши объятия!.. Где Вы живете? Как Вас зовут? Кто вы?.. Ваше произведение — жемчужина; оно неотступно со мной, я хочу, чтобы создатель его открылся мне ближе!»

И позже, в июле, когда он познакомился и с приложенной повестью, он написал: «Тот, кто создал историю Вуца, бессмертен! Мы должны, нам необходимо как можно скорей увидеться! Для Вас раскрыто здесь больше сердец, чем Вы знаете и думаете!»

Он не только восхищается; узнав, в какой нищете живет автор, он действует, притом быстро. По достоверному рассказу его друга Клишинга, он все еще (в чем тоже сказывается родственность с Рихтером) «холостяк и девственник» — это в 35 лет! Но с недавнего времени он обручен. Имя невесты — Христиана Фредерика Мацдорф,

она сестра одного берлинского издателя и книготорговца; когда знаменитый шурин расхваливает ему книгу новоявленного гения, он немедленно соглашается издать ее. Слова «это еще выше Гёте» примерно означают: вообще лучше всего написанного, ибо Мориц не только почитатель Гёте, но и его друг еще со времен Италии и, стало быть, знает, что говорит.

Следующее письмо Морица в Шварценбах сопровождается уже свертком с тридцатью дукатами. Еще семьдесят будут высланы после напечатания. В этот летний день кончилась жесточайшая нужда Рихтера. Племянник Шпацир называет самым прекрасным в жизни Жан-Поля вечер, когда тот побежал в Гоф, чтобы высыпать на колени бедствующей матери золотую благодать.

Целый год он, не прекращая ежедневной работы учителя, тяжело трудился над романом, занявшим 400 страниц. Все, что могли дать в качестве материала его жизнь, чувства, окружение, картины природы, друзья и враги, он, отстранив и возвысив поэтической фантазией, наделив более глубоким смыслом, внес в роман, перегрузив его при этом всякого рода загадками, которые никогда не будут разгаданы. Все кое-как связано нитью действия, часто запутанной, а то и невидимой. Теперь, поскольку автор решил поставить точку, не хватает предисловия (без которого, или даже которых, не обходится ни одна его книга) да заглавия.

Другу Кристиану Отто, своему первому читателю и критику, он предлагает на выбор следующие названия: «Порошок Маркграфа», «Высокая опера», «Эолова арфа», «Урны», «Мумии», «Микрокосмос», «Орион», «Сириус», «Вечерняя звезда», «Звездные картины», «Пастор подле виселицы», лучшим кажется следующее: «Незримая ложа, или Позеленевший труп в ночи без 9-го шелкунчика».

Жан-Поль здесь не так оригинален, как может показаться. Это мода. Например, преуспевающий писатель, сентиментальный моралист Иоганн Тимофеус Гермес в своем романе «Тот или иной Гермесон», который Рихтер прочитал годом раньше, так защищал свое название: «Наконец мне пришлось в голову избрать самое непонятное название, ибо горе пишущему современнику, если его книга не бросается в глаза своим названием! Я видел в книжных лавках, как люди не раздумывая покупали „Гефестион“, „Горус“, „Парабомиус“ и „Мемнониум“ именно потому, что не знали, что это, собственно, значит». По такому же

рецепту действовал и Фридрих Вильгельм фон Мейерн, чей роман об утопическом государстве сильно повлиял на фабулу «Геспера»; читатель этого романа тоже никогда не узнает, что означает название «Диа — На — Соре».

Рихтер написал другу, что он предлагает заглавия, не задумываясь, в сущности, что они должны означать, «хотя, когда займусь предисловием, я, может быть, и обнаружу, что я при этом думал, но я не успокоюсь, пока не найду такого заглавия, чтобы оно еще больше заставляло думать читателя». Потом он посылает другу набросок предисловия, в котором извиняется перед читателем за непонятное название. Но когда он написал предисловие, о названии в нем нет и речи. Пристегнутого шелкунчика (это его он, вероятно, подразумевает, когда говорит о том, что не знает, что это должно означать) он потом опускает. Исключает он из предисловия и предполагавшееся разъяснение замысла романа. Он полностью полагается на «немногих тайных естествоиспытателей», которые и без особого разъяснения поймут, «какой неожиданный удар готовится в нынешнем веке... этой книгой». Таких, кто это понял, было в самом деле немного. Но тем временем он начал уже следующий роман, в котором хочет «высказать кое-что по поводу трехдневной лихорадки мировой революции» и который будет называться не «Сириус», или «Орион», или «Вечерняя звезда», а «Геспер»: это вечерняя звезда, тоже Венера, а она, как известно, и утренняя звезда.

Одновременно с первым романом рождается и имя, под которым автор войдет в историю литературы. «Гренландские процессы» появились анонимно. Псевдоним, под которым он опубликовал в журналах «Избранные места из бумаг, дьявола» и сатирические сочинения — Ж. П. Ф. Газус, — не принес ему ни доброй, ни дурной славы. Для третьей книги (написанной во время Французской революции) он взял псевдонимом французскую форму своих двух дополнительных имен — Иоганн Пауль, и можно предположить, что крестным отцом при этих крестинах был его любимый философ, любимый педагог и любимый писатель Руссо, который в «Эмиле» изображает себя в роли воспитателя под инициалами Ж. Ж., и потому поклонники чаще всего называют его по имени — Жан-Жак.

В «Незримой ложе» повествователь Жан-Поль тоже педагог, а цели и методы его воспитания очень похожи на цели и методы Жан-Жака.

Оба исходят из предпосылки, что общество, в которое вырастают эмили и густавы, — это испорченное общество, и воспитанники не должны к нему приспосабливаться. Они должны следовать за путеводной звездой собственного сердца, но ее нужно сперва заставить взойти — для этого необходима внутренняя близость с воспитателем и одновременно отъединение от общества: некие подземные покои, в которых только любимый учитель воздействует на чувства и разум и формирует в ребенке нравственный мир, который противостоит безнравственному земному миру. После такой подготовки воспитанник отпускается в общество, к которому он должен не приспосабливаться, а испытывать и взвешивать его, исходя из собственных внутренних ценностей. Конечная цель не утверждение в обществе, а человеческое самоосуществление, не ученость, а добродетель. «Все, что не говорит ничего твоей душе, тебя не достойно», — сказано в «Новой Элоизе» Жан-Жака, а в «Вероисповедании» читаем: «Будем же искренне искать истину! Не посчитаемся с преимуществами рождения, с авторитетом отцов и духовенства, но подвергнем все проверке совестью и разумом». По природе своей дети не ценят, говорит Жан-Поль, «ни серебряных звезд, ни серебряных голов, — не отучайте их от этого».

Оба Жана, таким образом, стремятся воспитать новое юношество, которое будет вправе осудить то, что устарело, и сумеет изменить его, изменить основательно. Недаром немецкий Жан утверждает, что лечить отравленный государственный организм по частям — значит уподобиться «слабонервному, который принимает лекарства, действующие не на болезнь, а на ее симптомы, и надеется победить свою болезнь то потением, то рвотой, то клистиром, то омовением».

19

ДНИ СОБАЧЬЕЙ ПОЧТЫ

У великого произведения искусства всегда есть предшественники. Храм славы, воздвигнутый творениями гения, сложен из камней, притащенных другими. Внимательно взглядевшись, видишь в оригинальности гениальную компиляцию. Лишь невежде Шекспир кажется одиноким великаном, у Джойса тоже были учителя, а классическому Фаусту предшествовало множество менее классических.

Так же было и с Жан-Полем, когда он написал свою выдающуюся, прославившую его книгу «Геспер, или Сорок пять дней собачьей почты. Жизнеописание». Наряду с Лоренсом Стерном и Гиппелем — они подсказали форму — крестными отцами были Филдинг и Смоллет, Руссо, Виланд, Шиллер, а также Георг Форстер (Жан-Поль, кстати, хотел, чтобы тот, как Отто и Мориц, был его первым критиком) с его переводом «Шакунталы» Калидасы — они подсказали образы, характеры, тенденции, мотивы. Фабулу же он почерпнул из книги ныне неизвестного писателя, позаимствовавшего ее в свою очередь из сказок. Начав работу, Жан-Поль увидел, что этот выбор был ошибкой. «Автор не в силах предугадать, насколько материал позволит себя украсить, и слишком поздно убеждается, что выбрал материал неверно, — это величайшая беда», — жалуется он Отто, которому посылает для критического просмотра каждую главу, теперь называющуюся «День собачьей почты».

Неизвестный, который тогда не был совсем неизвестен (как-никак первый том его романа рецензировал Шиллер, правда убийственно), — один из тех авторов, чью творческую силу исчерпывает одна книга. Его имя — Фридрих Вильгельм Мейерн, он земляк Жан-Поля, родом тоже из Ансбаха. В молодости он служил в австрийской армии, потом, в наполеоновское время, под именем фон Мейерн, — в австрийских правительственных учреждениях. Еще до того, как он получил дворянство, он опубликовал (1787–1791) двухтомный, в тысячу пятьсот (во втором издании даже две тысячи пятьсот) страниц роман под таинственно-пустым названием «Диа — На — Соре, или Странники. История, переведенная с санскрита»; это философско-политический тенденциозный роман, художественно несовершенный, но благодаря своей тенденции он снискал некоторую славу. Ибо речь в нем идет — во время революции — о революции.

В некоей стране — время и место неясны (можно предположить Индию), — где господствует тирания, отец воспитывает четырех сыновей в республиканском духе и посылает их в мир, чтобы они свергли тирана. Трое из них, опираясь на тайный союз, выполняют свой долг, освобождают страну и создают государство, соответствующее несколько путаным представлениям Мейерна о демократии. Тяжелая работа здесь выполняется людьми, лишенными избирательного права, ибо избирать вправе лишь имущий. Союзы мужчин воспитывают в

изолированных крепостях из самых благородных юношей вождей, и проповедуемые там добродетели носят преимущественно военный характер. (В связи с этим во всем романе о женщинах почти нет речи.) Но государство имеет конституцию, верховная власть принадлежит народному собранию, и (наряду со всеобщей воинской повинностью) существует равенство перед законом.

Таким образом, все это совершенно не соответствует жанр-полевским видениям (в «Геспере») «золотого времени», когда «высшее образование единиц не оплачивается ценой одичания масс, миллионер Беттлер ^[24] исходит из того... что народ мыслит, а мыслители работают, для того чтобы обходиться без илотов». Но Жан-Поля наверняка событие интересует больше, чем цель, революционный процесс больше, чем результат (который у Мейерна, кстати, непрочен: роман кончается трагически — смертью и крушением). Во всяком случае, Жан-Поль заимствует для своего романа важные элементы фабулы со многими несущественными и двумя существенными изменениями: он переносит действие из седой старины в настоящее время и из экзотического «где-то» в Германию. Он усложняет сюжет, всячески запутывает его, делает неправдоподобным (например, сыновья благородного республиканца Дия из романа Мейерна превращаются у Жан-Поля в незаконных сыновей правящего князя). В этом и неумелая выдумка, и желание напряженной фабулой сделать привлекательным изображение внутреннего мира героя. Он хочет уравновесить слабостью то, в чем чрезмерно силен. Естественно, это не удастся. Фабула, вместо того чтобы скреплять и развивать бедные действием события внутреннего мира, то отклоняется в сторону, то совсем пропадает; в конце романа он торопливо, как бы с неохотой, ее досказывает — «словно лекцию читает», как критически замечает Отто.

Следовать за ней в романе утомительно, принять ее всерьез трудно, но все же эта тривиальная фабула важна, ибо свидетельствует если не об умении автора, то о его политических взглядах. С нею связаны немногие революционные события, но она и показывает, что невозможно реалистически изобразить революционность в стране, где едва ли есть революционеры. Весь «Геспер» пронизан зарницами революции, однако гроза в нем так и не разражается.

Республиканский клуб, радикальные члены которого потом оказываются княжескими сынами, невольно производит впечатление

пародии. Здесь много рассуждают и размышляют о Революции, Республике и Свободе, но скромные поступки, изображенные лишь мимоходом, сводятся к более мелкой — правда, для Германии и более реалистической — задаче: к реформе монархии. Виктор, главный герой (и в конечном счете единственный бюргер среди идеальных персонажей), от начала и до конца романа не способен повлиять на политические события; под занавес он женится на своей Клотильде и закончит жизнь врачом. Речь «Война дворцам» так и не прозвучит, народ, который она должна поднять на борьбу, на сцене не появляется, а все нити политического действия (оно сводится к затяжной интриге с похищением и подменой детей) держит в руках далеко не идеальный лорд: о нем говорится много противоречивого, но проявляется он главным образом как человек холодного расчета, считающий людей лишь средством для достижения своих целей.

Когда Жан-Поль в 1792 году начал подготовительную работу к «Гесперу» (шесть тысяч пятьсот довольно хаотических заметок, тщательно сохраненных, почему они и дошли до нас), он, воодушевленный революцией, намеревался завершить книгу революционной войной и победой. Когда же спустя два года он написал последнюю главу, с его надеждами на революцию в Германии было покончено. Вместо того чтобы дать «Советы о трехдневной лихорадке мировой революции», happy end намекает на возможность «революции сверху».

Таково «великое и государственное действо», но роман нельзя рассматривать, исходя лишь только из него. Это значило бы за довольно шаткой повозкой, на колесах которой все с трудом катится, позабыть о клади.

Судя по первым наброскам, роман предполагалось посвятить «республике любви и дружбы», и коль скоро сила автора во всем величии и блеске раскрывается главным образом в неповторимом изображении человеческих чувств, то роман характеризуют прежде всего последние два ключевых слова. Ни раньше, ни потом нигде чувства не раскрывались с такой языковой мощью и щедростью; подлинным действием романа можно считать душевные движения, душевные переживания или как бы еще ни называть состояние внутреннего мира героя. Виктор, в духовном отношении копия своего создателя, испытывает все чувства, какие дано испытать человеку,

радуется смешному, любит, наслаждается дружбой, счастьем, природой, поклоняется возвышенному, но ему же ведомы соблазны чувственности, отчаяние, меланхолия, безнадежность и страх смерти. Эта смена чувств обусловлена характером Виктора в большей степени, чем внешними событиями, о которых автор в самые важные моменты забывает. Тут есть полнота чувств, но недостает силы, чтобы справиться с нею.

Когда Жан-Поль посылает своему другу Эмануэлю последний том, он обратил его внимание на «пламенные главы», которые ему особенно дороги: в них чувствительность достигает своего апогея. Другие его замечания также говорят о том, что он считал роман — в последние годы самокритично — скорее жемчужинами, нанизанными на нитку, чем изображением развития, оно и на самом деле (по сравнению, например с «Вильгельмом Мейстером» или «Титаном») едва заметно. У Виктора нет плана жизни, он не ставит перед собой никакой цели, разве только стать взрослым. Молодой человек, одаренный юношеской пылкостью и остроумием, высоким духом и большой душой, сталкивается с немецкой действительностью, мелкой действительностью мелкого государства Флаксенфинген, — вот и все, к чему сводится «Жизнеописание». Ситуации, в которые он поставлен, те же, в которых находится — или будет находиться — его автор. Ибо наряду с природой, пасторским домом, деревней и провинциальным городом место действия — княжеский двор, с которым Жан-Поль познакомится после «Геспера» и благодаря ему. Воображаемому повествователю, которого зовут Жан-Поль, главу за главой доставляет собака; этот прием — находка, он позволяет выразить условия жизни действительного повествователя: описывая один день, когда пришла собачья почта, он и на самом деле мало знает о следующем дне. Действительная жизнь автора почти та же, что в книге. Переживаемое и описываемое почти сливаются. Вымышленный автор ждет собаку, — действительный — жизнь или же предвосхищает ее своим описанием, создает замену жизни. «Почти все лучшие сцены „Геспера“ никогда не были мною пережиты, и потому я слишком предавался в них лирике и многословию, мне хотелось насладиться воображаемой действительностью», — записал он в 1813 году в тетрадь «Мысли». Но и за двадцать лет до этого, во время работы, он говорит о кульминациях как о своих «любимых блюдах», которые он слишком часто подавал на

стол. «Поскольку я в этой первой части заботился только о собственном наслаждении... она придется по вкусу лишь немногим, даже очень немногим».

В этом он, правда, ошибся. Хотя в том же году вышли «Вильгельм Мейстер» Гёте и «Вильям Ловель» Тика, «Геспер» стал самой модной книгой года, а автор сразу прославился. Эта смесь бюргерских добродетелей, сентиментальности, острой общественной критики и революционного духа так точно задела нерв времени, что образованные круги Германии узнали здесь себя — или, вернее, себя такими, какими они видят себя в мечтах. Резонанс, вызванный «Геспером», можно сравнить с резонансом «Вертера». И Жан-Поль, подобно Гёте, никогда не сможет повторить этого успеха: он напишет книги более сильные, но тем не менее такого восхищения уже не вызовет.

Многие соглашались теперь с мнением Морица, что «Незримая ложа» «еще выше Гёте». Старые и новые друзья в восторге. Поклонники засыпают автора «Геспера» письмами и одолевают визитами. Дамы боготворят его и наперебой приглашают в гости. Глейм анонимно посылает ему шестьдесят талеров и предоставляет почетное место в своем Хальберштадтском храме славы. Лафатер заказывает его портрет и просит приехать в Цюрих, сообщает, что его ждет здесь также и Песталоцци. На Гердера роман произвел такое сильное впечатление, что он целыми днями не может работать. Виланд читает роман трижды кряду и говорит, что этот «человек превзошел Гердера и Шиллера», что он обладает «всеобъемлющим кругозором, как Шекспир». Гёте пишет Шиллеру: «Кстати, в настоящее время „Дни собачьей почты“ — то произведение, на которое наша благородная публика изливает свой избыток славословия», а княгиня Ангальт-Цербстская посылает ему в Гоф шелковый кошелек с вышитой надписью: «Великому гению Геспера». Франц Кох, «музыкант, играющий на губной гармонике», выведенный в романе, благодарит за действенную рекламу и печатает на афишах рядом со своим именем имя Жан-Поля. Создатели мод предлагают «сюртуки а-ля Жан-Поль», к табаку в пачках прилагаются его портреты, в продажу под названием «Гесперовский порошок» поступает желудочное снадобье по рецепту, упомянутому в романе. Наконец пришла с трудом добытая слава.

Разумеется, читать «Геспера» и тогда было нелегко, и в словах восторга все же часто слышится упрек, что автор чрезмерно и без

нужды мешает насладиться книгой. Каролина Гердер жалуется, что изумительные подробности не сливаются в одно целое и вся эта «тысяча чувств» мешала ей читать. Более «слабая восприимчивость» читателя не берется в расчет, замечает один знакомый из Байройта и советует автору «повесить свои миниатюры на такой высоте, чтобы они были доступны обычному глазу». И когда Фуке в автобиографии восторгается «Геспером», он не забывает упомянуть об очень «утомительных» усилиях, которые понадобились, чтобы «более или менее овладеть ключом к этим магическим воротам».

При жизни Жан-Поля роман вышел тремя изданиями, но и потом его влияние не прекратилось. От него были в восторге не только Фуке, Гауф и Эйхендорф, но и Штифтер, Келлер и Раабе. В 1838 году Александр Герцен писал своей невесте: «Любовь наша описана, чистая, святая, в его „Утренней звезде“, — чудо, чудо...» — вот пример, один из многих, что восторг вызывала любовная, а не политическая сторона романа. А примерно в 1900 году Стефан Георге снова открыл почти забытого Жан-Поля — как «лирика», используя для своей антологии главным образом «Геспера».

Как случается и сегодня, профессиональная критика не способствовала этому успеху. Только три из существовавших тогда журналов дали рецензии на первое издание, и ни в одной из них не было намека, что этот роман поставил неизвестного автора во главе немецкой прозы. Книжке в «Нойе альгемайне библиотек» не отказывает автору в остроумии, знании жизни и людей, фантазии, искренности чувств, но наряду с «чистой прозой» находит в нем также «вычурную высокопарность» и «водянистую болтливость»; сегодняшний читатель согласится, что основания для этого есть, но Книжке не почувствовал величия целого. Не почувствовал этого и Фридрих Якобс в йенской «Альгемайне литератур цайтунг», хотя он все же был более справедлив к роману как в похвале, так и в порицании, когда выпрененным наукообразным языком писал: «При этом мы, однако, не можем скрыть, что все эти описания кажутся нам чересчур претенциозными, а выражение высоких чувств и растроганности чересчур нарочитым, надуманным... Но в общем при чтении этой книги часто напрашивалась картина леса, где нужно только осторожно вырубить пышные кусты, заслоняющие прекраснейшие деревья и виды, чтобы обратить его в романтический сад... Возможно, эта пышность в

несущественном главным образом и повинна в том, что многие из действующих персонажей проходят, как тени в волшебном фонаре, показываясь лишь одной стороной; что очертания часто колеблются и что целое погружено в некий сумрак, что, правда, очень благоприятствует лирическому воздействию целого, но наносит ущерб наглядности, которой можно ожидать и требовать от прагматического произведения. Вдобавок кажется, что иной отросток не пробивается через пышные заросли юмора, а намеренно, словно свидетельство о нем, приклеен извне или что соч. не смог противостоять по меньшей мере некоему влечению к причудливости, в которой он для рекомендации своих работ совершенно не нуждается. Так... что может возникнуть сомнение во вкусе соч. и опасение, как бы таким путем он не выработал стиль, который сам уничтожит свое эстетическое воздействие именно потому, что хочет во что бы то ни стало добиться его слишком полного осуществления».

Третья, анонимная рецензия в «Нойе нюрнбергише гелертен цайтунг» — это наглость, оправдывающая войну, которую Жан-Поль всю жизнь вел против критиков. Аноним, правда, признается, что прочитал всего лишь девяносто страниц, и тем не менее бесцеремонно высказывает суждения, которые затем подытоживает следующим образом: «Некоторые удачные места свидетельствуют о том, что соч. обладает талантом, чтобы создать что-то лучшее, но прежде он должен изучить природу, научиться рисовать и воплощать характеры, избавиться от авантюристичности и дикости, столь несвойственных хорошему вкусу, и от причудливости и претенциозности своей манеры».

К счастью, у соч. Жан-Поля было достаточно уверенности в себе, чтобы противостоять такой литературной критике, достаточно почитателей и почитательниц, чьи оценки подтверждали его место в литературе. Одна из женщин, пославшая ему восхищенное письмо, упоминается во всех историях немецкой литературы, хотя вклад ее в литературу незначителен. Она играла роль в жизни Шиллера и Гёльдерлина, теперь она намерена занять место и в жизни Жан-Поля. Она происходит из тюрингской знати, на два года старше Рихтера, несчастлива в браке, мать троих детей, живет в Веймаре. Зовут ее Шарлотта фон Кальб. В феврале 1796 года она пишет автору «Геспера» восторженное письмо, которое он воспринимает как приглашение и

которое, судя по развитию их отношений, так, вероятно, и было задумано. Прочитав слова о том, что Гердер его высоко ценит, а Виланд называет «нашим Йориком, нашим Рабле», обитатель Гофа решает осуществить свою мечту о поездке в Веймар. Веймар для него не только большой мир, это священный город немецкой интеллигенции, Рим и Мекка духа.



«Да, наступит новая эпоха, просияет свет, и человек пробудится от возвышенных сновидений и увидит их осуществленными, ибо он не

потерял ничего, кроме сна», — говорится в видении будущего в «Геспере». Однако человечество еще далеко от этой эпохи: «еще не пробил двенадцатый час ночи; в небе еще парят ночные хищники, еще бродят призраки; еще кривляются мертвецы, а живые видят сны», но для одного живого, для Иоганна Пауля Фридриха Рихтера, сны стали явью, цель, к которой он стремился, голодая и трудясь, достигнута: Германия узнала его имя, Веймар призывает его.

«Когда я услышу и увижу высокое триединство трех великих мудрецов, равных которым не знал даже Восток, — пишет он в своем первом письме Шарлотте фон Кальб, отвечая лестью на лесть и подразумевая Гёте, Виланда и Гердера, — я едва ли не смогу слышать и видеть, ибо онемею от любви и восторга».

Это и произойдет через три месяца. Но он будет все видеть и слышать очень отчетливо. И не утратит дара речи.

20

СВЯЩЕННЫЙ ГОРОД

В Веймар он не свалился, как считал Шиллер, с луны; гораздо хуже: он пришел пешком.

Непогода однажды заставила его отложить путешествие до тех пор, пока новолуние не возвестит изменения. 9 июня 1796 года (через несколько дней после окончания «Зибенкеза») он чуть свет пускается в путь, как это снова и снова делают юноши в его романах. Как и в книгах, погода отвечает его настроению, она благоприятна, и друг провожает его за черту города. Вечером он прибывает в Шлейц, где хозяин считает, что бедный путник не достоин комнаты лучшей, чем самая большая, то есть общая, зато это обходится ему всего в восемнадцать грошей. Через Нойштадт на Орле и Кале он на следующий день достигает Йены: это почти восемьдесят километров за два дня. В четыре часа дня он пишет Отто короткое письмо, хвалит красоты Орланской земли и жалуется на мерзкое йенское пиво. В семь часов вечера он надеется быть в Веймаре. Он нанял карету экстренной почты, ибо опасается, как бы хозяин «Наследного принца» не отнесся к пешему путешественнику подобно хозяину в Шляйце. «Почтовые лошади... прибыли тотчас же и потащили мое радостно замирающее сердце в страстно желанный рай».

Экипаж произвел должное впечатление: хозяин «Наследного принца» счел пассажира достойным хорошей комнаты, с окнами на улицу. «Еще не отряхнув дорожной пыли», Жан-Поль берется за перо и пишет госпоже фон Кальб. Он просит уделить ему час для свидания наедине, ибо первая встреча не допускает зрителей. «Наконец-то, милостивая сударыня, я открыл врата рая и стою в центре Веймара».

Но сообщение о его прибытии излишне. О нем уже известно. Старая герцогиня Анна Амалия дала должный наказ страже у городских ворот, которая не слишком перегружена, поскольку в день проезжает не более двадцати путешественников. Веймар в курсе дела.

По нынешним понятиям, эта резиденция со своими 6500 жителями — крохотный городок, но она соответствует малому государству, не превосходящему размерами нынешний район. Герцогство Саксония-Ваймар-Эйзенах — так именуется это раздробленное создание, насчитывающее около ста тысяч жителей; шестьдесят три процента из них — мелкие и средние крестьяне — ужасающе бедны, не только из-за допотопного хозяйствования, но и из-за нищенской оплаты дворянством барщинного труда. Поскольку городское бюргерство составляло двадцать три процента населения, а дворяне были освобождены от налогов, доходы государства от налогов были невелики. Но надо было содержать двор с его огромным аппаратом чиновников — эту раздутую от водянки голову на тщедушном тельце малюсенького государства. Поэтому в то десятилетие в резиденции много говорили о бережливости. И действительно, при обоих дворах (дворе герцогини-матери и дворе правящего герцога Карла Августа) жили не роскошно, в отношении еды, питья, комфорта — скорее бюргерски скромно. Зато на многочисленных придворных, на строительство дворцов и парков тратили больше, чем имели. Когда в 1783 году долги выросли до двадцати тысяч талеров, Карлу Августу пришлось распустить насчитывающую восемьсот человек армию — свою любимую игрушку. Но и оставшиеся тридцать восемь гусаров и сто тридцать шесть пехотинцев, меняющиеся фаворитки, внебрачные дети, разодетые егери, чистопородные псы и английские лошади тоже стоили денег. Карл Август мало чем отличался от других мелких князей того времени. Его заслуга лишь в том, что он привлек в страну Гёте, который тщетно пытался в качестве воспитателя и министра улучшить положение. Одной из причин, которые в 1786 году побудили Гёте

уехать в Италию, было осознание им бесполезности своей политической деятельности.

Гостиница «Наследный принц», в которой остановился Жан-Поль, расположена подле рынка. Хозяин принадлежит к немногим состоятельным горожанам. Не говоря о придворных, кроме него, лишь хозяин гостиницы «У слона», два банкира и два предпринимателя сумели составить себе состояние. До новой эпохи, которую воспевают здешние прекраснодушные мечтатели, с точки зрения экономики еще очень далеко. Это видно по городу, являющемуся лишь придатком двора. Гердер, приехав туда, назвал его «пустынным городом», «чем-то средним между деревней и придворным поселением». Многие дома покрыты соломой, улицы тесны и грязны. Сточные воды распространяют зловоние. Пастухи гоняют свои стада через город, улицы по ночам не освещаются. Дворец, сгоревший за двадцать два года до прибытия Жан-Поля, все еще не отстроен. Прилавки мясников установлены под галереями ратуши. Пекари продают товар через окна или в передних своих квартир. На рынке всего три магазина с витринами: аптека, косметический и магазин дорогих тканей. Покупателями, следовательно, являются лишь придворные.

Но все это не омрачает счастья путешественника. Он не видит убожества. По сравнению с захолустным Гофом Веймар роскошен. Для него город не резиденция мелкого князя, а обитель муз.

Образованные люди очаровывают его. Он наслаждается духовным общением с ними, но больше всего тем, что они восхищаются им. Впервые в жизни он ощущает уважение со стороны людей, которых сам высоко ценит, и счастлив этим. Его письма к Отто, торопливо написанные, выдают в нем провинциала, в изумлении разинувшего рот перед таким обилием вкуса, образованности и свободомыслия, так и возгордившегося молодого автора, который вдруг заметил, как велика его слава. Восторг, каким его окружают, создает у него впечатление, будто он среди сплошных единомышленников.

«Дорогой брат, — пишет он Отто, — бог все же увидел вчера наисчастливейшего смертного на земле, и это был я... Ах, какие здесь женщины! И все они мои друзья, весь двор, включая герцога, читает меня... Все мои знакомства с мужчинами начинаются с горячих объятий — я желал бы, чтобы так было не только с мужчинами. Ты не встретишь здесь жалкого жеманства Гофа, жалкой заботы о моде, — я

хотел бы, чтобы у меня остался зеленый плащ, а то можно было бы просто еще раз перелицевать синюю накидку... Около пяти мы втроем гуляли в саду Кнебеля... И Кнебель вдруг сказал: как божественно все складывается — вон идут Гердеры с обоими детьми! И мы пошли им навстречу, и под открытым небом я припал наконец к его устам и груди, и радость перехватила мне горло, я едва мог говорить, а только плакал, а Гердер не хотел выпускать меня из объятий... С Гердером я теперь так же знаком, как с тобой... Мне не хватает беззастенчивости, чтобы рассказать тебе все. Он хвалит почти все мои произведения, даже „Гренландские процессы“... Спрашивал, что послужило поводом для большинства мест в моих книгах, засыпал похвалами; разговор о твоём Пауле длился, хотя и с перерывами, часов пять, весь вечер. Все говорят, что я получу бешеные деньги... Меня теперь читают больше всех, в Лейпциге все книготорговцы берут меня на комиссию. Виланд прочитал меня трижды... Гердер рассказал, что старый Глейм читал напролет весь день и всю ночь... О собственных произведениях Гердер говорил с таким пренебрежением, что сердце разрывается и духу не хватает хвалить их... Самое лучшее он вычеркивает, сказал он, потому что не считает себя вправе писать свободно, ибо думает о христианской религии то же, что и мы с тобой. Вечером мы все сидели у Остгейм (Шарлотта фон Кальб — урожд. Остгейм) и пили два сорта вина и ниггес (слабый бишоф). Они все ревностнейшие республиканцы. Представь себе, целый вечер до полуночи я наслаждался — вином, серьезными разговорами, насмешками, шутками и причудами; я написал столько же сатир на князей, как у Герольда (в Гофе), короче — я был так же весел, как у вас... Клянусь небом! Теперь у меня есть мужество... В Веймаре я за несколько дней прожил двадцать лет — мое знание людей выросло сразу, как гриб, в человеческий рост. Я расскажу тебе о чудесах из чудес, о непостижимых, неслыханных вещах (не неприятных), но только тебе одному... Я совершенно счастлив, Отто, совершенно... Я могу здесь, если захочу, обедать во всех домах. Я еще ни к одному человеку не пришел без приглашения... Живу почти одним только вином и английским пивом... Здесь все девушки хороши... Ах, я уже теперь тоскую по моей теперешней жизни».

В гостинице он прожил недолго. Брат его лейпцигского почитателя Фридрих фон Эртель пригласил его в свой дом. Так роскошно, как там, он никогда еще не жил. Две комнаты, «обставленные лучше, чем в

журнале мод», предоставлены ему, — ему, кто в Гофе все еще ютится в одной комнатухе с матерью и братом. Он наслаждается непривычным комфортом; в каждой комнате лампа, у кровати стул и лежат наготове конверты — «сто штук по десять грошей».

Он живет словно во хмелю (и часто в самом деле хмелен), спешит из дома в дом, от стола к столу. Каждый хочет хоть раз принять его у себя. В течение трех недель он сенсация веймарского высшего общества. В Веймаре превозносят его остроумие, ум, веселость, но прежде всего его непривычные при дворе свойства: простоту, наивность. «Мягок, как дитя», — говорит о нем госпожа Гердер, а Анна Амалия описывает его Виланду, находящемуся в Швейцарии, следующим образом: «Если бы Вы случайно встретили его, не зная, в высшем обществе, Вы приняли бы его за большого художника, как Гайдн и Моцарт, или за большого мастера изобразительного искусства, — таков его взор и все его существо. Когда узнаешь его поближе, видишь, что это очень простой человек, он говорит с большой живостью, теплотой и искренностью. Любовь и правда — вот что движет им. Он невинен, как ребенок, и очень робок. Когда он спорит об определенных вещах, видно, что дело для него не в словах или защите собственного мнения, а только в правде. Он очень приятный собеседник: у него неистощимое остроумие, которое мне кажется всегда очень метким и более приятным, чем в его сочинениях. Среди всех наших гениев разного рода он вызвал большую сенсацию, и с ним обошлись по справедливости, а это много значит».

Конечно, он не такой уж ребенок, как кажется. Так, например, он хорошо знает, какое впечатление производит его невинность, и, кроме того, он с каждым днем учится, утрачивает иллюзии, проникает в истинное положение дел священного города.

«Но в моей гейдельбергской чаше наслаждений капля горечи, — говорится в конце первого письма к Отто, — то, что Жан-Поль выигрывает, человечество в его глазах теряет: ах, мои идеалы великих людей!» А спустя шесть дней он сравнивает Веймар с земным шаром, который лишь далекому наблюдателю кажется блестящей луной, для человека же, вступившего на него ногой, он лишается нимба. Прежде всего потому, что божественное триединство — Виланд, Гердер, Гёте — отнюдь не едино. «Короче, я перестал быть глупым».

Великий период немецкой литературы и философии — это и великий период полемики. Противоречия ускоряют развитие. Спорят не только со старым порядком и его идеологией, но и друг с другом. Даже в одном человеке сталкиваются противоположности. Объединяющая связь — вера в движение человечества к гуманизму — видна только на расстоянии, для современников же она распадается на множество разноцветных и многократно переплетающихся нитей. Споры о философии и теории искусства порождают дружбу и вражду, союзы и раздоры, причины которых особенно трудно постичь, когда они лежат в сфере политики. Художникам, которые зависят от меценатствующих князей, приходится быть в этих вопросах крайне осторожными. Тщеславие и обидчивость еще больше мешают разобраться в истинном положении вещей.

Жан-Поль всю свою жизнь высоко ценил и почитал Гёте. Он послал ему «Незримую ложу» и «Геспера», но не удостоился ответа. Когда он, извещая Шарлотту фон Кальб о своем предстоящем посещении Веймара, написал о триединстве Гёте, Гердера и Виланда, он и не подозревал, до какой степени оказался наивен. Он даже не понял намек Шарлотты на господство холода и пустоты формы, нацеленного в Гёте. Лишь в Веймаре ему открылось, какая пропасть отделяет Гёте и Шиллера от Гердера. И поскольку он сердечнее всего расположен к Гердеру, а Шарлотта фон Кальб тоже принадлежит к партии Гердера, он тотчас же примыкает к ней.

Он высоко чтит Гердера. Позже в «Письме о философии» и в «Приготовительной школе эстетики» он сложит гимн в его честь, а его «Идеи к философии истории человечества» — последнее, что он читал на смертном одре. С восемнадцати лет он читал Гердера с возрастающей пользой. «Его произведения были для меня прохладными родниками в пустыне Гофа», — пишет он Кальб. Гердеровская идея счастья, конечно, оказала влияние на «Вуца». Письменная похвала супругов Гердер ободрила его. Гердер был одним из немногих, кто знал и ценил его ранние сатиры. С Гердером его политически объединял демократизм, морально — строгое понимание добродетели. Но это же отделяло его от Гёте, который, вступив в

классицистский период своего творчества, отошел от своего прежнего вдохновителя.

Раздор между Гердером и обоими классиками стал явным еще до посещения Жан-Поля Веймара. Его причиной был выход Гердера из состава сотрудников журнала «Оры». Шиллер, издатель журнала, отклонил одну статью Гердера, обосновав это тем, что в ней утверждается, будто поэзия должна вырастать из жизни, из времени, из реального, между тем как поэт должен быть верен идеалам Древней Греции, поскольку «действительность только запачкает» его. После этого Гердер ушел из редакции. Он отвергал гётевский и шиллеровский окрашенный античностью культ формы и ратовал за искусство, подчиняющееся гуманным, нравственным целям. Он справедливо видел в Жан-Поле союзника, и когда превозносил его как новую величину в литературе, то делал это не без намерения противопоставить его Гёте и Шиллеру. «Ваши сочинения, — пишет Каролина Гердер Жан-Полю, — необходимо именно сейчас распространять как можно шире. Господство наглости и высокомерия возносится и распространяется беспредельно. Антихрист явился теперь в наикрасивейшей форме, в шиллеровском „Альманахе Муз“».

Конечно, у всего этого есть и политическая подоплека, которая редко выражалась в словах. Симпатия Гердера к Французской революции повредила его репутации при дворе. Когда спустя несколько лет Каролина Гердер ходатайствовала через Гёте об обещанном герцогом пособии на воспитание детей, Гёте ответил оскорбительными для Гердеров письмами, упрекая их за демократические взгляды. «Мне жаль вас, вам приходится искать поддержки у людей, которых вы не любите и едва ли цените, чье существование вас не радует и содействовать чьему благу вы не расположены... Разумеется, куда удобнее заявлять о своих правах, когда крайность заставит, а не стараться всей жизнью, всем своим поведением заслужить то, за что однажды настанет время вознести благодарность».

Если в письмах Жан-Поля к Отто к описаниям его веймарского счастья примешивается разочарование по поводу литературных знаменитостей, то оно, безусловно, связано и с той мелочностью, с какой великие часто ведут свои споры. Они очень чувствительны к критике. Когда речь идет об их собственных произведениях, они теряют всякую терпимость. Поскольку их произведения — воплощение их

личности, они все воспринимают в личном плане. И поскольку за мелочами часто скрыты решающие различия во взглядах, то хоть это и понятно, но для пришедшего со стороны Жан-Поля мало привлекательно.

Гердер брюзжит по поводу всего, что исходит из дома Гёте. «Все эти Марианны и Филины, вся их толча я мне ненавистны», — говорит он о «Вильгельме Мейстере», которого считает пустым и безнравственным. При каждом удобном случае он упрекает Гёте в безбожии и аморальности. Он не признает значения больших баллад Гёте. Когда в журнале «Оры» появляются «Римские элегии», он предлагает переименовать его в «Хуры»^[25].

Но и Гёте в последнем разговоре с Гердером, после того как Жан-Поль окончательно покинул Веймар, проявляет сверхчувствительность в гротескной форме. Гёте поведал об этом событии потомкам в «Тетрадах дней и годов». В мае 1803 года он записывает: «Уже три года, как я отделился от него (Гердера), ибо с болезнью у него усилился недоброжелательный дух противоречия, заглушая его бесценный и неповторимый дар любви и любезности. Приходя к нему, наслаждаешься его мягкостью; уходишь от него оскорбленным. После спектакля „Евгения“ („Внебрачная дочь“) Гердер, как мне передавали, высказался самым благосклонным образом... я мог надеяться на возобновление близости с ним, из-за чего пьеса стала бы мне дорога вдвойне. Для этого представилась и ближайшая возможность. Это было в то время, когда я находился в Йене... мы жили во дворце под одной кровлей и обменивались доброжелательными визитами. Однажды вечером он посетил меня и стал в словах, полных спокойствия и чистоты, хвалить названную пьесу... Однако эта истинная, прекрасная радость длилась недолго, ибо под конец он, хотя и в шуточной форме, выбросил отвратительный козырь, чем рассудочно уничтожил, по крайней мере на тот миг, все в целом. Человек разумный поймет, что это возможно, но ощутит вместе со мной ужасное чувство, меня охватившее; я поглядел на него, ничего не отвечая, ужаснувшись, что это и есть пугающий символ наших многолетних отношений. Вот так мы и расстались, и я его больше никогда не видел».

Эта трагически окрашенная сцена оборачивается, к сожалению, комизмом, когда узнаешь, в чем заключался отвратительный козырь, который так ужаснул Гёте: то был не очень-то тактичный, но

дружелюбный намек на внебрачного сына Гёте. Еще больше, чем «Внебрачная дочь», сказал Гердер, ему нравится внебрачный сын Гёте.

Не удивительно, что такие распри между литераторами, теснящимися на крохотном пространстве, зависящими от одних и тех же меценатов, пугают добросердечного юношу из Гофа, его реакция на это истинно жан-полевская: «Теперь я не стану робко склоняться перед великими людьми, а только перед самыми добродетельными». Следующая фраза — она идет без абзаца — поясняет, кого он при этом не имеет в виду: «Все-таки я со страхом пришел к Гёте».

Видно, что партия Кальб — Гердер его уже подготовила: Гёте не добродетелен, лишен истинных чувств, холоден к людям, его интересует только искусство. Шарлотта, опасаясь чуждого влияния на своего подопечного, советует ему тоже проявить холодность. «Я пошел без тепла, только из любопытства. Его дом ошеломляет, это единственный в Веймаре дом в итальянском вкусе, а какие лестницы! Это пантеон, полный картин и статуй, в груди возникает холодок страха; наконец появляется бог, холодный, немногословный, невозмутимый. Кнебель говорит, например: французы вступают в Рим. Гм! — говорит бог. Его облик энергичен и страстен, глаза светятся (хотя они и не очень приятного цвета). Но разогрело его наконец не только шампанское, а разговоры об искусстве, о публике и т. д., и мы сразу же оказались — у Гёте. Он говорит не так красочно и стремительно, как Гердер, но остро — решительно и спокойно. Напоследок он прочитал нам... неопубликованное изумительное стихотворение, огонь его сердца пробился сквозь ледяную кору, и он даже пожал руку... исполненному энтузиазма Жан-Полю. Прощаясь, он снова это сделал и пригласил меня прийти опять. Он считает свой поэтический путь законченным. Клянусь небом, мы ведь хотим любить друг друга. Остгейм сказала, что он никогда не проявляет признаков любви. Я должен рассказать тебе о нем сто тысяч вещей. И жрет он ужасно. А одет с тончайшим вкусом».

Несмотря на предубеждения, которые ему внушали, несмотря также на чопорность Гёте, сближение кажется ему еще возможным. Так же кажется и Гёте, пославшему в прошлом году «Геспера» Шиллеру, который назвал его «великолепным субъектом», с воображением и причудами; это «веселое чтение для длинных ночей», только, к сожалению, типичный «козлотур» — помесь козла с туром, —

лишенный единства, бесформенный. В ответ на это Гёте написал: «Мне приятно, что новый козлотур Вам не совсем противен; жаль этого человека, он как будто живет очень изолированно и потому не может, обладая многими хорошими качествами, облагородить свой вкус. К сожалению, кажется, лучшее общество, в каком он вращается, — это он сам». Позже он заговорил о большом успехе книги и выразил надежду, «что бедняга в Гофе в эти грустные зимние дни получает от этого хоть какое-то удовольствие», в ответ на что Шиллер упрекнул читающую публику в неразборчивости, потому что одновременно с Жан-Полем она любит самое дешевое развлекательное чтение, например романы Лафонтена, — а это ведь могло свидетельствовать только о положительном отношении Шиллера к Жан-Полю.

Тогда речь шла о книге; но вот приходит автор — сперва к Гёте, который рекомендует его Шиллеру: «Он посетит Вас вместе с Кнебеями и, несомненно, понравится Вам». Он называет его «сложным существом», с которым происходит то же, что и с его книгами: «Одни ценят его слишком высоко, другие слишком низко, и никто не знает, как по-настоящему подойти к этому странному существу». То же считает и Шиллер: «Странен, как человек, который упал с луны, полный доброй воли и искренне склонный видеть вещи вокруг себя, но только не тем органом, который создан для зрения». Гёте в заключение намекает, в чем для них суть дела: им нужен союзник. «Его правдолюбие и желание что-то воспринять расположили к нему и меня. Но этот общительный человек представляет собой разновидность человека теоретического склада, и если хорошенько подумать, то я сомневаюсь, чтобы в практическом смысле Рихтер когда-нибудь приблизился к нам, хотя в теоретической сфере он как будто имеет большую склонность к нам».

Что бы тут ни понимать над теорией и практикой, в отношении Шиллера Рихтер уже принял решение: он не только отвергает политические и эстетические взгляды теоретика искусства, этот человек ему попросту антипатичен. Годом раньше, в Байройте, он видел его портрет: «Портрет Шиллера, или, скорее, нос на нем, поразил меня, подобно молнии: на нем изображен херувим с предвестиями падения; кажется, что он возвышается над всем: над людьми, над несчастьем и — над моралью. Я не мог наглядеться на возвышенный лик, которому словно все равно, чья кровь течет — чужая или своя».

Теперь же этот возвышенный человек принимает его в Йене «необычайно любезно», приглашает сотрудничать в «Орах», но тем не менее симпатичнее он ему не становится. Рихтер называет его «подобным скале», «полным острых, режущих сил» и главное — «лишенным любви». Но почетного приглашения сотрудничать в «Орах» он все же не отклоняет, делает даже какие-то наброски, вернувшись в Гоф, но из этого ничего не выходит. Ибо тем временем обе стороны, обдумав свои позиции, уже начали междоусобицу. К сожалению, они при этом обращаются с золотом противника, как деревенские кузнецы. Гёте особенно упрощает себе дело: переходит на личности вместо того, чтобы говорить по существу, и, кроме того, прибегает к недостойному приему, называя того, кто создан по-иному, не другим или даже плохим, а больным.

Гёте рассержен. Кнебель перевел любовные элегии Проперция и послал их в Гоф. В благодарственном письме Рихтера есть фраза: «Однако ныне мы нуждаемся больше в Тиртее, чем в Проперции», фраза эта совершенно недвусмысленно относится к войне между Францией и Австрией. (Древнегреческий поэт Тиртей писал зовущие в бой песни и, согласно легенде, помог спартанцам одержать победу.) Гёте, которого, как автора «Римских элегий», называли «немецким Проперцием», принял слова Жан-Поля на свой счет и вознегодовал.

Письмо Рихтера было написано 3 августа, а уже 10-го (обратим внимание на быстроту не только сплетника, но и почты!) Гёте отправил Шиллеру стихотворение для «Ор»: «Посылаю небольшое сочинение; если оно Вам пригодится, я ничего не имею против, чтобы под ним стояло мое имя. Собственно говоря, меня навело на него дерзкое высказывание господина Рихтера в письме Кнебелю».

Сочинение называется, правда, не «Человек, который упал с луны в Веймар», но похоже: «Китаец в Риме», то есть неверующий в Священном городе, или же варвар в столице культуры.

Видел я в Риме китайца; его подавляли строенья
Древних и новых времен тяжестью мощной своей.
«Бедные! — так он вздыхал. — Я надеюсь, им стало понятно:
Нужно, чтоб кровли шатер тонкие жерди несли,
Нужно, чтоб жечь, и картон, и резьба с позолотою пестрой
Взгляд искушенный влекли, теша изысканный вкус».
Мне показалось, что в нем я вижу тех пустодумов.

Кто паутину свою с вечной основой ковра
Прочной природы равняет, здоровье считает болезнью.
Чтобы его болезнь люди здоровьем сочли.

Перевод С. Ошера

Это не только высокомерно, но и догматично: Гёте, который в ту пору присягал античной строгости формы, лишь ее считал «надежной натурой», а все остальное — ненатуральным, что звучит достаточно курьезно, если задуматься, сколь искусственно переняли греческий идеал атакующие и какое значение имели родная природа, социальное положение народа и современность для атакуемого.

Гёте метит, разумеется, в то, что теперь кажется ему бесформенностью (позднее он будет судить мудрее). Вкус Рихтера воспитан не в классицистском духе, стало быть, у него нет никакого вкуса. Да и откуда ему взяться, если «лучшее общество, в каком он вращается, — это он сам»; вот если бы он приспособился к веймарцам...

Рихтер в Лондоне! Чем бы он стал! Рихтер же в Гофе
Полуобразованный — тот, чей талант вас приводит в восторг.

Так сказано в одной из направленных против Рихтера «Ксений» Гёте — Шиллера, и вместо «Лондона» здесь можно, вероятно не сомневаясь, читать «Веймар». В другой «Ксении» Жан-Поля не без оснований упрекают в том, что он не умеет распоряжаться богатством своего таланта.



Гёте и Шиллер столь же велики как поэты, сколь, к сожалению, неспособны распознать и признать талант иного склада. «Настоящая отповедь для этих людишек», — пишет Шиллер, получив «Китайца в Риме», а в следующем году говорит, что «эти шмидты, рихтеры, Гёльдерлины» субъективны, высокопарны и односторонни, но все же обнаруживает некоторое понимание, задаваясь вопросом, не

объясняется ли это «оппозицией эмпирическому миру, в котором они живут».

К счастью, «эти людишки» умеют защищаться против чванства. В ту самую неделю, когда Гёте называет провинциала китайцем, тот заканчивает (не подозревая, что это ответ) свое полемическое сочинение против греков в Веймаре — разумеется, в своем духе, не так кратко и заостренно, а многословно и юмористически, никого не оскорбляя, касаясь больше дела, нежели личностей. Действующее лицо не Гёте или Шиллер, а вымышленный комический персонаж, не поэт, а рецензент, советник по делам искусства Фрайшдёрфер, взятый из заготовок к «Титану» и впоследствии в нем снова появившийся; его прототипом современники считали Августа Вильгельма Шлегеля, но под ним, скорее, подразумевался советник Гёте по вопросам искусства Генрих Мейер. Так или иначе, Жан-Поль выступает в защиту своего дела: защищает свой жан-полевский стиль против догм классицизма и еще находящегося в зависимости от них раннего романтизма. (Против обоих направлений потом и будет обращен «Титан», который именно благодаря веймарскому уроку приобрел свой окончательный вид.)

В ноябре 1795 года появился «Квинт Фиксляйн» и так хорошо разошелся, что было запланировано второе издание. Так как Жан-Поль никогда не упускал случая написать предисловие (каждый отдельный томик «Зибенкеза» снабжен им, каждому новому изданию предпосылается новое предисловие, которое не обязательно связано с прилагаемой книгой, почему и имеется больше предисловий, чем книг Жан-Поля), то теперь, в 1796 году, он пишет новое предисловие ко второму изданию, которое, поскольку печатание книги задерживается, а полемика актуальна, забавным образом выходит отдельной брошюрой. В ноябре она уже в продаже: «История моего предисловия ко второму изданию „Квинта Фиксляйна“».

Это и на самом деле история, юмористическая и сатирическая, история путешествия, как и некоторые другие его предисловия. Действующие лица: конечно, Жан-Поль, Паулина Эрман (появляющаяся и в предисловии к «Зибенкезу»), советник по делам искусства Фрайшдёрфер. Место действия: дорога из Гофа в Байройт. Сюжет: Жан-Поль доставляет себе две великие радости сразу — он странствует пешком по родному краю и пишет предисловие; он хотел бы прибавить и третью — посмотреть в лицо красивой девушке, что

перегоняет его в почтовой карете. Но все три радости портит ему советник по делам искусства (в «Титане» он будет складывать свое лицо в простые, благородные большие складки, подобные драпировкам на одеждах древних). Вместо того чтобы наслаждаться природой, людьми и работой, Жан-Полю приходится выслушивать эстетическую жвачку человека, воплощающего отношение классицизма к искусству, чрезмерный эстетизм которого сделал его враждебным современности, действительности, а также человеку. Кому важна лишь красивая форма, тот превращает эстетику в варварство; тот считает неслыханным, чтобы архитектурные произведения искусства, то есть дома, осквернялись обитателями; тот радуется, когда сгорает город, потому что это позволяет надеяться, что построят новый, более красивый; для того крестьянин не более чем повод для буколической картины, а война — материал для баталиста; тому «во всей вселенной важно только то, что может ему сгодиться»; тот станет во имя изучения искусства пытаться людей, если ему надо нарисовать Прометея. Правда, советник по делам искусства полагает, что легче всего прекрасную, то есть благородную греческую, форму достичь «отказом от материи», то есть отказом от содержания.

Это великолепное предостережение против формальной эстетики, которое касается веймарского культа формы, а также шиллеровской переоценки эстетического начала принципа в воспитании; однако оно бьет мимо произведений Гёте и Шиллера (вспомним хотя бы только что появившегося «Вильгельма Мейстера»). Всюду чувствуется влияние Гердера, упрекавшего Гёте и Шиллера в том, что они мораль принесли в жертву красивой форме. Жан-Поль метко замечает: чтобы походить на греков, надо сбросить груз двухтысячелетних знаний. У греков надо учиться гуманности, пишет он несколько позже Гердеру, «но наш богатый век должен бы стыдиться их скудных сюжетов». Современный прозаик Жан-Поль остерегается подражать грекам («высохшим мудрецам à la grec»), он погубил бы этим богатство своих сюжетов. Юморист, для которого юмор — «плод долгой культуры разума», высмеивает подражание грекам, потому что оно не оставляет места для юмора.

Догме классиков он не противопоставляет собственную догму — это привлекательно. Он указывает на несовременность греческого идеала и на опасность односторонней переоценки формы; он

воскликает: «Говори, что ты хочешь, ведь я пишу, что я хочу!» — и покидает высохшего, лишенного юмора советника по делам искусства, чтобы догнать жизнь в образе Паулины, которую непременно должен увидеть в лицо.

22

АДВОКАТ ДЛЯ БЕДНЫХ

Лишь три недели длилась поездка в Веймар. Жан-Поль возвращается в Гоф, но уже ясно, что он останется там недолго. Еще во время поездки в Байройт, годом раньше, он научился ценить общение с образованными женщинами и мужчинами и наслаждаться своей славой. Теперь, собственно, только старая мать связывает его с городом, где, за исключением Отто, никому нет дела до его гения. Внутренне он распрощался с городом еще до поездки — в своей работе.

За день до его похода в Веймар берлинской почтой был отправлен издателю его «Зибенкез». Смерть и воскрешение персонажа этого романа, явно автобиографического, становятся символом разлуки и нового начала. Жан-Поль умирает для Гофа, чтобы стать свободным для мира. Но смерть в романе — мнимая смерть. И для автора обретенная свобода тоже окажется лишь мнимой. Он вернется туда, откуда вышел, правда не в Гоф, но все же по соседству с ним, где четыре стены рабочей комнаты станут его четырьмя опорами. Кто начал в одиночестве, одиночеством и кончит.

Основа фабулы романа уже разрабатывалась им в одной из сатир восьмидесятих годов. Под разными названиями («Погребенный заживо», «Живое погребение», «Вера в его смерть») он все время делал попытки извлечь из этой выдумки новые возможности. Мимолетно мотив его звучал и в «Незримой ложе», и в «Геспере», и «Квинте Фиксляйне»; од предназначался для начатых (и незаконченных) «Биографических забав». И вот случай побуждает его создать на этой основе один из лучших своих романов.

Берлинский издатель Мацдорф, которому Карл Филипп Мориц передал «Незримую ложу», еще занят печатанием «Геспера», а Жан-Поль уже предлагает ему готовую рукопись «Квинта Фиксляйна». Издатель отвечает не сразу, и Жан-Поль отдает свое сочинение в Байройт. Мацдорф, пораженный успехом «Геспера», рассердился.

Чтобы умаслить его, Жан-Поль обещает ему новую книжицу, предлагая пока на выбор лишь разные названия. Выбор пал на «Цветы, плоды и тернии», причем сперва, видимо, предполагался сборник небольших сочинений, среди них — о мнимой смерти некоего супруга. Когда он только приступал к этому сочинению, он имел в виду нечто небольшое, наподобие новеллы, своего рода идиллию в духе «Вуца», «Фиксляйна», но на сей раз в центре произведения будет не учитель или пастор (как в написанном вскоре после этого «Юбилейном сениоре»), а адвокат для бедных, который зарабатывает не лучше учителя или пастора. Но автор наделяет его не ограниченностью, необходимой для такой жизни, а, скорее, живым, даже гениальным умом, не дает ему покориться судьбе, позволяет защищаться, добиваясь свободы, — и возникает совсем другая, вовсе не идиллическая история. Следуя логике выбора героя, история разбухает, «из зародыша вырастает Голиаф», создается роман, которого достаточно, чтобы обеспечить автору славу крупнейшего прозаика немецкой литературы.

Первоначально роман не задумывался как роман, что пошло ему на пользу. Это освободило автора от склонности к тривиальной фабуле романа ужасов. В своей манере, то есть с отступлениями и перебивками, с включением старых и новых сатир, с бесконечным описанием разнообразнейших чувств, он наглядно рассказывает простую историю: адвокат, занимающийся сочинительством, женится на добросердечной, простодушной, целиком придерживающейся мелкобуржуазного образа мыслей Ленетте. Бедность и духовное неравенство приводят их к отчуждению. С помощью друга Лейбгебера Зибенкез мнимой смертью освобождает жену и себя от брачных уз. Она выходит замуж за филистера, шульрата Штифеля. Зибенкеза ждет новая жизнь с близкой ему по духу Натали. В пышном заглавии содержится вся история: «Цветы, плоды и тернии, или Супружество, смерть и свадьба Ф. Ст. Зибенкеза, адвоката для бедных в имперском местечке Кушнаппеле».

История эта не настолько уже и выдумана, как кажется. В те времена подобное случалось неоднократно и неоднократно воплощалось в литературе. То связь гессенского ландграфа Филиппа с некой придворной дамой вызывает скандал, и дама для видимости умирает, с превеликой пышностью хоронят куклу, а мнимая покойница живет в уединенном замке, где рождает ландграфу нескольких детей. То

муж Брауншвейг-Вольфенбюттельской принцессы, сын Петра Великого, так избивает ее, что она падает в обморок, выдает обморок за смерть, бежит в Америку и выходит там замуж за французского офицера. То замужняя женщина из веймарского общества, как рассказано в письмах Гёте к госпоже фон Штайн, якобы умирает в своем имении, а на самом деле бежит со своим возлюбленным в Африку. То оказавшийся на краю банкротства силезский коммерсант мнимой смертью превращает жену во вдову, она выходит замуж за старого богача, получает после его смерти наследство, после чего мнимо умерший возвращается к ней.

Последнюю историю, пересказанную Музеусом, Жан-Поль знал. Но значение романа не в обработке странного происшествия, а в психологическом анализе трагикомической драмы брака и в его общественной подоплеке. «Зибенкез» (после едва заслуживающей упоминания «Шведской графини» Геллерта и нескольких поверхностных романов Вецеля) — первый художественно значительный немецкий роман о браке, равноценный второму — «Избирательному сродству» Гёте, но превосходящий его по социальному содержанию.

Тут не изображается главное и государственное действо, как в «Геспере» или «Титане», но главное и государственное убожество Германии становится очевидным. И хотя социальная среда здесь та же, что в «Вуце» и «Фиксляйне», в «Зибенкезе» нет ничего идиллического. Здесь резко сталкиваются социальные противоречия. Юмор не смягчает отчаяния, вызванного жалким состоянием «захолустного века». Реалистическая критика общества звучит призывом подняться над убогими условиями существования. Здесь не подготавливают политических действий и не говорят о них, но их возможность постоянно подразумевается. Богачи, разбогатевшие лишь за счет бедняков, осуждаются, бедным внушается гордость и надежда на перемену. «Если богу угодно, — говорит Зибенкез плачущей Ленетте, — чтобы я бродил по городу с восьмью тысячами дыр в сюртуке, в рваных чулках и без подметок, то пусть черт меня поберет и до смерти отстегает своим хвостом, если я не буду при этом смеяться и петь, а если кто-нибудь меня пожалеет, тому я скажу в лицо, что он дурак. Клянусь небом! У апостолов, у Диогена, у Эпиктета и Сократа редко был целый сюртук, а уж рубах и вовсе не было, а наш брат в этом

„захолустном веке“ должен расстраиваться из-за этого?» И автор, который не может промолчать, добавляет: «Правильно, мой фирмиан! Тебя окружает жалкая моль, вскормленная нарядами, презри ее убогие сердца. А вы, нищая братия, мои читатели, те, у кого нет целой шляпы, тем более цилиндра, следуйте великому времени Греции и Рима... Бойтесь лишь одного, чтобы ваш дух не оскудел вместе с вашим положением, гордо поднимите к небу ваши головы, пусть оно затянуто робким северным светом, но его вечные звезды уже сияют сквозь тонкую тучу надвигающейся кровавой грозы».

Ленетта самый восхитительный и правдивый женский образ Жан-Поля, милая, скромная, ограниченная, хозяйственная, работающая, идеальное порождение мелкобуржуазного воспитания, согласно которому нарушить безупречные бюргерские обычаи страшнее, чем быть бедным. Ленетта лишена зибенкезовской гордости, для нее эта гордость — признак асоциальности и кощунства. Натали, характеристика которой сводится к черной вуали и чувствительно-философским высказываниям, получилась чересчур схематичной, чтобы в ней можно было ощутить эту гордость; но она полагается ей по воле автора. Однако с наибольшей гордостью в романе поднимает свою голову, причем не только над своим социальным положением, но и над идеологией своего времени, Лейбгебер — друг, вольнодумец чистейшей воды, бродяга, без корней, не связанный никакими обязательствами ни с одним человеком, ни с одной страной, ни с одной религией, циник, или, как его называет Жан-Поль, юморист, прячущий под панцирем холодности уязвимейшую чувствительность.

Если исходить из творчества Жан-Поля в целом, этот персонаж — предвосхищение. Здесь под другим именем преждевременно выступает Шоппе из уже задуманного «Титана»; если же исходить из жизни, он — своего рода возврат к прошлому: имя его прототипа в действительности — Иоганн Бернхард Герман, рано умерший друг Жан-Поля.

Еще при жизни Германа Жан-Поль заявил, что когда-нибудь пересадит его характер в свой роман. После смерти друга он хотел издать его оставшиеся рукописи, но затем отказался от этого плана. Впоследствии «Биографические забавы Жан-Поля под черепом великанши. История с привидениями» должны были воскресить покойника под его настоящим именем. Но этот фрагмент (прелесть которого состоит главным образом в изображении — похожем на

сюрреалистическое — гигантской статуи девы Европы, в чьей голове автор сидит и пишет, выглядывая наружу через ее глаза) до появления духа Германа не дошел. Памятник Герману удалось возвести в «Зибенкезе». Однако Лейбгебер — больше, чем портрет Германа. В нем частично заключен и характер автора. Только Зибенкез и Лейбгебер вместе и составляют Жан-Поля.

Сатирическое произведение, над которым работает Зибенкез, от чего его постоянно отвлекает Ленетта своей болтовней, уборкой, подметанием, стиркой, называется «Избранные места из бумаг дьявола» и пишется в то же время (1785–1786), когда создается одноименная книга Жан-Поля. Но вкрапленные в роман сатиры чаще принадлежат Лейбгеберу. Зибенкеза и Лейбгебера часто путают, так как они внешне поразительно похожи. В знак дружбы они обмениваются именами, так что, когда Зибенкез после своей мнимой смерти живет под именем Лейбгебера, он лишь восстанавливает свое прежнее состояние, в то время как Лейбгебер благодаря безымянности обретает полную свободу от всех обязательств и связей. Спустя два года после «Зибенкеза» автор делает Зибенкеза создателем «Палингенесий», которым предпослано «Открытое письмо гражданину Европы Генриху Лейбгеберу». Затем в «Титане» Генрих Лейбгебер выступает в образе Генриха Шоппе, с тем чтобы в «Приложении» снова под именем Лейбгебера вести полемику с Фихте: «Clavis Fichtiana seu Leibgeberiana».

Итак, здесь действующими лицами становятся те две души, что живут в груди автора, к ним присоединяется третьим он сам, все время вмешиваясь в их разговоры; в других романах он вмешивается своими действиями в созданный им мир, который отражает мир подлинный, преобразенный на жан-полевский лад. Ибо «в любой поэтической фантазии самое упоительное — правда», а «отражение, не заключающее в себе ничего, кроме отражения, ничего и не отражает. Видя сияние, мы предполагаем, что где-то есть свет».

Когда во времена юношеского кризиса, который сделал его писателем, Жан-Подем овладела мысль о смерти, он ради спасения своей чувствительной души заставил себя поверить в бога и бессмертие. Но подавленная часть его разума умерла лишь мнимой смертью. В образе атеиста Лейбгебера она воскресла. Ленетта как черта боится этого друга своего мужа, ведь он противник порядка, удобного

богу. А Зибенкез жалеет его и восхищается им. Но в первую очередь — любит. Ему он может полностью открыться, словно тот часть его самого.

Один из курьезов — их было много в жизни и творчестве Жан-Поля — в том, что он, холостяк, написал первый крупный немецкий роман о браке, — роман, странным образом лишенный сексуальности. Это обстоятельство можно было бы легко приписать неопытности автора, но дело не в ней: таков его моральный и художественный принцип. Супружеские скандалы — истинное наслаждение для читателей — описаны так убедительно и точно, что кажется, будто автор их пережил. Так оно и есть, но (за исключением некоторых, написанных для второго издания сцен, где использован собственный супружеский опыт) партнерша не супруга, а мать. Вот так он, голодающий кандидат в Гофе, ссорился с ней в тесной комнатке из-за шума, из-за ломбарда. Автор, рукописи которого с недавних пор рвут из рук издатели, оглянулся назад, на свое самое тяжелое время. В этом отношении то, что мы ценим как роман о браке, было для него, скорее, книгой воспоминаний. Сам он смотрит на брак иначе, чем это изображено в «Зибенкезе». Когда он высказывает эти свои взгляды (а он это делает часто), они оказываются не реалистическими, а идиллическими.

Великолепно удалось в «Зибенкезе» изображение народа. Позднее Бёрне будет прославлять Жан-Поля как защитника бедных — эту славу он больше всего заслужил историей адвоката для бедных. Кстати, профессия Зибенкеза лишь выражение критической позиции автора: Зибенкез не показан при исполнении обязанностей, если не считать иска по его собственному делу, предъявленного правителю, который превратил его в нищего. В момент составления завещания эта критическая позиция достигает такой остроты, что нотариус от страха перед последствиями столь крамольной речи выпрыгивает из окна, под которым, на его счастье, лежала куча дубильной коры, что и спасло ему жизнь.

Да будет он счастлив, «особенно здесь, в этом мире», желает Зибенкез в завещании народу Кушнаппеля — дубильщикам, сапожникам, переплетчикам, парикмахерам, чулочникам и нищим. Их образы превращают роман в хронику времени, в необходимое дополнение официальных исторических трудов, которые регистрируют

не то, что было на самом деле, а только то, что якобы подтверждает предначертанный ход развития, и которые, таким образом, в те времена вообще народа не замечали. «Ах, сколько капель слез, сколько капель крови, которые оросили и вспоили три краеугольных древа земли, три ее опоры — древо жизни, познания и свободы, — было пролито, но не подсчитано. Мировая история рисует род человеческий не так, как художник нарисовал одноглазого короля, изобразив лишь зрячий профиль, — она рисует лишь его слепой профиль; и только в великом несчастье становятся видны великие люди, подобно тому как кометы становятся видны при полном солнечном затмении. Не только на поле битвы, но и на освященной почве добродетели, на классической почве истины из тысячи павших и борющихся безымянных героев строится пьедестал, на который история возносит лишь одного из них, названного по имени, истекающего кровью и озаренного светом победы. Самые великие героические деяния свершаются в четырех стенах; а так как история учитывает лишь мужей, принесших себя в жертву, и пишет только кровью, то в глазах мирового духа наша летопись величественнее и прекраснее, чем в глазах того, кто пишет всемирную историю; ход мировой истории оценивают лишь по ангелам и дьяволам, в ней выступающим, а людей, что между ними, забывают».

Журнальная критика отзывалась на роман восторженно или по крайней мере благосклонно, цензоры в Австрии налагают на него запрет: ввоз этой «отнимающей время и бессмысленной» книги, содержащей «шуточки, предосудительные с точки зрения политики и религии», да и непонятной, не разрешается. Но газета «Кайзерлих привилегиртер рейхс-анцайгер» снабжает юмористический роман еще и юмористическим эпилогом. 25 августа 1797 года она публикует статью под названием «Порицание проступка писателя». Она клеймит автора «Зибенкеза» за то, что он одобряет своего героя, который обманывает не только прусское попечительство о вдовах, но и церковь: ибо мнимой смертью Зибенкез надувает консисторию, лишая ее налога на развод. «Напрашивается вопрос: предлагал ли уже какой-нибудь писатель своему народу то, что господин Рихтер предлагает своей книгой немцам, или это они сами — они, чью славу среди народов прежде составляла честность, — теперь считают плутовство, заслуживающее позорного столба, всего лишь проказами прекрасных душ?»

Нынешнему читателю трудно представить себе, что «Зибенкез» не имел такого успеха, как «Геспер». Выдающиеся современники, друзья и приятельницы писателя оценивали его, хотя и с оговорками, по существу благосклонно. Только одна отозвалась о нем резко отрицательно — Шарлотта фон Кальб.

23

ТИТАНИДА

Без определенной мании величия произведения искусства возникают редко. Художнику нужно быть убежденным, что он может сделать что-то прекраснее, значительнее, правдивее, фантастичнее, искуснее, современнее, во всяком случае — иначе, лучше других, это необходимая предпосылка его работы. Без этого муки полнейшей самоотдачи может вынести только внутренне равнодушный, а он все равно не создаст значительных произведений.

Эта мания не заслуживает такого названия лишь в тех редких случаях, когда воображаемые и действительные достоинства совпадают, тогда ее, пожалуй, следует называть уверенностью в себе. Ее трудно вызвать, особенно в душе человека умного, и легко разрушить; вот почему преждевременная или неверная критика может повредить произведению, нарушив столь трудно достигаемое равновесие между манией величия и чувством неполноценности. Потому-то порой и срываются некоторые нынешние издания, что критический указующий перст поднимается прежде, чем написано первое слово; но это же основа и нелепой сверхчувствительности многих художников к критике. Тот, кто не перерос свое произведение, прежде чем оно дошло до общественности, подвержен тяжелым нарушениям равновесия. С этой точки зрения многие месяцы, которые благодаря нашим инстанциям, издательствам и типографиям отделяют сегодня окончание книги от ее выхода в свет, — сущее благо для авторов. До того как выскажется разрушительная критика, автор успевает посмотреть на свое создание со стороны.

Двести лет назад его коллеги были лишены этого преимущества. Их книга была готова, когда они считали ее готовой. Издатель не затягивал работу пожеланиями что-то изменить; он говорил «да» (или «нет»), отдавал рукопись в печать, и через несколько недель автор и

читатель, если не вмешивался цензор, получали книгу (правда, с многочисленными опечатками). Автор, весь еще во власти своей работы, иными способами оберегал свою уверенность в себе.

Он пользовался средствами и сегодня еще действенными: например, объявлял рецензентов врагами или дураками, ссылаясь на положительные отклики читателей и окружал себя почитателями, постоянно твердящими о его значительности. Общения с критически настроенными коллегами он по возможности избегал. Потому так редка дружба между писателями равного масштаба. Не случайно возник так рано ореол недолгого рабочего содружества между Гёте и Шиллером. Тем же объясняется и оппортунизм многих авторов: не дождавшись успеха внизу, они довольствуются успехом наверху. С этим же связан и выбор женщин. Сколь ни трогательна связь Гёте (не с госпожой фон Штайн) с «девушкой из народа», Христианой, она столь же и знаменательна.

Фридрих Рихтер не составляет исключения. Все его друзья (в том числе и склонный к критике Кристиан Отто, которого он всю жизнь использовал как редактора) — пылкие поклонники писателя Жан-Поля, а его «Христианой» станет Каролина Майер, а не Шарлотта фон Кальб. Он выбирает себе в невесты Каролину не потому, что, как умиленно пишут биографы, она простая бюргерская девушка, а потому, что она не так эмансипированна, как Шарлотта (или другие интеллектуальные женщины, которых он знал и любил), и, стало быть, не обладает и ее критическими способностями. «Женщина, если она замечательное существо, не приносит мне счастья», — однажды с редкой откровенностью написал Шиллер, имея в виду ту же Шарлотту фон Кальб. Это мог бы сказать и Жан-Поль, и многие другие мужчины. Иметь жену, которая требует и в повседневной жизни того высокого напряжения, что являют публике, трудно не только поэтам.

Вначале Жан-Поль чрезвычайно восхищался Шарлоттой. Он сразу же ответил на ее чувства, о которых она довольно неприкрыто объявила ему. «Две трети весны прошло... а деревья в прекрасном парке стоят еще без листьев, соловей еще не пел, и Вы еще здесь не побывали. Все приметы весны запоздали».

Это она написала ему за несколько недель до его прибытия в Веймар. Через несколько дней после его приезда в письмах (которые она пишет, несмотря на короткие расстояния маленького города)

впервые появляется интимное «ты»: сперва в порыве ревности в тот день, когда он был приглашен к Гёте, потом в письме, содержащем объяснение в любви к писателю и мужчине: «Душа любит идеальное изображение, сердце любит идеального человека — и оно жаждет его, жаждет, жаждет».

Насколько можно судить по письмам, требовательные ноты в ее любви его не пугают. Он не скупится на красивые слова любви. Они невыносимо манерны, но это мало о чем говорит: множество писем, что он писал многим женщинам, не отличаются от этих. В них ощущается не столько чувство, сколько деланность. Но Шарлотта хочет не только восхищаться им, но и заставить считаться с ее мнением, — это пугает его.

Это началось — явственно, но пока безобидно — уже в самом начале, когда она отказала «Зибенкезу» в художественной зрелости и назвала некоторые его главы «больными и судорожными». От этого еще можно отделаться пустыми словами, что-де она, «возможно, во всем» права. Но когда она нападает на его религиозно окрашенные моральные убеждения, это его раздражает.

Сблизившись с нею в Веймаре, он посылает ей маленький аллегорический рассказ «Лунное затмение»; следуя привычке использовать все, он включил его вместе с другими старыми рассказами в «Квинт Фиксляйн». Всей силой и красотой своего языка он защищает женское целомудрие, изображает змия дьявольским искушителем в раю, а дух религии защитником девичьей добродетели. Вполне понятно, что это прогневило свободомыслящую, житейски опытную женщину, если к тому же предположить, что нравственный ригоризм Жан-Поля, вероятно, доставлял ей и на практике немало хлопот.

«Обольщение как наживка! — с негодованием пишет она ему. — Ах, прошу Вас, пощадите бедных девушек и не запугивайте больше их сердца и души!.. Природу и без того уже побивали камнями... Я такой добродетели не приемлю и не согласна считать святыми тех, кто ее придерживается... Человека нельзя принуждать, но его нельзя и обрекать на бесплодные сожаления. Дайте волю людям — смелым, сильным, зрелым, сознающим свои силы и нуждающимся в них; но как несчастны и жалки люди и наш пол! Все наши законы порождены жалким убожеством и необходимостью и лишь редко — мудростью.

Любовь не нуждается в законах! Природа требует, чтобы мы становились матерями; уж не для того ли, чтобы мы, как полагают некоторые, лишь продолжали ваш род? Если ради этого ждать, пока появится серафим, мир вымрет. А что такое наши смиренные, жалкие, богобоязненные браки? Я скажу вместе с Гёте и решительнее, чем Гёте: среди миллионов не найдешь ни одного, кто, обнимая, не обкрадывал бы невесту».

К такой житейской мудрости Жан-Поль глух, это атака на его работу, на все его чистые образы женщин — о том, что у них есть тело, свидетельствует только вождение придворных. И потому он тут же, переслав это злое письмо другу Отто в Гоф, пишет о «вмешательстве в мою эстетическую жизнь», по поводу которого он собирается высказать ей «самое решительное мнение».

Это ему тем более легко, что его чувства и ограниченное для писания писем время уже занимают другие женщины. И его письмо становится полуразрывом, который никогда не станет окончательным. Через шесть месяцев она опять его «незаменимая Шарлотта», и когда он в октябре 1798 года переселяется в Веймар, то снова оказывается полностью в плену у Остгейм, как он ее большей частью называет — по девичьей фамилии.

Хотя ее писем больше нет, а от его писем сохранились лишь черновые наброски или сокращенные копии, можно тем не менее примерно восстановить, как возрождалась и как закончилась их любовь.

Он пишет ей: «Вчера я прибыл... возлюбленная подруга, появления которой я еще более горячо жажду после стольких знамений объединяющей нас совместной весны... Приходите же поскорее и приносите с собой прежнее настроение».

Она — ему: «Придите нынче вечером!» «Приди в четыре часа, я буду несколько часов одна». «Что Вы делаете сегодня? Я в своей комнате». «Сегодня утром приехал Генрих фон Кальб. Вечером не приходите!» «Я вся дрожу, меня охватывает смертельный страх. Я ничего не могу делать, пока не знаю, придете ли Вы вечером».

Он — своему другу Отто: «Страсть овевает мое позднее лето. Эта женщина — впредь она будет называться Титанидой... хочет развестись и выйти за меня замуж... Мои моральные возражения против развода опровергаются десятилетним отсутствием мужа... Ах, спустя

несколько дней я сказал этой возвышенной горячей душе: нет! И так как я натолкнулся на невиданное прежде величие, пламя и красноречие, я твердо настоял на том, чтобы она не сделала ни одного шага ради, как и я — ни шага против этого намерения... Я наконец научился стойкости сердца — моей вины тут совершенно нет, — я вижу, сколь возвышенна и гениальна эта любовь... но она не соответствует моим мечтам».

Он — ей: «Молчи, милая душа: преисполнись спокойствия и надежды!»

Она — ему: «Ах, приди... не оставляй меня одну с ужасными страданиями!» «Приходите ж! Вы должны меня выслушать!»

Он — ей: «Я должен расстаться с эфирным образом, ежечасно озаряющим меня новыми лучами, я чувствую себя так, словно лишаю свою душу идеала».

Она — ему: «Я ничего не обещаю и ничего не хочу — только бы не разлучаться...» «Поверь мне, мы еще не все познали, что могут даровать нам наши сердца».

Он — ей: «Вчерашняя вечерняя заря еще не поблекла, я еще вижу начертанное на ней золотыми словами: она всего прекраснее, когда всего нежнее».

Она — ему: «Дети спрашивают, будет ли сегодня обедать с нами господин Рихтер, ведь у нас сегодня кислая капуста».

Он — другу Отто: «Титанида... уже часто и бурно... отступалась от своего смирения; читая когда-нибудь эти пламенные письма, ты сочтешь непостижимым, как это я мог повторять свое „нет“, не вызывая все новых ураганов».

Она — ему: «Люби меня, и никого другого не люби так, как меня. Я не могу и не хочу перемениться, ибо я боюсь несчастья и беспросветности и тоски моей жизни».

Он — ей: «Пусть твое сердце будет спокойным и теплым».

Она — ему: «Ты часто причинял мне глубокую боль! Создатели поэтических биографий, такие, как ты, нет, ты один такой, глубоко понимают, видят, рисуют, изображают и создают человечество. Но подлинность стойкой, неколебимой, любящей души им недоступна». «В Гильдбургхаузене, говорят, будто Фойхтерслебен — Ваша невеста». «Несколько дней тому назад я перечитывала письма Гёльдерлина... Однажды я давала их Вам читать, Вы не обратили на них внимания... Этот человек стал теперь буйнопомешанным... Мужчина еще меньше,

чем женщина, в силах выдержать, если не находит человека такого же склада, что и он, но всякий, кто живет в беспросветности и пустоте, достоин сожаления».

Он — ей: «Пусть душа... упивается непреходящим прошлым!»

Она — ему: «Хотя Вы не удостоили ответом мои последние письма, я все же пишу Вам снова». «Вы долго медлите с ответом». «Почему Вы так скупитесь на бумагу и чернила, что не пишете мне ни слова?»

Он — другу Отто: «Не знаю, какую ставку делала поначалу судьба на моего „Титана“, когда провела меня в Веймаре сквозь все эти испытания огнем внутри и вне меня, когда свела меня с известными тебе женщинами. Но теперь я могу создать его...» («Титана»).

Претворяя все пережитое в материал для работы, автор благополучно вышел из своей душевной трагедии. Эта любовь помогла ему создать Линду в «Титане», после чего он потерял интерес к Шарлотте. Тщетно она пытается построить из развалин любви дружбу. Она не останавливается даже перед обращением к женщинам, которых он любит. Неверно полагая, будто Амёна Герольд, главная участница гофской академии любви (ставшая вскоре женой Отто), и есть ее самая опасная соперница, она принимает ее у себя. Жан-Поль обручается в Берлине, и она сразу же принимает его избранницу третьим членом в их уже не существующий союз. Многие годы она посылает супругам письма, но ответы скоро начинают приходить только от жены. Она читает и с прежней остротой оценивает каждую его новую книгу. Пусть нет отзвука, она не обращает на это внимания. Ибо эта мнимая дружба — все, что у нее осталось. Не зря она боялась тоски и беспросветности жизни без него. Она стремительно стареет. Усугубляется ее болезнь глаз (описанная в «Титане»), временами она полностью теряет зрение. Она остается без средств к жизни. Муж, с которым она никогда и не жила и не разводилась, пускает себе пулю в лоб, как впоследствии и ее сын. Она живет в бедности с незамужней дочерью Эддой в Берлине, вдали от общества, но интересуясь всем новым в литературе, философии, политике и постоянно занятая планами, как вырваться из духовной и материальной нужды. Вяжет и вышивает для берлинского света, торгует тканями, собирается основать в Баварии или Пруссии пансионаты для девиц, пробует заняться коммерцией, намеревается задешево арендовать и эксплуатировать солеварню и занимается

сочинительством (убогим). Но ничто не удается. Когда из-за болезни она оказалась полностью без средств, над ней сжалилась прусская принцесса и поселила ее бесплатно в одной из комнат берлинского дворца. Она доживает до 82 лет. Половину своей жизни она просто «прозябала». Ее выраженное в письме желание: «Я хотела бы перед смертью увидеть Рихтера и поговорить с ним» — не было выполнено.

Рихтер однажды признался Якоби, что Шарлотта фон Кальб сделала для его образования больше, «чем все остальные женщины, вместе взятые», но, сделав это, она тем самым и выполнила свою задачу. В этом она не отличается от других женщин, которые в годы его путешествий по большому свету почитали и продвигали его. От всех их, как только речь заходила о союзе, он заслонялся своим провинциальным представлением о счастье. О всех он мог бы сказать, как о Шарлотте: они «не соответствовали моим мечтам».

А каковы они были, он, не зашифровывая имен, сообщает свету в одной из своих самых причудливых книг, в «Предположительной биографии», или, как гласит название всего томика, наполненного сатирами, «Письмах Жан-Поля и жизнеописании будущего» (1799).

«Потому я — относясь холодно к тем, кто жалко жеманится, не сообщая свои личные тайны, — прямо изобразил перед всем миром (не прибегая к моим обычным биографическим фикциям), какой будет моя жизнь, начиная с этого года и до года последнего», — написал он в предисловии. Жеманства тут действительно нет и в помине. Тут приводятся точные даты, друзья и места действия называются собственными именами, так что не возникает никакого сомнения и в подлинности воображаемой, предположительной жизни.

Так становится очевидно, что, во-первых, писательство для него — самое главное в жизни («Для своей нынешней жизни я не знаю ничего лучшего, чем изображение последующей», — говорится сразу в начале) и что, во-вторых, лучше всего ему пишется в привычной тесноте, в домашнем кругу, если женщина, которая соответствует этому кругу, вносит в него порядок и тепло. Таким образом, желанная для него жизнь не «своего рода» идиллия, а идиллия в чистом виде, ибо он лишен строптивости героя «Вуца» и «Фиксляйна». Ландшафт, погода, времена года здесь всегда такие, каких требует его настроение; есть небольшое поместье, работа ладится и получает достойную оценку; разочарование, что к концу жизни его книги не составили такой

огромной библиотеки, какой была легендарная Александрийская, преодолено; наслаждение доставляют домашние праздники, есть дети, но прежде всего — жена по вкусу: Розинетта, названная так по имени матери — Розины, которую он уже в «Зибенкезе» (эдипов комплекс тут ни при чем, у него не было другого образца) избрал своей женой.

Итак, Розинетта, «милое дитя»: она должна быть всегда в хорошем настроении, легко плакать и легко смеяться, легко краснеть, быть доброй ко всему живому, полной тепла к ближнему, видеть «волшебный дворец жизни и природы», любить друзей мужа и быть заботливой хозяйкой, когда они приходят. «Таковы хорошие жены; а женщины — могучие гении, напротив, ничем не отличаются от нас».

И кроме того, Розинетта должна, разумеется, охотно читать книги Жан-Поля. На прогулке в день свадьбы (празднуемой очень скромно) они вместе читают «Письма Жан-Поля и жизнеописание будущего», пока он, «тронутый сиянием любви», не припадает к ее «благочестивому сердцу с самыми серьезными намерениями».

24

ОБРАЩЕННАЯ ГРЕШНИЦА

У него еще пять лет холостяцкой жизни. В поклонницах недостатка нет, но из всех воображаемых черт Розинетты им свойственна лишь одна: все они в восторге от произведений Жан-Поля. Конечно, когда они знакомятся с их автором, они приходят в еще больший восторг от него самого. Поскольку он поддерживает одновременно несколько любовных связей и ни одна из них ничем не увенчивается, возникает новый вид академии любви, но от гофской академии она отличается в нескольких существенных пунктах: члены ее живут в различных местах Европы, они помогают его, а не он их, и, главное, это не девицы из мелкого бюргерства, а знатные эмансипированные дамы. Общее у обоих кружков — все письменные заверения в любви не ведут ни к каким результатам. Не считая кратковременного обручения, состоявшегося в Гофе, дело до близких отношений не доходит. Ни одной из этих женщин Жан-Поль не принес в жертву свою добродетель. Он переплывает через моря искушения, оставаясь сухим. Когда его ревнуют, он прибегает к выражению,

которое едва ли утешит ревнующую: он изобрел термин «симультанная», или tutti^[26] — любовь.

Такую любовь питает уже в «Геспере» его подобие — Виктор. Там он переводит это понятие словами «общая или одновременная любовь», а также «универсальная любовь», сравнивая ее с рукавицей, которая годится для любой руки, «ибо ничто не разделяет четыре пальца», в то время как «раздельная любовь подобна перчатке, что годна лишь для одной руки». Когда он, ссылаясь на такой вид любви, отводит притязания дам на исключительные права, это звучит упреком тем, кто не способен к столь возвышенной форме любви. Но в действительности речь идет о любви-заморыше; те, кого это касалось, могли прочесть об этом в одиннадцатом дне «Собачьей почты»: там четко сказано, что имеется в виду чувство, «слишком теплое для дружбы и слишком незрелое для любви, чувство, которое граничит с первой (то есть с дружбой), потому что оно распространяется на многие предметы, и со второй (с любовью), потому что оно в ней умирает».



В заготовках к «Гесперу» можно найти еще более точные сведения. Тут Виктор будто бы влюбился в целую швейную мастерскую. «В любви он доходил до определенного пункта (поцелуя), затем прекращал осаду». Лишь до этого определенного пункта доходили и все любовные связи автора. Он, кажется, боится физического осуществления любви. Чувственность он всегда относит к отрицательным эмоциям.

Характерно, что когда он заговаривает о ней в «Приготовительной школе эстетики», то связывает ее с отвращением: «Сильнейшее возражение против расписывания чувственной любви — не нравственного, а поэтического свойства. Есть два чувства, которые исключают чистое и свободное наслаждение искусством, ибо с картины переходят в зрители и превращают созерцание в муку, а именно: отвращение и чувственная любовь». И позднее, в 1813 году, он записывает в тетрадь «Мысли»: «Черт бы побрал так называемое половое влечение; оно и лучшего человека сводит с ума, и он забывает о добром в себе!»

Здесь, конечно, пожизненно сказывается протестантское воспитание. Лютер, правда, сделал брак делом светским, перестав считать его таинством, но и для него все сексуальное связано с первородным грехом и вне брака недопустимо (иначе это «распутство»), да и в браке оно допустимо только в целях зачатия, чем и объясняется его недобрая фраза о женщинах: «Утомлены ли они, и в смертных ли муках носят — не беда, пусть помрет, лишь бы доносила, для того они и созданы». Теология Просвещения, которая так сильно повлияла на молодого Жан-Поля, в этом вопросе тоже не продвинулась вперед. Энциклопедический словарь Цедлера, изданный во второй половине XVIII века, следуя «Разумным мыслям об общественной жизни человека» Вольфа, заключает, что «наслаждение, которое является лишь средством и к которому относятся также и половое наслаждение», нельзя превращать «вопреки природе в конечную цель». А на вопрос, почему же природа наградила мужчину «преизбытком, семенем», словарь отвечает контрвопросом: а не вызвано ли это чрезмерной едой или питьем и «развращенным стремлением к наслаждению».

Другой источник антисексуальной теории и практики Жан-Поля — его бюргерская гордость. Подобно тому как бюргерство считает пиетизм и чувствительность своим противовесом атеизму и цинизму аристократии, так и проповедь добродетели отмечена явными антифеодальными чертами. Аморальность и материализм — а они в глазах Жан-Поля одно и то же — вот что исповедует аристократия; целомудрие, основанное на душевной тонкости, — это бюргерская, чуть ли не революционная добродетель. Такой взгляд проходит через все его произведения, зачастую превращаясь — и не только у него — в

клише. Придворный и сластолюбец для него почти синонимы. Девы и юноши вступают во дворец, как в вертеп. Здесь их за каждым углом подстерегает соблазнитель или соблазнительница.

Жан-Поль устоял перед всеми. По словам его племянника, он в тридцать восемь лет лег в брачную постель девственником. Нет никаких оснований сомневаться в этом. Не то чтобы он был импотентом или лишенным чувственности. Вероятно, прав Новалис, подозревавший, что в сентиментальном певце добродетели скрывался большой сладострастник. Новалис, наверно, смутно догадывался о явлении, которое сегодня называют «сублимацией». Жан-Поль — мастер сублимации, он как автор живет ею. Он непрестанно причитает по поводу того, что не женат, даже тогда, когда его домогаются самые красивые (и богатые) женщины. В поцелуях и объятиях он ненасытен, но заходить дальше он себе не позволяет. Не только потому, что это означало бы необходимость связать себя. Он испытывает страх перед завершенностью, перед реальностью любви. Для него самый мощный стимул — страстное стремление к ней. Он художник юношеских чувств. Потому он хочет оставаться вечным юношей. Он переносит сексуальные лишения, ибо их преобразование составляет его поэтическую силу. Как никто другой, он умеет описывать не любовь, а мечту о ней. По поводу образа Натали в «Зибенкезе» он пишет Шлихтергролю: «Вечное стремление к идеалу находит разрядку в изображении его, как любовь разряжается в обладании». И точно: он предпочитает разрядку на бумаге разрядке действительной.

В его жизни не было большой, страстной любви — таково следствие. В его отношениях с пятью молодыми девушками в Гофе постоянна лишь их перемена. Сперва он в наилучших отношениях с Ракетой Вирт, затем сближается с Еленой Кёлер, затем влюбляется в Амёну Герольд, чтобы потом обручиться с ее младшей (пятнадцатилетней) сестрой. Склонность к Амёне (которая, кстати, сфальсифицировала потом письма Жан-Поля к ней, делая вычерки и добавления в свою пользу), вероятно, была самой сильной в его жизни. Его дневник от января 1793 года, когда его друг Кристиан Отто тоже начал ухаживать за Амёной, в течение трех недель регистрирует муки ревности, пока внезапно небо над его головой не становится голубым: «Появилась моя книга. Радость моя была почти благоговейной». Он держит в руках первый экземпляр «Незримой ложи» и забывает свои

любовные горести, которые станут позже материалом для «Геспера». Он ведь прежде всего писатель, все остальное в нем — в том числе возлюбленный — во вторую очередь.

Но когда после «Геспера» его окружают опытные женщины, нежный обожатель превращается в бурно обожаемого. Начинается это часто с писем, но не всегда. Например, госпожа Юлиана фон Крюденер наносит ему визит. 17 августа 1796 года, то есть через несколько недель после веймарской поездки, в бедную комнату матушки Рихтер внезапно входит светская дама. Она белокура, изящна, стройна. Но самое обворожительное в ней — большие темно-синие глаза на девичьем лице. Анжелика Кауфман нарисовала ее рядом с маленьким сыном, который — знаменательно! — держит в руке лук Амура. «Вы появились, словно сон. Вы исчезли, словно сон, и я все еще живу, словно во сне», — пишет Жан-Поль в первом письме к ней.

Ей тридцать два, ему тридцать три года. Она происходит из богатой прибалтийской аристократической семьи, родилась в Риге, то есть в России, говорит одинаково плохо по-немецки и по-французски, замужем за русским дипломатом, который старше ее на двадцать лет; вместе с ним и без него она путешествует по Европе: побывала в Венеции, Риме, Южной Франции, Париже, Швейцарии, Копенгагене, Берлине, Лейпциге. Живет в роскоши, у нее было несколько любовных приключений с французскими аристократами, и теперь она мечтает о писательской славе и естественной жизни à la Руссо в Швейцарии, которую, однако, не хочет начать, не повидав знаменитого автора «Геспера».

Краткий утренний визит увенчался полным успехом. Обе стороны в восторге друг от друга. Они беседуют о прекрасных чувствах и возвышенных мыслях, вместе плачут, и каждый чувствует, что другой его понял. Оба едва могут дождаться следующей встречи. Сначала он намеревался поехать к ней в Лейпциг, затем она к нему в Гоф, и в конце концов они встречаются в Байройте. «Я два вечера листал ее сердце, — пишет он Фридриху фон Эртелю, который предостерегает от ее эгоизма. — Она покорила мое сердце, я вижу солнечные пятна ее души и веснушки светской жизни, ее чрезмерное самомнение, ее женские поражения, но я вижу также полет ее пламенного духа».

За неделю, которую она проводит в Лейпциге, они обмениваются множеством проникновенных писем, затем она уезжает и сразу же

пишет из Швейцарии, но Жан-Поль не отвечает: он занят «Юбилейным сениором». Она снова пишет ему. Но он уже работает над «Титаном». Сколь быстро налетела влюбленность, столь же быстро и улетучилась. Четыре года госпожа фон Крюденер писала ему снова и снова, а он ответил лишь однажды. Он пренебрег ее приглашением последовать за ней в ее «уединение». «Что касается места и открывающегося вида, то у меня один из самых приятных домов под Лозанной. Вы действительно очень обрадовали бы меня, если бы заняли в нем комнату и жили совершенно нестесненно со своими книгами под сенью Альп, подарив тем своей подруге некоторое время жизни. Я предлагаю это сердечно, искренне, доверчиво, без претензий и была бы очень счастлива, если бы Вы сказали, да».

Но он в ответ не говорит ничего, он работает, пишет другим женщинам, более близким; может быть, он и пробудился от своего сна о прекрасной филантропке, за которую та выдает себя, потому что постепенно понял, что она коллекционирует знаменитостей, как другие коллекционируют охотничьи трофеи, и что ее особый интерес к нему вызван горячим желанием стать героиней одного из его романов.

Смутным намеком это проявляется уже в ее первом письме, как и ее способность на протяжении целых страниц говорить о себе с величайшим почтением. «Я сама кажусь себе богатым золотым рудником, который, правда, осознает свою ценность, но не может стать видимым. И хотя я ношу в себе это сокровище и живу им, только око философа, которому ведомы прекрасные слезы чувства, только это око способно разглядеть меня и извлечь мысли моего Я из колыбели, где оно дремлет для людей, показать его людям, сделать осязаемым и направить свет на мои темные чувства. (Таков ее язык! — *Г. де Б.*) Это под силу руке гения».

Влюбленный, он еще может не заметить такого намека. И когда позже она говорит о его «прекрасных творениях» как об элизиуме и выражает желание «поселиться в сем прекрасном раю», это еще может означать что угодно. Но потом она выражается яснее, хотя и скромнее: пусть бы он написал лишь «несколько строк» «о нашей первой встрече, мой портрет, набросанный Вашей рукой, кое-что о чертах моего характера и моем сердце, каковыми Вы их видите». Он не отвечает, и она повторяет свою просьбу: «В свободную минуту пришлите мне сцену нашего первого знакомства, хотя бы беглый набросок. Ах, как бы

мне хотелось колдовскими чарами воссоздать мгновения, так прелестно вотканные в мою жизнь».

Достойна восхищения элегантность, с какой он, не нарушая патетического тона этой странной любовной переписки, отказывается выполнить просьбу: «Если нарисовать пером отблеск внутреннего огня, то будет лишь цвет, но не тепло огня...» После этого он замолк на четыре года.

Неугомонная дама проводит свои сельские уединенные досуги преимущественно в кругу французских аристократов, выброшенных революцией в Швейцарию. Она повсюду разъезжает, очаровывает в Цюрихе Лафатера, которому читает письма Жан-Поля, так же как в Байройте показывала Жан-Полю письма других знаменитостей; она то в Мюнхене, то в Теплице, то в Дрездене, то в своем имении под Ригой, иногда встречается с мужем, когда ему удастся залучить ее в Берлин, где он служит русским послом. Как только она услышала в 1801 году, что и Жан-Поль там, она опять попыталась возобновить старые отношения.

«Жан-Поль! Оживите своим обществом тихие часы моей чрезмерно заполненной здесь светским общением жизни», — написала она.

Он последовал этому приглашению, хотя был на пороге свадьбы. И снова поддался ее очарованию, которое действовало, правда, лишь вблизи. Едва Жан-Поль, только что женившись, покинул Берлин, он тут же забыл госпожу Крюденер. Он не отвечает на ее письма, за исключением одного, самого длинного, истинного шедевра изысканной пустоты и ошеломительного самовосхваления. Она освободилась от тщеславного желания быть нарисованной пером Жан-Поля. Она позаботилась об этом сама: заглавная героиня ее опубликованного в Париже романа «Валери» — это ее мечта о самой себе.

Мадам де Сталь, которая, правда, видит в ней конкурентку (как перед читателями, так и перед мужчинами), дала роману уничтожающую оценку: «Эта книга такая карикатура на жанр романа, что зазорно пользоваться им впредь». Сама сочинительница, разумеется, иного мнения. Она с присущей ей скромностью называет книгу «простой и хорошей», обстоятельно и подробно описывает Жан-Полю свидетельства своей огромной славы (хвалебные рецензии «первых писателей Франции», слезы на глазах читательниц, шляпы и

шали à la Валери, письма читателей, романсы, написанные в ее честь), рассказывает, как ей, «погруженной в восторг перед природой», пришла в голову идея романа, как осуществилось ее намерение «быть полезной ближним», как излился роман из ее души, «так что я не знаю, слетел ли он ко мне как дуновение или написан мною», чтобы затем перейти к сути.

«А теперь к делу! Будьте так добры, милейший Жан-Поль, напишите о „Валери“ маленькую рецензию», причем в литературной газете, читаемой в России, ибо во Франции и Германии ее слава уже достаточно велика. Теперь же она вознамерилась получить доступ к царю Александру, чтобы оказать на него доброе влияние, «добиться свободы для крестьян, по крайней мере быть им полезной». Лишь ради этого ей нужна слава в России. «Будь это только мое честолюбие — о, оно уже достаточно удовлетворено! Но мое сердце испытывает более сильные, более благородные устремления». И потому она чувствует себя вправе дать Жан-Поллю точные указания, какой должна быть рецензия. Он должен расхвалить высокую мораль книги, «ибо она бесспорна», процитировать Сан-Пьера (цитату она прилагает), описать успех и отметить бурный восторг, вызванный сочинительницей.

На это письмо он ответил, даже не упомянув о просимой рецензии. Это последнее письмо к ней. Но она позаботилась о том, чтобы он не смог ее забыть, заставив еще много говорить о себе. Ибо лишь теперь наступило ее великое время.

После того как ее поэтическая слава улетучилась и из-за бурной жизни она утратила красоту и — по слухам — знаменитые белокурые волосы, она составила себе имя как религиозная фанатичка. Молясь и проповедуя, она ездит по Европе, призывает к возрождению христианства, пытается обратить на праведный путь наряду с другими также мадам де Сталь и, наконец, во время освободительных войн — не освободив своих крестьян — вторгается в историю, получив влияние на царя Александра и склонив его к созданию Священного союза.

Жан-Поль еще раз вспомнил о ней в заметке к оставшемуся незаконченным «Сверххристианству», где назвал ее безвредной, ибо она не основывает сект, а всего лишь выступает как «проповедница-во-всякое-время». Но Гёте, которому — не только благодаря величию ума, но и возрасту — всегда принадлежит последнее слово, произнес его и в этом случае. После ее смерти он заметил канцлеру Мюллеру: «Вот

некролог для госпожи фон Крюденер. Ее жизнь — стружки, из них и кучки золы не добудешь, чтобы сварить мыло». А в его наследии сохранилось написанное еще в 1818 году, то есть в то время, когда она была «первой дамой Священного союза», стихотворение:

ФРАУ ФОН КРЮДЕНЕР

Ваши девки и монашки
Выиграли без промашки, —
Коль вы их учили сами
Заниматься чудесами...
А теперь сквозь всю Европу
Проложить хотите тропы!
Львов придворных лесть и ласки,
Мишек, псов, мартышек пляски.
Гнусных флейт настали сроки.
Сброд продажный — вот пророки!

Перевод Т. Бек

25

ЖЕРТВА ПЛАНА

Успех для писателя и необходим, и опасен. Писатель посылает свои книги в мир, как длинные письма незнакомым, успех — ответ на эти письма. Он рождает веру в себя, которая необходима, чтобы продолжать работу. Но он несет с собой и бремя, соблазны и отчуждение. Без жертв публика никого не принимает. Денег больше, но рабочего времени и сил меньше. Свет, к которому человек пробился, может ослепить его. Высота, на которую он взобрался, может исказить перспективу. Иной обречен вести двойную жизнь: в сиятельном кругу знаменитостей и (как в случае Жан-Поля) в тесной комнате матери, которая теперь, когда с нуждой покончено, слегла на смертный одр.

Сейчас за талантами гоняется радио, кино и телевидение, набрасываясь на каждого новичка, который сулит успех, и отвлекая его

от его собственных планов; в те времена их вполне заменяли бессчетные издатели, которые отбивали авторов друг у друга. Их предложения заманчивы, особенно для автора, привыкшего к отказам.

Сразу же за «Геспером» на очереди «Титан». Но так как он продвигается плохо, Жан-Поль избавляется от искушений издателей, поддавшись им. Когда он первый раз отступил от своих планов, он случайно попал в цель: появился «Зибенкез». Но затем побочные работы стали приносить лишь побочные плоды; это «Юбилейный сениор» — нечто вроде идиллии, — которому далеко до красоты «Вуца» и «Квинта Фиксляйна»; это морально-назидательный трактат «Кампанская долина, или О бессмертии души» с приложением весьма вялой сатиры под названием «Объяснение гравюр на дереве к 10 заповедям Катехизиса» (она основана на пояснениях Лихтенберга к гравюрам на меди Хогарта); это «Палингенесии», в которых новые и подновленные старые сатиры из «Бумаг дьявола» объединены описанием путешествия в Нюрнберг (его совершает повествователь, который едет к женщине своей мечты, к Розинетте, переименованной в Гермину); это, наконец, уже упомянутые «Письма и жизнеописание будущего».

Трудно представить себе такую производительность труда — хотя ее плоды не столь уж захватывают, — если вспомнить все его встречи, путешествия, переезды, письма — все, что отвлекает его в эти годы от работы. Оживленной становится его переписка с издателями и литераторами. Появляется все больше и больше новых приятельниц и друзей, почитательниц и почитателей, они наносят ему визиты и принимают его у себя, пишут ему и получают от него ответы. С 1796 по 1800 год он ежегодно в среднем пишет по двести с лишним писем, зачастую очень длинных и кропотливо отделанных. И он по-прежнему неутомимо читает и делает выписки.

Одна из женщин, которые отнимают у него много времени, — Эмилия фон Берлепш. Она не станет потом, как Шарлотта фон Кальб и Юлиана фон Крюденер, писательницей — она уже сейчас писательница. Она опубликовала драмы и стихи, известна в Веймаре, дружит с Гердерами, читала свои произведения за столом Анны Амалии, но снискала мало симпатии. Виланд насмехается над ней, госпожа фон Штайн описывает ее как «веселую, бодрую, толстую и жирную», а Вильгельм фон Гумбольдт — он познакомился с ней

студентом в Гёттингене — говорит, что она чванна, тщеславна и болтлива. Сохранился ее портрет — разряженная пышная дама с классическим профилем.

Она происходит из аристократической семьи. Мать, урожденная графиня Дёнгоф, после смерти отца Эмилии вышла замуж за внебрачного сына короля Швеции. Эмилия вступила в брак в семнадцать лет, но с мужем почти не жила. В 1797 году, когда она по пути из Лейпцига во Франценсбад остановилась в Гофе, она уже разведена. Ей сорок два, Жан-Полю тридцать четыре года.

«Я знаю наперед, что мне придется потратить на нее много времени. Если бы я хоть читал что-нибудь из ее сочинений или знал по крайней мере наизусть названия — я заплатил бы двойную цену против той, что платишь за чтение». Но обошлось и без предварительного знакомства с ее книгами. 3 июля в записке к Отто сказано: «Берлепш остается здесь и сегодня», а 24-го он говорит уже об отъезде и о деньгах для поездки в Богемию и действительно уезжает 25-го вослед за пышной дамой, хотя его мать больна.

На следующий день его догнало известие о смерти матери. Он вернулся, похоронил мать и через неделю оказался снова во Франценсбаде. В августе Эмилия опять приехала в Гоф. Они договорились о встрече в Лейпциге.

«Гоф я сменю через четверть года, но еще не знаю, на какой город», — написал он незадолго до этого Каролине Гердер. Теперь он знает. В письме к Эртелю, извещая о переезде, он объясняет выбор Лейпцига тем, что там учится в университете его брат Самуэль. Но вслед за этой фразой сказано: «Берлепш тоже переезжает в Лейпциг».

Он непритязателен в отношении будущего жилища: «Нужна одна сносная комната для меня, меньшая — для брата и спальня для нас обоих; далее, квартира может быть в пригороде, хороший вид из окон не обязателен (примерно за 30 ртл.). Но недымная, нежаркая летом и нехолодная зимой; желательно немного мебели (ибо я не хочу так далеко тащить свой хлам), а также возможность писаться вместе с хозяевами дома или у них — как суррогат утраченного домашнего уюта... За мебель сойдет и рухлядь».

Квартиру ему нашел издатель Байганг. В начале ноября он переехал. Расставание с Гофом и Кристианом Отто дается труднее, чем он ожидал. Сперва он поселился на Петерштрассе, как несколько лет

назад, когда был студентом, затем около кладбища при церкви св. Николая. Теолог Абегг, навестивший его в мае 1798 года, так описывает квартиру: «Он живет на третьем этаже, рабочая комната выглядит очень скромно. У окна длинный стол; справа подставка из досок, на которой сверху донизу лежат папки, словно он адвокат. Библиотека очень скудная, книжные полки сразу у двери, и должного порядка на них нет».

Тут он сидит, знаменитый писатель, бледный и худой, в городе книг, который все же скорее город книготорговцев, чем книготворцев.

О расставании с Гофом он говорит как о конце молодости — в тридцать четыре года у него уже выпадают волосы. Он намеревается и в Лейпциге усердно работать, оставляя для посторонних только обеденные часы, с двенадцати до двух, и время после ужина, ибо ему остается «так мало жить и надо так много написать».

Но в полном суеты городе это удастся с трудом. От рабочего стола его отвлекают театр, какого он еще никогда не видел, концерты, каких он еще никогда не слышал, но главным образом все более многочисленные знакомства. «Как зверей Адаму», представляют ему людей, и он никому не может отказать, не может отклонить ни одно из многочисленных приглашений. «Меня приглашают все, и каждый новый знакомый приводит за собой еще десять дураков». Он все воспринимает как приключение. Поначалу он наслаждается славой, ослеплен роскошью трапез, празднеств, балов. Его письма к Отто содержат длинные списки знаменитостей: Плантер, некогда восхищавший его учитель, Вайссе, которому он когда-то безуспешно показывал свои первые работы, Коцебу, Тюммель, капельмейстер Рейхардт, Шеллинг, профессора, книготорговцы и не в последнюю очередь издатели, стремящиеся понравиться модному автору. Но скоро это надоедает. «В похвалах нет счастья, в развлечениях — тоже нет». Он все чаще жалуется, что не хватает времени, и тоскует по тихому Гофу так сильно, что пользуется первыми же каникулами брата, чтобы отдохнуть там. Но скоро опять окунается в суету. «Во время ярмарки у меня было столько посетителей, словно я выставлен напоказ и росту во мне либо два фута, либо восемь».

Но больше всего времени и сил отнимает Эмилия фон Берлепш. Его чувства к ней — кривая, она напоминает его отношения к другим женщинам такого склада. Начинается с восторженных дифирамбов. Он

не может нахвалиться, помимо высоты ее духа, ее платонизмом, позволяющим ему насладиться ее «душой... не натываясь на углы и противоречия». «Это первая гениальная женщина, с которой сердце мое не знает моральных страданий».

Он настолько наивен, что верит ее бескорыстию. Чтобы подчеркнуть это бескорыстие, Эмилия предложила ему во Франценсбаде жениться на близкой ей фройляйн Хайдеггер, а она, Эмилия, поселится вместе с молодыми супругами. Однако вскоре, в письме из Лейпцига, она заявляет о своих исключительных правах на него, которые он, ссылаясь на симультанную любовь, решительно отклонил. «Я никогда не приносил в жертву одну душу другой... Человек — это такое сотканное из разных пород существо (его можно уподобить скорее саду, нежели дереву), что для своего развития оно почти в равной мере нуждается в солнце и дожде, весне и осени, свете и тени; превосходство одной из пород он часто считает гармонией всех пород, а свободное созвучие всех тонов — дисгармонией. Меня тянет от „Мессиады“ к эпиграмме, из Кампанской долины к гравюрам на дереве, от поэтического искусства в бюргерскую жизнь, из города в деревню, от Вас к другим, но, конечно, еще сильнее — обратно».

Но она успокоила его, пообещав ему полную свободу. И они вместе переехали в Лейпциг. У нее есть летний дом в Голисе, где всегда в его распоряжении комната для работы на свежем воздухе. В Лейпциге и Веймаре уже толкуют, что Жан-Поль и Эмилия фон Берлепш скоро поженятся. Но ничего из этого не получилось, несмотря на все ее усилия или именно из-за них. О платонизме больше нет и речи — напротив. И о богатой фройляйн Хайдеггер тоже нет — только о ней самой.

Как всегда в таких случаях, он не совсем невиновен в том, что дело приняло такой оборот. Если раньше речь еще шла о том, что «физическая любовь... стирает пыльцу с крыльев любви возвышенной», то теперь, в Лейпциге, где, несмотря на всю суету, он без гофских друзей чувствует себя одиноким, он одумался еще до ее приезда. Не зря же он написал ей, что «язык слов», который он всегда только и ценил, все же, может быть, излишен при «языке плоти», «когда сливаются глаза, и сердца, и губы любимых». Но когда Эмилия приехала и предъявила свои требования на него, его опять охватил страх перед «рукой и уздой», он попытался отступить; разыгрываются

сцены, «которых еще не описало ни одно перо», с кровохарканьем, обмороками. Но потом она пообещала ему полную свободу, а он ей — в минуту слабости — брак.

Соблазн сдержать обещание был велик, соблазн не только телесный, но и материальный. Он больше не голодает, но его финансовые дела отнюдь не блестящи. Его по-прежнему очень донимают расходы на питание, путешествия, квартиру; бумагу, дорого стоящую в Лейпциге, он просит присылать из Гофа. А госпожа фон Берлепш обещает купить ему поместье, где только он пожелает: «на Неккаре, на Рейне, в Швейцарии, в Фогтланде». Но он не поддался соблазну, выдержал два дня «раскаленнейшего ада», после которых смог воскликнуть с ликованием: «Я свободен, свободен, свободен и счастлив, но даю ей, что могу», а именно частичку своей универсальной любви, которой ей теперь придется удовольствоваться. «Ах, надо было раньше разрубить узел, и тогда раны были бы менее глубокими и отравленными. Мы живем в безмятежной дружбе, и даже с ее стороны дружба не грозит больше превращением в нечто более горячее».

Они совершили еще одно совместное путешествие — в Дрезден, где мнимая дружба перешла в антипатию, так как только сейчас он заметил ее аристократическую спесь по отношению ко всему «низкому», и связь с ней окончательно надоела ему. «Ах, у меня нет никакой свободы, в этом все дело... Впредь я никогда не буду путешествовать иначе как пешком и один». Эмилия уезжает в Шотландию и позднее выходит замуж за мекленбургского арендатора. В течение многих лет он еще пишет ей цветистые письма, по которым видно, что сказать ей ему нечего. Похождение с аристократкой (не последнее) опять кончается признанием, что она не соответствует его мечтам.

Но то, что он называл мечтами, — это, собственно, жизненный план, которым он руководствуется. Всегда кажется, будто он плавает в чувствах — но плывет он к определенной цели. Он часто отмечал как чудо, что вымыслы его книг становятся фактами его жизни, но не видит, что сам творит чудо, превращая свои желания в действительность. Он всегда точно знает, чего хочет, и это-то и делает его жизнь столь привлекательной, но и при всей рационалистичности — жутковатой. Ни случайность, ни нищета, ни богатство не могут

сбить его с пути. Его удручает, что таковы лишь очень немногие люди. Он видит, что у них есть планы на неделю, на год, планы дел, но нет планов жизни. «Бесцельно бредут люди по дороге жизни, случай, нужда, страсть толкают их к чему-то, а они мнят, что это и есть их цель; золото и почетные медали всю жизнь увлекают человека на дно, и оболочка его умирает, а душа так и не узнала полета». Он сетовал на «тупость человеческих желаний» и хотел бы украсить кладбища «всеобщей эпитафией»: «Тут покоятся существа, не ведавшие, чего они хотели».

Это он написал госпоже фон Берлепш уже в начале их отношений, и она согласилась с ним, не подозревая, что и сама, подобно другим, станет жертвой его жизненного плана. Не будем утверждать, что он действовал сознательно: в сущности, все эти знатные дамы не более чем материал для его «кардинального романа». Все похождения такого рода приходятся на время между началом и завершением работы над ним. Женщина значит для него то же, что перемена мест, где он живет и которые посещает в эти годы: он выбирает главным образом города-резиденции, чтобы завоевать их для своего «Титана». Исключение составляет один только Лейпциг: тут он потерпел неудачу. Но он скоро это понял.

Когда он вернулся из Дрездена, оказалось, что студент Самуэль удрал, прихватив кассу старшего брата. Теперь ничто больше не держит Жан-Поля в городе, чьи окрестности столь же плоски, как души его жителей. Торговый город ему не по вкусу, потому что ему отвратительны торговцы. Он любит мелкое бюргерство, как любят родину, и питает ненависть-любовь к аристократии как объекту своих романов и сатир. Так же как французские революционеры не знали, что результатом их борьбы станет господство дельцов, так и Жан-Поль не знал, что его преобразующий общественный литературный труд пойдет на пользу людям, которых он в своем презрении едва замечает: на пользу «лавочникам», «меркантильным, сребролюбивым, эгоистичным душонкам» — буржуазии.

Странствия, которые он предпринимает еще из Лейпцига, в самом деле пешком и один, — это своего рода разведывательные вылазки. Он ищет новое местожительство. Ему нужны люди, которые «заставляют думать и стремиться достичь их уровня». У Лафонтена в Галле, у капельмейстера Райхардта в Гибихенштайне он их не находит, не

находит он их и у Глейма в Хальберштадте. Остается, таким образом, Веймар. «В одном летнем сюртуке и с набитыми обувью и бельем сумками, без портплекда и вообще без всего» он — через Вайсенфельз, где гостит у родителей Новалиса, и через Йену, где обедает с Фихте и где Шиллер под предлогом мнимой болезни его не принимает, — идет в Веймар, где наносит визит Гёте и Виланду и празднует трогательную встречу с супругами Гердер.

У Виланда в Османштедте «мне, облаченному в насквозь продуваемую летнюю одежду, пришлось из-за ужасного холода надеть его сюртук... и я бродил по дому, как старик. Да ниспошлет бог каждому поэту такую ловкую, приветливую, стойкую, снисходительную и услужливую, простодушную и чистосердечную жену. Когда в „Рейхсанцайгере“ было написано о вызываемой простудой дизентерии, она из предосторожности принесла мне теплые носки... У его незамужних и вдовых дочерей прекрасные сердца, но вот лицами они не удались... Днем она предложила мужу (а он утверждает, что утром сам уже думал об этом), чтобы я жил в доме напротив... а у них столовался (за деньги); он сказал, я вселяю в него новую жизнь и все меня любят — конечно, потому что я их веселю и потому что такую семью нельзя не любить. Я обещал в Веймаре подумать. Но это не годится, потому что два поэта не могут постоянно общаться, потому что я не хочу надевать на себя цепь, будь она выкована даже из благоуханий на бледном огне луны, и потому что я уверен: находишься в этом обществе, я при своем одиночестве в конце концов женюсь на одной из его дочерей, а это противоречит моему плану».

И он снял себе квартиру в городе, на западной стороне рыночной площади, на углу Виндишенгассе, у шорных дел мастера Кинхольца.

«Эх, и развернемся же мы тут! Ну а потом, милая моя судьба, не выгоняй меня больше, привяжи к жене и стулу и приведи к покою, которого я всегда так избегал».

26

СОЮЗ ПРАВДЫ И ЛЮБВИ

В 1799 году в гамбургском журнале «Дух времени» появились анонимные «Заметки о Веймаре»; автор — бывший монах и будущий профессор философии Йозеф Рюккерт. О Жан-Поле этот всезнайка

рассказывает так: «Жан-Поль Рихтер, сей знаменитый писатель с двумя головами, одна из которых наделена лицом херувима, другая — сатира, лишь с недавних пор разгуливает на веймарских тучных поэтических нивах. Видно, свободная и прекрасная муза этой местности своим пением увлекла его сюда с шумной Лейпцигской ярмарки, где он прежде обретался. Рихтер — уроженец Гофа, там он в раннем возрасте некоторое время подвизался в качестве домашнего учителя, там же его гений, развиваясь не в самых благоприятных условиях, наконец взмыл орлом перед изумленными очами мира. Этим взлетом, благодаря которому его узнали и признали, был „Геспер“. В предшествующих его сочинениях никто не разобрался. На внешности этого странного человека четко отпечатан его дух. Выразительное лицо отражает смесь остроумнейшей веселости и зоркости ко всему смешному. В его всегда полных живейшего интереса глазах переливается и сверкает тот высокий, одухотворенный огонь и жизнь, то духовное упоение, которые захватывают нас в его сочинениях. Все его существо — сплошная душа. Его речи столь же остроумны и причудливы, как его книги... Работа для него — наслаждение, праздник духа, от которого он отрывается с трудом! Его любознательный ум методично изучал разнообразные науки; и до сих пор еще Жан-Поль ежедневно с величайшим вниманием читает все, что попадется под руки, начиная от Гёте, его кумира, до лейпцигского адресного календаря, и делает выписки, которых у него с юности накопились горы... Прилежно и с превеликим интересом Рихтер изучает наряду с книгами и человека. Он часто погружается в шум жизни, появляется в общественных местах, на веселых пирушках, смешивается с толпой и молча, острым и зорким взглядом наблюдает ее жите-бытие. Скоро он обручится с некой фройляйн Гильдбургхаузен, с родственной, говорят, ему душой».

Многое здесь так же неверно, как неверно указано место рождения Жан-Поля, но кое-что подмечено метко, и фройляйн Гильдбургхаузен на самом деле существует. То, что из помолвки ничего не получится, журналист знать не мог.

Виланд, перебравшийся из расточительного Веймара, где жизнь дорога, в сельский Оманштедт, высказался скептически о переезде Рихтера в Веймар: «Не представляю себе, как он... при его детской наивности и невинности сможет долго выдержать... среди всех этих разнообразных веймарских обитателей. Он общительнейший человек и

рассматривает всех людей как своих братьев и сестер. Посмотрим, как он поладит с ними».

Сам Жан-Поль не испытывает подобной озабоченности. Он знает, что Гердеры (всей семьей) и Кальбы (госпожа) с нетерпением ждут его и что и для многих других он желанный гость. Его скоро начинают ценить здесь не только как остроумца и расположенного к людям человека, которого легко растрогать, но и как страстного спорщика, не считающегося ни со священными особами, ни с общепринятыми мнениями. Однажды он начал за столом втолковывать Гёте, вынудив того в молчаливой ярости четверть часа крутить тарелку, что вдохновение, якобы необходимое для того, чтобы писать, — «дурацкая болтовня, ему, Жан-Полью, достаточно выпить кофе, чтобы с ходу сочинить такое, что восхитит весь христианский мир»; Шиллеру он разъясняет, что воплотить на театральной сцене подлинно поэтические характеры вообще невозможно; а Виланда ужасает суждением о древних греках, объявив их искусство «игрой в красоту». Мнения о нем колеблются — от «смешон» до «опасен»

Он доволен комнатой у рынка, главным образом благодаря хозяйке, которая заботится о нем, как мать, «все чудесно и убирает, и подает, делает для меня закупки, в шесть часов зовет в теплую и освещенную комнату к кофейнику; я выдаю ей всегда один талер, которым она, не отчитываясь, расплачивается за все, пока не требуется новый, и частенько потчую ее стаканчиком вина». Кроме Гердера, она здесь его «самая большая отрада... Никогда у меня не было такой удачной квартиры. Хочу рассказать немного о наших отношениях: когда я работал, ночной горшок, вообще-то весьма вместительный, оказался мал, потому что он и чернильница — в обратной пропорции, разумеется, — наполняются и опорожняются. Хозяйка заметила, как я часто спускался по холодной лестнице. И принесла мне новый, размером с чашу для пунша, и теперь я могу спокойно писать по восемь страниц. Она заботится о дровах... старается покупать подешевле, а когда я уезжаю, она, как моя мать, все моет, даже чернильницу, и я возвращаюсь, как в семью, где меня ждут».

Под ним живет певица Матичек, она больше смеется и поет, чем говорит, «и правильно делает». Когда он, что случается редко, никуда не приглашен на вечер, то иногда сидит у нее, хотя она едва говорит по-немецки и некрасива. Там его однажды встретила гётевская Христиана:

«Вчера вечером я была у Матичек, мы спокойно сидели и шили. Вдруг пришел господин Рихтер и до десяти часов очень мило нас развлекал. Но, между нами говоря, он дурак; и я могу себе представить, каков его успех у дам. Думаю, я и эта Матичек — мы еще не раз позабавимся. Когда ты вернешься, я перескажу тебе всю нашу беседу слово в слово. Эта Матичек считает, что он разговаривает чересчур учено, но я понимаю почти все слова».

Помимо Шарлотты, наиболее тесная связь установилась у него с Гердером, который дал ему просмотреть рукопись направленной против Канта «Метакритики» и принял бóльшую часть его предложений, занявших много страниц. Он и приехал-то в Веймар главным образом ради Гердера и, при всех позднейших разногласиях, всегда относился к нему с неизменным уважением. «С Гердером мы сближаемся все глубже; мы едва можем обходиться друг без друга четыре дня... Обычно вечером после работы я прихожу к госпоже Гердер, потом мы вместе или я один поднимаюсь к нему, и до ужина у нас пылают очи и уста, и так продолжается до половины одиннадцатого. Теперь у него несколько дней гостит Виланд, и все вечера мы проводим вместе, а однажды были на „Волшебной флейте“; сердце мое умиляется, когда я вижу перед собой двух хороших, старых, достойнейших людей. О Гёте мне нечего „сказать, равно как и о Шиллере; оба были приветливы“».

Конечно, со временем он начинает высказывать и критические замечания. Характерно первое из них: великие писатели так мало читают; второе: народ здесь так же беден, как и в других местах, и потому много воруют. Но самая обстоятельная критика касается двора, с которым он (за исключением вечеров у Анны Амалии) никак не связан, да и не стремится к тому. Как человек Карл Август ему безразличен, как герцог — тем более. Ранги и звания на него не производят никакого впечатления. Тот факт, что кто-то богат и могуществен, ему столь же мало мешает, сколь мало и импонирует. Каждый для него только человек. И если он почитает власть имущих, то не из-за положения, а несмотря на него. Кроме того, почитаемые им — большей частью женщины, причем только те, что и его почитают, и, таким образом, он может считать себя равней. По отношению к дворам, где он бывал в эти годы, он всегда сохранял свою бюргерскую гордость.

Так, о Гильдбургхаузенском дворе очевидец рассказывает: «Однажды случилось нечто невероятное: у князя не сажались за стол,

дожидаясь приглашенного поэта, и посланный за ним лакей вернулся с покорнейшим докладом», что последний «лежит в отеле на кровати и расположение духа не позволяет ему нанести визит светлейшим господам».

А сам он пишет Отто из Веймара, что на одном из концертов при дворе, на которых горожанам надлежит сидеть на галерке, откуда плохо слышно, ему сообщили, что он может спуститься в зал к дворянам, но следует надеть шпагу, чтобы не бросаться в глаза, на что он ответил: «Вот оно как: одних понижают в звании, лишая шпаги, меня же понижают, присваивая ее». А перед Отто, который всегда взывает к его демократизму, он так защищается от упрека в тщеславии: «Да, я часто бываю тщеславен, но откровенно, свободно и весело, потому что во мне есть что-то, чему нет дела ни до какого признания. В десять лет я, не имея ни образца, ни подражателей, поднялся над сословием и предписанным ему платьем, а в восемнадцать стал республиканцем; я и сейчас здесь обладаю смелостью и таким образом мыслей, который враждебен князьям, — подобного я не нахожу у здешних великих людей. Вообще же я забираюсь в гнезда, где обитают благородные сословия, только ради женщин, они в этих гнездах, как у хищных птиц, крупнее самцов».

С одной из таких, якобы крупных, женщин состоялась его следующая помолвка. Невесту зовут Каролиной фон Фойхтерслебен. В противоположность другим, замужним или разведенным знатым дамам, которые были до нее и будут после, она еще фройляйн. Но она тоже занимается сочинительством, разумеется тайно. Например:

СОЮЗ

10-го окт. 99

Пред сумраком небесной сени
Взор слезы застилали,—
Любви чистейшей упоенье
Развеялось в печали!

Но солнце просочилось нежно

Меж туч, и в сердце вновь отныне
Горит оно блаженно и безбрежно,
Гоня сомненья и унынье!

Скрепили две души союз
Прекрасных «я» и «ты», —
И всех на этом белом свете уз
Прочней союз любви и правоты!

Перевод Т. Бек

Поводом к этому лирическому ликованию послужила помолвка Каролины, предыстория которой поразительно коротка. Герцогиня Шарлотта фон Гильдбургхаузен, сестра прусской королевы Луизы и усердная читательница Жан-Поля, пригласила к себе почитаемого писателя. К числу обожающих его дам карликового двора принадлежала и Каролина, которая уже писала ему письма и послала свой силуэт. Симпатия была взаимной, только у двадцатипятилетней придворной дамы она была намного глубже, чем у писателя, у которого в это время связь с Шарлоттой фон Кальб подходила к концу и как раз началась новая связь (в письмах) с Жозефиной фон Зидов. Но сентиментальная, пробующая свои силы во всех видах искусства девушка его совершенно очаровала. Он пробыл в Гильдбургхаузене вдвое дольше, чем предполагал, и потом началась оживленная переписка.

Это было в мае 1799 года. В августе герцогиня, вероятно чтобы придать писателю, выходцу из бюргерского сословия, больше привлекательности в глазах семьи фон Фойхтерслебен, присвоила ему титул (без должности и жалованья) легационсрата — советника посольства. В октябре он опять приехал в Гильдбургхаузен, увидел, таким образом, Каролину во второй раз — и обручился с нею, что произошло следующим образом. Она спросила: «Хочешь быть моим?» Он ответил: «Об этом я должен тебя спросить». Несколько недель они держали это в тайне, затем он официально попросил ее руки. И навлек на себя негодование.

Отец Каролины, генерал-адъютант герцога фон Гильдбургхаузен Фойхтер фон Фойхтерслебен, уже умер, но мать, урожденная Шотт фон

Шоттенштайн, жива и так же возмущена предполагаемым мезальянсом, как и вся остальная родня. Из переписки между братьями Каролины явствует, какие унижения ожидали бы не очень состоятельного претендента-бюргера, если бы этот брак состоялся.

Брату Генриху, оберегермейстеру герцога, представляется, что «новый веймарский ученый по имени Рихтер», «своим дерзким поведением и своими странными манерами» вызывающий у всех здравомыслящих людей смех, прокрался в фойхтерслебенский дом и «лестью и фантазиями» покорила Каролину, о чем он, оберегермейстер, узнал слишком поздно, «иначе я сразу бы заметил его намерение и быстро разделался бы с ним». Теперь же дело дошло до этой несчастной помолвки и до ужасной сцены с матерью, которая вне себя уже потому, что «часто повторявшаяся любимая поговорка блаж. памяти отца (чем ученей, тем крученей) вселила в нее отвращение ко всем ученым, в особенности к ученым зятьям, и потому что этот ученый и по духу, и по виду чистый чудак — он выделяется из всех окружающих, — и он не может знать, как долго будет пользоваться благосклонностью читателей, как долго вправе находиться на одном месте, он просто фантазер, а не писатель, у кого есть чему поучиться, и после своей смерти он не сможет обеспечить жену и детей, а Каролина, возможно, еще сделает лучшую партию или имеет шанс попасть ко двору, который уже платит ей ежегодно пятьдесят гульденов пенсии, и, стало быть, ей незачем отдавать себя на осмеяние злорадным людям, вступая в этот странный марьяж... Конечно, сперва следует навести справки о его положении, и, если сведения будут не очень благоприятными, это, возможно, единственное средство образумить Каролину».

Справки были наведены, консисторальный президент Гердер отозвался об ученом хорошо, а тот сам обрисовывает свои финансовые дела (самым лестным для себя образом), так что невеста сообщила своему брату: «Он получает за каждый лист 5–6 луидоров золотом, что по нашему счету равняется примерно 32 рейхсталерам, и без труда пишет по листу в неделю. Сейчас капитал его составляет только 2100 рейхсталеров, то есть немногим более моего. Так что считай сам. Положение и независимость освобождают его от всех требований пустой, но дорогостоящей жизни — и мы можем ограничивать себя как угодно; тем не менее мадам Рихтер будет богаче, чем фройляйн фон

Фойхтерслебен. Мне говорят, он ничего не сможет оставить мне в наследство, но у меня есть обещание благородного, правдивого человека, что когда-нибудь мне достанется печальная поддержка — сумма, которую он через пять-шесть лет получит за полн. собрание своих сочинений и которая составит 12–16 000 рхт. Что же касается моего здешнего положения в высшем обществе, то оно определяется благосклонностью княгини».

В конечном счете дело решили не фантастические выкладки насчет листа в неделю и не призрачная надежда на собрание сочинений (которое заставит себя ждать еще четверть века), а упомянутая в конце благосклонность восхищенной Жан-Полем герцогини. Мать сдалась, произнесла «да», правда при условии, чтобы зять в ближайшие годы не появлялся ей на глаза. Только брат Генрих еще чинит препятствия. «Он требует, чтобы я отказала Рихтеру, потому что его бюргерское звание может повредить карьере брата-дворянина». Но герцогиня умиротворяет и Генриха, и после полугода душевных пыток родные дали согласие непоколебимой Каролине.

Безмерно счастливая невеста условилась встретиться с ним 21 марта 1800 года — в этот день ему исполняется тридцать семь лет — из-за матери — в Ильменау. Но жених уклонился, сославшись на плохую погоду и недомогание, и поехал в Готу. Их встреча состоялась только в начале мая. Приличия ради Каролину сопровождает сводная сестра, Жан-Поля — супруги Гердер. Они провели вместе три весенних дня в Ильменау. Когда они разъехались, помолвка была расторгнута.

В том ли причина, что, как утверждает брат Каролины, Гердер растолковал обоим, будто они не подходят друг другу, или же причиной разрыва был только Жан-Поль — неизвестно. Ясно лишь, что по-настоящему любила одна она, а он не только сказал решающее слово, но и легко перенес разрыв. Спустя несколько дней он весел, как прежде, а через полгода опять обручен, опять с Каролиной, но из бюргерского сословия — она больше похожа на Розинетту, какой он воображает ее себе. А дворянке Каролине он написал так: «Мы схожи в наших возвышенных стремлениях, мы играем одну и ту же возвышенную мелодию, но каждый исполняет ее в другой тональности, т. е. индивидуальности, и это превращает величайшую схожесть в величайшую несхожесть: секунда — вот что рождает сильнейший диссонанс».

Его призвание — не любить, а описывать любовь и тем самым «быть мужем всех женщин», написал Гердер покинутой, которая еще долго не могла поверить в бесповоротность своего несчастья, и был прав, хотя Жан-Поль очень скоро станет мужем одной-единственной женщины.

Когда бывшие обрученные спустя год снова увиделись в Гильдбургхаузене, Жан-Поль охотно беседовал с нею, но про себя тихо говорил: «Слава богу!» Каролина, видимо, испытывала противоречивые чувства. Еще долгие годы она праздновала в своих дневниках день рождения Жан-Поля как свой «великий день», который всегда для нее будет «свят и дорог». Свои лучшие годы она провела придворной дамой в Гильдбургхаузене и Вюртемберге, в сорок два года вышла наконец замуж и еще старухой с умилением вспоминала бывшего жениха. А он в 1820 году, когда во время придворной аудиенции в Мюнхене речь зашла о фройляйн из Гильдбургхаузена, не смог вспомнить имени той, с кем был помолвлен.



Нерешительный возлюбленный разочаровал не только непосредственно пострадавшую, но и чету Гердеров, которая принимала большое участие в помолвке. Полного разрыва между Гердером и Жан-Полем не происходит, но разлад серьезен. И поскольку связь с Шарлоттой фон Кальб тоже оборвалась, а отношения с Гёте и переехавшим тем временем в Веймар Шиллером становятся все более холодными, город утратил для него очарование. Поездка в Берлин,

которая была задумана им раньше и состоялась в месяц расторжения помолвки, превратилась в разведку нового местожительства. Там его ожидают две женщины: Жозефина фон Зидов, владелица имения из Нижней Померании, и Луиза, королева Пруссии.

27

ЖЕНЩИН — МНОЖЕСТВО

Он направился, так сказать, в свою столицу. Ибо вот уже восемь лет Жан-Поль — прусский подданный. После отречения владетельного князя Карла Александра Ансбах-Байройт превратился в южный опорный пункт страны, которая стала при Фридрихе великой державой и после насильственного расчленения Польши и Базельского мира с Францией простерлась от Варшавы до Рейна: это колосс, но колосс на глиняных ногах; Наполеону через шесть лет стоило только толкнуть его, чтобы он рухнул.

Жан-Поль все еще пишет свой «кардинальный роман», в котором изображено, как в князе воспитывают готовность реформировать разложившееся феодальное государство. Государство это мало похоже на Пруссию, но наряду с другими государствами имеется в виду и она. Этот гигантский памятник феодализму крайне нуждается в реформах. Уже есть люди, понимающие это, нужна только катастрофа, которая расчистила бы им путь. Бюрократическая машина, закосневшая в своем холостом вращении, не способна измениться без толчка снизу или извне.

Пруссия стала великой державой благодаря сверхмощной армии. Именно для этой цели была создана бюрократия, которая в течение восемнадцатого века централизовала и милитаризовала страну. В руках сильного монарха армия и бюрократия породили абсолютизм, абсолютнее которого невозможно себе ничего представить. Хотя централизация частично лишила дворянство его самовластия, имущественное положение дворян осталось незатронутым. Дворянство было преобразовано в послушную государству касту офицеров и чиновников, в награду за верную службу защищенную от какого бы то ни было посягательства на его привилегии со стороны крепнущей буржуазии. При Фридрихе II бюргеры не имели права ни получать

дворянский титул, ни покупать дворянские поместья; офицерские и высшие чиновничьи должности были им заказаны.

Но Фридрих скончался вот уже четырнадцать лет назад. И уже одиннадцать лет в ходу новые мерилы, порожденные революцией во Франции. В Пруссии тоже окрепли могущество буржуазии и буржуазное самосознание. Политическая структура власти не соответствует больше экономической. Новое время стучится и в двери Пруссии, но господствующая каста прикидывается глухой, а в центре, который создал себе Фридрих, сидят теперь неспособные люди, чьи силы полностью отнимают попытки законсервировать в неизменности заветы «Фридриха Единственного». От старых установлений остались одни пустые оболочки. Аппаратом заправляют ложь, интриги, лицемерие. Министры продажны, престарелые военные — пустословы. Во внутренней и внешней политике кризис сменяется кризисом. А на троне сидит мямля.

За Фридрихом II пришел Фридрих Вильгельм II, прославившийся в ряду поколений Гогенцоллернов манией расточительства и засильем фавориток. На влияние Французской революции, сказавшееся в немецкой духовной жизни, он реагировал истерично, усилил цензуру, издав эдикт об укреплении религии. Жан-Поль порядком ненавидел его. Сын его, Фридрих Вильгельм III, лучше приспосабливается к новым временам: перестраивается внешне, прикидывается скромным, бережливым, сдержанным, добродетельным. Он принимает обличье отца бюргерского семейства. И вводит подданных (в том числе и Жан-Поля) в заблуждение — не в последнюю очередь благодаря красивой и умной жене. «Мне нравится, как он спокойно начал», — написал Жан-Поль Отто и рассказал об аресте и осуждении графини Лихтенау, которую на самом деле зовут Минхен Энке; она дочь берлинского трактирщика и «морганатическая супруга» почившего короля-отца.

С тех пор, правда, прошло два года. За это время стало ясно, что новый король не собирается многое менять, разве что исправить самые вопиющие ошибки отца (так, он отменил, скажем, религиозный эдикт). Поскольку он боится малейшего ограничения дворянских привилегий, его робкие попытки реорганизации оказываются бесплодными. Поэтому Жан-Поль уже давно обратил свои симпатии на его жену, королеву Луизу, которая, во-первых, красива, во-вторых, кажется добродетельной и, в-третьих, так же, как ее сестра, герцогиня фон

Гильдбургхаузен, чрезвычайно почитает Жан-Поля. Ей и трем ее сестрам он посвятил свой роман о реформах — возможно, не впустую: после победы Наполеона над Пруссией королева войдет в ту партию при дворе, которая станет добиваться должности для реформатора Штайна.

Только что появился первый том «Титана». Сразу по прибытии в Берлин Жан-Поль послал его королеве; на следующий же день он получил от нее приглашение. Он посетил ее в Сансуси и пришел в восторг — от ее красоты. При его сексуальном голоде ему все женщины кажутся красивыми. Он смотрит только на нее, только она его интересует. Это раздражает многих знаменитых мужей, которые посещают приемы, даваемые в честь Жан-Поля. «Он не обратил на меня никакого внимания, — писал Шлейермахер. — Он, собственно говоря, видит только женщин и думает, что даже самая простая из них являет собой если не новый мир, то по меньшей мере новую часть света». Его счастье, что и сами женщины хотят его видеть.

Никогда еще ни один город не чествовал его так, как столичный Берлин, который тогда насчитывал уже сто пятьдесят три тысячи жителей. Он живет у своего издателя Мацдорфа, на улице Штехбан (сейчас это часть площади Маркса — Энгельса), то есть совсем близко от дворца. В соответствии со своей славой он занял четыре комнаты. «Все восхитительно: обитые шелком стулья, восковые свечи; здесь предупреждают каждое мое желание». Но его раздражает, что Мацдорф в его честь пригласил «кучу ученых». Ему куда приятнее показанные специально для него спектакли в Королевском театре, торжественные приемы в масонской ложе, у министров, в частных домах — потому что при этом присутствуют женщины. «Я не посещал ученых клубов, хотя меня часто приглашали туда, зато женщин — очень много. Меня боготворили девы, которых раньше боготворил бы я. Господи, какая простота, открытость, образованность и красота! На чудесном острове Пикельвердер (2,5 мили от Берлина) я сразу нашел столько приятельниц, что даже досада брала, потому что, заинтересовавшись одной, забываешь другую... В качестве трофеев я получил множество прядей волос (целую цепочку для часов из волос трех сестер) и множества волос лишился сам; я мог бы прожить, торгуя тем, что растет у меня на голове, не хуже, чем тем, что в ней».

Однако он говорит не только о толпах женщин, но и об отдельных женщинах. (Кстати, его будущей жены среди них нет, она упоминается лишь косвенно — в числе трех сестер.)

Сперва это француженка из Нижней Померании Жозефина фон Зидов, чьи письма помогли ему расторгнуть помолвку. Вместе с родителями она в шестнадцатилетнем возрасте приехала в Пруссию из Южной Франции, публиковала под именем мадам де Монбар романы, стихи и педагогические сочинения в духе Руссо, вторично несчастлива в браке и пытается просвещать крепостных крестьян в своих поместьях. Чтение «Геспера» для нее — событие, а автор его — «оракул», «богочеловек», новый Руссо. Ее первое письмо от марта 1799 года начиналось красивой фразой: «Будь я королевой, автор „Геспера“ был бы моим первым министром; будь мне пятнадцать лет и смей я надеяться стать его Клотильдой, я была бы более счастлива, чем если бы я была королевой».

К сожалению, ей уже сорок один год, но письма Жан-Поля тем не менее вселяют в нее надежды, и целый год длится оживленная любовная переписка. Она послала ему свой портрет, который он повесил над роялем. Ее красивые и длинные письма предвосхитили многое, что они оба хотели бы пережить в Берлине, так что в действительности все оказалось хуже, чем они нафантазировали. Жозефина смогла задержаться только на несколько дней (в конце концов, она ведь замужем, и мужу не следует знать о ее поездке), а у Жан-Поля — из-за бесчисленных чествований — мало времени для нее. Он с восторгом говорит в письме к Отто о ее наивности и «южном огне»; она сразу после отъезда написала из Штеттина своему «очаровательному и единственному другу»: «Люби меня, пиши мне, помни обо мне...», тем не менее эта встреча — конец их мечтаний. Письма пишутся все реже, их тон становится все суше. Это не разочарование — или лишь такое разочарование, которым чревата всякая действительность. В нравоучительном рассказе «Тайный плач мужчин» Жан-Поль нарисовал портрет Жозефины, в последних томах «Титана» использовал некоторые ее черты, этим и завершается эпизод, полный пламенных заверений в любви. Следующие за ним короче, и они сильнее окрашены чувственностью. До его женитьбы остается год.

И тут он снова встречает остроумную еврейку, что дала во Франценсбаде Эмили фон Берлепш повод для ревности. Она живет в

Тиргартене, приглашает его на кофе, к обеду, посещает с ним театр. Об эротическом итоге этого знакомства он сообщил Отто следующее: «В Тиргартене я... остался на всю ночь, курил свою трубку и ушел оттуда чистым».

Еще меньшую опасность для его добродетели представляет семнадцатилетняя берлинка Вильгельмина, оригинальности ради называющая себя Гельминой. Урожденная фон Кленке, Гельмина в шестнадцать лет вышла замуж за графа Гастфера, но разведена и опять свободна. Унаследовав от бабушки Анны Луизы Каршин склонность к литературе и рано созрев, она прочитала у Ходовецкого «Незримую ложу», в четырнадцать лет от роду вознамерилась написать роман в жан-полевской манере, но, к счастью, не сделала этого, а ограничилась письмом к автору, на которое он не ответил. Теперь она увивается вокруг него, приглашает на прогулки или к обеду на Гипсштрассе, где живет у матери. К полудню он приглашен вместе с Алефельдтом, читаем в одной из ее записок, только пусть он придет один «точно в 10 часов утра, чтобы видеть, как я завершаю свой туалет». Этого он, правда, не упустил, но успех ее невелик. Он едва упоминает о ней. Зато она в своих воспоминаниях уделяет ему много места. Ибо она действительно стала писательницей, хотя ее позднейшее имя — Гельмина фон Чези — чаще встречается в истории музыки, чем литературы: она написала либретто к опере Вебера «Эврианта».

Но самое сильное искушение ждет целомудренного холостяка по его возвращении из Берлина в Веймар. Это Генриетта, графиня Шлабрендорф, впоследствии о ней писал Фонтане, не зная, правда, о ее отношениях с Жан-Полем. В «Странствиях по провинции Бранденбург» он приводит генеалогию Шлабрендорфов, чей самый знаменитый отпрыск по имени Густав жил в Париже, был жирондистом, приговоренным якобинцами к смерти, но избежавшим гильотины благодаря тому, что, когда его должны были везти на эшафот, он не нашел своих сапог, на следующий день про него забыли, а после падения Робеспьера он был освобожден. Его брат Генрих, который жил дома, в имении Грёбен под Берлином, и был мужем Генриетты. О его браке Фонтане рассказывает так: «Граф Генрих молодым офицером познакомился с красивой, умной и образованной фройляйн фон Мютшефаль, чей отец командовал тем же гусарским полком. Знакомство вскоре привело к помолвке и бракосочетанию... Лишь в

1792 году... родилась девочка и спустя два года — сын. По-видимому, то не был брак по любви, по крайней мере со стороны фройляйн, и потому различия во вкусах и мнениях скоро привели к разладу. Супруги избегали друг друга, и, когда граф находился в Грёбене, графиня была в Берлине, и наоборот. Но и эта жизнь врозь все-таки тяготила обе стороны, и они добились исполнения своих желаний, когда в конце века их разъезд был закреплен законом. Сын остался с отцом, дочь последовала за матерью, которая, все еще красивая женщина, вскоре отдала свою руку господину фон Швендлеру из Тюрингии». Но последнее произошло лишь после того, как ей не удалось заполучить Жан-Поля.

Она подруга Рахели, с которой Жан-Поль, естественно, тоже познакомился в Берлине, называл ее «остроумно-философичной», но не загорелся ею: Рахель ценит его книги, но относится к ним критично, ей нравится их автор, но она соблюдает дистанцию. Графиня же идет ему навстречу, и очень смело. Его письма к Отто все еще письма юноши, который возбужденно рассказывает о своих первых эротических приключениях. Мысль о том, что, согрешив с нею, он ни перед кем не согрешит, успокаивает его, но мысль, что своей тактикой проволочек он грешит по отношению к ней, ему даже не приходит в голову. «Я держусь пассивно; а при этом ни одна сторона особенно не рискует», — считает он, но женщина десятью годами моложе его рискует больше, чем он полагает. «Держаться за руки, обмениваясь легкими рукопожатиями», ей скоро надоедает. Они собирались поехать вместе в Готу. Накануне отъезда он ужинал у нее. «Затем мы устроились на канаве; прекрасная стройная фигура, весьма гармоничные формы, прямой нос и чуткие, настороженные, напряженные... уста... — все это склонялось ко мне... У нее были бриллианты ее придворного туалета на пальцах и шее, и, когда я приблизился к ее шее, право же, не больше, чем бритва к нашей... она отстегнула кольцо и по собственному побуждению раскрыла прекрасные кружева... Ее перси цветом и мягкостью походили на пушистые облака... Мы оба пылали, но остановились; однако по ее объятиям и желанию уснуть на моем плече... легко догадаться о будущем. Я сказал ей: ты... знаешь, каким бесом иной раз становится мужчина. Вот так я и ушел. Всю ночь сердце словно билось в голове. Завтра вечером — в готской гостинице — дело

будет решено (думал я всю ночь). Один раз я был близок к отказу от этой божественной и адской затеи. Но все же поехал с ней».

Однако и в Готе они тоже только сидят, держа около себя ее дочь, на канаве, и это описание, как и описание вечера накануне, Жан-Поль многократно прерывает мыслями о литературном претворении нового опыта, комментируя их таким заверением: «Видит бог! По отношению к своим подругам я одновременно физически холоден и горяч душой»; затем он хвастливо расписывает, как много девичьих сердец покоряет в каждом городе, и в конце абзаца цитирует «изумительную женщину» из Готы: «Я способна выцарапать глаза женщине, которая любит Вас чувственно».

Тому, кто не разделяет жан-полевских взглядов на мораль, любовная глава его жизни должна казаться самой мрачной. Но последовательность, с какой Жан-Поль всегда остается верным себе, не может не импонировать. Его не подкупить ни красотой, ни богатством. Насколько важен для него литературный успех, настолько безразличен успех светский. Как человек, как гражданин и как супруг он хочет оставаться самим собой. «Конечно, смешно, что моя лестница к супружеской постели... столь бесконечно длинна. Однако я позабочусь о том, чтобы в Берлине я смог впрыгнуть в нее; но пусть там лежит просто кроткая девушка, которая будет мне готовить, будет вместе со мною смеяться и плакать. Больше я ничего и не желаю».

Маловероятно, чтобы при этих словах он думал о будущей жене. Он, правда, уже познакомился с нею, но ничто не свидетельствует, что она произвела на него большее впечатление, чем другие. Его решение провести следующую зиму в Берлине не было связано с нею. С тех пор как между ним и Гердерами появились разногласия, он чувствует себя в Веймаре неуютно. «Веймар вызывает во мне отвращение», — написал он Отто; и Эртелю: «Веймар — выгоревший город, на горячем пепле которого я пока сплю. Перед отъездом каждый город кажется мне таким же обугленным. При таком переселении народов, которое происходит через новые места и сердца, поэзия в выигрыше, но сердце становится бедным *émigré*^[27], я хотел бы найти убежище в своей свадебной комнате». И Алефельдту в Берлин: «Веймар угнетает меня, я изнываю по бренденбургскому воздуху, который приводят в движение столь прекрасные уста».

Ему нравится Берлин, этот «архитектурный универсум». Ему по вкусу, что его «жители, даже жительницы... одеваются просто». Он считает, что отношения между дворянством и буржуазией строятся здесь на более равноправной основе, чем при маленьких дворах. Обиходный тон свободнее. «Этому драгоценному камню не хватает лишь оправы — красивых окрестностей». Ибо, как и большинство его современников, он не считает красивым бранденбургское маркграфство, и вообще хорошо живет только там, где есть горы и — хорошее пиво. «Да, Берлин — песчаная пустыня, но где еще найдешь оазисы?» (Это он говорит Гельмине фон Чези, и Фонтане через восемьдесят лет воспользуется этой метафорой для характеристики творчества Жан-Поля: «Пустыня Сахара... но какие оазисы в ней!»)

Как раньше Эртелю в Лейпциге, он поручает теперь Алефельдту в Берлине оборудовать жилье для «тощего сатирика»: наряду со старым письменным столом главное — стеллаж («полка скорее для бумаг, чем для книг»). «И вообще не трать много денег на обстановку, ибо я должен экономить ради женитьбы, возраста, и здоровья, и литературы».

Жить он намеревается у Алефельдта: Нойе Фридрихштрассе, 22 (ныне Литтенштрассе).

28

ПОСЛЕДНЯЯ ПОМОЛВКА

Берлинское зимнее полугодие 1800/01 — кульминация его жизни. Все, что было до сих пор, — это сборы в путь, юношеское стремление вверх и вдаль. Все, что началось теперь, — это этапы возвращения домой. Он на вершине славы и уже изрядно устал от нее. Самым обширным и самым дерзновенным из своих романов — «Титаном» (четыре тома его выходят один за другим в 1800–1803 годах) — он не смог превзойти успеха незрелого «Геспера». Его уже мало интересуют другие люди и другие места, знаменитости его разочаровали. Ненависть к провинциальной тесноте, окружавшей его в молодости, постепенно уступила место тоске по ней. Удовольствие от общения с верхушками общества не затрагивает ни его чувств, ни его сознания. Он неподкупен, ибо лишен честолобивого желания войти в круг тех, кто его чествует. Кажется, будто вылазка в высшее общество была предпринята только для того, чтобы, изучив его, изобразить потом в

«Титане». Когда работа над романом подошла к концу, он покинул это общество, разочарованный и уставший. Здоровье его пошатнулось. Тощий сочинитель скоро начал толстеть. Всего лишь за несколько лет юноша превратился в старика.

Женитьба — это цезура в его жизни. 3 октября 1800 года прославленный писатель, решивший положить конец холостяцкому существованию, прибыл в Берлин. Через пять недель он помолвлен. Спустя две недели все дамы, имевшие виды на него, узнали об этом из «Фоссише цайтунг»: «Легационсрат Жан-Поль Фридрих Рихтер уведомляет о своей помолвке со второй дочерью господина гехаймрата при обертрибунале Майера — Каролиной».

Подробности предыстории этой последней помолвки неизвестны. Обычно откровенничающий, Жан-Поль в данном, принявшем столь серьезный оборот случае отмалчивался даже перед друзьями. О трех сестрах Майер он упоминал часто, но ни разу об одной из них отдельно. Можно предположить, что двадцатитрехлетняя девушка, которая скорее почитает, нежели любит его («Я хотела бы молиться на Вас, стоять перед Вами на коленях, как склоняются пред богом», — пишет она ему), проявила известную инициативу. Она была помолвлена с нелюбимым кузенком и обратилась к сведущему в проблемах морали писателю с вопросом, должна ли она, следуя долгу, остаться со своим нареченным или же, следуя чувству, расстаться с ним.

Ответ пришел быстро: «Прекрасная душа! Беспристрастно и холодно, как если бы я никогда Вас не видел, хочу дать Вам ответ по совести. Он гласит: Вы вправе расстаться». Он обстоятельно обосновывает свой ответ, ни словом не обмолвившись о своей симпатии к ней.

Это было написано 30 октября, а 4 ноября он написал уже вот что: «Единственная! Наконец-то мое сердце нашло свое сердце, наконец-то моя жизнь стала прямой и светлой. Такой она и пребудет, и никто не сможет нас разлучить, кроме нас самих, а мы этого не сделаем». 9 ноября, нагруженный цветами, он просит у гехаймрата при обертрибунале руки его дочери, что в то время являлось не простой условностью, а юридической необходимостью, ибо, согласно прусскому праву, лишь сыновья, достигшие совершеннолетия, освобождаются от родительской опеки, дочери же — только выйдя замуж.



Титул господина Майера в отличие от титула господина Рихтера не просто украшение. («Противно, как деревянный муляж на витрине», — отзывается Шарлотта фон Кальб о гильдбурхаузенском титуле без должности, когда Рихтер по-детски порадовался ему.) Майер облечен своим титулом в качестве судебного чиновника. Это трезвый, рассудительный человек, с которым зять так никогда и не сблизился, но на которого ему никогда не приходилось и жаловаться. С матерью своих трех дочерей Майер развелся восемнадцать лет назад, заключив

нелепое соглашение, согласно которому дети попеременно жили неделю у него, неделю у матери. Но право воспитания суд присудил ему, и он воспользовался им разумно. Он обучал девочек частично сам, частично с помощью преподавателей. И в конечном счете три сестры получили образование, которое в те времена называли «мужским». В результате, к огорчению отца, все три дочери вышли замуж за литераторов: Минна, старшая, — за композитора, автора песен и музыковеда Карла Шпацера, сперва учителя филантропической школы в Дессау, затем издателя лейпцигской «Цайтунг фюр ди элганте вельт»; Эрнестина, младшая, — за незначительного поэта Августа Мальмана. Среди этих зятьев знаменитый Жан-Поль, разумеется, самый желанный, хотя и на него смотрят не без недоверия, ибо все, что касается его имущественного положения, туманно и он не собирается давать разъяснения.

Гехаймрат сначала принял предложение, затем, переждав четыре месяца, четко и определенно спросил, как обстоят финансовые дела. Писатель ответил, не раздражаясь, подсчитал свои скромные сбережения, включая сто талеров, одолженных им Гердеру, сто — Алефельдту, а также те семьдесят, что у него в кармане, заверил, что в настоящее время зарабатывает больше, чем тратит, и опять обнадежил собранием сочинений, выход которого предполагается через восемь — десять лет. Он ничего не имеет против плана тестя застраховать Каролину в Прусской вдовьей кассе (той самой, что так гнусно обманула Зибенкеза), готов предоставить для этого деньги. По всему видно, что уже столь часто дававший обещания на сей раз твердо решил их сдержать, хотя и откладывает день свадьбы. Но на это есть свои причины.

Конечно, его тоже беспокоит пропитание будущей семьи. Непостоянные гонорары — весьма неустойчивая основа для той добропорядочной, хотя и непритязательной жизни, которая ему рисуется. Издатели, правда, платят ему теперь за печатный лист больше, чем прежде, и каждое повторное издание, не требуя дополнительной работы, приносит ему опять половину гонорара (нынешние писатели получают за это полный гонорар), но зато и его расходы постоянно растут, а многочисленные светские обязанности отнимают много времени. Для Розинетты, которую он обрел во фройляйн Майер, ему в качестве материального базиса не хватает

имения Миттельшпиц, о котором он мечтал в «Жизнеописании будущего». На это надеяться не приходится. Единственная возможность получать регулярный доход, если он не хочет поступить на службу (а к этой мысли он никогда больше не обращался), — получить от церкви или государства (что в протестантских странах одно и то же) пожизненную ренту, приход, доходное место, должность каноника или нечто в этом роде, то есть жалованье без обязанности работать, гонорар за почетное членство, как теперь, по сходным мотивам (с целью заинтересовать какого-нибудь значительного человека) платит, например, Академия искусств. Это можно называть — в зависимости от точки зрения — или подкупом, или содействием развитию искусств.

Подобная практика существует и в Пруссии. Но количество доходных мест ограничено. Лишь когда получающий пожизненную ренту умирает, его место может занять очередной претендент. Раздает эту милость король. И Жан-Поль — не хотелось бы говорить этого, — отрекаясь от своего имени и творчества, за три недели до свадьбы умоляет его об этом.

«Всемиловитейший король и господин, — так начинается прошение, в котором он сначала вспоминает свою нищенскую юность, чтобы затем продолжить: — Только после долгой нищеты и неудач я своими эстетическими трудами завоевал внимание небольшого, затем более широкого круга избранной публики; но поскольку цель этих трудов — поднять слабеющую веру в божество и бессмертие и во все то, что облагораживает и утешает нас, и снова отогреть охладевшую во времена эгоизма и революции любовь к человеку, поскольку эта цель была для меня важнее всяких наград и успехов моего пера, я пожертвовал ими, и временем, и здоровьем ради более высокой цели и предпочел длительный напряженный труд большим доходам. Теперь же, поскольку я вступаю в брак и мое самопожертвование не должно сказываться на других, моя совесть извинит меня за то, что я с надеждой кладу к подножию трона того, кому доводится выслушивать и одаривать счастьем столь многих, также и мое прошение о поддержке, которая с возрастом становится все более необходимой, — верноподданническое прошение о приходе».

Это столь же мало согласуется с обликом человека, который нападает в своих сочинениях на князей и феодальную систему и отказывается в Веймаре прицепить шпагу, считая это унижением своего

достоинства, как и с всецело положительным образом, который он пытался воплотить в Альбано, безупречном герое «Титана». Тот, кто способен отделить автора от его творчества, мог бы сказать: это лицемерие извинительно, ведь пишет будущий супруг и отец. И разве Жан-Поль в это же самое время не вступился (правда, после многократных просьб Отто и, к сожалению, тщетно) перед Гарденбергом за гофского купца Герольда (отца Амёны, тестя Отто), чтобы избавить его от шестимесячного заключения в тюрьму за оскорбление монарха? И разве не сочинения составляют самое главное деяние сочинителя, который несет перед ними большую ответственность, чем перед своей честью? И разве творчество «княжеского слуги» Гёте не превзошло namного своим значением и воздействием творчества тех, кто ругал его слева? И не потому ли, может быть, Гёльдерлин и Бюхнер стали светочами литературы, что они рано умерли? И разве против властителей, которых писатель считает незаконными, не дозволены любые средства? Но разве, с другой стороны, любое жизненно важное решение автора не есть решение, касающееся и его творчества?

Правда, кланчить ренту — это не означает для Жан-Поля такого решения: он не получил ее. (А если бы и получил, это, безусловно, не имело бы значения для его творчества.) Не посчитавшись с его ходатаями при дворе (министром Альверслебеном, придворной дамой Каролиной фон Берг и, конечно, королевой), Фридрих Вильгельм холодно отделался от него неопределенными обещаниями. Верный государственной власти Коцебу ему милей (кто станет упрекать за это короля!), и пустой Лафонтен (чьи слащавые развлекательные романы, кстати, нравятся и королеве) тоже получает приход и строит себе перед воротами Галле роскошную виллу, где он, как рассказывает Фарнгаген, живет в таком довольстве, что становится «толстым, как бочка».

Не получив пожизненной ренты, Жан-Поль не привязан более к Пруссии. Он свободен в выборе местожительства. Остаться в Берлине он не намерен. В письмах к друзьям он постоянно спрашивает, какой город они ему рекомендуют. Там должны быть дешевая жизнь, горы в окрестностях и хорошее пиво: темное и горькое. Выбор будущего местожительства он со всей серьезностью ставит в зависимость и от этого. Подумывая о Хальберштадте, он пишет Глейму: «Прошу Вас

сообщить, можно ли по крайней мере в трех-четыре-пяти милях от Хальберштадта найти настоящее горькое пиво».

Уже в те времена пиво наряду с чистой водой было самым распространенным напитком в мелкобуржуазных кругах. Власти каждого, даже самого маленького города раздавали патенты на пивоварение не определенным лицам, а определенным фирмам и регулировали цены, которые (как на хлеб и на мясо) устанавливались по возможности низкими, чтобы не вызывать волнений среди населения. Жан-Полю пиво необходимо как стимулирующее средство для работы. Он постепенно отказался от кофе, который способствовал его неимоверной трудоспособности в молодости. Когда он работал над «Геспером», то составил для себя правила, касавшиеся не только формы и содержания глав, но и рабочей техники и морали. «14. Исправляйся!» — говорилось там; «16. Посмотри главные статьи в Словаре (Реестр собрания выписок)»; между ними находилось и не менее важное наставление, как пить кофе: «Утром 2,5–3 лота, вечером 2». Он пил его в таком количестве и такой крепости, что пьянел. Теперь он добивается того же пивом. Уже из Веймара Бёттигер сообщал: «Он пьет, когда сочиняет, много пива и вина и сидит в невероятной жаре, словно в бане»; а Каролина спустя неделю после свадьбы пишет отцу: «Из принципа и экономии этот добрый человек отвыкает от вина... пьет только пиво».

Этот добрый человек! Каролине он представляется более чем добрым, он «самый чистый, самый святой, самый божественный человек, который когда-либо жил на земле». Бывают моменты, когда она «преклоняет колени перед его душой». Это точно характеризует отношение Каролины к нему. И это нравится Жан-Полю, дает ему возможность жить с нею. Она в точности та Розинетта, которую он искал: красивая, молодая, умеет принаровиться к нему, исполнена сочувствия ко всему живому, лишена потребности самоутвердиться (то есть никак не «роскошный цветок», никакая не «Титанида») и притом достаточно образованна, чтобы уметь читать и любить его книги. Знакомясь с ним, она в почтительном волнении целует ему руку. Когда после помолвки она просит разрешения поработать для него, имея в виду, конечно, рукоделье, он предписывает ей прочитать его «Палингенесии». И чтобы достичь полного соответствия с «Предположительной биографией», он откладывает свадьбу до троицы:

действительность становится отражением литературного произведения, его собственного произведения.

А до тех пор он наслаждается (одновременно с напряженной работой над последними томами «Титана» и первым томом «Озорных лет») шумной жизнью большого города, спешит, «веселый, любящий и любимый, от одного чайного стола к другому», в оперу, театр, концерты — вместе с невестой, а еще чаще без нее, например ко двору, куда ее не приглашают. Он по-прежнему общается со старыми возлюбленными: навещает мадам Бернард, его приглашает Юлия фон Крюденер, а графиня Шлабрендорф, которая, узнав о помолвке, заболела, быстро взяла себя в руки и попыталась из руин любви построить дружбу, сблизившись с молодой невестой, не ведающей, видимо, ревности: любое душевное движение подобного рода превращается у Каролины тотчас в чувство неполноценности, в письмах звучат ее благородные мечты о самоотречении, о готовности уступить место подле возлюбленного более достойной.

В отличие от первого недолгого пребывания в Берлине Жан-Поль теперь чаще соприкасается со светочами духа, обитающими здесь, преимущественно с членами «новой секты» романтиков, чей центр переместился из Йены в Берлин. Между одиночкой и группой устанавливается перемирие, которое выглядит почти как союз, но им отнюдь не является. О Тике, зло высмеявшем жеманность Жан-Поля в сатирическом видении «Страшный суд», он еще в августе высказался следующим образом: «До сих пор я невозмутимо сидел здесь, раскрыв крокодилю пасть для всех мошек и всего, что жалит и сосет; но когда они кусают слишком сильно, я защелкиваю пасть». А уже в октябре он напишет о дружеском общении с Тиком, Бернгарди и другими интеллектуалами из школы романтиков.

Примерно то же происходило у него с главой этой школы в области критики — с Фридрихом Шлегелем. Тот навестил его (что с неудовольствием отметил Шиллер) еще в Веймаре и дружески с ним беседовал, после того как резко, но не без понимания покритиковал его. В первой книжке «Атенеума» за 1798 год Шлегель первым обстоятельно рассмотрел романы Жан-Поля, воздав им должное, в третьей (и последней) книжке за 1800 год разъяснил свою теорию романа на примере произведений Жан-Поля, метко назвав их при этом «энциклопедией духовной жизни гениального индивидуума».

«Вероятно, большинство читателей любит романы Фридриха Рихтера, — написано в первом томе „Атенеума“, — только из-за внешней занимательности. Вообще он вызывает интерес самого различного свойства и по совершенно противоположным причинам. Какой-нибудь образованный сельский хозяин проливает над его страницами благородные слезы, а суровый человек искусства ненавидит его, как кровавую зарницу в небе, говорящую о полной непоэтичности нации и эпохи, человек широких взглядов способен восхититься гротескными фарфоровыми фигурками его остроумных метафор, которые он выстраивает под барабан, как войско, а может, и преклониться перед действительностью в его лице. Он сам по себе феномен — этот автор, который не владеет основами искусства, не способен складно произнести остроумное слово, не может хорошо рассказать ни одной истории... и которого, не совершая несправедливости, нельзя не назвать большим писателем, хотя бы на основании того юмористического дифирамба, какой звучит в письме об Адаме упрямого, грубого, сильного, изумительного Лейбгебера. У его женщин глаза на мокром месте, они лишь примеры, манекены для психологических и моральных суждений о женственности или чувствительности... Его драгоценности — свинцовые арабески во вкусе нюрнбергских мастеров. В этом всего сильнее выявляется монотонное однообразие его фантазии и его духа, граничащее с бедностью; но в этом же заключается и его тяжеловесная привлекательность, его пикантная безвкусица, порицать которую можно лишь за то, что он сам о ней не догадывается. Его мадонна — чувствительная жена церковного служки, а Христос смахивает на просвещенного студента-выпускника. Чем добродетельнее рембрандты его поэтического вымысла, тем они посредственнее и зауряднее, чем они комичнее, тем лучше, чем восторженнее и провинциальнее, тем божественнее, ибо, на его взгляд, маленький городок — это главным образом божий городок».

Как видим, романтики обходятся с ним не слишком любезно, и хвалят они в нем явно не то, что они считают достойным похвалы, но принимают его всерьез, внимательно следят за всем, что он пишет, в то время как Гёте и Шиллер его игнорируют. Это позволяет ему с пользой для себя общаться с романтиками, не переходя к ним. Ибо они исповедуют эстетизм, который он уже в «Истории моего предисловия к

„Квинту Фикслайну“» определил как путь к варварству. Они ценят в нем своеобразие формы, но высмеивают моральные устремления. Жан-Поль и притягивает и отталкивает их, так же как и они его. Они попеременно то хвалят его, то хулят. Так, ему удается завораживающий образ зла в Рокероле, в нем такое портретное сходство с одним из романтических гениев, что Brentano говорит: он не понимает, как Жан-Поль, не зная его, мог столь точно его изобразить; а в приложении к тому же роману (созданному зимой в Берлине) воздухоплаватель Гианоццо смотрит вниз из своего монгольфьера на современный мир и, подобно одному из раннеромантических интеллектуалов, находит его мелким, тщеславным и презренным и особенно издевается над устаревшим берлинским Просвещением (главным врагом романтиков) с престарелым предводителем Николаи.

Так же двойственно относится Жан-Поль и к Фихте. Они одного возраста, происхождения, у них сходный путь развития и сходная политическая позиция, но философия Фихте отталкивает Жан-Поля. В 1799 году он публикует «Clavis Fichtiana», ключ к философии Фихте, где сатирически сводит «философский эгоизм» *ad absurdum*, а в «Титане» философия Фихте приводит Шоппе к умопомешательству. Но примечательно, что Шоппе — один из самых симпатичных персонажей романа — исполнен революционного духа, как и ранний Фихте (хотя в остальном между ними нет сходства); а когда реакционные силы в Йене втягивают философа в так называемый спор об атеизме, чтобы изгнать его из университета, Жан-Поль, естественно, становится на сторону преследуемого. Они в личном плане весьма симпатизируют друг другу. А нападки в «Ключе» Фихте не принял всерьез, он только сказал: «Этот ключ, наверное, ничего не открыл, потому что автор так и не попал им в замок».

Даже для позднего Фихте Жан-Поль находит добрые слова в рецензии на «Речи к немецкой нации», хотя и называет националистические преувеличения опасной глупостью.

Но позднейшее реакционное развитие романтиков он осудил недвусмысленно. Сближение в Берлине было для него лишь кратковременным эпизодом, несмотря на то, что Тик, Бернгарди, Фуке и другие превозносили его потом до небес. Он остался в одиночестве.

В своем времени он был одинок, напишет потом Гейне, рассказывая о политических писателях «Молодой Германии», которые

считали Жан-Поля своим предшественником; причину этого он видит в том, что Жан-Поль целиком отдался своему времени — в устах Гейне это звучит как похвала, и похвала эта обоснованна. Жан-Поль был человеком современной ему действительности. Свои идеалы и сюжеты он искал не в античности и не в средневековье. В этом его заслуга, и это же определяет и его границы. Ибо бегство в прошлое было бегством к величию, которым немецкая действительность не обладала, попыткой духовно подняться над убожеством. Отвергая такое бегство, Жан-Поль был вынужден сосредоточиться на убогой реальности. Как никто другой, он умел изобразить мелочность и мелких государств, и мелкой буржуазии. Его попытки противопоставить презираемым условиям жизни идеальных героев терпели крушение, ибо именно эти условия не давали героям возможности совершать великие деяния. Это произошло с «Геспером» и произойдет с «Титаном», его грандиозным по замыслу шедевром, в котором он создал нечто для своего времени небывалое: политический роман воспитания.

29

БОГ СОЛНЦА И БОГОБОРЕЦ

Фундамент «Титана» был заложен давно. Уже в 1792 году, прервав работу над «Незримой ложей», Жан-Поль делает первые наброски. Предполагаемое название — «Гений». Едва закончив «Геспера», Жан-Поль начинает писать. Но у него еще нет необходимых предпосылок. Только уроки веймарского путешествия подвинут эту работу. Теперь он может изображать князей, дворы и придворных по собственным наблюдениям; теперь он узнал светлые и темные стороны гениев, а также эмансипированных женщин, которые кажутся ему титаническими. В дело идет и читательский опыт: роман о гении почитаемого им Якоби «Альвиль» — вначале, «Годы учения Вильгельма Мейстера» Гёте — позднее. Во время путешествия в Дрезден, которое он совершил вместе с Эмилией фон Берлепш, большое впечатление на него произвели копии античных скульптур. Он включает в роман о воспитании все, что имело для него самого воспитывающее значение. Работа над гигантским творением была начата в Гофе, продолжена в Лейпциге, Веймаре и Берлине, закончена в

Мейнингене. Все годы странствий и славы проходят под знаком этой работы.

Около пяти — самых богатых впечатлениями и самых продуктивных — лет разделяют «Геспера» и первый том четырехтомного «Титана»; «Квинт Фиксляйн», «История моего предисловия», «Биографические забавы», «Зибенкез», «Юбилейный сениор», «Кампанская долина», «Палингенесии», «Письма Жан-Поля и жизнеописание будущего», «Ключ к Фихте» — девять книг, написанных «между делом», плюс еще переработанное и расширенное второе издание «Геспера». Затем в течение четырех лет каждый год по тому «Титана» да еще «Комическое приложение», оно заполняет два тома и включает в себя такое важное самостоятельное сочинение, как «Бортовой журнал воздухоплователя Гианоццо». В это же время были начаты «Озорные лета», первоначально задуманные как часть «Титана», но затем отделенные, — еще одно побочное сочинение, однако такого же уровня, как «Зибенкез»; подобно ему, оно в художественном отношении превосходит главное произведение. Ибо здесь, как и там, Жан-Поль возвращается в родном кругу: в деревне и маленьком городке, в мелкобуржуазной среде, на галерке всемирного театра, где он чувствует себя уютно, как дома. Здесь он может быть самим собой. В «Титане» же, действие которого почти полностью разыгрывается в аристократических кругах, он добивается результата, изменяя самому себе. Противник классиков проявляет здесь честолюбивое желание стать одним из них. Ни одна из его книг не обусловлена в такой мере Веймаром, как эта антивеймаровская книга. Ни в одной другой не обнаруживаются так четко его надежды, его идеалы и взгляды. Но чтобы воплотить великую идею, недостаточно тех средств, какими он владеет.

Это роман воспитания, роман становления, подобно «Годам учения Вильгельма Мейстера» Гёте, которого он хочет превзойти и которому многим обязан. Противопоставляя себя Гёте, он учится у него. В плодотворном споре с классиком рождается идеал воспитания: он включает в себя гётевский идеал и в то же время превосходит его, потому что он обогащен политическим моментом. Цель воспитательного процесса у обоих — разносторонне развитая личность (Жан-Поль называет это всесторонностью), но, в то время как у Гёте утопия классовой гармонии порождает аполитичного образованного

бюргера, демократизм Жан-Поля приводит к идеалу политически развитого человека. В конце романа у него появляется не энергичный, умеющий приспособливаться бюргер, а государственный деятель, стремящийся изменить существующие условия. Когда идеальная героиня (художественно, к сожалению, маловыразительная) принцесса Идоина в конце романа говорит герою: «Поверьте, серьезная деятельность в конечном счете всегда примиряет с жизнью», то это звучит очень по-гётевски, но ведь это одобрение Альбано, который решил вступить во французскую армию, чтобы защищать революцию.

К сожалению, возвышенный идеал жан-полевого «высокого человека» разработан на искусственном сюжете. Разделение труда деформирует личность, этому противостоит стремление эпохи сохранить человечность, всесторонне развивая человека. Но деформация его доходит до крайних пределов только в результате капиталистического развития, поэтому показать ее можно лучше всего на примере бюргерства, что и делает Гёте. Жан-Поль предполагал показать бюргерскую параллель к истории воспитания Альбано, однако перенес ее в следующий роман, в «Озорные лета», а проблему одностороннего развития изобразил на примере аристократа, которому благодаря его привилегиям меньше всего угрожает деформация личности как результат разделения труда. Это позволяет Жан-Полю выдвинуть на передний план политически дееспособных героев, но ему приходится перенести проблему в иную среду: односторонность, которая ведет к поражению всех персонажей (включая идеальные образы Альбано и Идоины), связана не с основами их существования, а с их идеологией. В то время как Гёте запечатлел основную проблему будущего века, Жан-Поль остается в пределах сугубо злободневной социальной и идеологической критики.

Когда в 1803 году вышел третий том «Титана», он уже почти устарел. Дни деспотов, правящих в мелких княжествах, сочтены, дискуссии вокруг классицизма и романтизма идут на убыль. Династическая интрига, положенная Жан-Полем в основу очень запутанной фабулы, сходным образом разыгрывалась лет семьдесят пять тому назад в Ансбах-Байройте; животрепещущей ее уже не назовешь. А буржуазии, которая из Франции определит историю всей Европы на ближайшие годы, у Жан-Поля нет даже в намеке.

Однако неуспех романа объясняется не только этим. Долгое время работы над ним привело к многочисленным внутренним противоречиям разного рода, которые художественно не преодолены, а лишь прикрыты. В первом томе еще многое от излишеств и гротесковости «Геспера», во втором томе действие топчется на месте, и к подлинно образцовому языку приближается лишь в двух последних томах. Но все это куда менее важно, чем то, что развитие фабулы и идеал воспитания не соответствует друг другу, в непонятной герою и читателю игре интриг Альбано лишь мячик. И когда наконец он — герой, которому так и не дано что-либо свершить, — в итоге пройденного пути воспитания решает отправиться во Францию, это намерение остается неосуществленным. Ибо тут ему (по воле вымученной и украшенной таинственной машинерией фабулы) открывается, что он князь обоих враждующих государствишек. Автор и герой еще ни слова не сказали по этому поводу, а Альбано, который только что был готов пойти войной на феодальную страну, вступает (после поспешной помолвки со сторонницей реформ принцессой Идоиной) на престол в феодальной же стране. Смысл хэппи-энда, таким образом, тот же, что в «Геспере»: какой восторг должна у властителя вызывать революция, чтобы он захотел провести ее сверху! И если такой конец не свидетельствует ни о реализме, ни о республиканских взглядах автора, он все же говорит о том, что отношение Жан-Поля к революции во Франции не изменилось. И спустя десять лет после времени, на которое приходится события в финале романа, автору вершиной развития его самого положительного героя все еще представляется решение в пользу революции — в ее жирондистской фазе. Ибо роман кончается еще до захвата власти якобинцами. А что Жан-Поль думает о них, он недвусмысленно сказал в опубликованной в 1801 году статье «О Шарлотте Корде»: жирондистов он называет «последними республиканцами», а «кровожадную партию Горы» считает не защитницей, а погубительницей свободы, «смерчем века, ледяным ураганом терроризма», который внушает ему отвращение.

По сравнению с «Незримой ложей» и «Геспером» третья попытка создать «героический» роман (собственно говоря, единственный) — большой художественный прогресс. Автор лучше справляется с языком. Из всех персонажей сатиры пишет только Шоппе. (Остальные сатиры,

которые автор раньше втискивал в книгу, перенесены в «Комическое приложение».) Эмоциональные восторги и описания природы обузданы. Но подлинно великие достижения — характеры.

Тут и первая любовь Альбано — Лиана, страдающая от деспотизма своего отца, министра, и гибнущая от чрезмерной чувствительности и болезненной тяги к смерти. Тут и Линда, вторая возлюбленная Альбано, пугающе точная копия Шарлотты фон Кальб, которая страдает ее болезнью глаз и говорит цитатами из ее писем. Любовь ее настолько эгоистична, что она стремится удержать юношу от его планов участия в походе. Она в такой степени прямолинейно эмансипированна, что отвергает брак и готова отдаться, не узаконивая отношений, что и приводит ее к гибели. Она плохо видит в темноте, и ею ночью овладевает не Альбано, бог солнца (Титан, с ударением на первом слоге), а его друг и враг, один из титанов книги (с ударением на втором слоге, один из богоборцев, каждый из которых, по словам Жан-Поля, попадет в свой ад), причем самый злой из них, Рокероль, — самый обворожительный образ в романе. По сравнению с ним Альбано кажется бледным; вот она — дилемма положительного героя, и поныне волнующая критические умы. Рокероль действует, Альбано же делать нечего, он лишь постоянно совершенствуется.

Брентано прав: Рокероль задуман как пугающее воплощение романтизма. Его пример показывает, в какие пропасти может ввергнуть чрезмерный эстетизм. Гений, каким он был задуман в первоначальном наброске романа, с хорошими и плохими чертами, раздвоился впоследствии на персонифицированное изображение Добра и Зла. В этом выразилось стремление Жан-Поля к объективизации и отчуждению собственной личности. И от этого Рокероль и Шоппе выигрывают не меньше, чем Альбано. Если солнечный юноша воплощает классическую программу гармонии, сокровенную мечту Жан-Поля, то Рокероль — воплощение опасностей, которые заложены в самом авторе и которые он побеждает, давая им полностью изжить себя в образах романа: разрушение чувства предвосхищающим его интеллектом, тщеславие самоизображения. Только тот, чья душа испытала подобные искушения, может знать это с такой точностью, как Жан-Поль. Именно в искусстве он предвосхищает свою жизнь, именно он в письмах к поклонницам всегда может с легкостью изобразить любое чувство, именно ему каждая личная встреча, подготовленная

письмами, приносит разочарование, потому что уже до встречи все чувства пережиты. Жан-Полю, несмотря на то, сколь близок к нему этот образ, удалось показать его объективно, со всяческими психологическими и социальными мотивировками, он стал лучшим из того, что есть в романе, и это величайшее художественное достижение. В человеческом же плане это особенно привлекательно, потому что здесь преодолена опасность чистого искусства. Когда Альбано на античных развалинах, которые вызывают в других людях жажду художественного наслаждения, принимает решение действовать, это всего лишь словесная программа. Но когда эстетство Рокероля навлекает на него гибель, это доказательство средствами искусства.

Единственное подлинное чувство Рокероля — безответная любовь к Линде. И он уничтожает ее, надругавшись над любимой. Затем отвращение к собственной пустоте доводит его до самоубийства. Но и самоубийство он обращает в искусство. Его жизнь, его преступления, его смерть становятся содержанием трагедии, которую он сам сочиняет, ставит на сцене и играет. Он последовательно осуществляет эстетизацию своей жизни, публично стреляясь на сцене и доводя до абсурдного конца шиллеровскую идею эстетического воспитания в духе романтиков — к восторгу советника от искусства Фрайшдёрфера, которого не волнует покойник, но театральный эффект восхищает и подсказывает ему новые теории.

Однако в жертву непреложной классической гармонии Жан-Поль приносит и Шоппе, этого вольнодумца, этого злого насмешника, отметив его клеймом разрушения, вследствие чего он, как существо одностороннее, подчиняясь идее романа, находит свой ад в безумии. Но этим самым автор чинит над собой непереносимое насилие: едва Шоппе умирает, как появляется его точное подобие Зибенкез-Лейбгебер, готовый продолжать сатирическую службу Шоппе у будущего правителя княжеств Гогенфлисс и Гааргаар. А в «Комическом приложении» автор не только дает волю сатирическим насмешкам, от которых отказывался с трудом, он воскрешает Шоппе под именем Гианоццо, свободного не только от всяких человеческих и социальных связей, но и от земли, ибо с помощью новейшего достижения техники — изобретенного в 1873 году воздушного шара — поднимается над нею и осуществляет первый из трех описанных в «Квинте Фиксляйне» путей «стать счастливее (не счастливым)», а именно: «так далеко выйти

за пределы облаков жизни, чтобы весь внешний мир с его волчьими логовами, гробницами и громоотводами увидеть далеко внизу под своими ногами в виде крошечного игрушечного садика».

Это полет гения, довольствующегося самим собой, — и наслаждение, причудливость и сила, с какой он изображен, сводит на нет всю мораль предыдущего романа. Односторонность снова торжествует победу. Правда, воздухоплаватель во время грозы гибнет. Но когда его труп падает на землю, друг Лейбгебер (теперь под именем Грауля) уже готов вступить в права его наследства. Мечта о свободе бессмертна.

30

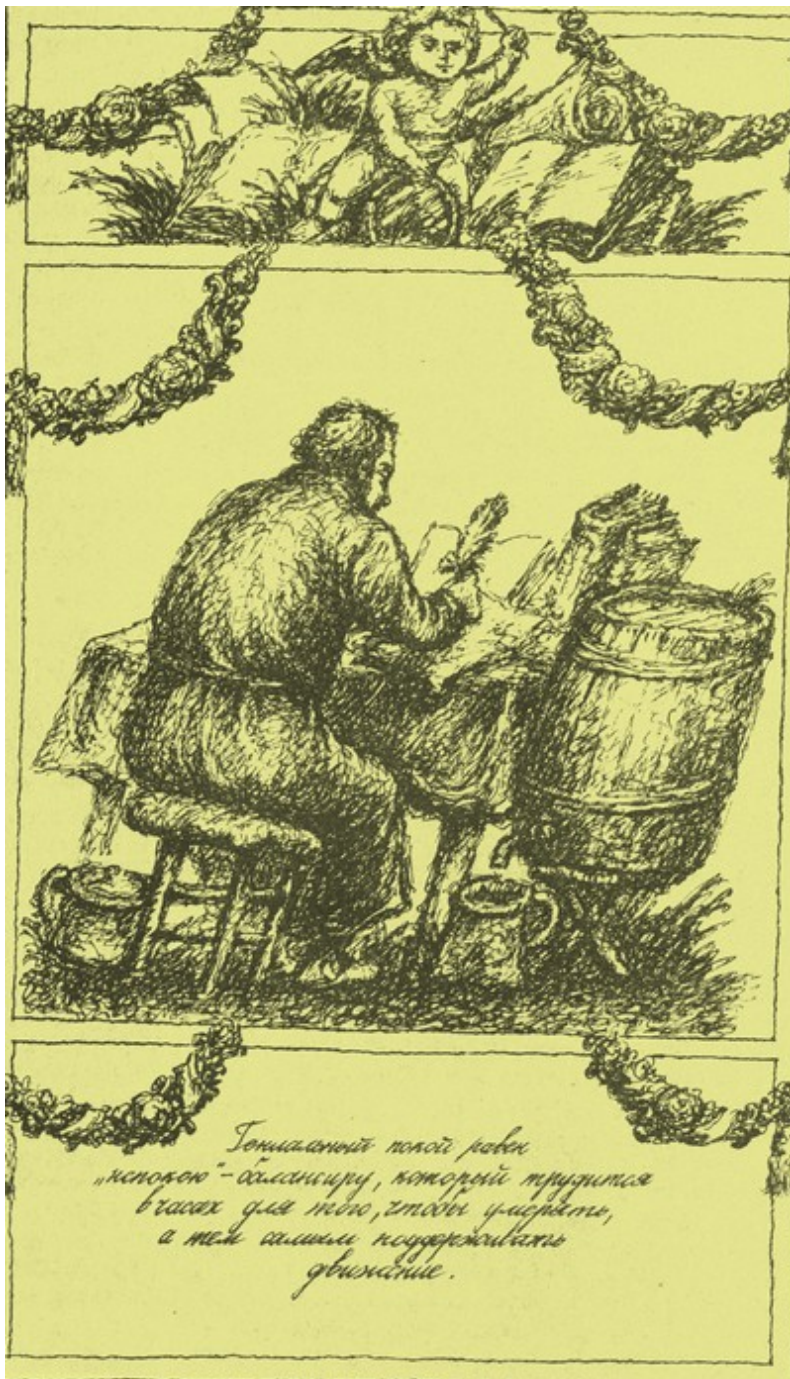
ВОЗВРАЩЕНИЕ НА РОДИНУ

«Знаете ли Вы, мой друг, — то, что Вы от меня сейчас требуете, очень опасно? Я должен оценить „Титана“ Жан-Поля? От одной лишь мысли, что его могут побранить, бледнеет сотня красивых энтузиастов, которые при чтении Рихтера чуть ли не падают в обморок от охватывающих их смутных чувств; и столько же слабоумных мужчин — которые были бы совершеннейшими ничтожествами, не будь они всегда под хмельком, — свирепо, волосы дыбом, вскакивают и грозят войной, если кто-то осмеливается судить то, чем они могут только восхищаться».

После неслыханного успеха «Геспера» выраженные здесь опасения критика Гарлиба Меркеля понятны, но теперь уже беспочвенны: «Титан» разочаровал не только Меркеля и Августа Вильгельма Шлегеля — его самых острых критиков, — но и вообще всех.

Начиная с «Зибенкеза», Жан-Поль то и дело с барабанным боем рекламировал свой «кардинальный роман», заставляя затем читательский мир долго его дожидаться. Интерес к первому тому был соответственно велик, но велико было и разочарование, усиленное вторым томом, в котором непонятное действие не только не двигалось, но еще больше запутывалось. Последние два тома, хотя и более удачные, были едва замечены. Тираж в три тысячи экземпляров расходился плохо, о втором, прижизненном, издании нечего было и думать. Когда Жан-Поль умер, экземпляры третьего и четвертого томов все еще лежали у издателя. Позднее предпринимались попытки сделать

эту машину доступнее путем сокращений: трижды в девятнадцатом веке, затем в 1913 году Герман Гессе для издательства «Инзель» с беспокойной совестью вычеркнул из романа целую четверть, но успеха этим не достиг.



*Гонимый покой ровен
"покою"-бессоннице, который трудится
всёгда для того, чтобы удержать,
а тем самым поддерживать
движение.*

С точки зрения успеха огромные усилия Жан-Поля не оправдались. Но они оказались полезными для его творчества. Это проявилось в следующем произведении — в «Озорных летах», где он вернулся в

бюргерскую среду, но теперь уже более зрелым. Однако и этот роман остается фрагментом: завершенность, совершенство, гармония — все это не в духе Жан-Поля. В нем самом постоянно существует внутренний разлад; он не в силах упорядочить хаос мира, который видит. И это затрудняет чтение его книг, но это же и привлекает к нему каждого, кто в состоянии следовать за ним по его запутанным тропам.

Ему так хочется снова обратиться к юмористическому роману бюргерского толка, что, еще не окончив «Титана», он начинает работать над ним. Но он принуждает себя к дисциплине, сперва доводит до конца гигантское творение, хотя уже понял, в чем его порок: выбор высшего сословия, сословия так называемых благородных, написал он из Берлина Отто, был ошибкой, и оценил это как огорчительное отклонение от своей «зибенкезовской манеры».

Он никогда не делал ошибочного предположения, что мог бы хорошо чувствовать себя среди так называемых благородных. Как только у него накопились необходимые для «Титана» впечатления и он нашел такую жену, какую хотел, он сразу же поспешил отправиться в обратный путь. Когда берлинцы 30 мая 1801 года прочитали в «Фоссише» и в «Гауде унд Шпенерше цайтунг» нижеследующее объявление, он, чтобы избежать «церемониала визитов», любимого старыми тетушками, уже покинул город.

«С благодарностью за прежнюю и надеждой на будущую любовь мы оповещаем наших друзей о своем бракосочетании и отъезде в Майнинген.

Жан-Поль Рихтер, легационсрат

Леопольдина Каролина Рихтер,

урожд. Майер»

В Вёрлице и Дессау они делают остановки, в Веймаре он ждет, что скажут Виланд и Гердер о его избраннице (они от нее в восторге), после чего Жан-Поль безболезненно расстается с большим светом.

20 июня «блаженствующий» супруг написал первое письмо Отто из Майнингена: «Брак по-настоящему включил меня в домашнюю

прочную, тихую, полную жизнь. Работать и читать — вот что надо теперь делать. Влюбленности можно оставить».

Это и значит блаженствовать по его вкусу: избавленный от симультанных влюбленностей и хорошо ухоженный, он может работать, сперва еще над «Титаном», потом над «Озорными летами». Каролина живет полностью ради него, ради Жан-Поля, обожаемого поэта. Он это понимает и не устает превозносить ее поведение. Ее самопожертвование заходит так далеко, что незадолго до первых родов, «когда уже начались схватки», она принесла ему в кабинет сливовый пирог на завтрак. «Она нисколько не отягощена своим „я“, — восторгается он как величайшим ее достоинством. — Поэзия получает с этого проценты». Он нашел в Каролине именно то, о чем мечтал, и она пока счастлива. Дочь состоятельных родителей быстро свыкается с примитивными условиями жизни. Они живут на Нижней Марктгассе, сперва в темноватом доме на заднем дворе, потом несколько дальше, в доме получше, с окнами на улицу, где пасутся гуси. Обстановка, согласно его принципам, самая простая. Даже зеркало и шторы кажутся супругу излишней роскошью. (Но жене он разрешает повесить их в своей комнате.) «До конца жизни я по-прежнему буду врагом мебели, за исключением удобных вещей, наподобие моей безвкусной кушетки; спустя месяц самая красивая мебель перестает радовать глаз... Я знаю только одну исполненную вкуса, вечно освежающую, хорошо отделанную мебель — так называемую природу или землю».

Во время работы он сидит на обитой черным кушетке. Кроме нее, в комнате стоят сосновый стол «для писания и пачкотни», жесткие стулья и испытанный стеллаж, с которого он может, не поднимаясь, доставать выписки, справочники, копии писем. Он сидит здесь изо дня в день с половины седьмого утра до пяти вечера. Сюда ему приносят утренний кофе, затем необходимое для работы пиво. Лишь обедать он приходит в комнату жены и после обеда читает «Рейхсанцайгер». Вечером навещают или принимают знакомых: геолога Гейма (брата знаменитого берлинского врача) — он живет в доме напротив, — графиню Шлабрендорф, которая, заранее съездив в Майнинген, сняла для супругов квартиру, а теперь опять собирается замуж, или Георга I, герцога земли Саксония-Майнинген, человека «знающего и доброго», но «далекого от поэзии и философии», с которым он, как постоянно заверяет в письмах к Отто, обращается как с ровней. Приглашения во

дворец он часто отклоняет; когда же принимает их, то приходит и уходит, когда хочет, а узнав от герцога, что тот собирается построить для него дом, он с испугом отказывается: он не собирается оставаться в Майнингене вечно. Ему не хватает бесед с друзьями. Да и пиво здесь неважное.

Вот уже восемь лет Жан-Поль дружит с Эмануэлем Осмундом, байройтским евреем, который выбился из разносчиков в коммерсанты. Прусские офицеры так истязали его, что он навсегда оглох. Но это не сказалось на его доброте и человеколюбии. Эмануэль его «единоверец в большей мере, чем дозволено имперскими законами» (не признающими равноправия евреев), написал Жан-Поль Генриетте Герц. Во время поездок в Байройт Жан-Поль обычно останавливается у Эмануэля. В годы странствий переписка между ними никогда не прерывалась. Теперь, в Майнингене, и позднее, в Кобурге, Эмануэль для него особенно важен: он поставляет Жан-Полю пиво. За эти годы Жан-Поль написал ему более шестидесяти писем, и лишь в нескольких из них нет упоминаний о «бальзаме для желудка», «осенней отраде», «пиве для души», «напитке забвения», «предпоследнем елее», «святой воде» (которая однажды в Кобурге приводит даже к конфликту с законом, потому что, изрядно нагрузившись, он помочился прямо на улице, за что ему пришлось заплатить рейхсталер «мочевого налога»).

Одноконная повозка доставляет бочки или ведра с байройтским, иоганницким или кульмбахским пивом из Байройта в Майнинген, и Жан-Поль впадает в небольшую панику, если бочки опорожняются раньше, чем приходит извещение о высылке очередной порции. Он снова и снова подчеркивает: этого требует искусство; некоторых эффектов не достичь без возбуждающих средств; от этого выигрывает не небо, а мозг. «И если оно не ударит мне в голову, ему нечего делать и в пузыре». Конечно, он зависит от пива, оправдывается он, но разве не каждый человек зависит от чего-нибудь, например зимой от печки? «Когда появляется пивная бочка, — писала Каролина Эмануэлю, — он радуется больше, чем когда появляется на свет ребенок... Он с нетерпением считает часы и постится в предвкушении, когда привезут пиво, и горе кучеру, если, прибыв, он слишком долго отдыхает: пиво должно быть немедленно доставлено в дом, чтобы нацедить свежую кружку».

Это пристрастие к пиву трогательно и забавно (Каролина утверждает, что она от души смеется над ним), но оно свидетельствует о таящейся опасности. Никто без причины не становится пьяницей. Здесь причина в том, что он хочет больше, чем может. Подстегивая себя, он пытается удержаться в наилучшей форме. Тот, кто полностью отдается искусству, боится пустоты, которая открывается, когда сдают силы. Длинное оправдание своего «безобразного пьянства» он заканчивает словами: «Я знаю только одно наслаждение — я всегда стремлюсь плыть на волне прилива всех сил, а отлив я жадно заполняю книгами и людьми». Но ни того ни другого — ни значительных книг, ни подходящих людей — у него нет ни в Майнингене, ни в Кобурге. Самые близкие друзья, Эмануэль Осмунд и Кристиан Отто (с первым он переписывался по личным и семейным делам, со вторым — по вопросам литературы и политики), живут в Байройте. Непонятно, почему Жан-Поль вообще откладывает переезд туда еще на три года — из Берлина он уже справлялся о стоимости жизни в Байройте. Боится окончательного возвращения на родину? Пытается продолжить период странствий, продлить молодость? Он медленно движется к обители своей старости. Медленно убеждается, что вершина славы уже позади. Некоторое время он с трудом скрывал отчаяние, а потом стал спрашивать друзей и знакомых: почему они ничего не говорят о последних томах «Титана»? Что они думают об «Озорных летах»?

В 1803 году, после третьего тома, он внезапно прерывает работу над последним романом, чтобы напомнить критикам о своих взглядах на литературу, причем не в предисловии, как восемь лет назад, а в целой книге. Поскольку у него уже есть много заготовок, книга возникает в невероятно короткий срок — в течение девяти месяцев; это его главный литературно-теоретический труд — «Приготовительная школа эстетики», — самое обширное обобщение своих взглядов на искусство, какое сделал кто-либо из писателей классикоромантического периода. К осенней ярмарке 1804 года объемистая книга уже поступила в продажу.

«Знамя литературы теперь в руках односторонности, — писал он в 1802 году Якоби. — Видит бог, я никогда не шел за этим знаменем и охотно изорвал или сжег бы его; поэтому (если когда-нибудь стану писать об этом) я нигде в поэзии не буду ни щадить, ни поносить, ни примыкать к кому-нибудь». И с этой позиции (которая, конечно, в

некоторых пунктах сближается с позицией романтиков) он излагает свою точку зрения на эстетические проблемы: это своего рода попытки оправдания, причем он нигде не скрывает, что его поэтическая теория вытекает из его поэтической практики. Он свободен от честолюбивого стремления создать эстетическую систему. Слова «Приготовительная школа» он применяет всерьез: как сказано в предисловии ко второму изданию, он хочет всего лишь подготовить учеников к учению у подлинных учителей-философов.

Тут он, правда, несколько перебарщивает в скромности, которой обычно не грешит. Ибо его собственный вклад в эстетику весьма значителен, особенно в том, что касается теорий романа и комического, близких ему, как никому другому. И кое-что из того, что сказано им об этом, еще и сегодня столь же актуально, сколь и неизвестно; отчасти оно носит и чисто жан-полевский характер и обусловлено эпохой, но в нем все интересно, а порой и забавно. Ибо когда Жан-Поль теоретизирует о юморе, чувство юмора не покидает его. Но написано все трудным языком и потому непригодно как пособие. Надо читать этот труд с самого начала, чтобы войти в мир его понятий. Когда он пользуется терминами, которые в ходу еще и поныне, они часто имеют у него другое значение. Так, нигилист в его понимании — человек, которому нечего сказать, материалист — тот, кого сегодня назвали бы натуралистом, а то, что мы называем реализмом, он описательно определяет как подражание (не копирование или передразнивание) натуре, причем натура означает действительность, из которой, как он считает, вырастает вся поэзия, но действительность одушевленная и упорядоченная на основе высшего принципа. Он подчеркивает субъективный и индивидуальный момент в искусстве, указывает на желание читателей отождествить себя с героем книги и, не говоря об этом прямо, учитывает в своей классификации типов романа и анализе юмора социальный компонент и опережает тем самым свою эпоху.

Поскольку «Приготовительная школа» — собой скорее собрание мыслей, чем попытка обобщающего синтеза, здесь позволительно то, что хотелось бы сделать со всеми его произведениями, но что вообще-то не рекомендуется: составить антологию, которая, к примеру, могла бы содержать (под современными заголовками) следующее.

Литература и действительность:

«Поэты древности были прежде всего людьми дела и воинами, а уж потом певцами; и великие создатели эпопей всех времен, прежде чем получить в руки кисть, чтобы начертать маршруты плавания, должны были сначала крепко поупражняться с рулем в волнах жизни».

«При равных данных рабски копирующий натуру рисовальщик даст нам больше... нежели не придерживающийся правил живописец, который эфир рисует в эфире с помощью эфира. Гений отличается именно тем, что видит натуру более богатой и совершенной... каждый гений создает для нас новую натуру, продолжая раскрывать натуру старую».

«Внешняя натура становится иной в каждой внутренней, и это претворение хлеба насущного в нечто божественное и есть духовная поэтическая материя...»

«Именно в этом и состоит... вопрос, какая душа одушевляет натуру, душа капитана, торгующего рабами, или душа Гомера».

«Сколь мало поэзии в книге, копирующей книгу природы, лучше всего видно на примере юношей, которые хуже всего владеют языком чувств, когда последние кипят и кричат в них... Когда в руке бьется лихорадочный пульс страстей, она не может удерживать поэтическую, лирическую кисть и водить ею. Простая досада может, правда, создать стихотворные строки, но не лучшие».

Народность:

«Прежде поэзия была делом народа, а изображение народа — делом поэзии; теперь же поэтическая песня возникает в одном ученом кабинете и устремляется в другой, воспевая то, что происходит в обоих кабинетах».

Юмор:

«Вместе со старинной истинной серьезностью немцы... потеряли паяца. Тем не менее нам хватило бы серьезности,

чтобы понять ту или иную шутку, будь мы более гражданами государства (citoyens), чем гражданами-обывателями».

«Поскольку немцу, таким образом, для юмора не хватает только свободы — то пусть он даст ее себе!»

«Юмор... по своей природе отрицает и духов и богов».

Автор и его герой:

«Каждый поэт рождает особого ангела и особого черта; богатство или скудность размесившихся между ними созданий подтверждает или отрицает его значительность... По этой причине маленький автор ничего не выигрывает, ворую образ у большого, ибо ему следовало бы украсть еще и другое Я».

«Если поэт раздумывает, что в данных обстоятельствах должен сказать его герой — „да“ или „нет“, — надо выбросить этот персонаж, он — мертвый глупец».

Положительный герой;

«Пусть шиллеровский маркиз Поза, высокий, блестящий и пустой, как маяк, предостерегает поэта, чтобы он не пришвартовывался к нему. Он стал для нас скорее словом, чем человеком».

«Оставить человечеству нравственный идеальный характер, оставить святого — за это стоит причислить к лику святых».

Диалектика:

«Разумеется, поэзия учит и поучает... но лишь подобно тому, как цветок, закрываясь и раскрываясь, самым ароматом своим предвещает погоду и показывает время дня; но нежный росток поэзии нельзя срубить, чтобы построить из него церковную или университетскую кафедру; ни деревянное сооружение, ни тот, кто стоит за ним, не заменят живого аромата весны».

Зло:

«Долго всматриваться в порок всегда верно; душа содрогается перед разверзнутой пастью змия, затем теряет равновесие и — бросается в нее».

Стиль:

«Если человеку есть что сказать, то самая подобающая манера — его собственная; если сказать нечего, то его манера подходит еще более».

Критика:

«Я не знаю более пустых, более полуправдивых, полупристрастных и бесполезных рецензий на книги, чем те, что я читал после самих книг; но сколь меткими мне издавна казались рецензии на книги, которых я не знал...»

«Чем ограниченнее человек, тем больше он верит рецензиям».

Публика:

«Если ум великого человека отличается от вашего, исходите лучше из того, что это он себя не понимает, а не вы его».

«Заурядные умы обладают отвратительным умением в глубочайшем, великолепнейшем изречении не увидеть ничего другого, кроме своей собственной плоской мысли, и они играют злую шутку с автором, присоединяясь к нему».

Таким образом, «Приготовительная школа» не является, как говорит Тик, лишь «рецептом, по какому можно самому писать жан-полевские книги», — она нечто большее и вместе с тем учебник, как и «Левана, или Учение о воспитании», появившаяся через три года. Если в «Приготовительную школу» вошел поэтический опыт, то в «Левану» — педагогический, приобретенный, когда он был домашним учителем и преподавал в захолустных школах, а также опыт воспитания собственных детей. Ибо с 1802 по 1804 год у него с превосходной

регулярностью ежегодно рождался ребенок: девочка, мальчик, девочка, — в каждом из его последних местожительств по одному.

В день рождения первого ребенка он написал Отто письмо, в начале которого продолжил дискуссию о «Титане», затем подробно остановился на намерении друга поступить на государственную службу и только после этого перешел к событию дня: «Утром повитуха — как следует обученная в Йене мудрая мужеподобная баба — определила, что роды будут через два часа. В 11 часов они и завершились рождением божественной доченьки. Боже мой! Ты бы тоже в восторге вскочил, как я, когда посреди или после стонов мне — я оставался тут — повитуха поднесла, словно достав из облака, мое второе любимейшее существо, с открытыми голубыми глазами, красивым широким лбом, с губами, созданными для поцелуев, кричащее во все горло, с носиком моей жены».

Оживленный обмен письмами касается выбора восприемников (называемых крестными). Наряду с родственниками и друзьями желательно иметь среди них высокопоставленных лиц, богатых и влиятельных. Ведь их задача — помогать потом ребенку в нужде, содействовать в получении образования, профессии и в браке. Но, кроме этого, существует обычай при крестинах преподносить ребенку денежный подарок. С другой стороны, крестному оказывают честь, нарекают ребенка его именем. Однако с рихтеровским первенцем этого сделать нельзя. Слишком много крестных; правда, не столько, сколько намеревался получить алчный сельский дворянин в сатирах «Бумаг дьявола» (и в «Палингенесиях») — триста шестьдесят пять, — но все же одиннадцать. Чести наречь ребенка их именем удостаиваются лишь его друг еврей Эмануэль (Эмануэла), герцог Майнингенский (Георгина) и мать герцога Веймарского (Амалия). Но поскольку обиходное имя девочки должно быть Эмма и отец («из педагогического благоразумия») намеревается дать ей еще имя положительной героини «Титана» — Идоина, ребенок при всех ограничениях получает пять имен.

Когда рождается Макс («у него такой несуразный вид, как у какого-нибудь моего юмористического сочинения, только он худой»), семья живет уже в Кобурге, и, хотя о Жан-Поле все (В том числе и он сам) говорят как о заботливом отце, семья уже начинает мешать ему в работе — иначе и быть не может: он, подобно Зибенкезу, очень чувствителен к шуму. Ликование в письмах по поводу семейного

счастья понемногу уступает место ноткам разочарования, и, как позднее в Байройте, он на целые дни (вместе с собакой) покидает семейную идиллию, чтобы без помех работать на воздухе, в садовом домике, на Адамиберге.

Но в Кобурге он с самого начала не предполагал жить долго. Бюргерские круги города слишком «скучны», дворянское же окружение Жан-Поля мало подходит для «истинной общности в жизни и делах». Скандал в связи с присвоением государственных средств, в котором замешан его покровитель Кречман, министр этой маленькой провинции (Саксония-Кобург-Заальфельд, пятьдесят шесть тысяч жителей), ускоряет решение Жан-Поля перебраться в Байройт. Как и перед каждым из многократных переездов, он рассылает письма друзьям с просьбой подыскать недорогую квартиру и мебель; причем особое внимание уделяется письменному столу: «Только, ради бога, ни в коем случае не окаянный хрупкий секретер из красного дерева. Короче говоря, такой стол, которого устыдился бы самый мелкий канцелярист».

Это не последнее его переселение (ибо в Байройте он еще пять раз поменяет квартиру), но все же последний переезд из одного города в другой. Молодым человеком тридцати трех лет он покинул Гоф, стариком сорока одного года возвратился на родину. Тощий поэт растолстел. Он сохранил франкский диалект, но потерял почти все волосы. Все меньше внимания обращает он на свою внешность. Его сюртук потрепан, белый жилет сер, брюки чересчур коротки. На крестины Одилии, третьего ребенка, родившегося уже в Байройте, он появился к празднику не слишком празднично одетым, в сапогах и грязном жилете, на котором, по словам Эмануэля, «больше дыр, чем пуговиц». Но даже иронизирующие по этому поводу гости утверждают, что он по-прежнему добр, полон юмора и простоты. А главное — он работает. Он создаст еще немало значительного, но «Озорные лета» за оставшиеся ему двадцать лет так и не будут закончены.

31

ДВОЙНАЯ ДУША — ДВОЙНОЙ РОМАН

Какое удовольствие читать одно из вершинных созданий классического периода немецкой литературы, если можешь наслаждаться им в его первозданности! Потому что о нем никогда не

приходилось писать школьных сочинений, потому что никто тебе не растолковывал, что означает в нем то или это, что оно содержит, символизирует, доказывает. Ни одно учебное заведение никогда не было заинтересовано в том, чтобы навязывать его учащимся, ибо оно не толкует о таких высоких материях, как родина, свобода, война или революция. Речь в нем главным образом идет о маленьких людях, о жизни в маленьком городке, о дружбе, любви, бедности, работе, печали и радости. И в нем есть юмор. Одного этого достаточно, чтобы счесть его неподходящим для воспитательных целей. Так что его раскрываешь лишь для собственного удовольствия.

Правда, удовольствие почувствуешь только в том случае (не говоря о главной предпосылке: о наличии чувства юмора), если запасешься временем и терпением. Бегло или «по диагонали» прочитать его нельзя. Не исключено, что подлинное удовольствие почувствуешь лишь при повторном чтении. Хотя в книге много увлекательного, увлекательным чтением ее не назовешь. Как и для всякого наслаждения (например, вином), здесь требуется опыт. Таким образом, предварительная тренировка весьма уместна. Поэтому, если к знатокам Жан-Поля обратятся люди, желающие познакомиться с его творчеством, и спросят, с какой его книги лучше начать, следует назвать «Вуца», «Фиксляйна», «Зибенкеза» или «Катценбергера», но не «Озорные лета»! Эта книга должна стоять в конце списка для начинающих.

И еще следует посоветовать хорошее издание, с примечаниями, в которые можно время от времени заглянуть, чтобы после этого снова прочитать соответствующую фразу; это не только облегчает понимание, но и повышает удовольствие, поскольку проясняются остроумные намеки и сравнения, ощутимой становится искусная тонкость иронии. Если, например, в комнате, которую снимает целомудренный герой, стоят картонные штаны, то важно знать (чего не знает герой и что, зная он это, вогнало бы его в краску), что этот предмет мебели способствует действиям, чуждым миру чувств и мыслей героя, а именно — это кресло любви.

У же само начало — шедевр юмора. В маленьком городке Гаслау вскрывают завещание богача Ван дер Кабеля. «Семеро еще живущих дальних родственников семи покойных дальних родственников Кабеля» преисполнены надежд и терпят разочарование. Лишь его городской дом достанется одному из них, причем тому, кто раньше шести остальных

сможет пролить слезу по умершему. Каждый пытается довести себя до слез собственным способом. Господин кирхенрат Глянц пробует применить часто испытанный им при надгробных проповедях метод: растрогать самого себя трогательными речами, обращенными к другим. Он почти уже у цели, но тут над ним берет верх специалист по утренним проповедям Флякс: «Этот спешно представил себе благодеяние Кабеля и изношенные юбки и седые волосы своих слушательниц на утренних богослужениях, Лазаря с его собаками и собственный длинный гроб, затем многочисленные казни посредством обезглавливания, страдания Вертера, небольшое поле битвы и себя самого, как он тут, молодой, мучается и бьется из-за какого-то пункта завещания, — еще три раза качнуть насос, и у него появятся слезы на глазах и свой дом... „Мне кажется, почтеннейшие господа мои, — сказал Флякс, вставая со скорбным видом и глядя вокруг полными слез глазами, — я плачу“, после чего он снова сел и с удовольствием дал течь слезам — он ведь доплыл до заветного берега».

Главный же наследник — неизвестный в Гаслау юноша, сын деревенского старосты Готвальт Гарниш, коротко именуемый Вальтом, — «малокровный, добрейший, дружелюбный» наивный мечтатель, «который, вероятно, сильнее всего на свете любит людей». Но прежде чем вступить во владение наследством, он должен выполнить девять условий: овладеть бюргерскими профессиями (садовника, нотариуса, учителя, настройщика, егеря, книготорговца, корректора, пастора). Если он совершит при этом ошибки, определенные части наследства отойдут семи сонаследникам.

Замысел, таким образом, ясен. Мечтатель должен воспитать в себе всесторонне образованного человека. Кроме действия условий, записанных в завещании, на него скоро начинает воздействовать дополнительная воспитательная сила в лице его брата-близнеца Вульта, хорошо разбирающегося в жизни. Так начинается юмористический роман о развитии героя, который, собственно говоря, этим началом и кончается. Хотя юмор сохраняется на всем протяжении романа, развития в нем почти не происходит. Исходный пункт (завещание) все больше и больше оттесняется ради истории двух непохожих друг на друга братьев, и в конце фрагмента, занимающего четыре тома, подводится итог в прощальных словах Вульта: «Пребывай во здравии, тебя не переделаешь, меня не исправишь».

Ни в одном, ни в другом смысле книга не завершена. И тем не менее редко какое произведение доставляет такое удовольствие. Возможно, именно ее слабость позволяет читателю сродниться с ней, а зачастую эта слабость оказывается лишь тенью, которую отбрасывает ее явная сила. Сила ее — в ее зависимости от действительности. А действительность подчиняет себе план. Ибо то, что здесь должно было бы стать венцом развития — сформированная бюргерская идеальная личность, — в действительности существовать не могло. Гёте в «Вильгельме Мейстере» вынужден был прибегнуть к утопической классовой гармонии. «Озорные лета» кажутся чуть ли не опровержением этой книги. Единственный урок, который с болью извлек Вальт, — понимание того, что между дворянами и бюргерами дружба невозможна. В остальном он остается таким, каким был, и те немногие этапы, что он проходит по воле завещания, не могут его изменить, потому что материальные потери, которые он несет из-за своих ошибок, совершенно не трогают его.

И, собственно, иным и не хотелось бы его видеть. Мир не может его исправить. Такой, каков он есть, этот мир может только испортить его. Приспособление к данному обществу лишило бы героя его лучших качеств. И он выходит из книги таким, каким вошел в нее: далеким от жизни и достойным любви. Он видит мир таким же радостным, каким он в одном письме рисует (сегодня бы сказали: как живописец-примитивист) лето:

«Боже, что за время года! Право, я часто не знаю, оставаться мне в городе или отправиться в поле, повсюду одинаково прекрасно. Когда выходишь к воротам, тебя радуют нищие, которые теперь не мерзнут, и конные почтальоны, которые всю ночь охотно сидят на лошадях, и пастухи, которые спят под открытым небом... В садах, что разбиты на предгорьях, сидят гимназисты и заучивают на свежем воздухе слова из словарей. Охота запрещена, и потому никто не стреляет, все живое в кустах, и норах, и на ветвях может в полной безопасности наслаждаться жизнью. На всех дорогах — путешественники, верх экипажей большей частью откинут, седла лошадей украшены ветками, у кучеров в зубах розы. По земле скользят тени облаков, кругом порхают птицы, подмастерья странствуют налегке со своими узелками, не нуждаясь в работе. Даже в дождливую погоду с удовольствием стоишь на улице и вдыхаешь свежесть, а пастухам сырость нипочем. А когда наступает

ночь, можно, сидя в прохладной тени, явственно видеть уходящий день на северном горизонте и ласковые теплые звезды на небе. Куда ни взгляну, вижу милую моему сердцу синеву, в цветении льна, в васильках и в божественном бескрайнем небе, в которое я готов окунуться, как в волны. А когда возвращаешься домой, тебя ждет чистое блаженство. Улица словно детская комната, даже вечером, после ужина, легко одетых малышей снова выпускают на воздух, а не загоняют, как зимой, под одеяла. Вечером ужинаешь при дневном свете, позабыв, где стоит светильник... Повсюду цветы: подле чернильницы, на бумагах, на пюпитрах и прилавках. Дети резвятся, слышно, как катятся шары кегельбана. До полуночи люди бродят по улицам и переулкам, громко беседуют и смотрят, как с высокого неба падают звезды. Сама княгиня вечером перед ужином выходит в парк погулять. Заезжие музыканты, возвращаясь около полуночи домой, продолжают на улице играть на скрипке до самого своего порога, и соседи высовываются из окон. Позднее прибывает экстренная почта, ржут лошади. Лежишь у окна, слушаешь эти звуки и засыпаешь, пока почтовый рожок не разбудит тебя, и тут все звездное небо раскрывается перед тобой. О боже, какая радость жить на этой маленькой земле! И это ведь всего лишь Германия! А если подумать об Италии или Франции!»

Конечно, Вальт наделен многими чертами Виктора из «Геспера», и Зибенкеза, и Фиксляйна, и Вуца. Доротея Шлегель зло сказала о персонажах книг Жан-Поля, что это «всегда одни и те же дураки под разными колпаками»; автор и сам это знал и объяснял в «Приготовительной школе эстетики» кружением вокруг собственного Я «Так же как, согласно Аристотелю, людей можно распознать по их божествам, так и поэта распознаешь по его героям», — сказано там. И один и тот же герой постоянно возникает «как благородный естественный и универсальный дух» поэта, изменяясь лишь в той мере, в какой меняется «сам автор».

А автор, создав чистейшее воплощение своего духа, теперь изменился. Он уже не целомудренный юноша, исполненный страстей и иллюзий. Он супруг, отец семьи, он знает свет. Он не Вальт, но он был им, пусть и наполовину. «Поэзия жизни до брака, — пишет он в это время Эмануэлю, — в браке порой продолжает цвести на бумаге, и возможно, даже пышнее и подлиннее, чем прежде, но к жизни...

обратить ее трудно». Он идет, таким образом, дальше своего героя, и это придает повествованию бóльшую объективность, делает юмор более зрелым и глубоким. Но это же позволяет видеть любимого героя (не причиняя любви ущерба) и в ироническом свете.

Однако некоторые свойства автора, другой стороны его существа, воплощает в себе, разумеется, и Вульт. Такой Жан-Поль вправе писать сатиры на дворянство. Это он написал «Гренландские процессы». Он имеет право на интеллектуальность, вплоть до цинизма. Он видит мир скорее в черном, чем в розовом свете и знает, что мир этот заслуживает того, чтобы его обманывали. Для него в бедности нет улады, он страдает от нее, и гордость его уязвлена ею. То взаимообусловленное и вместе с тем несовместимое, что присуще двойственной натуре Жан-Поля (и уже воплощено в образах Зибенкеза и Лейбгебера, Альбано и Шоппе), здесь доведено до предела. Две крайности противопоставлены тут друг другу в образах братьев-близнецов. Они хотят сойтись, но не могут. Светский Вульт — не образец для Вальта. Он его полярная противоположность. Только синтез заложенных в них обоих сил мог бы породить совершенство. Им бы следовало двигаться навстречу друг другу, но этого им не дано, как не дано сливаться в единстве двум душам Жан-Поля.

Подобно многим персонажам Жан-Поля, оба они пишут. Чтобы преодолеть трагичность разъединения, они вместе пишут «двойной роман», который — иначе и быть не могло — выдержан в рихтеровской манере и тем самым дает еще одну возможность оправдать «двойной стиль». Вальт сочиняет для него чувствительные пассажи, Вульт — сатирические да плюс еще и теорию: во-первых, чередование шутки и серьезности, чувства и иронии есть верное отображение жизни в этом «дурацком переменчивом мире», во-вторых, изображение этих противоположностей лишь усилит каждую из них, в-третьих, такое чередование будет способствовать «сердечному здоровью», предотвращая как избыток чувств, так и флегматическое оцепенение, и породит в читателе как способность испытывать страсти, так и умение справляться с ними. Этот принцип Вульт осуществляет и в жизни. Он пробуждает дремлющую сентиментальность обывателей, сопровождая доклад Вальта трогательной элегией на флейте с «дурацким 6/8 тактом». «От этого противоречия слушателей бросает в холодный пот».

То обстоятельство, что данные теории подводятся под уже существующую манеру письма, завоевавшую тем временем признание, не умаляет их ценности. Однажды Жан-Поль по другому поводу написал Эртелю: «Я изо всех сил ненавижу любое повествование, если не могу включить в него десять тысяч раздумий и находок, благодаря которым старая история становится новой даже для самого повествователя». То есть, когда он пишет, ему необходима прелесть стихийности, свобода от фабульного плена. И это чувство свободы передается также читателю (если он умеет как следует читать, то есть не сдается сам в плен фабуле, следя лишь за ней), в особенности в «Озорных летах», где образ Вальта включает в действие множество сатирических размышлений, делая ненужными всякие «Дополнительные страницы» или «Комические приложения».

К концу романа из девяти условий завещания, что должны умудрить Вальта жизненным опытом, он к пяти еще и не подступался, два не доведены до конца, как не доведена до конца и любовная история. И если концовка тем не менее кажется окончанием, то лишь потому, что история братьев-близнецов завершается в момент прощания с Вальтом. В отличие от «Незримой ложи», этой «руины от рождения», Жан-Поль всю жизнь носился с мыслью продолжить «Озорные лета», но так и не нашел в себе для этого сил, хотя план фабулы у него был готов. Возможно, его удерживала нереалистичность задуманного happy end'a. Возможно, он долго ощущал депрессию после неудачи: Котта, который не смог сбыть четыре тысячи экземпляров первых трех томов, вряд ли захотел бы печатать четвертый. На романиста Жан-Поля в Германии не было больше спроса. А вот его эстетические и особенно педагогические произведения, напротив, имели большой успех. Величие же «Озорных лет», за небольшими исключениями, оценили лишь потомки.

Возможно, дело и в том, что, хотя этот роман читается легче, чем предыдущие, он написан еще более нетрадиционно. В «Геспере» и «Зибенкезе» еще сохранялась схема романа воспитания и романа ужасов. Зибенкез, несмотря на Лейбгегера, был явно центральным персонажем; здесь же он разделен надвое. Схематичное противопоставление белого героя и черного злодея отсутствует начисто. К тому же с необычной для того времени точностью рисуется городской и деревенский ландшафт, описывается работа, анализируется

многообразие городской жизни и вскрывается функция денег, которые извращают чувства, обеспечивают уважение и определяют жизненные пути. Вальт и Вульт, каждый на свой лад, нападают на косность и затхлость общества и, не признавая сословной иерархии, ставят ее тем самым вообще под сомнение. Всю книгу пронизывает дух демократизма и свободы. Жан-Поль считал этот роман своим лучшим произведением, «в котором он по-настоящему живет», — и был прав.

Человек, которому он это сказал, Фарнгаген, принадлежал к немногочисленным поклонникам «Озорных лет». Это по его инициативе был создан сразу вслед за ними один из курьезов немецкой литературы. Когда в 1806 году французы оккупировали Галле и закрыли университет, студенты Фарнгаген и Нойман коротали незанятое учебной время, сочиняя по образцу «двойного романа» о братьях-близнецах роман под названием «Карловы попытки и помехи», который анонимно появился в 1808 году, после того как к нему приложили руку также Фуке и Бернгарди. В романе наряду с Вильгельмом Мастером выступает и Жан-Поль, толстый человек, который много пьет и много говорит и сам составляет письмо о розыске самого себя как преступника, из страха, как бы он не сбежал от себя во время писания. Он сыплет каламбурами и «в речах своих неожиданно соединяет все на свете... как бы разобщенно оно ни было». В целом все это звучит не язвительно, скорее комично, как своего рода благодарность мастеру в форме пародии. «Откровенно сказать, то, что я сам там говорю, мне нравится чрезвычайно», — написал Жан-Поль об этой книге в 1811 году. Но рецензировать ее, как того хотели авторы, он не стал.

32

ДЕРЕВЦО СВОБОДЫ

По сравнению с тем, что совершил домартовский период в области цензуры, практика XVIII века кажется детской игрой, а XX век достиг в этом вопросе (прежде всего в фашистской Германии) такого совершенства, какое и в самых прекрасных снах не снилось цензорам XIX века. Будем надеяться, что и у грядущих столетий останется такое же впечатление о нашем, какое сохранилось у нас о цензуре минувших веков: какую бы докучливую помеху она ни являла собой для своего

времени, в конечном счете она всегда оказывалась безрезультатной. История цензуры в Германии — это история ее бессилия, она лишь подчеркивает силу написанного слова. Потомкам цензурный чиновник всегда кажется дураком, который пытается голыми руками сдержать поток, и свод запрещенных книг — это свод курьезов. То, что вызывает отчаяние у современников, у потомков вызывает смех.

Во все времена книги, представляющие опасность для властителей, запрещались и сжигались (иной раз вместе с их авторами). Но учредить цензуру официально пришлось лишь после изобретения книгопечатания. В христианской Европе первыми это сделали папы, чтобы спасти устаревшее представление о мире, спасти которое было уже невозможно. Это они придумали *Catalogus Librorum Prohibitorum*, каталог запрещенных книг, который, вероятно, ведется еще и поныне. Затем в течение столетий запретом книг ведал только клир: духовной пищей ведало духовенство. Так обстояло дело и в Священной Римской империи германской нации. Это изменилось, когда буржуазия заявила свои претензии на политическую власть и не только создала собственную идеологию, но стала год от года вводить в действие все больше печатных машин, которые быстро снабжали растущие массы читателей литературой. Лишь тогда государственные власти начали серьезно ограждать себя цензурой от истинной или мнимой литературной опасности. Сперва цензурные поручения выполнялись университетскими факультетами или отдельными учеными, которые получали за это вознаграждение. Но в конце XVIII века, когда издательское дело (а вместе с ним и книготорговля) совершило скачок в развитии, а Французская революция посеяла панику, власти поняли, сколь полезны цензурные центры, под коими подразумевались центры не рейха, а отдельных государств, в данном случае — к счастью для литературы. Ибо хотя все они стремились к одному и тому же, а именно к подавлению новых идей, делали они это различными методами и в разной мере, так что между множеством оградительных стенок, возводимых каждым земельным князем, существовало и множество лазеек; так было даже в самые скверные времена — в период после революции.

До тех пор в состязании цензоров на свирепость первенство держали католические страны, в особенности Австрия и Бавария. Лишь в девяностых годах временно в первый ряд выдвинулась Пруссия, но

после отмены религиозного эдикта она снова откатилась назад, так что Жан-Поль мог считать ее сравнительно дружелюбной по отношению к литературе. Когда он говорит о суровости цензуры, он чаще всего имеет в виду венскую цензуру, которая запретила даже «Геспера». Венские власти испытывали двойной страх: к существовавшему во всех государствах страху перед новыми общественными идеями прибавился (двести лет назад) и страх перед Реформацией.

В Австрии цензура епископов и иезуитов была уже в 1753 году заменена центральной государственной Комиссией книжной цензуры. В 1765 году появился первый каталог запрещенных книг, который вместе с дополнениями скоро стал незаменимым указателем для собирателей эротической литературы. Но по нему хорошо видно и другое — то новое, что создала эпоха Просвещения в Европе. Этот полезный, хотя и неудобный для пользования библиографический указатель (к 1780 году он разбух до тридцати восьми фолиантов) привел главным образом к тому, что торговля запрещенными книгами резко увеличилась. Потому его перестали печатать, знакомя с ним чиновников лишь в рукописном виде.

Такое, подобное бумерангу, действие запретов всегда доставляло много хлопот цензорам. В вышедшей в 1775 году брошюре под названием «Цензор» проблема сформулирована так: «Можно быть вполне уверенным: ни одна книга, ни одно сочинение не привлечет покупателя так, как те, о которых сообщается в газетах, что их запрещено продавать под угрозой значительного денежного штрафа, ибо читатели сразу же догадываются — в них написана правда, иначе бы их не стали конфисковать». Говорят, будто оборотистый издатель Эттингер в Готе призывал своих авторов написать что-нибудь запретное, а в Лейпциге рассказывали, что книготорговец нанял цензора для тайной рекламы: за шесть дукатов он должен был конфисковать лежалый товар. Поэтому Вюрцбургский цензорский эдикт 1792 года предписал: «Если будет сочтено, что произведение подлежит запрету, запрет не следует предавать гласности». Но и это не помогло, ибо в интересовавшихся литературой кругах превосходно действовала система устной информации. И посему вюртембергское правительство предложило в 1795 году: не налагать запрета на революционные брошюры, а скупать их по розничной цене; но финансовое управление на это не согласилось. Авторам австрийского

каталога запрещенных книг, стремившимся управлять мыслями, пришла в голову собственная грандиозная мысль: они включили в сей каталог самый каталог. И таким образом этот позорный символ подавления культуры оказался (как и в 1793 году в Баварии) в незаслуженно хорошем обществе. Ибо в нем были представлены не только все Просвещение Англии, Франции, Германии и все сочинения о Французской революции (включая контрреволюционные), но и Гомер, Вергилий, Овидий, Лютер, Эразм, Эйленшпигель, Гёте, Шиллер, Гердер, Виланд, Кампе, Музеус, «Всеобщая немецкая библиотека», «Берлинский ежемесячник» и все, что было написано на тему «любовь к родине»: понятия «любящий родину» или «патриот» считались в то время синонимами «революционера». Даже «Ксении» не пощадили от запрета, хотя одну из них, касавшуюся венской цензуры, Гёте не опубликовал:

Одно лишь мне будет досадно: если мои стихи
Не увенчает запретом цензура Вены.

Перевод Т. Бек

Другая проблема цензуры состояла в том, что вместе со знаниями, которые считали вредными, исключали полезные и необходимые государству: стены, правда, защищают, но они же лишают обзора. Единственное решение этой дилеммы всегда одно и то же: к уже имеющимся привилегиям прибавить новую — привилегию информации. То, что запрещено одному (в Баварии за одно лишь чтение запрещенных книг налагался штраф от двадцати пяти до ста рейхсталеров), разрешено другому. В Австрии просьба о выдаче запрещенной книги звучала в лучшем кайзерско-королевском официальном стиле примерно так: «Нижеподписавшийся обращается в кайзерско-королевское придворное полицейское ведомство с просьбой о выдаче запрещенной и задержанной книги... для своего единоличного пользования и дает под страхом судебной ответственности поручительство в том, что он ни в коем случае никому другому не предоставит указанную книгу ни для чтения, ни во владение».

И если в Пруссии времен Фридриха II хваленая свобода печати, по словам Лессинга, сводилась к тому, что можно было говорить сколько

угодно дерзостей по поводу религии, то и это — большое достижение по сравнению с другими немецкими государствами. Просвещение в области теологии и философии могло развиваться довольно спокойно, и понятно, что после смерти Фридриха, когда Фридрих Вильгельм II сразу начал с усиления цензуры, интеллигенция потребовала возврата к практике времен Фридриха II. Введенный в 1788 году закон, для маскировки названный «религиозным эдиктом», служил тому, чтобы запрещать все сколько-нибудь прогрессивное. Он действовал девять лет, год от году (главным образом в связи с событиями во Франции) ужесточался и, поскольку за ним стоял хорошо организованный прусский государственный аппарат, привел к губительным результатам. Протестовавший против него теолог Бардт поплатился двумя годами тюрьмы. Десять лет заключения в крепости грозили тому, кто издавал или распространял книги, не прошедшие цензуру.

Наряду с публицистами, писателями и читателями главными жертвами цензуры были книготорговцы и издатели (которые, словно в насмешку, обязаны были оплачивать цензурным чиновникам их работу). Из жалобы Николаи королю явствует, что из восьмидесяти одной типографии, работавшей в 1788 году в Берлине, через четыре года осталась лишь шестьдесят одна. Но на короля это не произвело впечатления. Когда страх велик, близорукая политика всегда берет верх над экономическими соображениями. Он «в высшей степени удивлен, — гласил ответ, — что процветание книготорговли стремятся основывать на продаже недозволенных книг... Зло следует пресекать, пусть даже погибнет книготорговля». В результате издатели стали покидать королевство. «Всеобщая немецкая библиотека» переехала в Киль, «Берлинский ежемесячник» — сперва в Йену, потом в Дессау, то есть за границу, где было немного больше свободы.

Когда Жан-Поль жил в Берлине, у него сложилось относительно благоприятное впечатление о прусском либерализме. Фридрих Вильгельм III, стремясь стереть дурные последствия деятельности своего бесславного отца, отменил эдикт и вообще поначалу казался человеком, благосклонно относящимся к духовным запросам. Например, он был чуть ли не единственным немецким государем, не позволившим запретить «Философский журнал» Фихте, который начал полемику об атеизме. Он даже предоставил Фихте политическое убежище в Берлине, сопроводив это перенятым у своего знаменитого

двоюродного деда жестом: «Если правда, что он враждует с богом, то пусть бог и разделяется с ним, меня это не касается».

Меньше всего цензура давала о себе знать в Саксонском княжестве (где приходилось считаться с важным источником доходов — городом книжных ярмарок Лейпцигом) и в саксонско-тюрингских мелких и карликовых государствах. Бежавшие издатели могли там беспрепятственно работать — иной раз благодаря любви князей к искусству, но чаще всего благодаря тому, что от них в хронически пустые государственные кассы поступали деньги.

Но и там, конечно, существовала цензура (как свидетельствует случай, заставивший Жан-Поля написать о ней книгу), даже если она, как в стране Карла Августа и Гёте, и не была утверждена законом. На этот беспорядок там обратили внимание в связи со спором по поводу увольнения Фихте из Йенского университета, и Гёте составил (за шесть лет до выхода книги Жан-Поля о цензуре) докладную записку, в которой показал себя очень здравомыслящим государственным деятелем, стремящимся сохранить прославленную духовную свободу Саксонии-Веймара в той мере, в какой это касалось книг. Ибо прессе он, как выяснилось в 1816 году, не очень симпатизировал: когда герцог первым из немецких государей ввел конституцию, в которой гарантировалась свобода прессы, и один отважный публицист действительно воспользовался ею, Гёте, вообще не терпевший газетчиков, выступил не за свободу прессы, а за «деспотизм по отношению к прессе», — деспотизм, который герцог (понуждаемый, правда, не Гёте, а более могущественными немецкими государями) затем и стал осуществлять.

Составляя проект закона о цензуре 1799 года, Гёте имел в виду нечто вроде «народной цензуры» склонного к реформам кайзера Иосифа II, которую когда-то ввели в Австрии и затем быстро отменили. Конфликт между авторами, пишет Гёте, требующими полной свободы, и государством, не могущим ее допустить, так же стар, как само книгопечатание, и он никогда не разрешится. Но осуществлять цензуру будет все труднее, поскольку в науках никогда нельзя решить, что верно, а что неправильно, что прогрессивно, а что устарело. Поэтому он предлагает, чтобы каждую рукопись перед печатью подписывали трое находящихся на государственной службе авторитетных ученых или людей искусства, которых издатель свободно выберет сам, и, таким

образом, это будет «дружеским актом» «скорее педагогического, нежели законодательного» характера. Обязателен лишь один принцип — не печатать ничего такого, что «противоречило бы существующим законам и порядкам». К ответственности эти добровольные цензоры не должны привлекаться. «Я хотел бы, — сказано в заключение докладной записки, положенной впоследствии под сукно, — чтобы мы, до сих пор пользовавшиеся репутацией самых больших либералов, могли и при необходимых ограничениях проявить эту либеральность».

И вот пятью годами позже издатель Пертес напечатал в княжестве Саксония-Веймар, в университетском, городе Йена, «Приготовительную школу эстетики». Жан-Поль, в вечной тревоге, что его гонораров не хватит для содержания семьи, предпослал книге посвящение, которое адресовано герцогу Эмилю Августу Гота-Альтенбургскому и должно побудить его назначить автору пенсию. Это посвящение особого рода, оно имеет форму запроса: не примет ли герцог сей дар? Молодой правитель Готы, свободомыслящий, любящий искусство, но, к сожалению, изощренного ума человек, уже давно, польщенный, дал согласие (принять посвящение, а не выплачивать пенсию — этого он никогда не сделает), но тут йенский цензор, профессор математики, сказал: нет. Владелец типографии запротестовал, Жан-Поль запротестовал и пригрозил, что опубликует в другом месте посвящение и письма герцога, содержащие согласие, вместе с сатирическими примечаниями о цензорах. Но цензурная коллегия, состоящая из профессоров университета, не дала разрешения на публикацию, цензоры ведь знают: им никогда не ставится на вид слишком большая жесткость — только мягкость.

Их заключения выглядят так: «Эта рукоп. — пасквиль, следовательно, цензура не может ее пропустить» (профессор логики и математики). «Вместо рукоп. я обнаружил в папке только два гротескных или озорных листка — ходатайства о посвящении. Если и остальное в таком духе, что эти два листка, то все в целом не может быть допущено. Мне кажется, автор не в своем уме» (историк). «Его Светлость наверняка не примет благосклонно такого посвящения. К тому же, если то, что в книге, следующей за посвящением, коснется — пусть в самой искусной форме — Его Светлости, это, всего вероятнее, будет содержать, помимо восхвалений, немало непристойного и

двусмысленного» (латинист). Только востоковед высказывается за разрешение, но он остается в меньшинстве.

В результате «Приготовительная школа эстетики» появилась без посвящения, но читатели «Газеты для эlegantного мира» 13.X.1804 узнали, что запрещенное посвящение вскоре появится в виде брошюры, дополненное размышлениями о проблеме цензуры, которую, правда, Жан-Поль проблемой не считает. Не обладая гётевской государственной мудростью, он попросту против всякой цензуры.

Поначалу он предполагал назвать свое первое политическое сочинение в честь деревьев свободы времен революции «Деревцом свободы». Но когда он через два месяца закончил это сочинение, оно было озаглавлено так: «Книжица свободы Жан-Поля, или Его запрещенное посвящение правящему герцогу Августу фон Саксен-Гота; его переписка с ним и трактат о свободе печати» — и появилось, после того как Пертес в Гамбурге из страха перед цензурой отклонил его, к осенней ярмарке 1805 года у Котты в Тюбингене без каких бы то ни было возражений тамошней цензуры.

Может быть, она позволила ввести себя в заблуждение дружеской перепиской с Его Светлостью, приведенной в начале книжечки. Предположить, будто она не поняла, что тут имел в виду автор, в данном случае невозможно. Неясность и цветистость надуманных образов здесь встречается только в письмах герцога, представляющих собой ненужный для книги балласт. (Даже сам Жан-Поль, набивший на этом руку, не совсем их понимал.) Сам по себе трактат, правда, частью остроумен, сатиричен, ироничен, но при этом совершенно ясен и однозначен: противник государственной опеки, он доказывает, что цензура глупа, преступна и к тому же бесполезна.

Уже в ранних работах, в «Гренландских процессах», он высмеивал цензуру, указывал на рекламную роль запретов и справедливо отмечал, что слабые, то есть незначительные книги легче всего проходят через рогатки цензуры. В «Палингенесиях» он считал опеку виновной в том, что у немцев колпаки свободы все еще лишь ночные колпаки. У него был уже большой опыт общения с лейпцигскими и берлинскими цензорами, он был вынужден вносить поправки в безобидного «Юбилейного сениора» заменять слова «святой дух» на «добрый дух»), обратил внимание читателей «Комического приложения к „Титану“» на кощунство цензуры, оставив без изменений заголовки запрещенной

сатиры «Надгробная речь над княжеским желудком», — теперь он все это собрал воедино, превратив в убедительный аргумент против духовного зажима авторов.

Начинает он с сатиры, рекомендуя австрийским государственным властям осуществить свободу чтения, увеличив число цензоров. Ибо последние пользуются полнейшей свободой (как свободны на невольничьих кораблях по крайней мере капитаны и в тюрьмах надзиратели), и стоит только довести их число до числа читателей, как все и будет урегулировано ко всеобщему удовлетворению. «Однако прежде чем нанимать столько цензоров, специалистам стоило бы взвесить, сколько времени обращается одна рукопись, как она изнашивается, насколько запаздывает, как трудно разбирать почерки и вообще читать написанное от руки, и не целесообразнее ли для цензоров, то есть для читателей, которые могут выполнять их обязанности — по подсчету Фесслера, в Германии триста тысяч читателей, — специально размножать рукописи, так чтобы по крайней мере на сто человек пришлась одна, то есть всего нужно было бы три тысячи экземпляров; в наше время благодаря печатному станку, за которым не угонится перо переписчика, это сделать нетрудно... Такие удобочитаемые печатные тексты могли бы тогда распространять книготорговцы в качестве младших чиновников цензурных коллегий, и государству это не стоило бы ни геллера, и даже вместо платы цензору за каждый лист читатели сами платили бы за каждый том».

Таково облачение. В основной же части с систематичностью, вообще-то Жан-Полю не свойственной, опровергаются один за другим все аргументы в защиту запрещения книг из различных областей знания. Лишь в двух случаях он признает — с оговорками — необходимость цензуры: против бульварной и порнографической литературы и в случае войны, причем о последней он замечает: «Так что запрещать книги можно только в такое время, которое само заслуживает запрета».

В остальном же он признает один принцип: книга принадлежит человечеству и вечности, и ни один цензор не вправе решать ее судьбу. Да и от чьего имени? От имени истины? Но это предполагало бы, что цензор владеет ею. Но тогда всякие поиски ее, то есть всякая наука, были бы бесполезны и достаточно было бы «просто заглянуть к цензору и получить у него все необходимые истины». Или же

провозглашающие запреты опасаются влияния истин на народ? «Бедный народ! Его всегда допускают в королевские замки, когда предстоят величайшие тяготы мира и войны, и изгоняют оттуда, когда распределяют величайшие блага, например свет знаний, искусство, наслаждение, даже просто третий день отдыха. А если спросить, сколько человек насчитывает народ, то перед этим множеством совершенно исчезает вся правящая и ученая клика... На основании какого права требует одно из сословий исключительного владения светом — этим воздухом духа, — если оно не собирается использовать такую несправедливость для того, чтобы, пребывая на свету, распоряжаться теми, кто остался в темноте. Может ли государство разрешать лишь единицам развиваться так, как подобает всему человечеству?..»

И если считать, что народ способен понять истины лишь превратно, то ведь такое может случиться и с правящими слоями, и цензоры должны бы запретить и князьям читать книги, потому что у тех гораздо больше возможностей натворить бед. Познание существует для всех, однако овладеть им может только независимый: древо познания растет лишь как древо свободы.

А кто боится переворота, пусть не книги запрещает, а меняет условия жизни. «Государствам принес гибель дух эпохи, а не дух книг, ибо сами книги были созданы и вскормлены духом эпохи. Разве автор не рождается прежде, чем его книга? Вертер застрелился, не прочитав до того ни единой строки о страданиях Вертера... И на чем вообще основана вера в то, что книги могут приносить такой большой вред? Я хотел бы, чтобы они на самом деле приносили его, быстро и ощутимо; тем легче было бы тогда хорошим книгам приносить добро».

А если в сочинениях критически рассматриваются формы правления, то властителям следовало бы радоваться возможности услышать правду о себе. Кому приносит пользу свобода хвалить властителя, если нет свободы хулить его? Меньше всего ему самому, ведь и он может ошибаться, как всякий другой, и неправильно поступать. «Неужели государство должно умереть, для того чтобы можно было его препарировать, — не лучше ли сообщениями о болезни предотвратить сообщения о результатах вскрытия?»

В конце книжицы Жан-Поль возвращается к сатире, которой он начал (отмена цензуры увеличением числа цензоров до числа всех

читателей), и предлагает себя в качестве цензора, причем цензора собственных произведений. Он и не подозревает, сколь серьезна эта шутка. Ибо то, что он называет «самоцензурой», и есть подлинная опасность для правды в литературе: возникнув под влиянием цензурного гнета и духовных манипуляций, этот процесс превращает социальное препятствие в психологическое, переносит внешние границы вовнутрь пишущего и тем самым, хотя и разгружает цензурного чиновника, отрывает литературу от действительности. Но для Жан-Поля в самом деле то, что сегодня читается как пророчество, было шуткой: «Эти обязанности он станет исполнять... играя, попутно с писанием собственных произведений, словно сидя одним сидалищем сразу в судебном кресле и в собственном рабочем кресле... Область, в которой работает сочинитель, как раз и есть его собственная, и он... издавелека выведывает — что труднее делать постороннему цензору — сокровеннейшие намерения и уловки автора... и может... цензурировать сам себя вплоть до запрещения». Завершается это первое из его прямых политических сочинений призывом к князьям «выпустить на свободу свободнорожденные мысли», — призывом, исполненным умеренного оптимизма, который не лишен основания. Ибо всего спустя год после победы Наполеона над Пруссией начинается период реформ и освободительных войн, которые могли бы стать и войнами за внутригерманскую свободу. Только когда князья предали народ, Жан-Поль начинает испытывать разочарование, которое не мешает ему, однако, продолжать борьбу против цензуры. В последнем фрагменте романа — в «Комете», опубликованной в 1820 году, — сатира направлена уже против карлсбадских постановлений, открывающих период жесточайшего угнетения литературы. Фридрих фон Генц, государственный секретарь Меттерниха, в письме к своему другу Адаму Мюллеру так формулирует идеал инициаторов этих постановлений: «В основу положены мои слова: во избежание злоупотребления прессой в течение стольких-то лет ничего не печатать. Точка. Эти слова, принятые как правило с крайне малыми исключениями, в короткий срок вернут нас к богу и истине».

Правда, этот идеал не был достигнут, но все же возникла казавшаяся прежде невозможной высшая форма духовного угнетения. И тем не менее остановить даже самые опасные новые идеи —

социалистические — оказалось невозможным. А они-то и были «духом времени, а не книг».

33

НЕМЕЦКИЕ СУМЕРКИ

Все сравнения хромают, в том числе и исторические. События истории никогда не могут служить примером для настоящего времени, потому что никакое событие не повторяется. Уроки можно извлечь не из прошедших событий, а только из их осмысления. С этой трудностью сталкиваются все, кто пытается начертить прямую линию развития традиций. Ради наглядности им нужно нечто конкретное, но в том виде, в каком оно существует, оно не подходит. И хромота тогда чаще всего устраняется ампутацией.

Та эпоха европейской истории, которую определял Наполеон, дает, особенно в Германии, наглядные примеры того, как, исходя из одних и тех же великих личностей и событий, можно, приняв за основу одну и ту же одностороннюю схему, протянуть линии традиций в самых разных направлениях. Демонстрируют сторону, которую считают светлой, укрывают на темной стороне воистину ошеломительные противоречия времени. Наиболее передовые державы Европы, Англия и Франция, находятся в ожесточеннейшей вражде, революционные армии служат угнетению, завоеватель выступает как носитель прогресса, буржуазные реформаторы борются под знаменами мракобесных феодальных сил, демократизм и шовинизм воплощаются в одном лице. Потомки воспользовались этим, хватаясь за то, что казалось им приемлемым. Гейне славит Наполеона и объясняет немецкую увлеченность свободой прусским духом верноподданничества; спортсмены-рабочие чествовали шовиниста Яна; кайзер Вильгельм II праздновал Лейпцигскую битву; фашистские вооруженные силы присваивали своим военным кораблям имена Шарнгорста и Гнейзенау; Геббельс при создании фольксштурма ссылался на Арндта, в честь которого социалистическое государство учреждает орден.

Разумеется, при этом нередко прибегают к искажениям и фальсификациям, но они были бы невозможны, если бы не

существовали действительные противоречия и антагонизмы, при которых вынуждены жить современники.

Многие восприняли вначале американскую, затем французскую революции как наступление новой эры. В перспективе виделась не только свобода от феодальных оков, но и мир: думалось, что войну друг с другом ведут деспоты, но не свободные народы. Борьба за власть среди парижских революционеров сразу отрезвила многих. Люди нравственные были возмущены или думали так же, как один из консерваторов, Фридрих фон Генц; когда ведущих революционеров опять арестовали как государственных изменников, он сказал: «Либо это правда, что главнейшие руководители страны были изменниками, либо это неправда. Если это правда, то что следует думать о республике, в которой такие подлецы были руководителями? Если это неправда, то что следует думать о государстве, которое смеет так обращаться со своими лучшими слугами?»

С надеждой или с ужасом, но вся Европа целых двадцать пять лет пристально смотрела на Париж, лучшие умы расходились в оценке тамошних событий. И если революция уже вызвала смятение умов, то еще большее смятение вызвал Наполеон после прихода к власти. Одному он казался убийцей революции, другому — ее завершителем. Восстановление монархии ввергло в отчаяние демократов и вселило надежду в реакционеров. Его восславляли как гения эпохи и предавали проклятью как ее дьявола.

Лишь немногие понимали, что он был и тем и другим. Он закрепил результаты победы революции — для крупной буржуазии, и он уничтожил их — для четвертого сословия. В завоеванные страны он принес дух нового времени — и он же разграбил их. Там, где проходили его армии, там устранялись привилегии, евреи получали права, входил в действие гражданский кодекс, разрушались средневековые границы, но все это служило главным образом тому, чтобы укрепить свою власть, раздобыть деньги и солдат. На пустующие троны он посадил сговорчивых людей, частью принадлежащих к его роду. Вождь революционной армии окружил себя придворной роскошью, создал новую аристократию, считал себя наследником Карла Великого, женился на представительнице габсбургского рода, чтобы основать династию, признаваемую монархами. От великого до смешного здесь действительно только один шаг, который и был сделан

уже в тронной речи второго консула, заканчивавшейся словами: «И во славу и для счастья Республики сенат провозглашает Наполеона императором французов».

С тех пор как оборонные бои французской республики против интервенции феодальных князей незаметно превратились в завоевательные войны французской буржуазии, почти не прекращались военные действия и различные мирные договоры были лишь краткосрочными соглашениями о перемирии. Но битвы происходили далеко (по тогдашним масштабам) — на Рейне, в Египте, Италии, Австрии. Гражданскую жизнь внутри страны они задевали мало, особенно в северной и средней Германии, где в 1795 году благодаря Базельскому сепаратному миру между Пруссией и Францией был установлен нейтралитет. Немецкая классическая литература в течение своего важнейшего десятилетия процветала на мирном острове, вокруг которого бушевали военные бури. В то время как Англия и Франция спорили за мировое господство, а континентальные крупные державы были разбиты Наполеоном, немецкая империя существовала лишь формально, однако при этом политическом бессилии немецкая культура процветала, не завися, по мнению Шиллера, от судьбы нации. То, над чем Гейне потом издевался («Зато в воздушном царстве грез мы с кем угодно поспорим!» — *Пер. В. Левика*), Шиллер принимал всерьез:

Заклучись в святом уединенье,
В мире сердца, чуждом суеты!
Красота цветет лишь в песнопенье,
А свобода — в области мечты.

Перевод В. Курочкина

Когда война достигла и мирного острова Веймар, Шиллера уже не было в живых. Проигранная битва у Йены потрясла Гёте гораздо больше, чем это представляет Кнебель в письме к Жан-Полю: «Как Вы себя чувствуете? Что Вы делаете в эти дни, когда свирепствует политическая чума? Мы здоровы и, благодарение богу, не ограблены, не считая того, что потеряли в результате общих бед. Мы видели могущественного императора в центре огня. Гёте прислал мне в утешение несколько бутылок капского вина... Сам он все это время был

занят своей оптикой. Под его руководством мы изучаем остеологию (науку о костях), время для этого самое подходящее, поскольку все поля усеяны наглядными пособиями. Живем уединенно, но не мрачно, не несчастливо, скорее весело».

Чего нельзя сказать о Жан-Поле. Он живет в самом крайнем юго-западном уголке нейтрального острова (Бавария и Саксония — союзники Наполеона), в стратегически важной области и, когда напряжение между Францией и Пруссией усиливается, испытывает страх за семью.

С декабря 1805 до августа 1806 года в его письмах все время возникают мысли о бегстве. Он неоднократно обращается с просьбами — к герцогу в Готе, к Якоби в Мюнхене, к шурина Мальману в Лейпциге — подыскать для него на всякий случай пристанище.

В результате неуверенного и неумелого лавирования прусских политиков между воюющими державами положение меняется от месяца к месяцу. За полтора месяца договор с Россией и Австрией превращается в договор с Наполеоном, который тем временем победил русских и австрийцев под Аустерлицем. Когда французские войска, нарушив соглашение о нейтралитете, совершали марш через Ансбах-Байройт, Пруссия провела мобилизацию, однако, получив в подарок от Наполеона принадлежавший Англии Ганновер, уступила за это Ансбах Баварии. Но когда Наполеон снова предложил англичанам уже оккупированный Пруссией Ганновер и Фридрих Вильгельм III решился на войну, все произошло с такой быстротой, что думать о переселении рихтеровского семейства в Баварию или Саксонию уже не приходилось. 14 октября 1806 года прусская армия была разбита под Йеной и Ауэрштедтом. Две недели спустя Наполеон вступил в Берлин, о чем «Фоссише цайтунг» сообщила так: «Берлин, 28 октября. Вчера пополудни, в 4 часа, Е. Величество Император Наполеон в сопровождении гвардии вступили в резиденцию Берлин. Гром пушек и звон колоколов оповестили о прибытии. Неисчислимое множество народа встретило Е. Импер. Величество живейшими изъявлениями радости. Е. Превосходительство господин генерал Хюлин, комендант сей столицы, представил Е. Величеству Императору членов магистрата, высшее дворянство и благороднейших жителей города, собравшихся для этой цели у Бранденбургских ворот, через которые Е. Импер. и Королев. Величество совершали свое вступление. Е. Величество

Император и Король направились в королевский замок, где вскоре после этого Высочайшему вновь была представлена Е. Превосходительством господином генералом Хюлином упомянутая депутация. Вечером весь город был великолепнейшим образом иллюминирован».

Оккупация бывшего княжества Байройт совершается менее пышно. Прусское владычество здесь почило без песнопений и колокольного звона. Возведенная — в благодарность за верную военную службу — в ранг королевства, Бавария получает в 1810 году эту земельку в подарок от Наполеона (вследствие чего важнейшие памятные места, связанные с Жан-Полем, не принадлежат теперь ГДР).

Почта в это беспокойное время функционирует почти безукоризненно, даже через линии фронта. Кристиан Отто, который стал секретарем у прусского принца Вильгельма и бежал вместе с ним в Кёнигсберг и Тильзит, пишет и по-прежнему получает из Байройта письма. Об исторических событиях из писем Жан-Поля можно узнать не много. Об оккупации он всем друзьям, знакомым и родственникам сообщает одной и той же, лишь слегка варьируемой метафорой: «Над нашей байройтской землей грозная военная туча прошла как мимолетное дождевое облако, без града и молний». «Над Байройтом тяжелая грозовая туча со всеми ее громами прошла лишь как легкое облачко». «Над нашим княжеством военная туча прошла на большой высоте, и мы слышали лишь отдаленный грохот грозы». «Как легкое грозовое облако, полное вечернего солнца, прошла над страной громовая туча войны и разразилась грозой где-то далеко от нас». «Мы лишь изредка видели, как мимо нас катилась смерть на триумфальной (пороховой) колеснице, и слышали только, что где-то вдалеке она зажигала свои грозные облака». «Над нами в солнечном сиянии прошла военная туча и разразилась грозой лишь на расстоянии десяти часов от нас».

Мало коснулись Жан-Поля и тяготы оккупации. Остроумное письмо маршалу Бернадотту (впоследствии королю Швеции) с просьбой пощадить и избавить от расквартирования, видимо, имело успех, а финансовым властям, которые взыскивали военную контрибуцию, он сумел убедительно объяснить, что он не «платежеспособный капиталист», а едва сводит концы с концами и потому не в состоянии платить военные долги.

Это не ложь. Знаменитому и исключительно плодовитому писателю действительно едва удастся прокормить выросшую тем временем до пяти ртов семью, хотя он много печатается и гонорары его значительно повысились. Ему не хватает повторных изданий. Тридцать три произведения он опубликовал при жизни в виде книг, двадцать четыре из них (то есть более двух третей) больше не издавались, среди них такие объемистые, как «Титан» и «Озорные лета». Восемь книг удостоились второго издания, и только одна, «Геспер», третьего, причем надо иметь в виду, что тиражи были маленькими: от семисот пятидесяти до четырех тысяч экземпляров, которые потом, при выходе полного собрания сочинений, подготовленного Реймаром (после смерти Жан-Поля), частью остались лежать у издателей и были скуплены его вдовой. Легенда, будто Жан-Поль был самым читаемым писателем своего времени, к сожалению, не соответствует действительности. Шиллер со своим «Духовидцем», Гиппель с книгой «О браке» и Вульпиус с романом о разбойниках «Ринальдо Ринальдини» намного превосходили его в этом отношении. За короткое время они вышли пятью изданиями, а «Обхождение с людьми» Книгге было издано даже шесть раз. Кроме того, эти книги читались и в платных библиотеках, что вряд ли было с книгами Жан-Поля. Его читал тонкий в те времена слой образованной и, значит, большей частью состоятельной публики. Ибо книги были дороги. (Он сам так и не смог собрать значительную собственную библиотеку.) Его книги стоили от трех до семи талеров, то есть от девяти до двадцати одной марки, — эту сумму для сравнения надо умножить на пять или даже на десять, чтобы приблизительно вычислить их нынешнюю стоимость. Но о том, что жан-полевские книги не приносили хорошей прибыли, лучше всяких цифр свидетельствует отсутствие интереса к ним со стороны разбойничающих печатников, которые в те времена, когда в издательском деле господствовали дикие нравы и никакие законы не защищали авторские и издательские права, стремились подзаработать на каждом бестселлере незаконной допечаткой. По отношению к Жан-Полю они проявляли странную сдержанность: из его крупных произведений только «Зибенкез» и «Приготовительная школа эстетики» удостоились подобного подтверждения успеха. Большие неприятности, чем незаконная перепечатка, доставляли ему усердные составители антологий, которые без его ведома и без вознаграждения срезали в его

словесных джунглях только цветы и получали от этих букетиков больше прибыли, чем он от своих книг, изданных в полном виде. Шесть антологий такого рода появилось до 1825 года, некоторые из них несколькими изданиями; а после его смерти семитомное собрание избранных произведений конкурировало с полным собранием его сочинений.

Он же сам продолжает хлопотать о пенсии, ибо знает: столько писать, как в эти годы, он скоро не сможет. В 1804 году он напоминает королю Пруссии о его полуобещании; в 1805 году, когда Фридрих Вильгельм и Луиза посещают Вунзидель и его представляют им, он возобновляет просьбу, но его опять лишь обнадеживают. После Йены и Ауэрштедта у него с Пруссией не осталось ничего общего. Новой резиденцией является Мюнхен, где есть академия, и через друзей он зондирует почву, не желают ли принять его в академию. Нет, не желают. Но он не сдаётся, ибо времена для издателей и писателей плохие: военные времена. Сбыт застопорился, издатели боятся экспериментов. Как в начальные трудные годы, он вынужден посылать рукописи издательству за издательством, там медлят, обнадеживают, отказывают, пока наконец в нем не принимает участие Котта. Жан-Поль разменивается на писание десятков журнальных статей и рецензий. Во многих записках к другу Эмануэлю часто идет речь о деньгах — о деньгах одолженных.

В 1808 году он пишет одному владетельному князю, который влиятелен не менее, чем прусский король, но у которого он может рассчитывать на большее понимание. Князь этот — любитель наук и искусства, друг Виланда, Шиллера, Гёте, представитель церковного Просвещения, автор тридцати пяти произведений о государстве, истории, изобразительном искусстве, эстетике, этике, естественных науках, но к тому же — причем в первую очередь — государственный деятель, так сказать, философ на троне. Он высокопоставленное духовное лицо, имеет резиденции в разных княжествах, где у власти стоит духовенство, оказывает поддержку веймарским поэтам; он добился для Георга Форстера места библиотекаря в Майнце, где при дворе могли собираться будущие руководители революционного клуба; в 1810 году он освободил во Франкфурте евреев, в результате чего Людвиг Бёрне сможет получить в государственном аппарате место (которого он в 1813 году лишится, потому что с освобождением от

французского чужеземного господства евреи снова потеряют гражданские права), — ничего худого о князе сказать нельзя, кроме одного: он, во всяком случае в глазах прусских борцов за свободу, государственный изменник.

Ибо Карл Теодор рейхсфрайгерр фон унд цу Дальберг — таково его имя, — близкий друг Наполеона, думает о будущем Германии примерно так, как Гёте и Жан-Поль, и возведен французским императором в ранг князя — Primas (своего рода президента) Рейнского союза, к которому с 1808 года принадлежат все немецкие государства, кроме Пруссии и Австрии. Таким образом, официально он наивысшее должностное лицо. Союза государств, где Жан-Поль не без удовольствия живет, — хотя настоящей властью князь пользуется только во Франкфурте. И вот этот-то человек быстро отвечает Жан-Полю, делает его почетным членом созданного им во Франкфурте ученого общества «Музеум» и назначает ежегодную ренту в тысячу гульденов, которую выплачивает из своих средств.

Но это происходит в 1809 году, когда жан-полевское политическое сочинение «Проповедь мира Германии» уже появилось (да будет это сказано, чтобы не дать повода для неправомерного упрека в продажности). Друзья отечества в Берлине разгневаны, как выбалтывает Фарнгаген, когда сообщает о посещении Байройта, во время которого он, к своему удивлению, нашел Жан-Поля «немецким до мозга костей». Это вовсе не столь удивительно: в «Проповеди мира» достаточно четко выражено национальное сознание. Но прусским патриотам не хватает в ней антифранцузского элемента, не хватает национализма, которым они все в большей или меньшей степени заражены. Когда, например, Фихте в «Речах к немецкой нации» пытается доказать ей ее мнимое превосходство над всеми другими нациями мира, ссылаясь на древность ее языка, Жан-Поль в рецензии на «Речи» называет это «догматическим фанатизмом» и говорит, что все эти разглагольствования о языке и в особенности о превосходстве — чистейший вздор. «Для земли было бы так же плохо, будь она заселена одними немцами, как если бы их вовсе не было, и ни один народ не заменяет другого». Он говорит это спокойно (даже с большим уважением к национальному духу Фихте и его мужеству), гораздо спокойнее, чем мы сегодня воспринимаем проявления этих шовинистических преувеличений. Ибо в них, в том числе и в Фихте, но

еще больше в Арндте и прежде всего в Яне, — один из духовных корней немецкого фашизма. (Фраза: «С давних пор зародыш великого и доброго был заложен в германском народе, как в некоторых народностях заложен зародыш низменного и дурного» — принадлежит не Адольфу Гитлеру, а Эрнсту Морицу Арндту.)

Жан-Поль не собирается оплакивать ни поражение Пруссии, ни крушение империи. Всю свою писательскую жизнь он боролся против положения дел в этой империи, как же ему сейчас скорбеть? «Прошлое мы потеряли раньше, чем проиграли наши сражения, — говорится в „Проповеди мира“, — а новое — это скорее противоядие, чем яд». Пруссия и Австрия, никогда полностью не принадлежавшие к имперскому союзу, все больше отдалялись от него. Действуя с двух сторон, они раздавили разобщенную Германию. Теперь она может заново возродиться «под защитой Наполеона и длительного мира в виде союза княжеств», освобожденного от пагубнейшего расчленения на мелкие государства. Таким образом, «новое» — это Рейнский союз, и наименование это вовсе не ошибочно. Ибо под французским давлением здесь вводится то, что с таким трудом дается в Пруссии, но заполняет книги Истории священными именами: гражданские реформы — политическая цель романов Жан-Поля.

Ко времени появления «Проповеди мира», с ее призывом к дружбе с Францией, с ее надеждой на будущее Германии в составе Рейнского союза, почти все государства Рейнского союза получили конституцию, в них было отменено крепостное право, уничтожены привилегии дворян, введена свобода промыслов и провозглашено равенство всех граждан перед законом: завоеватель принес в Германию плоды революции. Это вселяет в Жан-Поля, который всегда сильнее связывал себя с социальными, чем с национальными планами, надежды, заставляющие его на время забыть о недоверии к Наполеону. Жан-Поль провозгласил намерение вселить «Проповедью мира» в немцев мужество, и это заставляет его не замечать или замалчивать, что Наполеон навязывает немцам общественный прогресс не из любви к прогрессу, а ради усиления своего военного и экономического потенциала. Оптимизм Жан-Поля пропал сразу, как только обнаружилось, что реформы служат подготовке войны и их преимущества для граждан стран Союза сводятся на нет тяготами войны. Героическая смерть в наполеоновско-немецких войсках

десятков тысяч саксонцев, баварцев, вюртембергцев в России или под Лейпцигом — слишком дорогая цена для этой реформы.

Намекая на то, что опущено, вторая фраза предисловия к «Проповеди мира» гласит: «Однако тот, кто верит во все, что он говорит, потому и не говорит всего, во что он верит». Но это вряд ли относится к Наполеону. Все, что в наследии Жан-Поля сказано злого о нем и что вычеркнула бы цензура (с ней, очень активной и во времена Рейнского союза, Жан-Поль постоянно боролся), относится ко времени, когда император походом на Россию показал всему миру свою страсть к завоеваниям. О многом Жан-Поль умалчивает из уважения к другой, стороне — к патриотам Пруссии, чувства — но не мысли — которых он во многом разделял. Он скрывал мысли гражданина мира, человека эпохи Просвещения, каким он все еще был.

Подобные мысли определили всю «Проповедь мира», но все же он избегает в ней таких несвоевременных уточнений своих взглядов, как следующее: «Если в человеколюбии есть смысл, то его нет в патриотизме, разве что он проявляется по отношению к врагам, ко всему, что угрожает людям, независимо от того, кто эти люди — мы или американцы. Отсюда возникает вечное противоречие между моралью и политикой (вечный мир означал бы установление на земле всемирного государства); наш разум ясно свидетельствует об этом. Иначе — чем больше патриотизма, тем больше несправедливости». Или: «Кто же должен победить? Германия? Франция? Европа? Победить должно человечество, на это работает все». Или: «Несущественно, какой народ будет господствовать, был бы он лишь образованным. Пусть слово „я“ среди народов значит так же мало, как среди индивидуумов».

В «Проповеди мира» это не сказано так четко, но написана она с этой невысказанной позиции. Еще одна фраза из заготовок не напечатана, но она очень характерна для настроения Жан-Поля, настроения интеллектуала, испытывавшего поношения, отвергающего всякий фанатизм, потому что фанатизм ослабляет способность к суждению. («Он не хочет быть ослепленным любовью, — пишет Жан-Поль в рецензии на Фихте. — Зрячий видит свет и тень».) Фраза эта гласит: «Я не столь односторонен или надменен, чтобы всеми помыслами встать на сторону одной партии».

Жан-Поль, таким образом, не присоединяется к национализму, который стал во времена наполеоновского господства, согласно закону о действии и противодействии, ведущей идеологией, особенно в Пруссии; это вызывает ярость Арндта («гигантской глотки», как его назвал Жан-Поль в «Фибеле»). В книге «Письма к друзьям» (1810) Арндт мечет громы и молнии: «Первый среди тех, кто стремится преступно размягчить людей, вырезать из них нерв, управляющий их силой, анатомирует сокровенную святыню сердца, кто принадлежит к равнодушным гробокопателям, — это Жан-Поль Рихтер, который губит своей чрезмерностью все прекрасное, завлекая чувства и устремления человеческой души за пределы умеренности и спокойствия; его делает опасным горячая кровь и высокий дух, сверкание божественных молний; он к тому же опасный соблазнитель и отравитель, из-за которого тот, кто следует за ним, лишится собственного образа и подобия, потеряет свое мужество».

Жан-Поль не мог ставить собственную нацию над другими, так же как Гёте, который в 1830 году на вопрос Эккермана, почему он не писал тогда патриотических песен, ответил: «Как мог бы я писать песни ненависти, не испытывая ненависти! А французов я, между нами говоря, не ненавидел, хотя и благодарил бога, когда мы избавились от них. И как мог бы я, для кого только культура и варварство имеют значение, ненавидеть нацию, которая принадлежит к самым культурным нациям земли и которой я обязан столь большой частью собственного образования! Национальная ненависть — это вообще дело особое. Всего сильнее и яростнее она на нижних ступенях культуры. Но есть ступень, где она полностью исчезает, и где в известной степени оказываешься над нациями, и где счастье или боль соседнего народа воспринимаешь так, словно речь идет о собственном народе. Эта ступень культуры соответствует моей натуре, и я долго укреплялся на ней, прежде чем достиг шестидесятилетия».

Примерно то же мог бы сказать о себе и Жан-Поль, который решительно вступает за благо немцев, но который равнодушен к новому учению о национальной государственности. Человечность и культура для него более высокие ценности. А война — их главный враг.

Против нее и выступил очень определенно Жан-Поль. В следующем политическом произведении, в «Сумерках и рассвете для Германии» (1809), самая важная глава посвящена только борьбе с нею. «Объявление войны войне» — так называется эта глава.

Уже в «Леване», в главе о воспитании князей, он призывал к миру и раскрывал свою общую, связанную не с нацией, а с человечеством, исходную позицию, назвав «всякую земную войну войной гражданской». Теперь он действует более систематично и точно. Он знает, что проповедями мира мира не установить, но все равно их произносит, ведь и трубадуры войны не молчат.

Как не молчит, например, Арндт, который в год выхода «Проповедей мира» произносит свою «Речь о мире», где стремится убедить немцев («пуп» и «сердце») Европы), что войны необходимы, «потому что иначе мы погрузимся в ничтожность, изнеженность и лень». Он напоминает о великих временах германцев, этих «благородных варваров», чьи военные достоинства, к сожалению, утрачены не без вины классической литературы: «Мы дали себя убаюкать и обмануть лжеучениями о чувствительном гуманизме и филантропическом космополитизме (так возвышенными иностранными словами называют это убожество), будто военной доблести мало, будто храбрость слишком отважна, будто мужественность тупа и стойкость тягостна; полулень и бабские добродетели выставляются нами как высочайшие жизненные образцы — потому мы и ищем тщетно те прежние достоинства».

Жан-Поль яростно оспаривает утверждение, будто войны и их герои необходимы человечеству. Опасность изнеженности можно предотвратить и совместной полезной работой, а гражданское мужество значит для него больше, чем военная смелость, несущая смерть. Ученого он ставит выше военачальника, а расходы на вооружение считает бесполезно растраченными деньгами: «Если бы крупное государство использовало хотя бы половину своего военного топлива на созидательное топливо мира; если бы оно тратило хотя бы вдвое меньше средств на то, чтобы воспитать людей вместо нелюдей, и вдвое меньше, чтобы распутываться, а не запутываться, — насколько сильнее и лучше были бы сейчас народы».

Не всегда аргументы, которые он приводит для пропаганды мира (в особенности аргументы исторические), достаточно вески; часто он

слишком полагается на доказательность, метафор, но прочная моральная позиция, которая чувствуется всюду, все-таки убеждает. В плане истории духовного развития он исповедует мораль Просвещения, в плане социологическом — мораль маленького человека, которого силой вербуют в армию, заставляют выносить и содержать ее и для которого любая война — на чьей бы стороне он ни был — проигрыш. Ибо войны ведутся «только против масс, а не за них», но именно массам приходится «вести и терпеть их», а князья не имеют права проливать кровь своих народов во имя своих интересов. «Несчастье мира донныне заключалось в том, что двое начинали войны, а миллионы вели ее и терпели ее тяготы, хотя было бы лучше, если и не хорошо, чтобы миллионы решали, а сражались двое».

Возможность вечного мира он видит (вместе с Кантом) лишь в создании всеобщего государства — но не под руководством Наполеона, ибо если вопрос о войне и мире будет решаться демократическим голосованием, то государственное устройство, разумеется, может быть только республиканским. Только тогда прекратится «отвратительный спор между моралью и политикой, между любовью к людям и любовью к стране». Жан-Поль надеется, что вынужденная гонка вооружений приведет к этому. «Государственные аппараты изнемогут под тяжестью оружия и коллективно сложат тяжелое вооружение». Если же этого не случится, он предвидит тот порог смерти, перед которым окажется человечество в наши дни: «Изобретатель Анри в Париже сконструировал... ружья, которые после заряжения делают четырнадцать выстрелов подряд; сколько времени при этом экономится для убийства и отнимается у жизни! И кто поручится, что при беспредельном развитии химии и физики не будет в конце концов изобретена смертоносная машина, которая, подобно мине, одним выстрелом начнет и закончит битвы, так что враг сделает лишь второй выстрел и, таким образом, к вечеру поход будет завершен?»

В то время романтически настроенным патриотам, в песнях которых звучала жажда французской крови, такая человеколюбивая позиция казалась не только вредной, но и старомодной. Некоторые из них, например Арндт, считали, что рационализм XVIII века виноват во всем, в том числе и в самом страшном: во Французской революции, этом аде, породившем дьявола Наполеона. Нам же, видевшим кровавые уроки национализма в буржуазную эпоху Европы, эта точка зрения

снова представляется современной, образцом мышления, не желающего, чтобы посредством манипуляций его лишили моральных принципов. В эпоху, требовавшую слепого фанатизма, Жан-Поль проповедовал разум. Он пытается варварские чувства мести направить на путь благоразумия. Среди всех этих воплей ненависти он говорит нормальным голосом; нельзя сказать, что его не расслышали, его просто скоро забыли. Гейне и особенно Бёрне еще чтит память политического писателя Жан-Поля, но последующие поколения больше не желали слышать о нем. То, что буржуазные идеологи, которые подогревали национализм на огне унаследованной им вражды к Франции, не могли найти у него ничего полезного для себя, — понятно. Но то, что им не занялся марксизм, исходящий из интернационализма и гуманизма, в XIX веке можно извинить лишь тем, что хватало дел, чтобы очистить от фальсификаций великие личности, признанные буржуазией, в XX же веке извинить это ничем нельзя.

«Объявление войны» написано и опубликовано в 1809 году; к кому оно обращено — не сказано, но это ясно: к обеим сторонам. Люди, которые хвалят все, что закаляет, то есть войну («Высочайшее благо, конечное благо, заключено в мече», Кёрнер, 1813), и которые хотят истребить «французских паразитов» (Арндт, 1808) («Запрудите Рейн их трупами», Клейст, 1809), — эти люди живут главным образом в Пруссии. У них один аргумент: аргумент о «справедливой войне», которым Арндт, применяя это понятие, облегчает себе дело: в написанном в 1813 году «Катехизисе для немецких солдат и воинов, наставляющем, каким должен быть христианский воин и как ему во имя бога идти на битву» (в 1942 году «Катехизис» был вновь опубликован и распространялся полевой почтой) Арндт утверждал, что немцы обязаны воевать против французов не только потому, что так угодно богу, и «не только потому, что они хотят стать хозяевами вашей страны и ваших тел и душ, а потому, что они алчны, похотливы, хищны и жестоки, потому, что они идут в бой не за право и свободу, а за добычу и прибыль». Жан-Поль не обходит этой сложнейшей проблемы, которая возникает перед всяким противником войны. Он признает, что бывают справедливые войны, то есть войны оборонительные и освободительные, но не согласен считать, что народ свободен, когда его держат в кабале собственные, а не иностранные властелины. Поэтому примером справедливой войны он считал бы, если бы «свободная

Швейцария (которую Арндт хотел бы насильственно присоединить, как и Нидерланды, к своей Великой Германии) или татары напали на цивилизованную Европу», и сразу же (вопреки всем патриотическим упрощениям) говорит о возможном, хотя и труднодоказуемом, злоупотреблении понятием: нападение — лучшая защита.

К другой стороне — к Наполеону — обращено его предупреждение завоевателям: их «почти божественными правами» (Шеллинг) могут воспользоваться грабители с большой дороги, «их владения, порожденные и соединенные потоками крови», скоро распадаются на составные части. Он противопоставлял великим Александру и Карлу (под чьими именами в ту пору часто подразумевался Наполеон), которые приносили в жертву своим идеям страны и народы, Сократа, заплатившего за свою идею лишь собственной жизнью, «ибо распоряжаться чужой я не смею».

Эти точные слова поняты теми, кому они адресованы. Жан-Поль последователен в своем отвращении к захватчикам чужих стран. Когда ему (далеко не сразу) становится ясно, что и император один из них (после его вторжения в Россию в 1812 году), его многолетнее колебание между признанием и недоверием сменяется явной враждебностью. Так сбылось то, о чем он писал Якоби еще в 1806 году: «Ради человечества я охотно пожертвую всем германством; но когда окажется, что у них один и тот же враг, я отвращу свой взор от него».

То, как он это сделал, не вызывает антипатии. Он не подхватывает песен, проникнутых ненавистью, он не швыряет в поверженного яростными сатирами. Сочинение «Феб сменяет Марса на троне», написанное после поражения Наполеона и опубликованное в 1814 году, названо в подзаголовке «шутливой листовкой», и оно соответствует такому названию. Здесь одинаково прославляются «бравый ополченец» Фихте и сторонник Наполеона Иоганнес фон Мюллер (оба к этому времени уже скончались) — этот трактат так же исполнен надежды, как оба первых, только теперь Жан-Поль возлагает эти надежды не на Рейнский союз, созданный Наполеоном, а на новый союз князей — на Священный союз.

Многое можно зачесть в пользу Жан-Поля за то, что он всегда внушал немцам надежду на мир и духовную свободу. Жаль, что она всегда была тщетной.

Когда в 1813 году волна национального восторга затопила всю Германию, она захватила и Жан-Поля. Сохраняя дистанцию по отношению к прусской военной партии, он все же выступил на ее стороне. Но это нельзя расценить просто как попытку приспособиться к новому соотношению сил.

Не при поражении Наполеона, а уже при вступлении его в Россию Жан-Поль отвратил «от него свой взор». Когда мнимый миротворец обернулся грабителем, борьба против него становится той освободительной борьбой, которую противник войны Жан-Поль признает справедливой. Статью, о которой здесь пойдет речь, он написал до того, как исход войны был решен. И Пруссия, ведущая войну, — это уже не старая Пруссия, а реформированная (хотя и покорившаяся наполеоновскому принуждению, но лишь наполовину). Сам Жан-Поль никогда не считал свою позицию оппортунистической: журнальные статьи, написанные во времена Наполеона, он после его падения издал без изменений, снабдив их лишь легкими извинениями в примечаниях. Правда, он не постеснялся после победы обращаться ко всем победителям с просьбой о пенсии, которую свергнутый Primas Рейнского союза больше не в состоянии выплачивать.

Упомянутая статья — мелочь, заслуживающая внимания историков литературы только как лишнее доказательство, что ни один автор не может достичь своей цели, если он вынужден при этом совершать насилие над собой. Но когда Жан-Поля неумеренно славят как противника войны, об этом досадном факте нельзя умолчать. Ибо Жан-Поль воспекает в этой статье героическую смерть. Проповеднику мира такая статья подходит мало или, точнее, подходит лишь отчасти: «Красота смерти в расцвете жизни и сон о поле боя». Характерно, что Жан-Поль включил ее не в собрание политических статей («Политические проповеди на великий пост в страстную неделю Германии», 1816), а в третий том всякой всячины «Осенняя Блюмина», появившийся лишь в 1820 году. Здесь тоже нет речи о ненависти к французам или мести. Враг вообще не упоминается. (Таким образом, сочинение это может иметь интернациональное применение.) Как небо от земли, оно далеко от патриотического садизма Клейста или бодро-

веселой бесчеловечной словесности лютцовцев (добровольческого корпуса интеллигенции в черных мундирах с черепами — тоже традиция!). Чтобы отчетливо показать это, процитируем здесь все еще восславляемого, но, к счастью, мало читаемого Теодора Кёрнера, причем стихотворение, написанное в те же дни, что и статья Рихтера.

ПЕСНЬ ОБ ОТМЩЕНИИ

Вперед, вперед! — на грохот барабана!
Вперед! На грома весть!
К немецким кулачищам неустанно
Взывает злая месть!

Вперед, вперед, в остервенелый танец!
На саламандру — в бой!
Рази ее, коли ее, повстанец,
Яд и кинжал с тобой!

Народные права? Мы их не знаем.
Мы как в аду живем
Права осквернены собачьим лаем,
Предательством и злом!

Убийцы мерзкие, за око — око!
Нам клятву не забыть
И, помня братьев преданных жестоко,
Кровь, как водицу, пить!

А ежели враги, визжа и бредя,
К пощаде призовут, —
Не поддавайся чувству милосердия,
Верши суровый суд!

Немецкой кровью станет враг постылый
Бахвалиться — вранье!
Они не сыновья отчизны милой,

А дьяволы ее.

О, счастье — саламандру-негодяя
Своей рукой рассечь,
Чтобы мозги, из раны вытекая,
Марали темный меч!

О, радость, от победы молодецкой,
Когда враги во мгле
Скулят, — копытом конским на немецкой
Раздавлены земле!

Нам в помощь Бог! Гори угрозой аду
Звезды взошедшей свет!
За трупом труп — мы возведем громаду,
Которой выше нет.

Потом сожжем их! — и, напрягши силы,
Развеем над землей,
Чтобы не лег в немецкие могилы
Прах падали чужой!

Перевод Т. Бек

Здесь дало себе волю упоение ненавистью и мстью, особенно в Пруссии, которую Наполеон в наибольшей степени унизил и разграбил. Возможно, эти плохие стихи понадобились, чтобы подстегнуть прусских солдат; но потом их следовало сразу забыть. Однако этого не произошло. В результате дальнейшего развития Германии традицией стало не упоение свободой, которое воодушевило бы народ, а дурной вкус, жестокость и опасное соединение пруссачества и национализма — соединение, уже тогда отдававшее привкусом расизма.

Жан-Поль, который, как и многие другие, временно тоже поддался иллюзии, будто за свободу народа и национальное единство можно бороться под русскими, австрийскими и прусскими знаменами, выполнил свой патриотический долг на другой лад. Котте, в чьем «Дамском календаре» на 1814 год впервые появилась его статья, он

неоднократно указывал на то, что она носит характер утешения. И в самом деле, в статье есть налет патетической напыщенности, свойственной извещениям о смерти, — она вошла тогда в моду и помогала потом во всех немецких войнах, вплоть до последней, золотить боль осиротевшей семьи. Если верить прусским газетам того времени, люди умирали «за отечество, немецкую свободу, национальную честь и нашего возлюбленного короля». После этого говорилось, например: «Столь ранняя утрата тяжка. Но нас утешает сознание, что и мы смогли отдать сына во имя великой святой цели. Мы глубоко чувствуем необходимость таких жертв». Жан-Поль однажды тоже составил для одной знакомой подобное извещение о смерти, завершающееся такими словами: «Мне не нужно соболезнования, ибо он умер смертью, достойной и его самого, и его отечества, и великой войны за свободу, а в моем сердце он не умрет никогда».

Даже для чуждых ему целей автор может воспользоваться лишь тем, чем он обладает. И Жан-Поль, коль скоро он взялся прославлять героическую смерть, тоже приходится вносить нечто свое. Вот он и славит юность как самое прекрасное, высокое, драгоценное время жизни: это время первой дружбы, первой любви, первых занятий науками, политического оптимизма, надежд на будущее, идеалов, мечтаний; кажется, будто он говорит о себе, о времени, поэзия которого будет частично питать еще и произведения, созданные им в старости. Но затем он перескакивает к навязанному самому себе мироощущению, задается вопросом: «Разве это не прекрасно и не легко... умереть в такие лета?» И разве «такая смерть не самая прекрасная»?

Поразителен сам вопрос, но еще более поразителен ответ. Он гласит: «Нет, в пору расцвета бывает смерть еще более прекрасная — смерть юноши на поле боя». И он описывает смерть так: «Отец, мать, взгляните на вашего сына в миг гибели: ему еще неведома та дрожь бессилия, которую порождает тяжелая лихорадка в застенках жизни; он покидает близких, исполненный радости, надежды и силы; ему не грозит та смерть, которая уносит бесцветных и пресыщенных людей; словно навстречу солнцу, устремляется он в пламя кровавой битвы; в сердце его — смелость, он готов пройти сквозь ад, высокие надежды осеняют его своими крылами, огненная буря чести и братства подхватывает его и несет на своих волнах; перед глазами — враг, в сердце — отечество; гибель врагов, гибель друзей — все вдохновляет

его на смерть, и бурлящие гибельные потоки затопляют грозный мир туманом, и сиянием, и радугами. И все великое в человеке — долг, родина, свобода, слава — вздымается в божественном блеске в его груди, как в Зале богов — Валгалле. И вот последняя на этой земле рана, как птица, слетает ему на грудь; испытал ли он боль, уносящую все чувства, если в безмолвном бою не ощущал постоянной боли? Нет, между его смертью и его бессмертием не осталось места для боли. Его пламенная душа слишком велика, чтобы ее могла коснуться даже великая боль; и радостна его последняя стремительная мысль: он пал за отечество».

Но когда он в заключение советует родителям и невестам плакать, но плакать «слезами радостного ощущения человеческого могущества», — даже самый пылкий поклонник Жан-Поля растеряется, если не прочтает дальше то, что следует за тремя звездочками и что в заглавии отделено точкой с запятой: о прекрасной смерти из сна о поле боя.

Сон этот написан по образцу «Речи мертвого Христа»: ужасное видение смерти и уничтожения, которое превращает предыдущее утверждение о красоте героической смерти в фарс, несмотря на просветленный конец сна — на островах почивших героические юноши постоянно пребывают в вечном блаженстве.

На горящей башне в расплавляющийся колокол ежечасно бьет молот, по небу несется красная комета, и некое чудовище ведет сновидца навстречу битве. Дети, играя в солдат, деревянными рождественскими ружьями убивают друг друга наповал. Падает кровавый снег. Катятся повозки, груженные руками и глазами. В одном гробу — пепел целой армии. Муравьи кишат на человеческих скелетах. Томимые жаждой открывают бочки, а из них выползают ядовитые гадюки. И Чудовище сопровождает все это пением *Te Deum*'а на мотив уличной песенки: «Убийство моя жизнь, *Te Deum!* Поле битвы — огромный натюрморт, *Te Deum!* Покорный сброд весь перемрет, *Te Deum!* И все слезы — слезы радости, *Te Deum!*»

Но когда сновидец достигает наконец настоящего поля боя, он падает без сознания. «То, что я увидел, слишком страшно для человеческого взора и не уместается в человеческом сознании».

Это написано в июне под впечатлением сообщений о битве под Лютценом. Лишь в октябре под Лейпцигом решается исход войны:

90 774 убитых и раненых истекали там кровью за свои разные родины и за возлюбленных королей и императоров, 90 774 раза опровергается здесь повторенная Жан-Полем легенда о красоте героической смерти. «Ужасающий мир» поля боя, от вида которого поэт спасается в беспамятстве, мастерски описан очевидцем и потрясает больше, чем все сновидения, благодаря которым Жан-Поля провозгласили впоследствии праотцом сюрреализма.

Иоганн Христиан Райль, профессор медицины Берлинского университета, месяц спустя умерший от свирепствовавшего в лазаретах тифа, через десять дней после «Битвы народов» (в которой сражались также немцы из Пруссии и Австрии против саксонцев, вюртембергцев, гессенцев и т. д.) Писал барону, фон Штайну: «В Лейпциге я видел около 20 000 раненых и больных воинов всех национальностей... Они лежат или в затхлых трупобах, где даже земноводным существам не хватало бы кислорода, или в школах с выбитыми стеклами, или под сводами церкви, где воздух тем холоднее, чем меньше он испорчен, пока наконец некоторых французов вовсе не выталкивают наружу, где крышей служит небо и беспрестанно слышны стоны и лязганье зубов. Одних раненых убивает спертый воздух, других губит мороз. Хотя общественных зданий не хватает, ни в одном частном доме не устроили госпиталя для простых солдат. Они лежат как сельди в бочках все еще в тех же окровавленных одеждах, в которых они были вынесены из жаркой битвы. Из 20 000 раненых ни один не имеет рубахи, простыни, одеяла, соломенного тюфяка или койки... Ни у одной нации нет каких-либо преимуществ, все обеспечены одинаково плохо, и это единственное, на что солдатам не приходится жаловаться. У них нет даже соломы для подстилок, полы только для видимости посыпаны мелкой сечкой, доставленной с биваков. Те больные с перебитыми руками и ногами — а таких множество, — которых не могли устроить как следует на голом полу, для союзных армий потеряны. Одни уже мертвы, другие еще умрут. Их конечности, как после отравлений, страшно распухли, воспалены и лежат, растопыренные во все стороны. Отсюда случаи столбняка во всех углах и уголках, еще более усиливаемые голодом и холодом... Многие еще совсем не перевязаны, других перевязывают не каждый день. Бинты частью из серого холста, нарезанные из дюрнебергских солевых мешков, они сдирают кожу, если она еще осталась... Во многих случаях упущено время ампутации, а те,

что делаются, делаются неподготовленными людьми, едва умеющими водить бритвой... Я наблюдал ампутацию, которую делали тупым ножом. Коричнево-красный цвет перепиленных мускулов, почти переставших сокращаться, состояние больного после операции и уход за ним оставляют мало надежды, что он выживет... Раненые, те, что не в состоянии вставать, испражняются и мочатся под себя и гниют в собственных нечистотах. Для ходячих, правда, стоят две открытые лохани, но из них течет, потому что их не выносят. В Петровской церкви подобная лохань стояла рядом с другой, совершенно такой же, в которой принесли суп на обед... Самое чудовищное в этом смысле — ярмарочное здание. Платформа была уставлена целым рядом таких переливающихся через край лоханей, их густое содержимое медленно растекалось по ступенькам... На открытом дворе городской школы я наткнулся на гору мусора и трупов моих земляков, они лежали голые и были объедены псами и воронами, словно злодеи и убийцы. Так оскверняются останки героев, павших за отчизну!»

Таково описание «красоты смерти в расцвете жизни», сделанное профессором Рейлем. Когда речь идет о самом святом, человеку, пекущемуся о правде, лучше положиться на медика, нежели на поэта. Еще одно подтверждение этому можно найти, если полистать Арндта, который на своем сильном лютеровском языке отвечает на этот вопрос проще, но по смыслу так же: «Война непрерывно являет раны, увечья, смерть, боль и муки, которые ввергают человека в страх и заставляют его бледнеть; христианин не страшится и не бледнеет... Христианин знает: эта жизнь, даже если она очень хороша, лишь мимолетный сон, едва заметная тень счастья; он не ведает страха, не дрожит пред смертью, ибо исполнен веры в лучшее существование... Христианин весел в жизни, весел в смерти».

36

ПИКАНТНЫЕ СЛАДОСТИ

В мае 1808 года после длительного молчания Жан-Поль послал Кристиану Отто в Кенигсберг письмо, в котором говорится о внутреннем оцепенении и холоде. Даже «весна со всеми ее звездными небесами» не может преодолеть эту апатию. Другу, с давних пор «поверенному в политических делах», Жан-Поль в качестве

единственной причины указывает на запутанное международное положение, которое, однако, побуждает Жан-Поля добиваться «лучшего». Ибо тот, кого «время сбilo с ног, должен сперва поднять само время, а вместе с ним подняться и сам».

Эти слова достойны уважения и пригодны для цитирования, но правдивы лишь наполовину. С ног его сбilo не только историческое положение, но и собственное! Надвигаются старость и болезни. Байройт разочаровал его, брак тоже. Поэтическая и политическая мечтательность перестоявшегося юноши уступает место усталости. Не прекращая работу, он преодолевает кризис и переходит в другое состояние. В том же письме Жан-Поль говорит, что в последние годы он «беден идеями и силами». Но эта бедность не вредит его творчеству. Утраченный оптимизм восполняется реализмом. Каждому почитателю, навещающему мастера в Байройте, приходится сперва преодолеть легкий шок. Образ, в котором он появляется перед ними, не соответствует бытующему представлению об авторе «Геспера». Иначе должен бы выглядеть и автор «Книжицы о свободе» и «Проповеди мира». А он толст и кажется старше своего возраста. Говорит быстро, слегка запинаясь, на франкско-саксонском диалекте, склонен к беспорядку и неряшливости и пугает или веселит посетителей чудачествами, которых у него невыносимое множество. Сначала в глаза бросаются окружающие его животные. Шпица (потом пуделя), который всюду сопровождает его, еще можно счесть прелестным, поскольку его часто принимают за прототипа знаменитого героя «Собачьей почты». Но тут еще и птицы, и мыши, и белки; есть даже мухи — сочинитель откармливает их в затянутой тюлем птичьей клетке, поскольку они нужны ему для лягушки, которую он держит, как временами и пауков, для предсказания погоды. Ибо Жан-Поль не только большой писатель и любитель пива, но и метеоролог-любитель, который надоедает всем знакомым своими прогнозами и не щадит в этом смысле и читателей. Однажды в 1823 году в газете появилось жан-полевское предсказание погоды на шесть месяцев, а содержащая более двадцати страниц статья 1816 года «Всегда готовый, или Скорый предсказатель погоды» написана хотя и не без самоиронии, но и не без гордости. Он обстоятельно расписывает свои способности в последнем произведении, «Селине», заключая его так: «Да простят мне эту обстоятельность, преследующую единственную цель — подбросить

тому или иному дилетанту-метеорологу и громобоязненному человеку некоторые крохи и зерна науки, которых у меня полные короба».

Еще более серьезно посвящает он себя «животному магнетизму», называемому также по имени его открывателя месмеризмом, который, после своего расцвета в восьмидесятые годы XVIII века и последующего временного забвения, снова входит в моду. Жан-Поль с жадностью изучает и конспектирует все, частью очень обширные, труды о нем, и в 1807 году в предисловии к «Дополнительному листу к Леване» (представляющему собой не что иное, как отдельно опубликованный список опечаток) обнаруживает уже хорошее знание лечебных приемов магнетизера, обогащает свои запасы метафор, черпая их из нового источника, передает в 1813 году франкфуртскому «Музеуму» длинный трактат «Догадки о некоторых чудесах органического магнетизма», осчастлививает им затем читающую публику и полагает, что сам наделен магнетическими свойствами. Когда в 1816 году его навестил молодой медик Карл Бурей и рассказал об успехах месмеризма в Берлине, Жан-Поль оживился. «Он почти не давал мне возможности договорить до конца, — сообщает Бурей, — каждое мое слово вызывало у него новые вопросы, и глаза его сверкали и горели, словно он хотел каждое чернильное пятно на грязном полу своей комнаты превратить в магнетическое отражательное зеркало... Он сам уже не раз успешно лечил магнетизмом зубную и головную боль у своих друзей и хотел узнать у меня, правильно ли манипулировал. Он велел мне сесть и начал с таким пылом магнетизировать меня, что мне было даже больно».

Медицина тоже стала коньком многостороннего самоучки. Изучая всю жизнь специальную литературу, он вообразил, что обладает врачебным даром, лечит детей, служанок и себя самого, что, по мнению друзей, губительно сказалось на нем в последние годы жизни. Он всегда внимательно следил за всеми отправлениями организма, и когда однажды (1817) доверился знаменитым берлинским врачам Гейму и Гуфеланду, то сделал это в письменном виде, в форме статьи под названием «Предварительные данные для моего будущего врача к истории моей болезни и протоколу вскрытия». (Спастическое поражение легочных и сердечных нервов — гласит диагноз, подтвердивший собственное предположение Жан-Поля.)

В дневнике Бурси рассказывается об этом чрезмерном самонаблюдении: «Он и раньше был ипохондриком и остается им, как мне кажется, и сейчас, ибо он так детально изучил свой организм, что с величайшим вниманием относится к каждому биению пульса и сердца. Все, что он делает, он делает по предписанному себе правилу, которое, правда, представляется достаточно странным. Больше всего он остерегается излишеств в еде: это-де оглушает человека. „Я должен много спать, — говорит он, — для того чтобы не спали мои читатели. Сразу же после ужина я ложусь в постель и с помощью средств, прославленных в „Поездке доктора Катценбергера на курорт“, быстро засыпаю. Я теперь изобрел еще больше таких средств и испытал их на собственном опыте. Поскольку ночью я просыпаюсь раз двадцать, чтобы попить воды, мне нужны безотказные средства, и я нашел такие. Обычно я сплю восемь часов и утром, как только встаю, выпиваю стакан очень холодной воды. Спустя добрый час — стакан чистого легкого французского вина“».

Само собой разумеется, что чрезмерное самонаблюдение касается не только физического состояния, оно же побуждает и к самоизображению. В особенности требуют объективного выражения собственные свойства, представляющие опасность. Ибо в области психического диагноз, поставленный себе самому, зачастую и есть терапия. Кроме того, разумеется, искусство требует самонаблюдения: самые глубокие знания о человеке автор извлекает из себя самого.

Снова и снова Жан-Поль наделяет персонажи частицами своего «я». Так случилось и когда он в 1807 году писал «Шмельцле», так — и все-таки совершенно по-другому. В «Вуце» и «Фиксляйне» наряду с дистанцией, которую создавала ирония, все время ощущалась известная степень отождествления героя и автора; в «Зибенкезе» явственно проступает Жан-Поль. Теперь же, в своей «вернейшей всем правилам шутке», он использует свое «я» не в меньшей мере, но полностью отстраняется от него.

Это небольшое произведение словно обозначает собой наибольший упадок в психическом (не в художественном!) отношении. Пером здесь водит скепсис по отношению ко всему доньше им созданному. Ведь общественное развитие пошло совсем по иному пути, чем тот, что был предначертан в творчестве Жан-Поля. Сама по себе Германия оказалась не способной ни к революции, ни к реформам. Не

любовь к человеку, а ненависть и война определяют ход событий. Напрасно Жан-Поль набрасывал образы своих «возвышенных людей». В результате усиливающегося капиталистического развития люди все больше становятся односторонними. Жан-Поль стал трезвее, он и действительность видит более трезво. После победы Наполеона казалось, что Германия начинает все снова, так и он начинает все сначала. В «Озорных летах» он еще ставил перед собой высокие цели, но капитулировал перед действительностью. Теперь таких целей у него нет. Но и другой жизни и другого опыта у него тоже нет. И, стало быть, приходится работать со старым запасом, однако теперь он видит и использует его по-другому. Это ведет к более ясному видению реальности и — к пародии.

В «Путешествии походного проповедника Шмельце во Флец», первом из поздних повествовательных сочинений, используются персонажи ранних идиллий, но с целью прямо противоположной. Обращает на себя внимание семейное сходство военного духовника Шмельце с Квинтом Фиксляйном. Но тому писатель с улыбкой сочувствовал, а этого безжалостно высмеивает. Шутка (ее рассказывает заглавный персонаж, принимая при этом героическую прозу) преподносится как портрет труса наполеоновского, то есть современного военного времени; но на самом деле это отчет о болезни психопатической личности, которой следовало бы носить по крайней мере первое имя своего автора.

Здесь страх перед неприятелем превращен в повод, а не в предмет повествования; с веселостью такого рода примирится лишь тот, кто склонен видеть комическое в невротических состояниях навязчивости. На основе частой у Жан-Поля фабулы путевого очерка описываются все виды навязчивого страха (психиатры называют их фобиями) и меры борьбы с ними. Аттила Шмельце не только постоянно боится насилия, грозы, огня, воровства, но и того, что его подпись может оказаться неразборчивой. Он избегает пляжей из страха, что придется спасать тонущего и при этом самому утонуть. Его удручает страх перед будущим страхом и мучает боязнь неадекватных поступков: как бы не засмеяться в момент причастия или не крикнуть во время проповеди в сторону церковной кафедры: «Я тоже здесь, господин пастор!» Уезжая куда-нибудь, он оставляет жене список правил поведения при несчастных случаях, у цирюльника переживает смертельный страх, не в

силах избавиться от мысли, что тот может полоснуть его бритвой по горлу.

Это написано после пережитых военных ужасов 1806 года. Кое в чем узнается жан-полевская фобия. Но и без доказательств видно, что так может написать лишь тот, кто сам испытал все это. Жан-Поль утверждает, будто очень смеялся, когда писал эту книгу. Возможно, подобная работа облегчила ему душу. Но едва ли можно посмеяться над такой историей в наше время, когда неврозы угрожают стать социальной болезнью.

Для смеха уж скорее подходит его следующий роман, «Поездка доктора Катценбергера на курорт», хотя и тут иная шутка повергает в ужас. Фабула, композиционно завершенная как ни в каком другом произведении Жан-Поля, — это фабула комедии ошибок: анатом д-р Катценбергер едет в Бад Маулбронн, чтобы поколотить автора злой рецензии на его сочинение о врожденных уродствах. Его сопровождает дочь Теода. Она поклонница популярного поэта-драматурга Тойдобаха, который едет вместе с ними инкогнито, влюбляется в нее, но получает отказ, поскольку Теода предпочитает тщеславному ухажеру простого молодого человека, приняв его сперва из-за сходства имен за поэта-драматурга.

История дурацкая. В ней нет идеалов, которые ждут своего претворения в действительность, здесь не обсуждаются жизненные проблемы. Лишь характеры обоих противников — врача и поэта — поднимают роман над тривиальностью фабулы. В заготовках Жан-Поль записал тему: «Наука и поэзия — или логика и образ». Снова, как прежде в Зибенкезе и Лейбгегере, в Вальте и Вульте, он раздваивает свое «я»; но результат свидетельствует о глубине разочарования: это повествование — самоиздевка, автопародия. Между обоими персонажами, доведенными до комических крайностей, никакой дружбы нет. Но нет и вражды, которая создала бы напряженность. Поэт для доктора лишь объект для развлечений, доктор для поэта — лишь прототип для будущих пьес.

«А разве жизнь не превращает наши идеальные надежды и намерения лишь в прозаический, без ритма и рифмы, перевод?» — спрашивает Жан-Поль в одном из примечаний к «Шмельцле». Но в «Катценбергере» он создает комический «перевод». Дух насмешек, которым наделен поэт, живет за счет того, что молодому Жан-Полью

казалось идеалом. Все объекты, прежде вызывавшие переизбыток чувств (ландшафт, кладбище, погода, солнце, луна и звезды), теперь используются только для пародий. Пером Тойдобаха водят не благородные порывы, не переливающиеся через край чувства, а лишь пустое тщеславие.

По сравнению с этим напыщенным фатом Катценбергер — гигант. Вот в ком односторонность торжествует победу. Он господствует на сцене. Если бы сейчас поставили в театре — что заманчиво — эту комедию, Катценбергера следовало бы играть как олицетворение деформации человека в результате разделения труда, как предвосхищение ставшей бесчеловечной специализации, как предтечу врачей, использовавших концентрационные лагеря в качестве лабораторий, и физиков-атомщиков, которые любят свои бомбы больше, чем людей.

Жан-Поль знает эти опасности. Уже в одном из сатирических фрагментов 1790 года («Биографические данные профессора философии Цебедеуса...») речь идет о профессиональном цинизме врачей, юристов и офицеров; ощущение этой опасности вызвало к жизни идеальный образ многосторонности в «Титане», односторонний же Шоппе погибает. Теперь же победителем выходит Катценбергер, автор делает все возможное, чтобы повысить его человеческую и моральную ценность. Можно смеяться над его смешной погоней за монстрами, но его циничный холод лишь скрывает горячее сердце. Он любит дочь, бесплатно лечит бедняков и во всем проявляет чувство бургерского достоинства. Его алчность, движущая фабулу, забавна, а не отталкивающая; она лишь обратная сторона любви к науке. И любовь эта делает его не только человеком реальности, но и идеалов. Его цинизм шокирует благородное курортное общество, но не читателей, — он благотворно отличается от сладковато-сентиментального поэта. И когда Катценбергер однажды впадает в патетику, автор не осаживает его: «Наука — нечто столь же великое, как религия, — она заслуживает не меньше крови и отваги, чем та».

Книга эта, писал Жан-Поль к Отто, «несколько оживит (надеюсь) в твоей памяти мелкий цинизм речей твоего старого друга, который так часто шутил с тобой о всяких отвратительных вещах», — и в небольшом романе действительно ясно видна радость, с какой Жан-Поль дает волю этой стороне своего существа, ощущавшейся еще в

переписке с другом юности Германом. И поскольку композиция завершена и каждая острота попадает в цель, эта радость передается и читателю. Но иной раз смех застревает в горле, когда цинизм речи переходит в цинизм чувств, и за симпатичным одержимым ученым проступает специализированное чудовище будущего столетия. Так, Катценбергер охотно женился бы на женщине-урode, «если иначе ее никак не получить задешево». Он пугает жену безобразными животными в надежде, что из-за этого родится монстр. Перспектива увидеть казнь почтового грабителя приводит его в прекраснейшее настроение, а задумав избиение из мести (которое потом не состоится), он готовится к нему не без садистской выдумки.

Но книга не задумана как предостережение от подобных типов. Жан-Поль видит их, признает, смеется над ними и позволяет им брать верх над всем миром — от князей до поэтов. Когда он объясняет, почему врачи могут позволять себе грубости по отношению к князьям (а именно: потому что они им необходимы), он так заканчивает абзац: «Несколько иначе дело обстоит с поэтами, философами и моралистами, даже проповедниками (в наши дни); их никогда не признают достаточно вежливыми, ибо они никогда не бывают достаточно необходимы».

Поездка доктора на курорт — время триумфа для Жан-Поля, и не случайно один из крупнейших анатомов того времени, Иоганн Фридрих Мекель из Галле, в 1815 году посвящает свой труд о врожденных уродствах «*De duplicitate monstrosa*» Жан-Полю, открыто благодаря его за образ д-ра Катценбергера.

Логика, таким образом, побеждает образ, наука — поэзию. Отрезвленный автор предает волшебство фантазии во имя реальности. Лишь однажды прежний Жан-Поль берет верх над новым: когда любящие воссоединяются, снова в свои старые права вступают луна и летняя ночь, соловьи и радостные мечты — это маленькое нарушение стиля предвосхищает большое нарушение его в следующей книге.

Называется она «Жизнь Фибеля, автора Биенродского букваря» и начата была еще до «Шмельцле», а закончена уже после «Катценбергера»; она во многом предвещает позднейшую автобиографию и великолепна в деталях, великолепна по замыслу, но в целом неудачна: здесь соединены взаимно уничтожающие друг друга пародия и идиллия.

Биографии Канта, написанные после его смерти (1804), с их нелепой педантичностью служат лишь поводом для пародии. Тема же Жан-Поля — опять-таки Жан-Поль. («Уменьшенное, я» — так он однажды называет Фибеля.) Мучаясь сознанием бессмысленности своего труда, автор пытается пародировать свою славу и успех, но — не может. Он задумал свести счеты с самим собой, но это превратилось в половинчатое самооправдание.

Замысел блистательно подходит для пародийного комизма: ученая биография смешна уже из-за ничтожности ее объекта — автора двадцати четырех стихов азбуки. Но история, вложенная Жан-Полем в уста того, кто ведет рассказ от первого лица, представляется ему для пародии слишком святой: история детства и юности. Она превращается у него в одну из самых его прекрасных идиллий, не лишенную (как и ранние) социальных элементов. Но когда затем (и это свидетельствует о скепсисе автора) счастье чистой жизни сводится на нет жаждой славы будущего литератора, у Жан-Поля иссякает материал и, подчиняясь замыслу, снова звучат пародийные тона, они падают в пустоту и оказываются диссонансами.

В написанном в 1811 году предисловии Жан-Поля уже нет речи о сатирическом замысле, а только о прославлении «сельской тиши» и о жизни, в которой, собственно говоря, ничего не случается. «Я лично охотно признаю, что, получи я от кого-то сочиненьице, подобное тому, что сейчас преподношу миру, оно было бы находкой для меня и вдохнуло бы в меня жизнь; ибо я стал бы читать его как подобает, а именно — в конце ноября... или же в сильную вьюгу и под свист ветра — в такой вечер я велел бы подбросить побольше дров, снял сапоги, отложил на день политические газеты или вообще оставил их не читанными, пожалел бы экипажи, везущие гостей к чаю, а себе попросил бы только стакан да добрый ужин, как во времена детства, и на утро кофе на пол-лота больше, потому что заранее знал бы, какой толчок для собственной блистательной книги даст мне эта превосходная, спокойная книжка (да будет вечно благословен ее автор!)... Вот как я читал бы это сочиненьице; но, к сожалению, я сам написал его прежде».

Но такому отречению от мира (который совершенно не подходит к «Фибелю» в целом) соответствует концовка биографии, некогда задуманной как пародия на биографию. Рассказчик находит пропавшего

без вести Фибеля в лесной глуши, окруженного пуделями, белками и птицами, невинного и счастливого, как в дни детства, уже stodцaдцaтипятилетним старцем со сверкающими зубами и белокурыми локонами — они снова отросли у него при вторичном рождении, когда он отрекся от литературного тщеславия и снова доверился природе. Для героя это самоуглубление и покаяние, для автора — сокровенная мечта: бегство от проклятия честолюбия, возврат ко временам до грехопадения.

«Многое на земле мне теперь безразлично, за исключением неба над ней; и сейчас я слишком ясно понимаю, с каким тщеславием думал прежде о своем даре». Так старец подводит итог своей удачливой писательской жизни, и автор наверняка хотел бы отнести этот итог и к себе самому. В качестве последней точки это было бы величественно и трогательно; но, как с извиняющейся интонацией сказано в «Катценбергере» о поэте: «Разве он столь уж виноват, что его фантазия сильнее характера и что ему видится и рисуется более высокое, чем он в силах выполнить?»

Сорок восемь лет было поэту Жан-Полю, когда он сформулировал мудрость поэта Фибеля, обретенную им в глубокой старости. Но уже в тридцать восемь он написал (другу Тириоту), чего стоит всякое саморазоблачение поэта: «Я по собственному опыту знаю пикантную сладость этой двойной роли, в которой одновременно играешь, и живешь, и пародируешь свою жизнь».

Однако за этим мудрым признанием не следует действия. Ни о каком бегстве от мира или творчества у Жан-Поля не может быть и речи — к счастью для потомков, — ибо наряду со многими ненужными сочинениями появляется еще один важный роман. Да и «Фибеля» завершает не сентенция о бегстве от мира, а фраза: «Затем я медленно пошел своим путем».

На позднее творчество, которое раскрывает иллюзорность многих надежд раннего творчества, можно, конечно, посмотреть и с другой точки зрения. Как Дон Кихот (которому «Фибель» и «Комета» обязаны многим) живет полной жизнью, ибо осознает свое безумие лишь в

смертный час, так и жан-полевские чудаки счастливы в мире своих иллюзий: Шмельцле неколебимо верит в собственную храбрость, Катценбергер — в науку, Фибель (исключая конец) — в свое поэтическое величие, Николай Маргграф (из «Кометы») — в свое княжеское происхождение. Будь у его произведений трагический конец (но ни в одном из них его нет), он состоял бы в излечении безумцев от их одержимости. Ибо мир, к сожалению, таков, что счастливы в нем могут быть лишь дураки.

Автору, счастье которого в постоянном писании, ничто не мешает заниматься этим и дальше. В книгах он освобождается от горького сознания, что счастье нуждается в иллюзиях, и продолжает работать, работать — неустойчиво, усердно — в количественном отношении не менее продуктивно, чем в молодости. Помимо романов, повестей, больших сатир («Мое пребывание в церкви Непомука...» и «Двойной парад войск...»), политических трактатов, множества журнальных статей, заполняющих целые тома, он много времени отдает переработке старых произведений, выходящих вторым изданием. Так же как в молодости он прекращал поиски философской истины, как только они становились жизненно опасными для него (при утрате веры в бессмертие), так теперь он не желает признать бессмысленности своих усилий. Иначе он не может. Ибо только в писании осуществляется его жизнь.

Все остальное в ней — лишь приложение, в том числе и брак. Но последний отчасти мешает ему. И потому он живет, насколько возможно, как холостяк. Но его работа такова, что часть ее составляет и вызываемый ею отклик. Поэтому он принимает многочисленных посетителей, подтверждающих его значительность. В звездный час своей жизни, когда вышел «Титан», он много ездил. Он и теперь часто отправляется в путь — правда, уже не столько для того, чтобы познать новое, что могло бы пригодиться позже, сколько для того, чтобы потешить себя почестями.

Пока дети были маленькими, он вел себя как хороший отец. Старшая дочь Эмма вспоминает о чудесных часах, проведенных с ним: «Раньше он в сумерки рассказывал нам сказки и говорил о боге, о мире, дедушке и многих прекрасных вещах. Мы наперегонки бежали к нему, каждый хотел сесть рядом с ним на кушетке; в ужасной спешке мы пользовались старым сундуком для денег с железными обручами и

дырой в крышке... как лестничной ступенькой, с которой перепрыгивали через спинку кушетки. Ибо пробраться спереди между столом и книжными полками было трудно. Мы втроем располагались у края софы вокруг его вытянутых ног; на ней лежала спящая собака. Когда мы наконец сдвигались вплотную и устраивались в самых неудобных позах, начинался рассказ».

Но потом он все больше и больше отдаляется от семьи. Вечера он давно уже проводит в клубе «Гармония», где читает газеты (и, разумеется, делает из них выписки) и беседует за пивом с приятелями. А потом он и рабочее место переводит из круга семьи. Он бежит от домашнего быта, который, по свидетельству автобиографии, так ценит. Но, говоря о своем пристрастии к «устройству духовного гнезда» и называя себя «улиткой», которая «очень уютно чувствует себя в самых тесных извилинах раковины и влюбляется в них», он, вероятно, больше думает о рабочем, нежели семейном убежище. Во всяком случае, его раковиной становится комната в сельской гостинице на полпути между Байройтом и загородным замком маркиграфа «Эрмитаж», откуда открывается великолепный вид на Фихтельские горы и лежащую перед ними вершину Рауер Кульм (где его дед, голодавший ректор, будто бы облюбовал себе пещеру, чтобы молиться в одиночестве).

Гостиница эта — прославившаяся благодаря Жан-Полю — «Рольвенцеляй», названная так по имени хозяйки Анны Доротеи Рольвенцель, урожденной Бейерляйп из Гутшендоффа, под Кульмбахом. Одного мужа она похоронила, второй, господин Рольвенцель, в хозяйстве никакой роли не играет. Она на семь лет старше Жан-Поля (то есть ровесница Шиллера), энергична, говорлива и исполнена сознания своей высокой миссии: заботиться о знаменитом человеке. Она заслуживает похвалы «вовсе не за благородство поведения, — писала Каролина Рихтер в 1818 году Эрнестине Фосс, — а за оригинальность суждений и дюжую силу духа. Она любит моего мужа, ибо по-настоящему понимает его значительность, и вместе с ним она достигнет бессмертия».

Разумеется, сердечные отношения между писателем и женщиной, словно сошедшей со страниц народной книжки с картинками, установились не сразу. Жан-Поль впервые упоминает о ней в записке к Отто: «Вчера я с женой и ребенком обедал у Рольвенцель, а это значит обедал прекрасно». У нее справляют семейные торжества, приглашают

в гостиницу друзей и там же, за пивом и омлетом, ведутся разговоры с Отто. Из ее имени образуют даже глагол, внедрившийся среди друзей «Сегодня можно порольвенцелить». Но лишь спустя годы толстяк с узловатой палкой, сумкой и собакой станет каждый день утром покидать свой дом и отправляться в свое полу-уединение: в иллюзию холостяцкой конуры с госпожой Рольвенцель в качестве эрзац-матери, которая, правда, не понимает его, но тем глубже чтит.

Когда один из его посетителей попросил потом в письме передать привет госпоже Рольвенцель, Жан-Поль назвал это «нежным движением души». Молодого человека звали Вильгельм Геринг. Позже он прославится под именем Вилибальда Алексиса; самобытная хозяйка произвела на него столь сильное впечатление, что, рассказывая о своем посещении ее после смерти Жан-Поля, он предоставляет слово ей самой: «Знаете... почти не было утра, чтобы удивительный этот человек, Жан-Поль, не приходил ко мне со своей ботанической коробкой; бывало, поздоровается со мной и поднимется наверх в свою угловую комнату — я покажу ее господину — и пишет там или выйдет на свежий воздух. А уж как просто жил, и все по правилам! Вот он пишет, а тут ему приходит в голову, что надо бы поесть; тогда он требует свое любимое блюдо, и быстро. Какое? Вы только представьте себе — картошку. Этот удивительный человек ел картошку! Мы ее быстро варим — уже привыкли. Я ставлю картошку на стол, он, не выпуская пера из рук, смотрит на меня, а когда через несколько часов я заглядываю к нему, все стоит нетронутым на столе. Он бы съел теперь, да она остыла, уж этого я допустить не могу и снова варю картошку. Он это замечает, конечно, и, разумеется, такому милому и удивительному господину не хочется, чтоб у меня были лишние хлопоты, но, бог мой, ради него чего не сделаешь! И потому он уже с утра требует обеда, чтобы нам весь день было спокойно. Но, господи, ведь от того страдает здоровье, если все всегда не вовремя и без всякого порядка. А бывает, он работает на воздухе, а ведь уже и холода близко. Он сидит в мокром саду, ноги у него коченеют, а он не чувствует, потому что голова горит от возбуждения и он не замечает, что происходит вокруг. Он велит принести доску, прямо на снег, — но все это доведет его до смерти... Знаете, нет человека такого ума, как у него. Никто не может с ним сравниться — над чем другой битый час сидит, у него готово в минуту. Он пишет так быстро, просто поразительно... Ах, когда я вижу его,

милого господина, как он выходит из своей рабочей комнаты, лицо красное и опухшее, а глаза выпучены и дико озираются, то я всегда думаю: ах, боже милостивый, сохрани мне этого чудесного человека, который принес в мой дом столько счастья и чести и такую репутацию... Но, знаете, хотя он такой великий человек, что запросто общается с кайзерами и князьями, а все-таки всегда приветлив с каждым. Знаете, мой муж не понимает его. Но по воскресеньям, когда к нам приезжают гости из города, господин спускается к нам сюда в пивную и разговаривает с бюргерами о том, о сем, так что они дивятся и не понимают, чего он хочет, но он приручает их всех, так что они готовы носить его на руках, и тогда милый господин говорит, что они всегда понимают его лучше, чем можно было бы думать».

Эта женщина и есть настоящая спутница его последнего десятилетия. У нее он живет своей псевдохолостяцкой жизнью, посвященной исключительно работе, вдали от отвлекающих обязанностей отца и мужа.

Каролине, жене, нелегко. Если их брак и был счастливым, то лишь короткое время. Правда, они любят друг друга, но каждый на свой лад. Любовь Каролины — это поклонение поэту. И понятно, что она не всегда выдерживает будни супружества. Тогда она становится вспыльчивой — по отношению к детям, служанкам, к нему. Он жалуется на это отцу в Берлин. Тот увещевает дочь, напоминает об ее обязанностях: «Само собой разумеется, что ты никогда не забудешь, чем обязана своему мужу как человеку, который оказал тебе честь и является защитой и кормильцем для тебя и твоей семьи; но ему как писателю требуется бодрое состояние духа, не совместимое с разладом в доме, и ты не можешь быть безразлична к этому. Кстати, твоему мужу делает честь, что он не оправдывает своего поведения по отношению к тебе во время вашей ссоры из-за Эммы».

Жан-Поль и правда никогда не оправдывал себя. Он самокритичен. Но результат этой критики сомнителен. Как для работы, так и для супружества он составляет себе письменные наказания: «Во гневе ставь себя больше на место другой стороны, чем на свое. — Уступай, тогда и тебе уступят. — Пытайся во время работы оставаться равнодушным ко всем внешним мешающим шумам. — Следует намного серьезнее добиваться любви жены и детей или стараться укреплять и усиливать

больше ее, чем всякую другую чужую любовь, которая и половины счастья не принесет в жизнь».

Это уже немало говорит о его трудностях, но не о главной трудности, вытекающей из сложившихся отношений: он (подобно всем современникам) считает себя вправе быть единственным повелителем в доме, даже в хозяйственных вопросах (в воспитании детей как специалист — это уже само собой разумеется). Уже требования, которые он, холостяком, предъявлял невесте, свидетельствовали об этом, а то, что написано в его книгах о женских правах, касается преимущественно эмансипации сердца: женщин нельзя содержать как рабынь, они должны не только стирать, стряпать, вязать, но и читать, музицировать, развивать свои чувства. В «Леване» (по великому образцу Руссо и всех педагогов того времени) мальчики и девочки воспитываются раздельно и подчеркивается, что воспитание девушек продолжается в браке. «Воспитание дочерей — первая и важнейшая задача матерей, ибо оно может протекать раздельно от сыновей и до тех пор, пока рука дочери из материнских рук непосредственно не скользнет в руку с обручальным кольцом. Мальчика воспитывает многоголосый мир...» Такова уж природа полов: мужской «более эпичен и аналитичен, женский более лиричен и чувствителен».

Этим вызваны его постоянные комично звучащие жалобы на читательниц, которые не читают предисловий, не выносят сатир, не понимают шуток и науки. Почитаемый им всю жизнь прусский король Фридрих однажды кратко — короче, чем сумел бы Жан-Поль, — выразил это в эпитафии на надгробье Гессен-Дармштадтской ландграфини, которую очень ценил: «По рождению — женщина, по уму — мужчина». А Гёте точно отразил бюргерскую мораль в «Германе и Доротее»: «Вовремя женщину ты научи понять свое назначенье».

В принципе Каролина, конечно, ничего не имеет против этого. В конце концов, она не Шарлотта фон Кальб. Она часто подчеркивает свою готовность к самопожертвованию. Но это не приносит ей счастья, ибо при всей готовности к жертвам она все же «стремится к великой награде — снова быть признанной и любимой». Но именно этого ей не дает вечно занятый любовью в книгах Жан-Поль, и она упрекает его, а он пишет «Обломки супружеского зеркала», включая сюда уроки, выраженные в форме афоризмов, последний из которых гласит: «Мужчины, проявляйте больше любви! Женщины, проявляйте больше

благоразумия!» Возможно, и следующая мысль порождена опытом мужчины, женившегося лишь в тридцать восемь лет: «Чем позднее брак, тем он трудней. Выйти замуж за старого холостяка даже опаснее, чем жениться на вдове. Ибо вдова воспринимает мужчин такими, какие они есть, и испытывает меньше страха, чем, возможно, следовало бы. А старый холостяк, напротив, желает, чтобы все его прежние возлюбленные были воплощены в последней — в том случае, если он скромнен; нескромный же требует, чтобы последняя превзошла всех прежних и оправдала и его былые измены, и нынешний выбор. Но, конечно, поскольку в реках удят рыбу ежедневно, а в прудах — только однажды осенью, то стареющий человек потом очень удивляется и говорит: ах, черт побери, все-таки я слишком рано запрягся!»

Каролина не умеет так весело высказать свою печаль. Ее любовь и страдания в письмах к мужу (когда он в отъезде) выражаются в романтических шаблонах времени, от «мой возлюбленный сладостный бог!.. Лишь немногие ночи я провела, не омочив до или после полуночи подушку горячими слезами» и до «если бы я могла умереть у твоих ног!».

Гораздо понятней становится ее боль, когда она пытается нарисовать матери нового друга Генриха Фосса объективную картину своей жизни и при этом раскрывает больше, чем, собственно, хочет. «Когда он порой кладет руку мне на лоб или плечо, я счастлива и готова упасть к его ногам, однако слезы теснят мою грудь... Раньше муж позволял мне переписывать свои работы, прежде чем отдать их в печать, и охотно слушал, какие чувства вызывали у меня иные места. Теперь это делает Эмма, а я читаю все его вещи лишь после опубликования. Мой муж никогда не читает вслух и не любит слушать, когда читают, потому что он слишком непоседлив. Его ум так велик, что не позволяет мне без робости высказаться, ибо все, что я могла бы сказать, кажется мне ненужным и глупым».

Это написано после почти восемнадцати лет супружества, и адресат, Эрнестина Фосс, сама жена поэта, знает только одно утешение, которое и поныне не утратило силы для несчастливых жен выдающихся мужей: «У спутницы знаменитого человека высокое призвание! Если она изучила его особенности, то принесла пользу миру и потомкам, ибо стала средством, чтобы проложить ему путь... Наша награда в том, чтобы разделять высокие и сильные чувства наших мужей, она

возвышает и нас самих над собственным „я“ в часы, когда кажется, будто мы были бы более счастливы, если бы нас больше замечали и признавали».

38

НЕУВЯДАЕМОСТЬ

Когда женщина любит, гласит одно из *bonmot* Жан-Поля, она любит без усталы, мужчине же надо, кроме того, заниматься и делом. Это сказано не по поводу его брака, но вполне подходит к нему. Каролине нечего бояться других женщин; ее соперница — его работа. Гердер был прав: описывать любовь Жан-Поль умеет лучше, чем любить.

Правда, однажды, после шестнадцати лет супружества, неожиданно возникла угроза и со стороны женщины; в первом письменном упоминании о ней говорится, что она читает только книги Жан-Поля и библию. Это написал Жан-Поль Каролине в июле 1817 года. Дело в том, что он путешествует, как делал это раньше почти ежегодно.

Периодическое бегство из байройтской тесноты начинается в 1810 году поездкой в Бамберг, затем следуют Эрланген, Нюрнберг, Гейдельберг, Франкфурт, Штутгарт, Лёбихау, Мюнхен и Дрезден. Он навещает поклонниц и поклонников, заводит новые дружеские связи, возобновляет старые. Беседует, собирает впечатления. Лишь дважды он встречается с выдающимися коллегами-писателями. Первая встреча кладет начало антипатии, вторая — конец эпистолярной дружбе.

В 1810 году Жан-Поль встретился в Бамберге с Э. Т. А. Гофманом. Их познакомил Карл Генрих Кунц, издатель и виноторговец. Вероятно, оба были знакомы еще в Берлине. Ибо Каролина была дружна с Минной Дёрфер, кузиной и тогдашней невестой Гофмана. Из Берлина Жан-Поль взял с собой в Веймар гофмановскую музыкальную обработку комической оперы Гёте «Хитрость, шутка и месть», чтобы передать ее Гёте. Когда Гофман вскоре после этого внезапно бросил «бедную Дёрфер», Каролина была возмущена, и муж ее тоже не замедлил осудить его.

Итак, через десять лет они снова встретились за обедом у Кунца. Жан-Поль сорок семь, Гофману тридцать четыре года. Много должно

их объединять. У них одни и те же литературные предки: Руссо, Стерн, Гиппель. Гофман смолоду читал «Незримую ложу» и «Геспера». Жан-Поля любит музыку, Гофман композитор и капельмейстер. Оба большие выпивохи. И тем не менее они не могут сдружиться. Старшему не нравится в более молодом злое остроумие, молодому в старшем — сентиментальность. Невзирая на это, Гофман в следующем году посетил Байройт и записал в дневнике, что Каролина, к счастью, не вспоминает больше о его разрыве с ее подругой Минной. Но в этом он ошибся. Когда в 1813 году издающий книги виноторговец попросил Жан-Поля написать предисловие к первому тому новелл Гофмана «Фантазии в манере Калло», тот отказался, ссылаясь на старую берлинскую историю, которую хорошо знает со слов жены. Но, прочитав рукопись и найдя ее превосходной, он все же написал предисловие (и получил в качестве гонорара тонкие вина). Но оно вышло довольно прохладным и из-за критических замечаний несколько выпадает из жанра предисловий, в которых, собственно говоря, принято только хвалить. То, что он порицает, относится не только к Гофману, но и ко всему «нынешнему пантеону искусства», который потому блестит и сверкает, что построен из льда холодных чувств. «Художник способен очень легко... перейти от любви к искусству — к ненависти к человеку и превратить венки из роз, созданные искусством, в терновые венцы и колючие пояса для наказания. Подумал бы он о себе и о своем призвании. Принесенная в жертву любви к искусству любовь к человеку сильно мстит за себя охлаждением самого искусства... Любовь и искусство в обоюдном согласии как мозг и сердце, они взаимно поддерживают друг друга».

Гофман, и без того с неудовольствием отнесшийся к покровительству преуспевающего писателя, почувствовал себя обиженным. Но его требование изъять предисловие из последующих изданий не выполняется: издатель очень хорошо понимает, что имя Жан-Поля способствует успеху новелл. После этого оба выдающихся прозаика перестают общаться друг с другом. Быстрый взлет Гофмана к литературной славе едва интересуется стареющего Жан-Поля. Лишь в последний год жизни он еще раз высказывается о нем — его слова звучат как проклятье. В полемике с новым мистицизмом он резко и безоговорочно отмежевывается от Гофмана и говорит о «настоящем отвращении» к нему. И когда он потом обругал изумительную повесть

«Крошку Цахес» Гофмана, то, надо надеяться, это произошло не потому, что Гофман мимоходом высмеял Лиану из «Титана», которая не только впадает в «сомнамбулический восторг» и «пугает обмороками», но и порой «как высшее воплощение женственной женственности» слепнет.

Другая встреча со знаменитостью произошла в 1812 году в Нюрнберге. Она не случайна, как встреча с Э. Т. А. Гофманом, а запланирована много лет назад. И вот она наконец осуществляется. Четырнадцать лет назад философствующий писатель Жан-Поль послал пишущему философу Якоби в Эйтин первое письмо. «Почтеннейший наставник моей души!» — таковы его первые слова, начавшие важную для истории философии переписку. Корреспонденты переходят на дружеское «ты» и обсуждают совместные проекты, из которых потом ничего не выходит. Теперь оба исполнены ожидания, в особенности младший, Жан-Поль. Якоби, который несколько лет назад стал профессором в Мюнхене, уже старик, он на шесть лет старше Гёте, с которым был очень дружен, когда Жан-Поль еще посещал гимназию в Гофе.

В июне 1812 года все подготовлено. Проблемы жилья и пива урегулированы. Жан-Поль (как Шмельцле) пишет указания для Каролины («Перечитывать ежедневно» — повелевает заголовок, и второй из пятнадцати пунктов гласит: «При пожаре в первую очередь спасти переплетенные в черное выписки...») и садится в наемную карету. Первое письмо к Отто позволяет догадаться о разочаровании лишь потому, что в нем отсутствуют восторги. Там только сказано, что нельзя не любить этого старца и что даже его противник в вопросах философии Гегель теперь любит его. Но через шесть дней, опять-таки из письма к другу (в письме к жене речь вообще идет преимущественно о последней семейной ссоре и нюрнбергских ценах на продукты), стало очевидным крушение мечты о дружбе. Якоби и сам не задает вопросов личного свойства и не допускает вопросов, касающихся его личности, — но это еще можно бы извинить «вечными разговорами о философии» и беспрестанными поисками стариком истины. Хуже, что Якоби не понимает шуток (и потому не хочет читать «Катценбергера» и «Фибеля»), строго придерживается общепринятого и пребывает в вечном страхе, как бы не нажить врагов. К тому же он еще и тщеславен, одевается по последней моде, без конца говорит о своих произведениях

и постоянно носит с собой все рецензии на свою последнюю книгу, «аккуратно завернутые в бумагу». «Я надеялся, что он даст новый толчок земному шару моего сердца, и вознесет его на орбиту вокруг высокого солнца, и освятит меня, и станет для меня тем же, кем был Гердер, даже больше Гердера, — но он не стал ни тем, ни другим, и теперь, к сожалению, некому больше выполнять мои благочестивейшие желания, кроме меня самого. До сих пор я думал: стоит мне увидеть его — и я стану новым человеком и не возжелаю больше увидеть ни одного благородно-знаменитого человека. Ах!»

О Гегеле, в ту пору ректоре Нюрнбергской гимназии, Жан-Поль едва упоминает, куда больше говорит о его жене, которая помогает высокому гостю (он, разумеется, путешествует с собакой) купить платье для Каролины, три мешка муки, нюрнбергские колбаски, голландский сыр, бочонок огурцов — ибо продовольствие в Нюрнберге дешевле, чем в Байройте. И когда Жан-Поль в 1817 году удостоился в Гейдельберге высших почестей, имя Гегеля хоть и упоминается часто в письмах, поскольку тот вручал ему диплом почетного доктора, приглашал на совместные прогулки, но они так и не сблизились, и даже до переписки с великим философом дело не дошло. Позднейшие высказывания Жан-Поля о нем почтительны, однако свидетельствуют, сколь чуждо ему гегелевское мышление. «Гегель самый проницательный из всех нынешних философов, — пишет он сыну Максу в Гейдельберг, где тот учится, — но и он не больше чем диалектический вампир человеческой души». И затем: «Гегелевскую „Феноменологию“ я купил сам; по остроте ума он теперь в числе первых. У нынешних философов я уже не ищу истинности».

Легче Жан-Поль заключает дружбу с теми, кто почитает его. В последние годы жизни это делает весьма рьяно профессор Генрих Фосс, который на шестнадцать лет моложе. В 1806 году Генрих последовал за своим знаменитым отцом Иоганном Генрихом в Гейдельберг; вместе с ним и младшим братом Абрахамом он переводит Шекспира. Один из переведенных томов Генрих Фосс послал Жан-Полю; тот ответил хвалебным письмом, положив тем самым начало переписке, продолжавшейся до самой смерти Фосса (1822).

Именно Фосса Жан-Поль, как бывало в старые времена, просит подыскать ему жилье на время пребывания в Гейдельберге — «комнатенку (даже без чулана) и что-нибудь, на чем можно спать, —

простую кушетку, потому что только так я пишу и читаю, найти кого-нибудь, кто бы готовил кофе и стелил постель и приносил напитки; никакой мебели, кроме самой необходимой».

2 июля 1817 года (это была среда) он в пять часов утра сел в нанятый одноконный экипаж, заночевал в Бамберге и Вюрцбурге и в воскресенье прибыл в Гейдельберг, где попросил доложить о себе профессору Фоссу как о нуждающемся в помощи студенте. После бурных приветствий Фосс увидел, как Жан-Поль расплачивается с кучером и дает вдвое больше чаевых, чем было условлено. «Во-первых, — говорит он ему (по свидетельству Фосса), — потому что ты славный малый; во-вторых, потому что ты бедный парень, а у меня хоть и не очень много денег, но все же больше, чем у тебя; в-третьих, для того чтобы ты точно пересказал своей милой жене и милым детям все то прекрасное, что я по дороге тебе сто раз втолковывал и вдалбливал».

Сначала Жан-Поль обеспечивает себе рабочее место на свежем воздухе. «Он собирается часто приходить туда и работать; и мы договорились, что до семи часов вечера мы не беспокоим друг друга, а каждый занимается своим делом. Я уже приказал перестроить для него садовую скамью в софу, перед ней поставил четырехугольный столик (круглых он не любит), и на нем всегда наготове кувшин пива».

Он действительно проработал все эти семь недель, несмотря на многочисленные встречи, загородные прогулки и чествования, вершиной которых явилось факельное шествие студенческих корпораций с пением в его честь сочиненной песни «Привет тебе, великий муж! Привет!» на мотив «God save the king»^[28] и здравицами в честь поэта и «немца». («Мне кажется, вместо Жан из немецкого национализма кричали Иоганн», — рассказывает Теодор фон Коббе в своих «Воспоминаниях»). Растроганный Жан-Поль вышел на улицу, пожимал множество рук и вместе со студентами под дождем прошествовал до моста на Неккаре, где его удалось уговорить вернуться домой, а не идти с ними пить пиво.

Но еще больше, чем студенческое чествование, радуют его почести, оказанные профессорами. Как когда-то он, подписываясь, не забывал назвать себя легационсратом, так теперь он не обходится без «доктора». По словам Фосса, мысль сделать Жан-Поля почетным доктором родилась у подвыпившего Гегеля.

Генрих Фосс устроил вечер с пуншем. После третьей чаши некий пастор попросил Гегеля написать курс философии для молодых девиц, на который могли бы опираться преподаватели. Гегель отказался: он пишет труднодоступным языком. В таком случае, предложил пастор, пусть Жан-Поль облечет мысли Гегеля в соответствующую форму. Присутствующие подхватили шутку, и в заключение Гегель воскликнул: «Он должен стать доктором философии!» Спустя три дня Фосс созвал заседание факультета и решение было принято. Диплом составлен (полатыни, разумеется) таким высокопарным слогом, словно и он наваян пуншем: «...мы, декан, старейшина и профессора философского факультета университета Рупрехта-Карла, торжественно присваиваем почетный титул, привилегии и права доктора философии и свободных искусств знаменитому, благородному, возвышенного образа мыслей Жан-Полю Рихтеру из Гофа, легационсрату герцогства Гильдбургхаузского. бессмертному поэту, красе и светочу века, примеру добродетели, князю духа, науки и мудрости, пламенному защитнику немецкой свободы, страстному борцу против развращенности, заурядности и чванливости, чистейшему человеку из всех, кто когда-либо ступал по земле, дабы засвидетельствовать свою любовь, благодарность и глубочайшее почтение к его отмеченному всеобщим признанием высокому дару, о чем публично и оповещаем сим диплом с приложением печати нашего факультета».

Почести, оказанные ему Берлином в первой половине жизни, воздает ему теперь Гейдельберг. И как тогда, так и теперь блаженство славы раскрывает его сердце для девушки: Софи Паулюс двадцать шесть лет, она дочь писательницы и известного профессора теологии рационалистического направления. Мать и дочь — давние поклонницы Жан-Поля. Еще в 1811 году они вместе написали ему письмо, оставшееся тогда без внимания. (Позднее он написал под ним: «Это письмо, полученное много лет назад, радует меня теперь».) Он почти ежедневно встречается с матерью (которая на четыре года моложе его) и дочерью, явно отдавая предпочтение дочери. Фосс, добросовестно отмечающий в письмах все подробности этих недель, описывает и влюбленность мамзель Паулюс, говорит о нежностях и поцелуях, разумеется, таких, какими обмениваются лишь в женском пансионе и при игре в фанты у фрау Гегель. Он беспокоится о девушке, но не о Жан-Поле, который, по его мнению, не принимает ее увлечения

всерьез. После одной из прогулок в горы Фосс решает обратить внимание Жан-Поля на любовь Софи «и настоятельно просит его ничего не делать и не говорить такого, что может привести к страсти, возможно, к горю девушки».

Но предостережение тщетно. После совместной поездки по Рейну Жан-Поль (поехавший дальше один в Майнц) написал на следующее утро: «Моя Софи! Первое написанное здесь слово — Вам. В Маннгейме я был не в силах покинуть комнату, где пережил столько нежности... Вы и Рейн отныне нерасторжимы в моем сердце, и, где бы я ни встретился с ним, Ваш образ, подобно звезде, будет витать над ним».

Возвращение домой кладет конец этой его любви, любви последней. Для Софи это начало катастрофы. А для Каролины начинается год мучительной ревности.

Только на девятый день пребывания в Байройте Жан-Поль вместе с другими благодарственными письмами в Гейдельберг написал письмо Софи, украшая его следующим постскриптом: «Нас ничто не разлучит: ни далекое расстояние, ни наивысшее счастье, которого я так искренне тебе желаю», что означает: не надейся на счастье со мной!

Он никогда серьезно не думал о разрыве с семьей. Даже в самые счастливые дни в нем живет тоска по дому и забота о домашних делах и о детях. Никогда он не забывает о том, что должен привезти домой. («Апельсинов здесь нет».) И конечно, не только ради очистки совести он перед поездкой по Рейну вселяет в Каролину надежду, что их супружеская жизнь наладится, потому что на чужбине он яснее понял свои ошибки. «В моей спальне все в порядке? — спрашивает он в последнем письме из Гейдельберга и продолжает: — Я твердо уверен, что небо над моим домом не будет и не может быть иным, чем нынешнее недомашнее; но оно превзойдет его в долговечности, и это будет благотворно для тебя, моей доброй и верной!»

Но с благотворностью сразу же не ладится. Он покался, она весь год пребывает в мучительном страхе, ибо в 1818 году он снова собирается в Гейдельберг. И действительно едет, и письма, которые посылает ему Каролина, полны страдания. То она взывает к его любви, то предлагает остаться у Софи — его вещи она вышлет. «Я не надеюсь, что мысль обо мне тебя удержит; что я для тебя и какие требования я, зная тебя, могу предъявлять! Моя вера погибла, и очарование жизни

для меня безвозвратно погасло». Он отвечает не слишком ласково; он оскорблен, считает подозрения необоснованными. «Я не могу не сердиться, когда приходится снова и снова клясться, что Софи для моего сердца значит не больше, чем всякая добрая женская душа, которую я знаю как писатель... Мы с ней даже не переписываемся; она мне не написала ни одной записочки». Он же, напротив, из Франкфурта отправил следующее письмо: «Моя Софи! Во вторник я прижму тебя к сердцу». Но то, что сулило мне письмо, не свершилось. Прошлогодние улады не повторяются — ни в любви, ни в славе. Гейдельберг остается равнодушным к знаменитому гостю, а немногие непылкие чествования Жан-Поль должен, к своей досаде, делить с ненавистным Августом Вильгельмом Шлегелем, который живет в той же гостинице и ухаживает за той же Софи Паулюс. Но последнее обстоятельство его, видимо, мало трогает, он держится от матери и дочери по возможности на отдалении. И вообще ему «почти ничего не хочется, кроме — отъезда». Он неважно себя чувствует и тоскует по дому. О Софи в письмах он упоминает редко, пишет об ее «увядании». А в одном из писем Каролине сказано: «На сей раз я покидаю Гейдельберг совсем в ином настроении, чем в прошлый раз, хотя и тогда во мне не было ничего, что могло бы тебе быть неприятно. Уж слишком прозаично гляжу я теперь на все, и поэтическая любовь прошлого года, к сожалению (она была так невинна!), увяла, как цветок, ибо по своей природе ей не дано ни долговечности, ни способности возродиться. Но от чего теплее становится у меня на душе, это от воспоминания о наших вечерних трапезах. Нам поистине следует больше ценить эти радости нашего, пока еще неразбитого круга и наслаждаться ими. Пройдет еще немного времени, и Макс нас покинет! А за ним и остальные; тогда мы останемся вдвоем, а потом ты останешься совсем одна! Так будем же любить друг друга, пока еще есть время любить. Навеки твой».

Так он с грустным, но чистым сердцем возвращается к семейному очагу, возвращается навсегда. Если даже — что маловероятно — он и питал недолгие надежды начать с Софи новую жизнь, они разлетелись. Небольшое сочинение, вызванное к жизни непосредственно гейдельбергскими переживаниями, не содержит ни малейшего намека на подобные иллюзии. Оно представляет собой нечто вроде мариенбадской «Элегии» в прозе. Но если последняя любовь Гёте

ввергла семидесятичетырехлетнего юношу в безысходное отчаяние, вылившееся в стихотворении, то пятидесятичетырехлетний старик говорит о тихих радостях, еще даруемых старостью. Он и не хочет больше подлинной любви. Его вполне удовлетворяет способность предаваться мечтам о ней. Николай Маргграф, герой последнего романа, счастливый дурак, любит в чистейшем жан-полевском стиле: любит иллюзию девушки, не обременяющей его никакой реальностью, — он возит ее с собой, как куклу, в запертом шкафу, который всегда может открыть, если ему захочется красивых чувств. Его любовь довольствуется обожанием. Само желание дарит счастье. Осуществление же его принесло бы только разочарование.

«О неуываеваемости наших чувств» — так называется это сочинение, задушевно-смиренная интонация которого сделала его излюбленным чтивом обывателя. Этот плод радости от первой поездки в Гейдельберг («зачатый в Гейдельберге и рожденный в Байройте») сперва восславляет искусство, которое одно лишь в силах увековечить мимолетные радости, затем превозносит любовь, которая не умирает и в старом сердце. Здесь нет речи о перемене жизни, а только о слабом отголоске чувств, испытанных когда-то в молодости: «Разве не вправе старая рука пожать молодую, давая знать: и я в Аркадии был, и Аркадия осталась во мне». В этом же страстное стремление любить платонически и безнадежно, как в ранней молодости. «Последняя любовь, вероятно, столь же стыдлива, как первая».

Мамзель Паулюс (или по крайней мере ее мать) могла бы все это понять, но она, естественно, предпочитала верить письмам, обещавшим ей так много, и теперь приходит в отчаяние, когда тоскующий по дому Жан-Поль уезжает. В Гейдельберге остается (лишь четырьмя годами моложе его) Август Вильгельм Шлегель.

Из всех светил своего времени он, пожалуй, наиболее несимпатичен Жан-Поллю. В противоположность своему младшему брату Фридриху этот светский интеллектуал в период своей славы критика поносил наивного провинциала Жан-Поля, поносил, не вникая в суть его творчества и не понимая его. «Порождение моды... из-под рук которого романы вырастают, как грибы», — отзывался о нем Шлегель в 1802 году в берлинских лекциях, называя его необразованным чудачком с «болезненно возбудимой силой воображения». «Его читают, — говорил он далее, — полагая в его

построениях более глубокую связь между серьезностью и шуткой, нежели он сам задумывал. Его расхваливают, носятся с ним, он разъезжает по столицам, посещает самое избранное, по крайней мере самое болтливое общество, окружен лестью женщин, знакомится с мужчинами, которые имеют четкую художественную программу, и стремится подражать им, поскольку, будучи начитан во всякой макулатуре, он не знаком с великими произведениями и не способен постичь их во всей их чистоте».

Современники рисуют Шлегеля «маленьким и довольно безобразным» (мадам де Сталь), «Невероятно тщеславным» (Шамиссо). Гейне, который учился у него в Бонне, называет его «светским человеком», который всегда надушен и одет по последней парижской моде. «Он был само воплощение изящества и элегантности, и когда он говорил о великом канцлере Англии, то добавляя „мой друг“, а слуга в ливрее баронов Шлегелей снимал нагар с восковых свечей, горевших на серебряных канделябрах, которые стояли на кафедре рядом со стаканом сахарной воды перед чудо-человеком... На его маленькой головке блестели редкие серебристые волосики, и тело его было так тонко, так хило, так прозрачно, что казалось, будто весь он — сплошной дух, чуть ли не символ спиритуализма».

В интеллектуальных кругах Европы сплетничали о его импотенции. В первом браке с Каролиной Бёмер его соперником был брат; у мадам де Сталь он долго жил в качестве гувернера ее детей и получал жалованье, а вовсе не был ее возлюбленным, хотя ему хотелось, чтобы так считали. И вот неожиданный успех у покинутой фройляйн Паулюс. Едва Жан-Поль вернулся к домашнему очагу, Софи обручилась с его врагом: наверняка назло ему. Спустя четыре недели мамзель Паулюс стала мадам Шлегель.

Если это было мстью, то она удалась. Жан-Поль злится, словно это его бросили. Вдруг он обнаруживает в ней массу недостатков: она не умеет говорить, не умеет писать, ей не хватает человеколюбия. «Обручальное кольцо для обоих — погоня за блеском; он хочет в своем возрасте щеголять красивой девицей за фортепьянами, она — муженьком, прославившимся в Европе как наложник мадам де Сталь. Будь у нее побольше душевного тепла, она бы очень страдала из-за отсутствия такового у него. А так у них, возможно, и получится

сносный брак, полный взаимной суетливой похвальбы... Между тем книги мои он доводит до нее... лишая их и мысли и чувства».

Что касается брака, пророчество не оправдалось. Он не оказался даже сносным: хотя он официально и был заключен, но не был осуществлен. Письмо Жан-Поля (Фоссу) написано в день бракосочетания; когда же оно приходит в Гейдельберг, супруг уже уехал в Бонн, а жена осталась в Гейдельберге и требует развода. Сплетня, по-видимому, была обоснованной. Во всяком случае, Гейне в «Романтической школе» обстоятельно и недвусмысленно рассказывает историю этого лишь символически заключенного брака, а Жан-Поль так комментирует ее: Софи «теперь ни девица, ни супруга, ни вдова, ни любящая, ни даже возлюбленная», и брак «не принес ей ничего нового, кроме кори — эта болезнь как бы символ ее мужа». И, намекая на импотенцию Шлегеля и как поэта, он добавляет: «В умении приносить несчастье он впервые проявил себя отважным поэтом».

Через год Жан-Поль снова встретился с матерью и дочерью Паулюс в Штутгарте, и никакое чувство, что угрожало бы его супружеской жизни, в нем не шевельнулось. Кроме звания почетного доктора, от Гейдельберга осталась дружба с Генрихом Фоссом, которая вскоре стала столь тесной, что уже в 1818 году Жан-Поль в присутствии старых друзей и сына назначил его «неограниченным распорядителем, хранителем и издателем» своего литературного наследия (что, впрочем, не имело в дальнейшем значения, ибо Фосс умер раньше него).

«Утрату подруги пережить легче, чем потерю друга».

39

ГЕРМАНЕЦ ВОЛЬКЕ

Жан-Поль выступал как дилетант во многих областях, но в философии, эстетике и теологии столь успешно, что история каждой из этих наук должна в большей или меньшей степени с ним считаться. Серьезно вникать в проблемы остальных наук, занимавших его, он и не старался, за одним исключением: языкознания. Он углубился в него и — потерпел неудачу. Рвение, с каким он пытался улучшить немецкий язык, показалось бы смешным, если б забыть, сколько времени пропало для занятий более важных.

В юности он изобрел для домашнего употребления собственное правописание — не столько ради улучшения, сколько просто оригинальничая, это было безобидно. Постепенно это увлечение слабело, пока наконец полностью не погасло. Но в 1819 году он написал следующее: «Вероятно, к тем немногим великим открытиям, что сделаны в этом еще молодом столетии, принадлежит и мое собственное: установление твердого правила, согласно которому различные определители соединяются с основным компонентом сложного слова и образуют различные классы двусоставных слов. При конструировании двусоставного слова каждый познает пользу неосознанно применяемого правила; ибо логика — это чутье языка».

В поисках языковой логики великий мастер языка в последние годы жизни с бесподобным отсутствием чутья вцепляется в одну из побочных проблем улучшения языка. Подобно Дон-Кихоту, прародителю творения его старости, он ведет безнадежную борьбу против соединительного «s» в сложных словах (называемых им двусоставными) и пишет об этом целую книгу: «О немецких двусоставных словах; грамматическое исследование из двенадцати старых писем и двенадцати новых постскриптумов».

К сожалению, сам Жан-Поль руководствуется результатами своих исследований. Если раскрыть «Зибенкез», которого он в это время перерабатывает, можно прийти в ужас от того, сколько времени и сил он тратит, чтобы затруднить чтение этого прекрасного романа, превращая каждого Ratsherrn^[29] в Ratherrn, каждое Hilfsmittel^[30] в Hilfmittel. В новом предисловии он сам себя хвалит, называя это обогащением языка, и беспокоится лишь о том, сумеют ли потомки по достоинству оценить «необычайно утомительную работу; мысль, что они могут ее проклясть, ему не приходит в голову. Гёте, который очень ценил „Левану“ и в заметках и примечаниях к „Западно-восточному дивану“ одобрительно отозвался о языковом искусстве Жан-Поля, высказался (по словам Голтея) резко: „Он бился над пустяками и занимался буквоедством, потому что у него иссякла фантазия и ничего значительного больше не приходило в голову. Отсюда его вечное раздражение по поводу буквы „s“ родительного падежа“.

То было время рождения германистики. Занятие немецким языком принадлежит к идеологическому осознанию себя нацией. Жан-Поль действовал вполне в духе времени и, конечно, опять как дилетант, на

сей раз весьма забавный. Он отталкивается не от великих знатоков языка, таких, как Якоб Гримм, а от одного из шарлатанов, плывущих по течению, от некоего Христиана Генриха Вольке, чьими благоглупостями он увлекается, хотя большей частью и не приемлет их. Этот придурок, педагог по профессии, работавший в Дессау в Базедовском благотворительном заведении, ставший в Петербурге гофратом и теперь живущий без определенных занятий в Лейпциге, Дрездене, а затем в Берлине, хочет сделать из „литературного немецкого наречия“ „всеобщий немецкий язык“, и к тысячам его рационализаторских предложений относится и упразднение соединительного „s“ в „словах“. Еще в предисловии к первому тому „Осенней Блюмины“ (1810) Жан-Поль вспоминает „почтенного широко образованного языковеда“ — именно ему он обязан туманным заголовком своего сочинения: Блюмина есть не что иное, как греческая богиня Флора в немецком одеянии, в которое „почтенный благородный германец“ Вольке хочет облачить всю классическую мифологию; Помона становится Фруктиной, Дриада — Лесиной, Венера — Очаровиной, Вулкан — Огневаном, Зевс — Громованом.

Но Жан-Поля интересует не столько стоящий на страже немецкого языка пуризм Вольке. Ему импонирует, что этот человек хочет изгнать из языка алогичность и беспорядочность, что он пишет, например, *prachtig* и *machtig* без *umlauta* — потому что так же пишется *rosig* и *artig* [31]. Он хотел бы поступать так же, но боится насмешек читателей. Хваля и поддерживая Вольке, сам он „всеобщим языком“ не пользуется. Когда в 1812 году появляется главное произведение Вольке, Жан-Поль становится одним из его „покровителей“.

Произведение это называется „Руководство ко всеобщему немецкому языку или к распознаванию и исправлению нескольких (по меньшей мере двадцати) тысяч языковых ошибок в литературном немецком наречии; вместе со способами избежать и уберечься от многочисленных орфографических ошибок, ежегодно доставляющих пишущим на немецком языке 10 000 лет излишней работы или расходов в 500 000“, содержит почти пятьсот страниц и являет собой трудное, но забавное чтение. Так, например, языковая логика Вольке обнаружила, что артистка или портниха — это только жена артиста или портного, а если она и сама играет или шьет, то должна называться „игрицей“ или „шитницей“.

Он очистил орфографию от всего излишнего, грамматику — от всего чужеродного, но его „общезычный“ текст нельзя читать без удивления.

Самое большое открытие Вольке заключено в утверждении, будто Адам и Ева говорили в раю по-немецки, правда, то было одно только слово — „чудесно“, но из него вырос не только немецкий, а и все другие языки на свете. В занимающей семьдесят страниц дидактической поэме, которая завершает его научный труд, Вольке так объясняет это историческое событие: „Дитя неба“, то есть разум, наделило духом языка „немецких предков“, то есть германцев — „верных, славных“, которые потом столь героически противостояли „римлянам“, оно избрало их, чтобы именно они открыли первый „смысловой язык“.

Когда в 1811 году гофрат в письме настаивал, чтобы писатель подал пример, вводя язык, освобожденный им от всех неправильностей, Жан-Поль решительно отказался: „Ничто на земле не подвластно неизменным правилам... Мы отказываемся от старых государственных форм, философии, правителей и 10 000 вещей; пусть же настанет черед и для старых языковых соразмерностей“. Его занимает лишь создание составных слов, и это не случайно, поскольку из-за нелюбви к прилагательным он больше других пользуется именно составными словами, частично сам создает их, нередко испытывая при этом неуверенность. Его беспокоит господствующая здесь непоследовательность (в одних случаях первое слово берется в родительном падеже с неперенным „s“ в конце, в других, очень близких по значению, без него). Он вмешивается в спор, который публично ведет Вольке с серьезными филологами, годами собирает составные слова, пытается классифицировать их, пишет статьи об этом и, наконец, делает из них книгу, вынуждая потом Якоба Гримма выступить против всей этой нелепицы.

Не преднамеренная шутка, которая могла бы разжижить сухую материю, делает книгу смешной, а невольная: для того чтобы вывести правило употребления соединительного „s“, Жан-Поль кропотливо классифицирует составные слова и в результате потраченных усилий приходит к выводу, что на букву „s“ классификация никакого влияния не оказывает.

А продолжение „Зибенкеза“ не написано», «Самоописание жизни» не закончено, и «Комета» тоже остается лишь фрагментом.

40

СМЕРТИ

Иной человек утрачивает связь с современностью еще при жизни. Духовной смерти людей особенно способствуют общественные переломы. То, что выделяло человека, что порой придавало ему даже величие, быстро становится достоянием истории. Старики отступают на задний план большей частью вынужденно, пусть внешне и добровольно. Непродуктивность в старости редко обусловлена биологическим фактором.

Нас часто удивляет, что знаменитые люди продолжают жить во времена, которым они уже не принадлежат. Жизнь Гёте — исключение: продолжительность не сказалась на ее величии. Как знать, может быть, ранняя смерть или безумие уберегли Шиллера, Новалиса, Клейста, Гёльдерлина от того, чтобы они пережили собственное значение. Но помним ли мы, что поэт Геттингенской рощи или «Луизы» — Иоганн Генрих Фосс — жил в эпоху Реставрации? Он умер только в 1826 году, писатель «Бури и натиска» Клингер — в 1831 году, а железный Арндт, певец освободительных войн, пережил революцию 48-го года и мог бы еще читать Раабе, Фонтане, Келлера и Штифтера. Когда вышла последняя книга Августа Вильгельма Шлегеля (перевод индийской «Рамаяны»), была уже написана «Немецкая идеология» Маркса и Энгельса. Усердно работали эти старики, пытаясь забыть, что время их ушло.

Живи Жан-Поль дольше, такая судьба, вероятно, не миновала бы и его. До последних своих дней он остается политически активным, но импульсы для художественного творчества черпает из юности. «Шмельцле», «Катценбергер» и «Фибель» живут, перевернутые на пародийный лад, за счет того, что он сделал прежде.

После этого он долго не создает ничего нового и значительного, а действие «Кометы» относит во времена, предшествующие «Гесперу».

При всем том пишет он непрерывно, и не по финансовым причинам (после длительных проволочек и многочисленных прошений Байройтское государство выплачивает ему дальбергскую пенсию),

сочинение за сочинением, часто незначительные, иной раз повторяющие или перерабатывающие старые идеи. Кроме того, все ранние произведения при переиздании выходят в новых редакциях (а это требует много времени), с изменениями и добавлением целых пассажей. (Так, например, прелестная сцена чистки подсвечников в «Зибенкезе» порождена уже собственным супружеским опытом.)

Таким образом, работает он усердно, острое чувство, что он обязан писать, продолжает терзать его; но часто это усердие на холостом ходу. И хотя в промежутках он медленно и трудно создает «Комету», взгляд его, несмотря на сатиры против Реставрации, устремлен назад.

Детство Маргграфа отражает детство самого автора, и, когда придурковатый герой отправляется в большое путешествие, к нему тут же причаливает кандидат Рихтер, только что издавший «Избранные места из бумаг дьявола».

Чем старше становится Жан-Поль, тем прекраснее в его глазах выглядит собственное прошлое. Он никогда не отступает от ранних произведений, скорее пользуется всякой возможностью улучшить их. Это кажется особенно странным, когда он реставрирует не поэзию, а юношеские политические воззрения, как, например, в статье «О Шарлотте Корде», написанной в 1799 году и переизданной вместе с другими «улучшенными сочиненьицами» в совершенно новом варианте в «Катценбергере». Причисление убийцы Марата к лику святых (что означало поддержку Жан-Полем жирондистов) в первой публикации вызвало в литературных и политических кругах положительный отклик. Теперь же эта работа неожиданно припутывает автора к гибели двух молодых людей.

В мае 1813 года Жан-Поль получил анонимное письмо от одной девушки из Майнца: она почитает его как «дражайшего друга людей», любит его, хотела бы быть его служанкой; в ее глазах он — святой, более того — Христос. Она рано потеряла отца, но умалчивает, «как он умер, ибо иначе Вы, знающий его жизнь, обо всем догадаетесь». Несмотря на умолчание, он догадался, и Отто тоже сразу же понял, о ком речь.

Девушка с «огненной душой» — это Марианна (собственно, Мария-Анна), дочь майнцкого революционера Адама Люкса, который вместе с Георгом Форстером отправился в Париж, чтобы предложить присоединение первой немецкой республики к французской, выпустил

там в связи с казнью Шарлотты Корде листовки против террора якобинцев и в октябре 1793 года сам взойшел на эшафот. Жан-Поль в статье о Корде вместе с нею славил «благородного майнчанина», «великолепного мужа» с «душою римлянина». «Он умер столь же чистым, сколь великим... Да не забудет его ни один немец!» Вероятно, почести, оказанные ее отцу, и вызвали в Марианне истерическую любовь на расстоянии.

Жан-Поль оставил без ответа четыре ее письма, показывал их Отто и Эмануэлю, называл «восхитительными», говорил, что Эмануэль насладится ими, и, наконец, напуганный бурностью ее чувств, ответил: успокаивая, умиротворяя, взывая к ее благоразумию и пониманию. Это отеческое письмо он заканчивал предложением заменить ей отца. Не преминул он также передать привет от своей жены.

Но прежде чем это письмо дошло до нее, она прислала новое письмо, полное отчаяния: поскольку он и знать ее не хочет, она попыталась лишиться себя жизни, но помешала сестра. Потрясенный Жан-Поль решил отныне отвечать на каждое ее письмо. Он попробовал навязать ей роль дочери, привлечь ее в свою семью, лишиться иллюзий на его счет: «Вы слишком хорошего мнения обо мне как человеке; писатель не может быть столь же нравственным, как его произведения, равно как проповедник не может быть столь же набожным, как его проповеди».

Но он старался напрасно. Из всего этого она вычитала лишь, что он ее любит, что тоскует по ней. «Марианна полубезумна», — написал он Отто. «Если бы я совсем не писал, а предоставил ей умереть, я был бы прав. Но я пишу ей, пишу и ее матери, если та не вылечит ее, то пусть хотя бы охраняет», — написал он Эмануэлю. Он снова воззвал к благоразумию Марианны, и она кается, обещает снова стать хорошей дочерью. Но теперь она пугает его уже муками своей совести.

Так продолжалось целый год. Мать Марианны скончалась. Сестра ее обручилась. И тут от нее пришло прощальное письмо: она спешит «уйти наконец от мира, которому я до такой невероятной степени не нужна», и известие: она бросилась в Рейн, ее, правда, извлекли живой, но на следующий день она умерла, в двадцать семь лет, как раз в том возрасте, в каком погиб ее отец. Свои небольшие сбережения она послала в подарок детям Жан-Поля.

«Вот все и кончено, она умерла более возвышенно, чем другие жили... Утешительно сознание, что ты совершенно невиновен — ни в поступках, ни в намерениях, — но боль все же остается».

Письмо Марианны с сообщением о первой попытке самоубийства дошло до Жан-Поля как раз тогда, когда он работал над статьей о героической смерти, появившейся в свет лишь после окончания боев на немецкой земле и свержения Наполеона. Ее смерть в Рейне по времени почти совпадает с отречением императора от престола. Теперь над Парижем вместо трехцветного знамени революции снова развевается флаг с бурбоновскими лилиями. В Вене собираются дипломаты, чтобы осудить новые государственные границы Европы. Войны, называемые в Германии освободительными, завершаются победой, но не освобождением. Уже Венский конгресс показал, кто победил: реакция. Усиленно восстанавливаются дореволюционные порядки. Однако не везде это проходит так легко, как, например, в Гессене, где вернувшийся курфюрст желает восстановить все в таком виде, в каком оставил в 1806 году, и даже снова вводит обязательное ношение парика с косой. Во времена либеральной конституции в Вестфальском королевстве жили куда свободнее, чем после освобождения. И задним числом начинают расцветать легенды о Наполеоне — у Гейне, Гебеля, Годи.

Но в годы революции и войны народы осознали свою силу. Даже Бурбонам не под силу вернуть Францию в дореволюционное состояние, а Наполеон, вернувшись на сто дней, признает конституцию, ограничивающую его единовластие. Южногерманские государства получают конституции, прусский король обещает (и, разумеется, обещание не сдерживает) ввести конституцию, и в принятых на Венском конгрессе документах Германского союза речь тоже идет о народном представительстве и свободе печати.

Вечно исполненный надежд, Жан-Поль снова воодушевлен. Ему по душе, что Франции не мстят посредством грабежа. В действиях государственных мужей ему видится европейский, наднациональный разум. Обещания дать конституцию и духовную свободу он принимал так же серьезно, как религиозные увлечения царя Александра, веру в которые ему внушает старая приятельница госпожа фон Крюденер. В Вене она молилась вместе с царем, приведя в замешательство других монархов. Ее идею Священного союза (которую Генц, государственный

секретарь Меттерниха, называет «политически несостоятельной... театральной декорацией» — а уж ему ли не знать этого!) Жан-Поль, хоть и недолго, считал здоровой. Это выразилось в его «Смене тронов Марса и Феба». Но в «Проповедях на великий пост» уже заметны признаки разочарования. Он снова уходит в оппозицию. В «Комету» он вставляет сатиру на Венский конгресс — «Великий магнетический пир», и хотя там (символ крепостничества и отсталости) угощают и «московитской говядиной и паштетом из раков», народы встают из-за стола с пустыми желудками. Яснее, чем в этой нелегко разгадываемой сатире, он выразил свою мысль в предисловиях к первому и второму тому. В них он атакует Карлсбадские решения с их цензурными установлениями, впервые охватывающими все немецкие государства, и высмеивает некоего доносчика: прусского регирунгсрата Шмальца, который еще за четыре года до начала преследования так называемых демагогов публично требует такового, за что и получает в награду от Фридриха Вильгельма III орден.

Во время конгресса в Вене Жан-Поль направил ходатайства о пенсии прусскому и баварскому королям, русскому и австрийскому императорам, но через год после этого он навел свержнутого и изгнанного Дальберга в Регенсбурге. В год Вартбургских празднеств гейдельбергская студенческая корпорация приветствовала Жан-Поля ликующими возгласами, но это относилось не столько к писателю, сколько к защитнику прогресса, который в том же году написал о студенческом движении: «Революции глубже всего коренятся в первозданной почве юношества и, разрастаясь под землей, зачастую долго не выходят на поверхность». Студенческое движение делает его своим идолом, и он принимает эту роль, толком еще не зная, на что идет.

То, что студенты громогласно или в тайных обществах провозглашали в качестве германской идеи прогресса, представляет собой такую мешанину из демократизма, национализма, романтики и религиозного фанатизма, бестолковой которой и не придумаешь. Здесь причудливо соединены кайзер Барбаросса, германцы, Иисус Христос и Французская революция. Жан-Поль тоже хотел немецкого единства и конституции, но он решительно отвергал тоску по средневековью и мистицизм. Он тоже стал чаще, чем обычно, пользоваться словом «германский», но у него нет враждебности к французам и евреям,

которая постоянно слышится у националистов всех мастей. Его чрезвычайно радовало уважение со стороны молодежи, но вскоре перед ним встала необходимость отмежеваться от их идей.

23 марта 1819 года в Мангейм прибыл молодой человек в «старонемецком одеянии», прославляемом Арндтом как национальное (широкие штаны, шнурованная тужурка). Он остановился в гостинице «У виноградаря», выдал себя за господина Гейнрихса из Митау и справился, где живет некий проповедник, которого он хотел бы навестить. Вскользь поинтересовался также квартирой регирунгсрата фон Коцебу, которого он в тот же день заколол кинжалом: плодовитый драматург (он написал двести одиннадцать пьес, главным образом комедий) прослыл среди студенчества царским агентом, врагом свободы и изменником родины. Убийство должно было послужить сигналом к революции, но положило начало страшнейшему гнету. Меттерних использовал панику, охватившую княжеские дворы, для введения всякого рода запретов, ставших впоследствии печально знаменитыми под название Карлсбадских постановлений, обязательных для всех государств Германского союза.

Подлинное имя убийцы — Карл Людвиг Занд. Ему двадцать четыре года, родился он там же, где Жан-Поль: в Вунзиделе. Он изучает в Йене теологию и принадлежит к радикально настроенному студенческому тайному обществу, которое возглавлял доцент Карл Фоллен (собственно, Фоллениус). Они называют себя «бескомпромиссными» и на свой лад развивают наследие якобинцев, создавая некую смесь из христианства и пропаганды убийства. Они хотят стать мучениками революции с помощью библии и кинжала. В песнях, сочиняемых для них Карлом Фолленом и его братом Адольфом Людвигом, говорится не только: «Вон князей!», но и: «О, Иисус Христос, твой чистый девиз — свобода, равенство для всех», а также: «Вы, духи свободных и набожных, мы идем, мы идем, мы идем спасти человечество от рабства и безумия, наш путь ведет к эшафоту, к лобному месту».

То, о чем Фоллены говорят в стихах, Занд осуществляет на деле — выбрав, правда, неподходящий объект. Проткнув горло Коцебу кинжалом, он упал на колени, возблагодарил бога и направил кинжал в собственное сердце, но промахнулся. Обвинительный акт, положенный им рядом с трупом, завершается цитатой из Фолленов: «Ты можешь

стать Христом!» — то есть он, убийца, может стать Христом благодаря убийству.

В прощальном письме Занд говорит, что умирает спокойно, счастливый тем, что помог отечеству. В тюрьме он позирует художнику — в черной одежде, кроваво-красном жилете, с рукой под сюртуком, словно сейчас выхватит кинжал. На его казнь собираются толпы людей. Потом его волосы, щепки от эшафота будут продаваться как реликвии. Из бревен эшафота палач построит себе среди виноградников под Гейдельбергом домик, в котором члены студенческой корпорации еще многие годы будут устраивать тайные сходки. Арндт называет деяние Занда великим; Гёррес порицает поступок, но чтит его мотивы.

Жан-Поль резко отмежевывается от «фанатического юноши... которого мрачный огонь юности подстрекнул на этот шаг», лишь тем напоминающий убийство Цезаря Брутом, что «в обоих случаях именно свобода, за которую жертвовали жизнью, и была принесена в жертву». Он вынужден занять такую позицию, ибо его хотят сделать вдохновителем преступления. На его статью «О Шарлотте Корде», прославляющую убийство тиранов, Занд ссылался как на свое этическое оправдание.

Берлинский профессор теологии де Ветте, годом раньше познакомившийся во время поездки в Вунзидель (когда навестил и Жан-Поля в Байройте) с матерью Занда, написал ей утешительное письмо, где также ссылался на статью знаменитого вунзидельца Жан-Поля. Поскольку письмо было опубликовано (после чего де Ветте отстранили от должности), Жан-Поль должен отозваться на него. В новом издании «Корде» он подтверждает свою жирондистскую позицию, но подчеркивает ее отличие от поступка Занда. Марата казнили за действия, Коцебу же убили за воззрения. Не кинжал, а перо должен был пустить в ход «горячий юноша».

Жан-Поля пугает, что «подобное ослепление мозга и сердца» превращают в героический миф, — пугает особенно еще и потому, что сын Макс, ставший между тем студентом, сперва в Мюнхене, затем в Гейдельберге, следуя духу времени, обнаружил склонность сменить внушенный отцом разумный протестантизм на мистицизм, от которого отец не устает его предостерегать. Макс разделяет поклонение Занду, и Жан-Поль указывает ему, что «безнравственный и неразумный поступок» Занда играет на руку княжескому режиму, еще раз уточняя

свое мнение: «Согласно его (Занда) принципу, каждый католик вправе убивать Лютеров, Вольтеров и любого выдающегося протестантского министра. Умереть за идею легче, чем жить за нее... Религиозный фанатизм нелеп и в чем-то схож со щепками от креста, освящаемыми как реликвии. С таким же успехом можно было бы послать мангеймцам песок [\[32\]](#), по которому Занд ступал. Почему бы не превратить в реликвию луну, раз он так часто глядел на нее?»

Это лишь одно из многих увещаний, которые главным образом и составляют содержание писем к сыну. Они прерываются только сообщениями о собственных болезнях, заверениями в любви и озабоченными вопросами о самочувствии сына. С тех пор как Макс уехал из дому, Жан-Поль беспокоится о нем, и не без основания. Он постоянно призывает его больше жить, чем читать, и главное — не предаваться «фантастической теологической меланхолии», в которую тот впал под влиянием Баадера и других «сверххристианских» философов. Он предостерегает сына также и от общения с однокурсником Фейербахом, будущим философом, который переживал тогда пору увлечения религией. С ним Жан-Поль познакомился в 1819 году, во время беззаботного пребывания в Лёбихау, в замке герцогини Доротеи фон Курланд, и получил, вероятно, представление об упрямом мистицизме молодого поколения.

«Меня радует твое набожное и воодушевленное богом сердце», но модный мистицизм «лишил тебя непосредственного восприятия мира, и ты становишься ограниченным ортодоксом, а это угрожает погасить пламя науки и убить надежды, возлагаемые мною на тебя». Он не позволяет Максy сменить занятия филологией на теологию. «Теологическую пищу, которую требует твоя душа, она получит попутно и на филологическом поприще, без специального изучения. Подлинное и истинное учение о боге ты найдешь не в ортодоксии, а в астрономии, естествознании, поэзии, у Платона, Лейбница, Антонина, Гердера, собственно говоря — во всех науках вместе».

Как ни похвальны эти увещания, они раскрывают прежде всего психологическую основу трагедии сына: из самых лучших побуждений отец невольно пытается сделать из Макса Рихтера второго Жан-Поля.

Когда Жан-Поль выступает в роли воспитателя, его система воспитания, направленная целиком на развитие творческого начала, в результате приносит вред, ибо единственным образцом, к которому

следует стремиться, оказывается он сам. Дочь Эмма, жившая вместе с ним до самой его смерти (и переписывавшая его рукописи), в конце концов и сама начинает писать, совершенно в его стиле, а после его смерти хочет даже продолжить «Озорные лета»; но замужество и дети спасли ее от мук, порождаемых осознанием собственной несостоятельности. Для Макса же отец остается богом — в семье, в Байройте, в университетах. В школе он учился отлично, но в университете понял, что начисто лишен творческого дара. И пытается насильно пробудить его. Наслушавшись в детстве рассказов отца о его нищей юности, он пробует сам пережить такую же. В этом желании его поддерживают мистические идеи укрепления духа путем лишений.

Навестив Макса в Мюнхене, Жан-Поль находит его вконец обессиленным, убежденным в собственном ничтожестве.

Он всячески старается избавить сына от комплекса неполноценности, причиной которого он сам и является, посылает его в Гейдельберг к своим друзьям, но это только усиливает самомучительство юноши: там бог-отец еще более вездесущ, чем в Мюнхене. Когда однажды самоуничтожение юноши вдруг сменяется приступом мании величия и Макс заявляет Фоссу, что готов написать историю философии, отцу сообщают об этом в очередном письме, и тот отвечает, что хотел бы сам присутствовать при этом, «чтобы полтора часа высмеивать его».

«Непременно сообщи мне заранее, какие курсы лекций ты хочешь слушать, дабы твои поступки не всегда опережали мой совет», — пишет он ему 4 сентября 1821 года и советует совершить путешествие по Рейну. Но 18 сентября Макс внезапно появляется в Байройте, больной дизентерией или тифом. Через несколько дней он умирает.

«И теперь моя жизнь навсегда покрылась холодной тьмой».

Год спустя тяжело заболевает Генрих Фосс. «В последние сумеречные часы слабости» он еще трудится над корректурой последних глав «Кометы». Через год после сына умирает и друг.

Жан-Поль больше не находит в себе сил продолжать «комическую историю».

Одной из необходимых защитных реакций детской души на гнетущий авторитет родителей бывает мысль, что это, собственно, не твои родители и потому ты не обязан подчиняться их насилию. В обществе, в котором происхождение во многом определяет будущую судьбу, эта мысль еще более действенна, особенно если с ней связано желание принадлежать к более высокому сословию. Во второй книге «Поэзии и правды» Гёте описывает подобный внутренний процесс: ему было приятно думать, что он благородного происхождения, «пусть даже это случилось и незаконным образом».

В 1817 году Жан-Поль беседовал со шведским поэтом Аттербомом об этом признании Гёте. Жан-Поля поразила откровенность, с какой Гёте разоблачает себя. Он может объяснить ее себе только тем, что Гёте не понимал, насколько раскрыл этим «моральные свойства своей натуры». Для бюргера Жан-Поля аморальность Гёте тесно связана с его аристократизмом, и детское желание принадлежать по рождению к благородной семье свидетельствует, как рано эта испорченность возникла.

Возмущение Жан-Поля, бесспорно, искреннее. Его самоуважение не позволяет ему признать, что социальный порядок, при котором место человека в обществе определяется его происхождением, почти неизбежно порождает подобные желания, особенно у людей незаурядно одаренных, стремящихся и способных выбиться из своего сословия. Он рано занял позицию, заставляющую гордиться своим низким сословием и презирать высшие сословия. И последовательно держался этой позиции, не поддавался никаким искушениям подняться в высшие слои общества.

Однако это не означает, что Жан-Поллю были чужды мечты о благородном происхождении. Но он, конечно не признавался в них. Гёте, осуществивший свои желания, мог прямодушно говорить о них; Жан-Поль, не дававший им волю, полностью изгонял их из сознания. Ничто так не подтверждает неукоснительность, с какой он выполнял возложенное на себя обязательство, как это подавление желаний, которые он считал недозволенными. Предателем стало его творчество.

Уже само множество населяющих его произведения благородных девушек и женщин, достойных любви, выдает его. Автор отказывается от них в реальной жизни, но не в воображаемом мире своих книг. Фиксляйн и Зибенкез женятся на знатных дамах, Вальт любит дочь

генерала. Подавленное детское желание выдвигается на передний план в трех «героических» романах, фабулу которых составляет тайна благородного, более того — княжеского происхождения детей. И когда в конце «Геспера» рассказчик от первого лица, Жан-Поль, оказывается принцем (а затем выступает в том же качестве в «Юбилейном сениоре» и «Биографических забавах»), становится ясно, какого рода подспудное брожение тут происходит. Противоречие между осознанием значения своей личности и своего социального ничтожества разрешается в подобных мечтах.

В позднем творчестве Жан-Поля встречается наряду со многими мотивами раннего периода также и этот мотив — разумеется, в перевернутом виде. Здесь не тайное желание становится реальностью (неправдоподобной), а желание, выдающее себя за реальность, оказывается неосуществимым: сын аптекаря одержим навязчивой идеей, будто он сын князя. Когда Жан-Поль беседовал с Аттербомом о «Поэзии и правде», он давно уже работал над новым романом. И среди многочисленных рабочих названий было и такое: «Правда моей жизни, поэзия жизни аптекаря».

Закончены были только три главы «Самоописания жизни» и три тома сочинения об аптекаре — и то и другое по языку и композиции, пожалуй, самое совершенное из всего написанного Жан-Полем. От плана двойного романа осталась лишь фигура кандидата Рихтера из Гофа, который как раз закончил (действие главной части «Кометы» происходит в 1790 году) «Избранные места из бумаг дьявола». С непокрытыми волосами и в расстегнутой рубашке, тощий, напевая и плача, погруженный в мечты, он входит с грифельной доской в руках, в конце второго тома уже не как воображаемый рассказчик от первого лица Жан-Поль, а как законченный персонаж, объективно изображенный — вплоть до прелестных игр с вымыслами и действительностью, которые позволяет себе независимый повествователь. «Мои читатели будут удивлены — кандидат был не кто иной, как я сам, я, который сидит тут и пишет». И когда кандидат делает умное замечание, что только тот истинный поэт, кто и в счастье не перестает творить, автор хвалит его и себя, потому что он сам «до сих пор честно выполнял это обещание, хотя имеет уже титул регирунгсрата и годовое жалованье, а сейчас продолжает писать, словно у него нет ни крейцера за душой».

Кандидата зачисляют в придворный штат мнимого князя как предсказателя погоды (место гипнотизера уже занято), и он очень рад этому: ему ведь нужно еще написать «Геспера» и «Титана», «где дворы выступают в верном и обманчивом свете». Однако двор, куда он попадает, ненастоящий, князь — дурак, придворный квартирмейстер — его друг и воспитатель, следящий за тем, чтобы никто не разрушил иллюзию аптекаря, делающую его счастливым. Исключительное положение кандидата не только в том, что он сам станет собственным автором: он один принимает бредовое заблуждение псевдокнязя за реальность.

Провинциальный аптекарь Николай Маргграф, считающий себя маркграфом Николаем, пережил такое же детство, каким автору видится его собственное, мечтает осчастливить мир и тем прославиться, влюбляется в принцессу, поклоняется ее скульптурному портрету, учится в Лейпциге, изобретает способ изготовления алмазов, окружает себя целым штатом придурков и в поисках своего отца-князя и возлюбленной отправляется странствовать, чтобы осчастливить бедняков — деньгами. В трех томах он дошел недалеко: лишь до ближайшего городка. Он еще счастлив в своем заблуждении. Но тут в его жизнь вносит беспокойство другой помешанный, считающий себя Каином, сыном Евы и змия. Этим кончается основная часть. Комический роман о счастливце кончается словом «ужас».

Жан-Поль сам называл «Комету» «Антититаном», и во многих отношениях это так и есть, прежде всего потому, что идея изменения мира представлена здесь как иллюзия. Будь роман продолжен, он (судя по заметкам) вырос бы в огромную панораму эпохи, показанной с точки зрения, свойственной периоду Реставрации. Фрагмент (вместе с обеими прямыми сатирами) свидетельствует о времени своего возникновения главным образом тем, что он столь же безысходен, как и оно само.

Здесь погребена и мечта о жизни поэта-князя, способного осчастливить и изменить мир. Рихард Отто Шпацир, племянник Жан-Поля, который в последние годы много времени проводил у него, рассказывает, что навестивший его в Байройте датский поэт Баггезен при встрече сказал: «Боже мой, Жан-Поль, я и есть Николай Маргграф!» На что Жан-Поль возразил: «Да ведь это моя собственная история!»

В январе 1823 года Жан-Поль писал Котте: «Комета» застряла теперь бог знает на сколько времени в своем третьем созвездии, так же как это, к сожалению, случилось, но по причинам более неприятным, с «Озорными летами». У него нет больше сил на комическое. Третий том он еще писал под нажимом Фосса. А теперь Фосс мертв. Время, которое ему остается, Жан-Поль посвящает религии. В день похорон сына он решает продолжить диалоги о бессмертии души из «Кампанской долины». Он в постоянных поисках утешения в загробной жизни; вместе с тем это возвращение к юности и популярной философии XVIII века. И хотя в одной из статей он выступает против религиозных сумасбродств времени, в нем снова говорит прежний гетеродокс. Но ни «Селину», ни трактат против «сверххристианства» закончить он уже не может.

Таким образом, последней прижизненной публикацией остается третий том «Кометы», завершающийся приложением «Энклав», самая важная из которых «Кандидата Рихтера надгробная речь над девой веселья Региной Танцбергер в городе Лукас» — дань уважения рабской жизни и вместе с тем обвинительный акт. «Очень тяжело целый день и в большом и в малом исполнять лишь чужую волю и быть свободным в лучшем случае в ночных сновидениях, если только и в них не будет отражаться дневное рабство. К счастью, смерть — единственное желание, которое всегда исполняется, как бы ни был ты покинут богом и людьми». Подобно началу грандиозного дела его жизни, конец его тоже посвящен бедным и бесправным.

Правда, последняя анклава — это не что иное, как перечень всех произведений автора. Чуть сплутовав, он насчитывает их 59, чтобы иметь возможность добавить к заключительному примечанию, что он «вылупился из яичной скорлупы 59-го года 21 марта 1822 года», то есть каждый год писал по книге. «Об остальных годах и книгах позаботится бог».

Но и в этом перечне он не обходится без дополнений к отдельным книгам. И потому во времена Карлсбадских запретительных предписаний, окутавших мраком всю духовную жизнь Германии, номер 37-й — антицензурное сочинение «Книжица о свободе» — снабжен примечанием: «С такой же настоятельностью, с какой он сам это делает, мне бы следовало рекомендовать этот трактат нашему времени».

«Жизнь с Вами мне представляется прекрасной. Время до десяти часов утра будет полностью посвящено Вашей учебе; затем Вы будете помогать мне в составлении сборников сочинений; прошу Вас также помочь мне собрать для наборщика поправки в тех произведениях, которые я буду хотя и не основательно перерабатывать, но основательно шлифовать во многих местах; мне потребуются также если не руки Ваши, то глаза, чтобы ориентироваться в хаосе моей библиотеки. Немножко почитать мне, немножко попереписывать, немножко поболтать со мной, немножко повеселить — вот все, чего я от Вас хочу... Вы даже не догадываетесь, каким бальзамом для моих больных глаз и всего моего разбитого ударами судьбы тела будет Ваше присутствие».

Это пишет в начале октября 1825 года Жан-Поль своему племяннику Рихарду Отто Шпациру. Они познакомились в Дрездене в 1822 году; молодой человек не читал ни строчки из произведений Жан-Поля, но дядя произвел на него такое сильное впечатление, что родственные отношения, отягощенные предубеждениями, быстро сменились отношениями ученика и учителя.

Студент изучает книги своего знаменитого дяди и проводит у него каникулы; сперва его только терпят, но потом ожидают с радостью. Жан-Поль все больше сдает, помощь ему необходима. Начинается с глаз, зрение быстро ухудшается. Его мучают поносы. Он худеет. Распухают ноги. Вскоре он уже не в силах выходить из дома. Но ум по-прежнему деятелен; хотя и с трудом, но ежедневно он диктует «Селину», свою книгу надежды — надежды не только потусторонней. То, что некогда задумывал Альбано, теперь осуществляет Генрион, юный герой: он вступает в борьбу за освобождение Греции от турецких угнетателей. Кроме того, нужно заниматься и подготовкой издания собрания сочинений — первого, планируемого издателем Раймером. Отсюда и призыв о помощи, обращенный к племяннику.

24 октября двадцатидвухлетний молодой человек прибывает в Байройт; перемена, происшедшая с дядей, пугает его. Похудевшее лицо, прежде круглое, кажется удлинненным. Тускло смотрят обычно столь живые глаза. Где же он, мальчик, спрашивает Жан-Поль, ищущее

вытягивая руку, когда Каролина вводит племянника в комнату. Он говорит тихо и медленно — каждое слово стоит ему усилий, но все еще образно: небеса решили отстегать его розгами, и один из прутьев — болезнь глаз — обернулся изрядной дубинкой.

На улице дождь. Шторы задернуты. Больной полулежа сидит на кушетке, валик в изножье снят, чтобы он мог вытянуть ноги. Его постоянно знобит, поэтому на нем меховая шуба. Ноги укрыты подушками. На столе перед ним все необходимое для работы: перья, бумага разных сортов, белая и цветная, подставка для писания, нож для очинки перьев, очки, чернильницы, лампа, экран, смягчающий свет, маленькие томики английских изданий Свифта и Стерна. В середине комнаты, так, чтобы можно было легко дотянуться с рабочего места, стоит, как всегда, стеллаж, забитый томиками с выписками, рукописями, вдоль стен — полки с книгами. В углу на подушке лежит пудель, рядом трость розового дерева и сумка. Но никогда уже не доведется Жан-Полю проделать путь к Рольвенцельскому трактиру.

На столике у окна, где раньше стояли птичьи клетки, теперь каждый день работает молодой помощник. Работы у него много. Ибо больной все еще необычайно деятелен. За несколько дней определены объем и последовательность издания сочинений. Они приступают к осуществлению огромного замысла по переработке произведений и написанию новых (для Жан-Поля всегда необходимых) предисловий. Сперва занимаются вещами, которые переиздаются впервые: «Избранные места из бумаг дьявола», «Незримая ложа», «История моего предисловия ко второму изданию „Квинта Фикслайна“». Но дело движется медленно. Жан-Поль диктует предисловия. Затем Шпацир медленно читает тексты вслух, Жан-Поль перебивает: что-то надо вычеркнуть, что-то добавить, что-то изменить. Он прислушивается и к предложениям племянника. Работа бодрит его. Над книгами своей молодости он словно заново переживает ее. Охотно рассказывает. Его мучает, что «Озорные лета» остались фрагментом. Он хотел бы продолжить автобиографию, чтобы прославить тех, кого любил, и прежде всего Гердера. Хочет еще внести изменения в «Титан», лучше обосновать конец Линды, не смягчая его.

Распорядок дня строго определен. До обеда работают в его комнате. После обеда читают вслух. Для этого больной, опираясь на руку Каролины, ковыляет в гостиную. Когда и на это уже не хватает

сил, обзаводятся креслом на колесиках. Ежедневно ему читают самое важное из газет. Потом Шпацир читает вслух только что изданную «Психологию как науку» Гербарта. Но ослабевший ум уже не в силах воспринимать новое. Все чаще Жан-Поль засыпает во время чтения.

Он охотнее слушает вещи знакомые, близкие с юности. Но и комически-сатирические «Физиогномические странствия» Музеуса привлекают его недолго, он требует, чтобы читали «Идеи» Гердера и иногда — из его собрания народных песен. Гердер — последнее, что прочтут неизменно жадному до книг писателю. День ото дня количество страниц, которое он еще может воспринимать, уменьшается.

Ненадолго он оживляется во время разговоров, им посвящены вечера. Шпацир делает выписки из журнального фонда «Гармонии» о новостях искусства и науки, чтобы иметь материал для разговоров. Больше всего больного радуют курьезы. Когда приходит Кристиан Отто, они вспоминают былые времена блеска и славы, и Шпацир играет при этом немаловажную роль слушателя. Иной раз Жан-Поль еще способен к смелым взлетам мысли, остроумным образам, но вслед за тем он хочет (пугая присутствующих, ибо это непривычно) только молча слушать. Еще за несколько дней до приезда Шпацира он принимал Шеллинга и часами философствовал с ним. Теперь это было бы невозможно.

Больной он терпеливый. Почти не жалуется. Все время пытается внушить себе и другим надежду. Когда солнечный свет ненадолго окрашивает серые осенние дни, он всех заверяет, что к нему возвращается зрение. Часто благодарит Каролину и дочерей за любовь и заботу.

Страшны иной раз ночи: ему кажется, будто гибнет вселенная. А укротить, воплотив в языке, эти космические видения ужаса он не в силах. Он безнадежно отдан в их власть. Однажды утром Каролина нашла беспомощного старика лежащим на полу. От какой опасности пытался он спастись?

Ему все труднее слушать чтение вслух, он требует музыки. Музыка сопровождала его всю жизнь, начиная с детства: отец превосходно играл на фортепьяно и органе. Музыкального образования он не получил, не умел читать ноты. Однако с лейпцигских времен у него в кабинете стояло взятое напрокат фортепьяно. И он часами

импровизировал на нем. Он любил хорошие концерты. Когда чувства в его романах достигают кульминации, их непременно сопровождают звуки: флейт, арф, рожков, колоколов. Когда поют дети, у него на глазах наворачиваются слезы. Теперь по вечерам для него музицируют жена и дочь.

В его комнате стоит фортепьяно, но лучшее — у Каролины. Раскрываются двери. Он лежит на кушетке, с закрытыми глазами, лицом к стене, и слушает песни, что поют для него: народные, песни Цельтера и Шуберта. «Простые мелодии» всегда «волновали его, как подземные толчки».

Его организм все больше сдает, живот и ноги распухают сильнее, глаза полностью слепнут, а теперь вдобавок его еще мучает хронический кашель — но он не верит в приближение смерти. Надеется, что перемена погоды принесет ему улучшение — ноябрьская была ужасна, — полагается на целебную силу грядущей весны и даже на лекарства, которые теперь без возражений принимает по предписанию врача. Часто засыпает во время еды. Иногда у него возникает мучительное ощущение, будто кто-то стоит сзади и прикасается к его голове. Однако работа продолжается.

Но 13 ноября она прерывается задолго до обеда, потому что его одолевает слабость. Ночь он проводит так беспокойно, что Каролина вызывает врача. Когда утром 14-го приходит Шпацир, голос больного столь слаб, что приходится наклоняться к нему, чтобы разобрать слова. Слепец, которого всегда окружает ночь, впервые путает время дня. Он желает племяннику доброго вечера. И впервые распорядок дня нарушается. Шпацир читает ему — сперва газеты, затем Гердера. Но больной хочет разговаривать. Призывают друзей. Темой беседы служит странная церемония, проходившая в эти дни в Байройте: саксонскому принцу привозят из Италии невесту, тому самому принцу, который в годы юности Жан-Поля взял свою первую жену из Гофа. Больной оживляется, задает вопросы, пытается и сам рассказывать: как смешно это было, когда перед паланкином с невестой несли из Гофа в Плауен поясной портрет принца. Этот спектакль с высокопоставленными актерами он подробно описал в «Геспере».

Когда друзья уходят, мысли о «Геспере» не оставляют его. Он опять хочет изменить его, улучшить. Читатель может не поверить, что

детей перепутали. Лишь приблизив свое ухо к устам Жан-Поля, Шпацир понял его.

В полдень больной просит, чтобы его уложили в кровать. Ему кажется, будто наступила ночь, и он требует, чтобы принесли, как всегда, часы и кувшин с водой, — часто просыпаясь, он пьет воду. Он пытается еще что-то сказать, но никто не понимает, что именно. Он делает знак, чтобы все ушли. «Давайте уйдем!» Он засыпает. В пять часов пополудни приходит Эмануэль, в шесть — врач. В восемь дыхание Жан-Поля замедляется и, наконец, полностью останавливается, рот судорожно сжимается. Каролина, дочери и Эмануэль опускаются на колени. Шпацир под ноябрьским дождем бежит за Кристианом Отто.

Через три дня город прикинулся, будто всегда считал для себя честью, что в его стенах живет такой человек. Писателю воздают всевозможные почести, когда несут его к могиле. Мертвый поэт всегда лучше поэта живого.

Звонят во все колокола. По улицам Байройта от квартиры к кладбищу медленно движется помпезная погребальная процессия. Пять часов, уже почти темно. Гимназисты несут факелы, фонари и ковши с горящим варом. Впереди процессии шествует певчий с приютскими детьми и музыкантами. За ними школьники несут «Левану», затем гимназисты — «Приготовительную школу эстетики» и «Незримую ложу». Катафалк, сопровождаемый десятью учителями, влекут четыре лошади, покрытые черной попоной. На гробу в центре лаврового венка лежит «Селина» в красном переплете. За членами семьи и друзьями следуют представители города, государства и армии. Надгробные речи произносят ректор гимназии и племянник Шпацир, перечисляющий все пышные титулы из диплома почетного доктора: светоч и украшение века, образец добродетели и тому подобное. Церковным церемониалом руководит пастор Рейнгарт, который когда-то вместе с покойным учился в гимназии в Гофе и спровоцировал взрыв негодования учителя французского языка против Рихтера.

Главные почести воздаются 2 декабря во франкфуртском «Музеуме». Речь памяти Жан-Поля произносит Людвиг Бёрне. С пафосом, рожденным подлинным восхищением, он славит поэта человеколюбия, поэта свободы, поэта бедняков. Он называет его Иеремией народа-пленника. «Жалоба стихла, страдание осталось... Мы

скорбим о том, кого мы потеряли, и о тех, кто его не потерял. Не для всех он был живым! Но придет время, когда он родится для всех, и все станут его оплакивать. Он же терпеливо стоит у врат двадцатого столетия и с улыбкой дожидается, пока его медлительный народ догонит его».

Когда летом Вильгельм Мюллер, известный поэт-песенник, навестил Рольвенцельский трактир, словоохотливая хозяйка так выразила свою скорбь: «Ах, господи, как подумаю, сколько тут, вот на этом месте, написал господин легационсрат! А если бы ему отписаться сполна! Еще на пятьдесят лет ему хватило бы писать, так он сам мне часто говорил, когда я просила его поберечь себя и не давать еде остынуть. Нет, нет, такой человек больше не народится. Он был не от мира сего... Простой цветок мог его безмерно осчастливить или птичка, и всегда, когда он приходил, на его столе стояли цветы, и каждый день я вдевала ему в петлицу букетик. С год он не приходил больше. Я навестила его там, в городе, за несколько недель до его смерти; он сказал мне, чтобы я села у постели, и спросил, как мои дела. Плохи, господин легационсрат, ответила я, пока вы снова не окажете мне честь своим посещением. Но я понимала, что он больше не придет, а когда узнала, что его канарейки перемерли, то подумала: он скоро умрет. И пудель тоже переживет его ненадолго, я недавно видела его, собаку просто не узнать. Господи, вот он и преставился! А похороны ему устроили, прямо как маркграфу, с факелами и каретами, и за ними народу — не счесть. На кладбище я вышла вперед, и когда стояла одна у могилы, куда ему предстояло низойти, то думала: и вот туда ты теперь спустишься, Жан-Поль? Нет, думала я, тот, кого туда опустят, не Жан-Поль. И, видя гроб перед собой, я снова подумала: и это ты, Жан-Поль, лежишь там внутри? Нет, это не ты, Жан-Поль. Произнесли надгробную проповедь, а мне дали стул у самой могилы, я сидела на нем, будто я из самых близких, а когда все кончилось, они пожимали мне руки, семья и господин Отто и еще многие знатные господа».

Примечания

Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч. М., 1948, Т. 4. С. 10.

Эккерман И. П. Разговоры с Гёте в последние годы его жизни. М.; Л., 1934, С. 285.

Цитируется по книге: Menzel G. W. Lessing und andere Dichtergeschichten. Halle-Leipzig, 1985. S. 278.

На русском языке см.: «Встреча. Повести и эссе писателей ГДР об эпохе „Бури и натиска“ и романтизма»/Сост. М. Рудницкий. Предисл. и коммент. А. Гугнина. М., 1983. Здесь в том числе опубликованы повесть «Бранденбургские изыскания» и эссе «Бранденбургский Дон Кихот» Г. де Бройна.

Так называли Жан-Поля по одному из героев его романа, переведенного и на русский язык: «Цветы, плоды и шипы, или брачная жизнь, смерть и свадьба адвоката бедных Зибенкеза». Спб., 1899. Вообще, Жан-Поль довольно широко публиковался в русских журналах 1820–1830-х гг. В 1844 г. в Петербурге вышла «Антология из Жан-Поля Рихтера» И. Е. Бецкого, на которую В. Г. Белинский сразу же откликнулся серьезной статьей в «Отечественных записках». В советское время был издан роман «Зибенкез» (1937) и «Приготовительная школа эстетики» (1981, предисл., пер. и коммент. А. В. Михайлова).

Белинский В. Г. Полн. собр. соч. М., 1954. Т. 5. С. 63.

Беренгарий Турский (*лат.*).

Святая простота! (*лат.*).

Игра слов: Кениг (König) — король (*нем.*).

В частности (лат.).

Ошибка автора. У Лессинга эта реплика принадлежит не послушнику, а султану Саладину. (Прим. переводчика).

Сначала; снова, опять (*ит.*).

Ломбер (карточная игра) (*ит.*).

О немецкой литературе (*фр.*).

Как каналья (*фр.*).

Также (*лат.*).

Autorité — власть; souveraineté — господство; rocher — скала
(*фр.*).

Человек, который добился всего сам (*англ.*).

Коровья морда, Воронье гнездо, Шут гороховый (*нем.*).

Саксонских рейхсталеров. — Здесь и далее примечания переводчика.

Опыт о человеке (*англ.*).

Острое слово (*φρ.*).

Разбойников (*фр.*).

Bettler означает «нищий» (*нем.*).

Журнал называется «Die Horen» («Богини времен года»); Гердер издевательски предлагает название «Huren» — «потаскухи» (нем.).

Всякая (*ит.*).

Эмигрантом (*фр.*).

Боже, храни короля (*англ.*).

Члена муниципалитета (*нем.*). По правилам немецкой грамматики в существительном, соединенном из двух слов, первое слово берется в родительном падеже с буквой «s» в конце.

Вспомогательное средство (нем.).

В немецком языке в прилагательных, образованных из существительных Pracht (роскошь, блеск) и Macht (мощь, власть), буква «а» приобретает умлаут: prächtig и mächtig, в то время как rosig (розовый) и artig (послушный) сохраняют корневую гласную без изменений.

Занд — по-немецки «песок».